ИНОСТРАННАЯ *литература*

ИНОСТРАННАЯ литература
11
1961

НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ХРУЩЕВ
на трибуне XXII съезда Коммунистической
партии Советского Союза

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

«Урок рисования» — литография румынского художника Марселя Хирноаги

Содержание

ВЕРОНИКА ПОРУМБАКУ — Новой эры возвестив начало... (Стихотворение) . . . 3

ГЕРБЕРТ НАХБАР — Свадьба на Леннекене (Роман) 4

ЭЛЛИ ИОАННИДУ-БЕЛОЯНИС — Подпольщик идет по Афинам. Заключенный (Стихи) . 77

ПИТЕР ТЕМПЕСТ — Вскипает свободы прибой! (Стихи) 81

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — Особняк (Роман. Продолжение) 83

ТОМА ДЖОРДЖЕ МАЙОРЕСКУ — Разговор космонавта с богом (Стихотворение) . . 169

ИОЗЕФ РЕДИНГ — Устаревшие перспективы. Перестройка производства. Репетиция. Одного цвета. По эту сторону цензуры. Объединение в Миссисипи (Рассказы) . . . 172

Китайская классическая поэзия

ТАО ЮАНЬ-МИН, ЮАНЬ ЧЖЭНЬ 188

ПРОГРАММА КОММУНИЗМА,
ПРОГРАММА МИРА

Слово зарубежных писателей 195

КРИТИКА

О. ЕГОРОВ — Во имя свободы и братства . . 202

МИКОЛА БАЖАН — Рисорджименто и литература 212

11

1961

НОЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ"
МОСКВА

«Нет!» колониализму, «Нет!» войне

Ю. Суровцев — День побеждает. ◇ Сергей Наровчатов — Застывшая скорбь. ◇ Стазу — От имени двух континентов. ◇ Л. Харламова — Сквозь тюрьмы и пытки. ◇ О. Тимофеева — Поэты сражающегося Алжира. ◇ С. Прожогина — Горячий ветер пустыни. ◇ И. Никифорова — Путь к рассвету. ◇ Н. Миловидова — Алжир, страна гор 217

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы . . 233

ПУБЛИЦИСТИКА

ПЬЕР ЭНЖЕС — Великий взлет 240
ГЕРБЕРТ ЗАНДБЕРГ — Вчера и завтра . . 245
АЙРИН ПОЛЛ — На островке Мегано . . . 246
ИШТВАН ПИНТЕР, ЛАСЛО САБО — Интервью с палачами 251

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Е. ХЕРСОНСКАЯ — Итальянские художники в борьбе за мир 263

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ . . . 271

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) . . 273

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . 288

Вероника Порумбаку

НОВОЙ ЭРЫ *возвестив начало...*

Перевод с румынского Ал. Ревича

Как набат над заревом пожаров,
над рычаньем своры одичалой
недругов, душителей свободы,
над кровоточащей болью ран,
возносясь к космическим мирам,
«Есть такая партия!» — звучало.

Орудийным залпом над Невою,
новой эры возвестив начало,
оглушив дворцовые ступени,
в мраморных покоях задрожав,
расшатав знамена всех держав,
«Есть такая партия!» — звучало.

В дни сражений не смолкал тот голос,
над Магниткой он гремел, бывало.
Так сквозь дни, сквозь годы пятилеток,
человека нового творя,
эхом уплывая за моря,
«Есть такая партия!» — звучало.

Во втором за этот век пожаре
Снова вся Европа полыхала,
свастика паучьей черной тенью
по обугленной ползла земле,
но надежды свет горел во мгле,
«Есть такая партия!» — звучало.

На стропилах, где вставали стены,
над щебенкой, у донских причалов,
во дворцах, огромных храмах света,
в космосе, где путь среди светил
гений человека прочертил,
«Есть такая партия!» — звучало.

И звучит под куполом эпохи
в дни, когда скалистые вершины
холмиками кажутся, и в дали
раскрывает медные врата
ставшая историей мечта —
«Есть такая партия!»

Герберт Нахбар

Свобода на Леннекене

РОМАН

Перевод с немецкого А. Авербаха и Л. Лежневой

I

О рыбаках божьей милостью, о старой ссоре и сладких поцелуях

Этот час Адмирал не отдаст никому. Предаваясь мечтаниям, он сидит у окна. На улице голубеют тени, кусты и деревья превращаются в таинственные существа, которым нельзя доверять. С моря светлой серой дымкой плывет туман, оседая на лужайке перед домом. Углы комнаты становятся сумеречными и уютными. Крестовина оконного переплета, темнеющая на фоне серых стекол,— как граница. За окном начинается дремучий лес.

Иоганнес Грабе — на острове его зовут Адмиралом — не очень разбирается в своих ощущениях, но они заполняют все его существо. Эти сумеречные осенние часы сформировали его жизнь. Осень — его любимое время года. Когда небо весь день расстилает свои холодные лучи над островом, когда летние краски теряют яркость и теплую нежность тонов, Адмиралу кажется, что жизнь начинается сызнова. В продолжение всей своей жизни, в любое время года, он ощущал печаль, и только осенние дни придавали ему силу. Так было всегда, как будто увядание цветов и трав, блеклое осеннее небо служили подтверждением того, что он чувствовал всю свою жизнь. И в те шестьдесят осеней, которые он прожил, свершилось многое такое, что не могло бы свершиться летом. Никогда не нашел бы он сил для своих начинаний, если б не постоянное возвращение осени. В часы голубых сумерек, у окна, рождались в нем лучшие мысли.

Правда, за последние десять лет очень многое изменилось: действительность омрачила мечтания сумеречных часов, они ушли в область чувств и воспоминаний о прошлом. Но это неважно. Стоит ли в сегодняшнем мире быть деятельным? Адмиралу ясно: не стоит. Сейчас все идет шиворот-навыворот, и такому предприимчивому человеку, как он, нет места в нынешнем мире. Адмирал в этом твердо уверен.

Осенние дни всегда вызывали у него подъем. Этого подъема хватало на весь год, и даже больше. Осенью он сделал заявку на место для ловли рыбы вершей — и получил его, потому что никто не мог поверить, что там, у Гублеровой косы, можно что-нибудь поймать. И осенью же купил первую свою вершу, которую действительно можно было назвать вершей. Добрых двенадцать тысяч марок отдал он за нее. И люди, говорившие, что эту вершу следовало бы назвать «Фрау Анна», ибо Иоганнес Грабе годом раньше женился на дочери купца Клюта, красивой Анне, на поверку оказались совсем не далекими. Какая девушка в их

стороне вышла бы замуж без любви, будь у нее деньги? Каждая осень приносила что-нибудь хорошее: то новую лодку, то новое место для установки вершей — и так семь мест одно за другим, ну и все, что к ним полагалось. И опять-таки осенью, четверть века назад, Иоганнес Грабе произнес одну речь — не такую, что произносят за кружкой пива, а настоящую речь, в городе, перед людьми с понятием, перед оберфишмейстером и его подчиненными. И у него были для этого достаточные основания. По сей день он помнит, как стоял тогда, воздев руки, до сих пор звучат в его ушах сказанные им слова: «В должности рыбацкого старосты я буду для острова Леннекен все равно что адмирал для эскадры».

Теперь от всего этого мало что осталось. Жена постарела, у нее появились причуды, вершами и местами для них год назад завладел кооператив, положения рыбацкого старосты он лишился с окончанием войны. Осталось только прозвище, которым его окрестили после той речи. Оно вышло за стены городского зала, где сидели оберфишмейстер в желтом мундире и все знатные рыбаки округи, и стало известно всему Леннекену. По сей день Иоганнес Грабе носит это прозвище с почетом и в глубине души гордится им.

Так он сидит в сумерках у окна и предается мечтам. Он курит трубку, и вокруг звучат голоса прошлого. Под низким потолком комнаты идет жизнь, какой она была прежде. О сегодняшнем дне напоминают лишь громыхание кастрюль, доносящееся из кухни, да бормотанье жены — она разговаривает сама с собой, и Адмирал слышит слова, но они не трогают его. Эти звуки и уют комнаты неотделимы друг от друга, они придают остроту одиночеству, которым наслаждается сейчас Адмирал.

Но вот напротив, в доме Генриха Преппинга, зажегся свет. Он льется из окон его комнаты, яркими снопами пробивается сквозь туман, висящий над лужайкой, которая разделяет обе усадьбы. Адмирал вздрагивает, как от толчка. Он смотрит на дом напротив, и его охватывает страх; он растерянно теребит мочки ушей, как делает всегда, когда хочет отвести беду: эта привычка осталась у него с детских лет. Совладав с собой, он для пущей уверенности трижды хлопает рукой по подоконнику, затем встает, надевает деревянные башмаки и отправляется в кухню. Действительность опять завладела им.

Из кухонного окна, насколько хватает в сумерках глаз, виден залив. Стол у окна накрыт на троих. Для Адмирала, сына и жены. Анна Грабе жарит на сковородке угрей. В кухне стоит запах свежей рыбы. В печи гудит огонь, котел с водой запевает свою песню. Жена разговаривает сама с собой — это у нее уже многолетняя привычка.

— Подумать только! Во всем есть свой смысл — без соли не приготовишь топленого сала, а угри требуют перца. Иначе они получаются слишком пресными, шут их знает почему...— И она перчит угрей на сковородке — не слишком много и не слишком мало.— Что много, что мало — все пристало.

Адмирал стоит у окна, засунув руки в карманы, и смотрит вдаль. Ему кажется, что туман стал гуще. Только у сходней, где темной тенью маячит катер, еще можно разглядеть полоску воды. Дальше все тонет в серой мгле, как бывает, когда ложится туман. Иоганнес тянется через подоконник, пытаясь увидеть небо: звезд нет и в помине, а месяц лишь через неделю осветит воду, проклятый месяц, показывающий рыбам, где поставлены верши.

Жена затягивает песню на церковный мотив. Она тихо напевает себе под нос. Можно подумать, что с этой песней у нее связаны какие-то воспоминания, так задушевно она поет. Простая мелодия звучит сердечно и трогательно. Но вдруг она перестает петь и, сложив руки на животе, смотрит на мужа, который по-прежнему молча стоит у окна. Тихо качая головой, она говорит:

— Принеси мне ведро воды.

Проходит немало времени, прежде чем Адмирал отвечает. Вода в котле закипает, жена склоняется над сковородой и переворачивает угрей.

— Для каждого дела, даже самого пустякового,— говорит Адмирал,— требуется время... Замешкался — упустил время. Колокол звонит — явись на последнюю перекличку, а то ничего за свою жизнь и не успел.

Некоторое время Адмирал молчит, прислушиваясь к словам, которые только что произнес. «Последняя перекличка,— думает он.— Точнее не скажешь!»

Даже для того чтобы принести воды, требуется время, все должно делаться своим чередом. А у меня времени нет, вот что, надо еще запереть дом.

И Адмирал уходит.

Жена качает головой, добродушно улыбается и говорит:

— На Иоганнеса опять нашло... И ничего он не может с собой поделать.

Вечерний обход дома для Адмирала — все равно что еда и питье. Первым делом надо посмотреть, закрыты ли окна сарая. Как-то раз туда наведался хорек, и утром все куры валялись в крови, только петуху удалось спастись. Надо закрыть дверь на засов и запереть на замок, а уж потом проверить окна дома. Последнее и самое важное — подняться на холм к сараю для сетей. Адмирал любит этот путь. Тополя справа и слева с годами выросли чуть ли не до неба — еще ночи его детства проходили под их шелест. Тропинка в фут шириной, петляя, ведет на вершину холма к сараю для сетей. С обеих сторон буйно разрослась трава, порою она скрывает тропинку. Дикий тмин под деревьями цветет летом белыми цветами, в осеннюю пору ярко розовеют гвоздики. Даже в тихие дни тут стоит шелест деревьев, шепот травы и стеблей.

Сегодня туман поглотил все запахи. Здесь, как полагает Иоганнес, в одном месте собрана вся красота Леннекена, отдаленного острова, связанного с сушей только паромом. Здесь не ходят ни поезда, ни автомашины. И даже после переправы путник должен еще пять часов добираться до железной дороги. А деревушки Холленбек, Вик, Неттельмин и Поггендорф полны тишины и ничем не нарушаемого покоя. Но нет на острове красивее места, чем тропинка к сараю для сетей. Разве не цветет на склонах холма дрок? Разве не гнездятся в кустарнике сороки? Разве журавли, эти изумительные птицы, не отдыхают на лужайках вокруг, прежде чем отправиться дальше? Разве не доносятся из лесу крик кукушки и стук дятла?

Адмирал мог бы пройти по этой тропинке с закрытыми глазами, так хорошо он ее знает. Возможно, идти в тумане ему особенно нравится: человек тогда отрезан от всего мира и одинок, как и должно быть, по мнению Иоганнеса. Каждый сам приходит в этот мир и сам уходит, и весь путь, от начала до конца, каждый должен пройти сам.

Женщины, думает Адмирал, направляясь к сараю, всегда что-то требуют и лишают мужчин спокойствия. Всему свой порядок, и нельзя допустить, чтобы женщина нарушала этот порядок ненужными новшествами... Принеси ей воды, да еще вечером! Даже с водой она не умеет обходиться! Она никогда ничего не умела... А ведь есть жены, которые уж слишком бойки, так что это даже не нравится их мужьям.

Мысли Адмирала спокойны, как его шаг. Хорошо идти одному в тумане, а наверху, у сарая, он еще немного постоит наедине со своими думами, которые рождает осень, которые придают ему бодрости и веселья, насколько ему вообще дано быть бодрым и веселым. Осенью ничто не может его встревожить. Душа ощущает гармонию окружающей природы, гармонию ландшафта, частью которого он себя чувствует.

Приблизившись к сараю, Адмирал с удивлением замечает свет, пробивающийся сквозь щели в дверях. Он открывает дверь и ощущает легкую досаду: сын все еще в сарае, чинит сети.

Не сказав ни слова, Адмирал останавливается возле сына. В сарае пахнет просмоленными сетями и сухими водорослями, морской водой. Бензиновая лампа издает легкое шипение. Несколько лет назад, когда на острове провели электричество, Адмирал испугался затрат на подводку проводов к сараю. Вот и горит здесь холодным зеленым светом эта шипящая лампа.

Хеннинг Грабе стоит, опустив голову, и пришивает новый канат к крылу невода. Адмирал знает: невод нужен сыну летом для ловли угрей. Непонятно, зачем он занимается этим видом рыбной ловли, утомительным и тяжелым, ведь рыбаку приходится стоять по грудь в воде и тащить невод по дну, как лошадь телегу. Адмирал ни во что не ставит такой способ ловли, как бы выгоден он ни был. Старик уже позабыл, что в молодости сам точно так же рыбачил летом, когда у него еще не было вершей.

Через некоторое время Адмирал говорит:

— Рыбу ловят и голодранцы, и рыбаки, у которых что-то есть за душой... Но даже если хочешь ловить рыбу, как голодранец, то и тогда нужно правильно закреплять веревку. Одним швом тут не обойдешься.

Хеннинг, подняв остроскулое лицо, спокойно смотрит отцу в глаза. и Адмирал кивает головой. Сын молча берет нож и, отрезав нитку, протягивает иглу отцу.

— На, пришей,— говорит он.

— Я не голодранец,— отвечает отец.

— Я тоже... Я состою в кооперативе, так же как и ты. Никто из нас не голодранец, хотя вы этого и хотели бы.

— Чего хотели?.. Кто это «вы»? — спрашивает Адмирал.

Хеннинг роется в кармане, достает кисет и трубку. Только выпустив через ноздри первый клуб дыма, он отвечает:

— Вы — старики... а мы — молодые. Но голодранцев среди нас больше нет.

Адмирал лишь качает головой. Он не сразу находит, что ответить, поворачивается к стене и усаживается на кучу новых сетей. Хеннинг снова принимается за работу. Адмирал говорит:

— Богатые и бедные, ленивые и прилежные будут всегда. И в твоем рыболовецком производственном кооперативе тоже.

Название это, которое редко услышишь в разговоре рыбаков — настолько длинным и трудным оно им кажется,— старик произносит особенно отчетливо. Он растягивает слова и вкладывает в них все свое пре-

зрение. Хеннинга это не очень огорчает. Он знает отца, все это ему не в новинку. Пусть болтает. Стариков уже не изменишь. Всю свою жизнь они копили мудрость, из которой, как им казалось, извлекали пользу. Копили — каждый для себя, извлекали пользу — каждый для себя.

— И еще,— говорит Адмирал,— бывают хорошие рыбаки и плохие. Одним рыба попадается, другим нет.

Хеннинг кивает:

— Верно, бывают хорошие места для вершей и плохие.

— Верно,— говорит Адмирал.— Бывают хорошие рыбаки и плохие. Так было, так и останется. Даже в производственном кооперативе.

— Хорошие места для вершей и плохие,— повторяет сын.— Но так не должно остаться.

Адмирал морщит лоб, затем серьезно и спокойно говорит:

— Если сыновья начинают поднимать голос против отцов, значит, плохо дело с человечеством, вот что я тебе скажу, сын мой.

Хеннинг чувствует, как в нем растет раздражение. В последнее время это случается с ним все чаще и чаще. Ему не удается сохранять спокойствие, а это, пожалуй, было бы самое умное: ведь все идет своим чередом.

— Не так уж плохо дело с человечеством,— говорит он чуть громче прежнего.— Возможно, дело плохо для отцов... И виноваты в этом сами отцы.

Старику кажется, эти слова он уже когда-то слыхал. Они висят в воздухе, остаются, их как бы можно осязать, слышать вновь и вновь. Но когда это было, когда? Это было в комнате, стояла осень, молодой рыбак искал место для вершей. Произошел разговор, и один старый рыбак сказал что-то про деревья, которые хотят дорасти до неба, а молодой рыбак произнес эти же слова, что висят сейчас в воздухе и почти осязаемы. Виноваты в этом сами отцы. Ты сам виноват, отец, что не идешь с нами. И я вовсе не хочу дорасти до неба. Да, так это было. Я вовсе не хочу дорасти до неба. Ты сам виноват, отец.

Адмирал сосет трубку. Кажется, дальше этого разговор не пойдет. Хеннинг исподлобья бросает на отца быстрый взгляд. Старик сидит, целиком погруженный в свои мысли, неподвижно глядя в угол сарая, как будто там есть что-то для него интересное. Окутанный клубами табачного дыма, он держит в больших руках трубку, которую то и дело подносит ко рту, и все глядит куда-то в угол.

— Милый мой мальчик,— говорит Адмирал,— мы работали, мы никогда не ленились. И благословение божье было с нами.

Какое-то теплое, нежное чувство готово подняться в душе у Хеннинга, на секунду ему кажется, что эти стертые слова сейчас особенно дороги старику. Но он не поддается порыву. Хеннинг знает, что спорить бессмысленно, но он не должен молчать, если не хочет, чтобы все шло по-прежнему, чтобы и дальше была полуправда, расплывчатость и, прежде всего, несправедливость. Правда есть правда, право есть право.

— Благословение божье лишало горшка супа тех, у кого ничего не было,— говорит Хеннинг.

Адмирал взглядывает на него и резко вскидывает голову. Его голос звучит сурово.

— Не богохульствуй! Это к добру не приведет. Ты накличешь беду на наш дом!

Хеннинг сдвигает фуражку на затылок.

— Ложь... Ничего, кроме лжи. С благословения божья вы обворовывали других... И останься все по-вашему, так длилось бы вечно. Да, обворовывали, черт подери. Лишали горшка супа тех, кто надры-

вался на работе дни и ночи. Благословение божье — это были вы сами, и никто другой. Благословение божье... скажи лучше — ваша жадность.

Он снова берется за работу. Руки дрожат, он замечает это, но ничего не может с собой поделать. Здесь, в сарае, всегда так тихо, можно стоять и чинить невод. Еще несколько минут назад он и думать не думал, что придется сказать такие слова. Просто не думал. Он ждал чего-то совсем другого.

Адмирал поднимается, покряхтывая. И вдруг до них доносится голос матери: она поет. Приглушенные туманом и закрытой дверью, слышатся слова: «Коль мужчины не придут, угри все и уплывут». И еще раз, чтоб ее уж наверняка услышали: «Коль мужчины не при-и-и-дут, угри все и уплы-ы-ы-вут».

Адмирал стоит у двери, он уже взялся за ручку. Не поворачивая головы, произносит:

— Со своим отцом я никогда так не разговаривал. Никогда... А кто смеет так говорить со своим отцом, пусть поищет себе другой стол и кладет на него ноги.

«Вот и поищу»,— думает сын.

Дверь с треском захлопывается. Хеннинг слышит, как отец спускается с холма. Шаркающие шаги — и снова тишина.

На секунду Хеннинга охватывает недовольство собой. Собственно говоря, с неводом можно было подождать до весны. Ведь до наступления лета о ловле угрей нечего и думать. Но за починкой невода так хорошо размышлять.

Где же справедливость, если одни бригады ловят рыбу на хороших местах, а другие вынуждены работать на плохих? Все работают одинаково, когда ловят рыбу вершами, но не все получают одинаковое вознаграждение за свою работу. У одних хороший улов, у других плохой. А хорошие места для вершей — у кого они?

У нас все еще есть люди, которые ловят рыбу с благословения божья, почти так же как прежде. И все еще есть люди, которые с благословения божья остаются без рыбы... Никто у нас слова не скажет, что это несправедливо, думает Хеннинг. Мешает благословение божье. А нам его больше не нужно. Клаус Вуссов из шестой бригады заработал в прошлый месяц 150 марок, и жена спросила его, не лучше ли ему уйти в город старьевщиком.

Адмирал строит из себя невесть что и все толкует про милость божью. Послушал бы он хоть раз Клауса Вуссова. Скоро жизнь не в жизнь станет, если так будет и дальше. Что-то должно измениться, так продолжаться не может.

Все чаще одолевают Хеннинга такие мысли. Он высказывает их вслух, продумывает про себя, здесь, в этом старом сарае для сетей на острове Леннекен, расположенном в заливе. Они живут в глухой стороне — но справедливость шествует по земле. Для справедливости не существует глухой стороны. Она — как буря, она проносится повсюду, и над городами, где дымят заводские трубы, и над угольными шахтами, над горными ущельями и над побережьем, где шумит море. Справедливость вселяет уверенность в справедливых. Надо как-нибудь поговорить об этом с товарищами, думает Хеннинг Грабе.

Еще раз он спокойно перебирает невод пальцами, время от времени сильно дергает его, проверяя прочность хлопчатобумажного волокна.

Дверь открылась — он этого не заметил. Девушка давно стоит прислонившись к косяку, уперев ногу носком в землю, и теребит пальцами кончик темной косы.

— Может, мне лучше уйти? — спрашивает девушка.

Хеннинг оборачивается:

— Ты давно здесь?

Он смотрит в ее большие серые глаза. Они — как море в жаркие летние дни. Сейчас они сияют. У девушки узкое лицо. На ней темные брюки и толстый серый джемпер с круглым воротом. Она перебирает пальцами кончик косы. Девушка и Хеннинг глядят друг на друга и ничего не говорят. Долго глядят без смущения друг на друга и молчат. Лицо Хеннинга становится все серьезнее, тень печали легла на него. И девушка, которая только что смеялась, больше не смеется. Ее рука отпускает косу и медленно, очень медленно скользит вниз по бедру. Она светлым пятном выделяется на темных брюках.

В сарае стоит запах дегтя и сухих водорослей. Лампа насвистывает свою песенку, на залитом маслом полу горкой лежит старый невод, который только что чинил Хеннинг. У одной стены — новая белая сеть, на ней сидел Адмирал. Неужели это тот же сарай, где они каждый день работают, тот же запах, что и несколько минут назад?

Все изменилось. Стены отступили, свист лампы все тише и тише.

— Не смотри на меня так...— говорит девушка.

— Жила-была маленькая девочка,— говорит Хеннинг,— ее звали Бабс, и она всегда дурачилась, все время играла в куклы и ковыряла в носу...

— Неправда! Я никогда не ковыряла в носу!

— Она все время ковыряла в носу и показывала большим мальчикам язык, стоя в дверях своего дома, и большие мальчики не могли до нее добраться.

— А большие мальчики хватали девочку за косы, связывали их бечевкой и привязывали к колышку, вбитому в землю, а когда девочка плакала, долговязый верзила говорил: «Не плачь, старушка, ты должна блеять, как коза».

— Один раз только и было,— говорит Хеннинг.

— И одного достаточно,— отвечает Бербель.

Хеннинг Грабе стоит в старом сарае и смеется.

— Ну садись,— говорит он и быстро разбрасывает по полу невод, лежавший белой горкой у стены.

Девушка продолжает спокойно стоять у двери и снова теребит пальцами кончик косы.

— Нет, не хочу,— говорит она, и чары рассеиваются. На одну бесконечно длинную секунду он снова видит перед собой сарай для сетей. Сети — это опять всего-навсего сети, а старая бензиновая лампа — опять всего-навсего свистящая коптилка. Но потом девушка добавляет:

— Давай сперва пройдемся немного или посидим на воздухе. Я так давно не была здесь.

И вот снова сарай может быть чем угодно. Она сказала «сперва». Она не обращает в пепел то, что только сейчас горело ярким пламенем.

— Мы с тобой славно устроимся,— говорит Хеннинг.— Сядем у стены лицом к морю, вот здесь, под окном, и разопьем бутылку вина.

— А у тебя есть стаканы? — спрашивает девушка.

Хеннинг неодобрительно качает головой.

— Мне следовало бы захватить с собою шпагат и привязать тебя за косу к колышку. Ты бы еще спросила, есть ли у меня вино!

— Не будь у тебя вина, нам нечего было бы и пить. А пить вино без стаканов, из одной бутылки с тобой... ну, знаешь...

— Что «ну»? — спрашивает он и настороженно ждет ответа.

— Ну... так студенты целуют своих девушек,— отвечает Бербель и глядит на него.

— Вот дураки! — смеется Хеннинг и целует девушку, а девушка целует его, положив руку ему на плечо.

Теперь в сарае Адмирала совсем тихо. Хеннинг думает, что это он целует девушку. Мужчины всегда думают, что девушек целуют они. А в действительности целуют их. В действительности девушки целуют первые. Но что из того?

Целый час они бродят по острову, идут через дамбу к Холленбеку — там, как и повсюду на острове, стоит всего несколько хибарок. На обратном пути минуют свою деревню Вик и проходят лесом почти до Поггендорфа. В домах, под шапками камышовых кровель, уже горят лампы, но они замечают это, лишь когда подходят совсем близко. Окно сарая в Вике тоже освещено; в тумане, на вершине холма, оно похоже на большую звезду. Они идут дальше. Одежда отсырела, но когда их лица соприкасаются, Хеннинг чувствует горячие, мягкие губы девушки. Весь этот долгий путь они почти не разговаривают.

Потом действительно садятся под окном сарая, спиной к свету, и серый туман над ними — как свод собора. Освещена только каменная скамья да часть стены. Порою, когда они берут бутылку, чтобы отпить из нее, их тени вырисовываются яснее.

— Давно ты приехала? — спрашивает Хеннинг.

— Постой... три дня и несколько часов.

— Просто не верится... всего четыре дня и несколько часов назад ты была маленькой девочкой и еще ковыряла...

— Никогда! Скажи, что я никогда не ковыряла в носу, ну, скажи!

Он без конца повторяет за ней эти слова, а она каждый раз целует его в награду. Потом говорит:

— А все-таки я это делала, эх ты, дурачок!

Вино сладкое, оно привезено издалека, из Зибенбюргена, где горы по вечерам лиловые и где начальник станции дает сигнал к отправлению красной фуражкой, а не диском. Но что до того этим двум, сидящим здесь под куполом тумана. Мир стал для них совсем маленьким, для них не существует больше ничего, одна только эта каменная скамья, освещенное окно, пучки травы под ногами да они сами.

Хеннинг не думает больше об отце, выставившем его за дверь после разговора, который неизбежно должен был состояться. Слишком далеко все зашло. А Бербель забыла о девушках и юношах из интерната, где была несколько дней назад. Она забыла свой страх перед экзаменами и вопросы, которые ей задавали и которые казались такими важными. Здесь, рядом с ней, сидит Хеннинг Грабе, еще в прошлом году он дразнил ее, он, взрослый парень. Они пьют из бутылки хмельное вино, которое так приятно расслабляет тело.

— Удивительно, ну просто сказать нельзя, до чего удивительно... Когда ты родилась, я пошел в школу... Когда тебе исполнилось двенадцать, я уже закончил профессиональную школу... Я все время встречал тебя, и в этом не было ничего особенного... как будто видел отца или мать. А теперь ты сидишь со мной, и я люблю тебя. Ты сразу сравнялась со мной в летах, ни на день моложе, ни на день старше,— говорит Хеннинг.

— Я давно уже сравнялась с тобой в летах,— отвечает девушка,— только ты, дурачок, не замечал этого.— И, так как он смотрит на нее

удивленно и недоверчиво, добавляет: — Иначе я бы не поздравляла тебя с днем рождения... А ты так ни разу и не ответил.

Хеннинг смотрит себе под ноги и не отвечает. Смятение, охватившее его, передается девушке. Она хочет что-то спросить, берет его за руку, не понимает, в чем дело.

— Никогда не получал от тебя открыток,— говорит Хеннинг.— И хоть я, честно говоря, не ждал их, все же какое свинство...

Он делает большой глоток из бутылки. Бербель становится серьезной и внимательной.

— Адмирал? — спрашивает она, и за этим кроется еще один вопрос.

Хеннинг утвердительно кивает.

— Значит, просто перехватывал?..

— Это мелочь,— говорит Хеннинг.— Но какая тупость!

Они долго сидят молча. Исчезло легкое блаженство, рожденное вином, и неомраченная радость встречи тоже прошла.

— Значит, он по-прежнему считает, что все, исходящее из нашего дома, приносит несчастье вашему? — спрашивает девушка.

— Да, так он считает. Все, что исходит из дома Преппинга,— это яд и погибель для дома Грабе... И когда мой отец встречается с твоим, он прикрывает уши — боится, как бы твой старик не отрезал их.

— Вот сумасшедший-то, да?

— Совсем из ума выжил. На мой взгляд, он преувеличивает,— отвечает Хеннинг.

Девушка подобрала ноги с земли и болтает ими, держась руками за скамью.

— Мне кажется,— говорит она,— мой отец разумнее... Твоего отца он не очень-то любит, потому что тот часто смеется над ним. Мне очень хотелось бы знать, что, собственно, произошло между ними? Век живут рядом в нашей глуши и терпеть друг друга не могут. Просто не верится...

Хеннинг улыбается насмешливо и чуточку горько:

— Не всегда так было, когда-то они ладили между собой, а потом все кончилось... Ты говоришь, твой отец разумнее, а я думаю, это не так.

— Почему? — спрашивает девушка.— Я нахожу, что он вполне разумный человек. Правда, со странностями и иной раз строптивый, но в остальном...

Подумав с минуту, Хеннинг говорит:

— Такой же божьей милостью рыбак, что и Адмирал.

— Не понимаю,— говорит девушка.

Хеннинг поворачивает к ней лицо.

— Ты любишь своего отца?

Бербель не может сразу ответить и только пожимает плечами.

— Не знаю,— говорит она,— но он меня любит.

— Ну что ж, так и должно быть. А теперь я расскажу тебе одну историю.

И, так как он чувствует холодок и внезапную отчужденность, обнимает ее за плечи.

— На одном острове — там селились большей частью только рыбаки, вразброс по маленьким деревушкам — жил когда-то богатый рыбак по имени Преппинг. А рядом стоял дом бедного рыбака по имени Грабе. У обоих подрастали дети. К богатому рыбаку бог был милостив. Милость божья направляла его руку в горшки бедняков и даже в их плетяные шкафы. А у бедного рыбака был сын, который крепко дружил с сыном богатого... до того дня, пока бедный сын не подсмотрел у богатого, как рыбачат милостью божьей. И так как они были друзьями, богатый

сын помог бедному обойти первые подводные камни этого промысла. И вот постепенно богатевший сын рыбака Иоганнес Грабе стал с жиру беситься и в урочный час сказал богатому, Генриху Преппингу: «Я добьюсь в жизни большего, чем ты. А если не так, бери тогда мою жизнь». Богатый рассмеялся и сказал, что он не дьявол. Но пари состоялось. Это случилось под пьяную руку, еще много лет они оставались друзьями и работали с утра до ночи. Богатый рыбак Преппинг обворовывал бедных, и богатый рыбак Грабе обворовывал бедных, ибо благословение божье почило на них. Они захватили все хорошие места для вершей и зорко следили за тем, чтобы никто из бедняков не добрался до кормушки. Ибо божья милость была у них на откупе. Они все богатели и богатели. Только богатому рыбаку Грабе никак не удавалось догнать богатого рыбака Преппинга. Всегда Преппинг самую малость был впереди, и всегда другие рыбаки называли Преппинга Королем Леннекена. И это несмотря на то, что Грабе был старостой рыбаков и прижимал Преппинга, где только мог. Годы шли, богатство Преппинга было приобретено раньше и потому казалось прочнее... И так как они не умерли, то, к сожалению, живы еще по сей день.

Бербель долго молчит и потом говорит:

— Лучше б я никогда не посылала тебе открыток ко дню рождения... А конец твоей истории просто подлый.

Хеннинг встряхивает головой.

— Зато это правдивая история. А конец не надо понимать слишком буквально.

Они молчат и не глядят друг на друга. Мысли у обоих мрачные. Прошел тот счастливый час, когда им показалось, что они одно целое. Свод из тумана, скрывавший их, распался. С моря потянуло свежим ночным ветерком, туман пришел в движение. На какой-то миг от света горящей в сарае лампы в тумане заметались причудливые образы — и вот уже оба видят внизу воду.

Тополя, обступающие тропинку, шелестят свою ночную песню, у сходней поскрипывает «Журавль» — катер Адмирала. Чуть поодаль, у других сходней, стоит «Чайка» Короля. Два дома, два причала. А дети из этих домов сидят вместе на каменной скамье под стеной сарая. Они были заколдованы, теперь чары рассеялись. Ночь прохладна и обещает ветер.

— Я озябла,— говорит Бербель,— у нас не осталось больше вина?

Хеннинг, подняв бутылку, рассматривает ее при свете звезд.

— Пожалуй, по глотку еще хватит,— говорит он и подает ей бутылку.

Она взбалтывает вино и перед тем, как поднести бутылку ко рту, смотрит Хеннингу в глаза. Затем двумя большими глотками опорожняет бутылку.

— Мне хотелось бы хоть на малость всегда быть впереди тебя,— говорит она.

Но тут же прижимается к нему. В сущности, она несчастна — маленькая девочка, которой старший брат рассказал мрачную историю.

— Хочу домой,— говорит она и встает.

Хеннинг набивает трубку.

Они медленно спускаются с холма, идут мимо тополей. Их окружает аромат ночи.

Ему хочется проводить ее еще немного, до самого дома, но она говорит:

— Не надо, я дойду одна.

— И больше ни одного поцелуя?

— Так и быть, но только один.

Хеннинг смотрит ей вслед. Бербель идет быстро, напрямик через лужайку, открывает садовую калитку. Вот девушка — только темная тень в палисаднике. Слышен скрежет повернутого в замке ключа.

Хеннинг смотрит на дом напротив. Теперь это тоже лишь темная тень со светящимися окнами. Он закрывает глаза и чувствует внезапный прилив бодрости, перед ним встают образы и образы... Большие серые глаза Бербель, ее узкое лицо, ее рот, он вспоминает запах ее кожи. И вместе с мечтами в Хеннинге Грабе медленно поднимается волна счастья и радости.

«Просто не верится,— думает он.— Просто не верится».

II

Хеннинг Грабе получает взбучку и задумчиво говорит: «Действительно — чудесный день...»

Аугуст Бекман стоит на причале Адмирала и, опираясь локтями о сваю, угрюмо смотрит вдаль: утро поднимается во всем великолепии холодных красок. Солнце уже взошло, на востоке видны облака, окрашенные в желтые и оранжевые тона, а небо — как звонкий стеклянный купол, висящий над островом Леннекен. На западе в дымке тумана мягко вырисовываются очертания городских башен.

Но Аугуста Бекмана не трогает красота осени, нет у него чувства красоты, да и не в настроении он: ведь ждет уже целых полчаса, а никого еще нет.

Не проходит утра, чтобы Аугуст Бекман не ждал. Он всегда является на причал первым и всегда сердится, что там еще никого нет. Опершись о сваю, с трубкой в зубах, он стоит, непрерывно шевеля губами, так что трубка кочует из одного угла рта в другой. А когда досада становится нестерпимой, он бережно вынимает трубку изо рта и сплевывает в воду.

Заставлять человека так долго ждать! Этак все ноги себе отстоишь! Время ничего не стоит, время дешево — ведь это не их время. Нет, чтобы они когда-нибудь пришли пораньше — до этого он не доживет... Рыбаки, называется. Просто удивительно, как это угри еще попадают в их верши. Таких лентяев палкой надо гнать из постели... Очень-то мне нужно ждать их, голодранцев этаких. Очень нужно...

Никогда Аугусту не приходит на ум, что можно, не теряя времени, разжечь паяльную лампу и заняться приготовлениями к выходу в море. Не для того он пришел сюда на полчаса раньше. Он пришел сюда для того, чтобы побрюзжать, и ни за что на свете от этого не откажется. Пусть накануне вечером он хватил лишнего, пусть у него трещит башка и нервы натянуты, как струны на цитре,— все равно по утрам он будет стоять здесь и поджидать остальных. Будет ворчать себе под нос и считать себя правым. Ничего нет приятнее чувства собственной правоты.

Обычно Адмирал поднимается на борт последним. Эту привычку он сохранил еще с того времени, когда катер и сети принадлежали ему, а сам он имел честь именоваться рыбацким старостой. Но сегодня Адмирал явился раньше Хеннинга и Карла Дассова, он громко поздоровался с Аугустом, осторожно забрался в катер и тут же принялся разжигать паяльную лампу.

Август стоит у сваи с трубкой в руке и недоумевает. Адмирал первый на борту? И сразу взялся за лампу, а не за руль, как обычно,— ведь к его приходу мотор уже разогрет и пущен. Август резко встряхивает головой. И так как он питает к Адмиралу глубокую симпатию, то при появлении Хеннинга и Карла Дассова не ограничивается своим постоянным возгласом: «Давно пора!» — а, повернувшись к ним, говорит с мрачным видом:

— Постыдились бы, мальчишки этакие, приходите, когда вздумается, а Иоганнес делай все сам. Тут дьяволу впору взбеситься.

Голос Августа звучит глухо, лицо побагровело от возмущения.

Хеннинг, не говоря ни слова, спускается вниз. Карл Дассов, нисколько не смущаясь присутствием Адмирала, который с равнодушным видом стоит у рулевой рубки и, как кажется, ничего не слышит, глядит на Августа Бекмана и вдруг разражается хохотом, да таким громким, что его наверняка слышно на причале Короля Преппинга. Карл смеется много и охотно. Господи, чего только не бывает на белом свете! Он рассматривает Бекмана, словно диковинного зверя, говорит: «Вот умора!» И продолжает смеяться.

Август сплевывает в воду, что-то бормочет себе под нос и подымается на палубу. У нынешней молодежи нет уважения к старости, уж в этом можно не сомневаться. И Август продолжает ворчать:

— Был бы я на десять лет моложе, стеганул бы тебя концом.

Разговаривать с Августом Бекманом для Карла Дассова всегда удовольствие.

— Август, дружище,— посмеивается Карл,— будь ты на десять лет моложе меня, ты бы еще в школу ходил.

— Разве я так сказал? Я вовсе не хочу быть на десять лет моложе тебя, а только на десять лет моложе себя.

— Вот как,— смеется Карл Дассов.— Только на десять — маловато, ведь ты уже в пятьдесят был дедушка.

Тут в разговор вмешивается Адмирал. Засунув руки в карманы, он стоит у рулевой рубки. Они сидят перед ним на крыше моторного отделения.

Адмирал говорит, не глядя на них. Он смотрит на воду, и это придает вес и значительность его словам. Из рулевой рубки доносится шипение паяльной лампы, с помощью которой разогревают запальный шар двигателя.

— Было время,— начинает Адмирал,— когда многие так голодали, что от голода не могли спать. Но они не жаловались. Они были благодарны за каждое доброе слово, которым их утешали. А нынче парни больше не голодают и потому строптивы и непочтительны к старикам. Есть даже такие, что восстают против родных отцов и себе делают хуже. Да, есть. Вот я и говорю, что роду человеческому скоро конец. Сыновья идут против отцов и ничем не отличаются от тех, кто палит из пушек в небо и луну. Все они одинаковы.

Август Бекман энергично трясет головой.

— Да, Иоганнес, я тоже думал, что когда-нибудь луна разлетится на тысячу кусков и свалится нам на голову, а заодно на их кооператив, на их социализм, на всю их заводиловку.

Карл Дассов не в силах больше сдерживать смех. Он громко раскатисто хохочет и говорит: «Вот умора!», что может означать: «И я того же мнения» или «Совершенно правильно!» Адмиралу и Августу Бекману это не нравится. Они чувствуют, что этот молокосос попросту издевается над ними.

Аугуст Бекман не находит, что ответить, и только Адмирал замечает:

— Дураку все смешно.

Но тут с ревом заработал мотор, катер начинает дрожать, спокойная вода вокруг «Журавля» покрывается рябью. Карл встает, снимает со сваи носовую чалку, бежит на корму и делает там то же самое. Аугуст продолжает спокойно сидеть, Адмирал входит в рулевую рубку, включает сцепление, дает газ. «Журавль» начинает медленно разворачиваться носом к морю.

Они отплывают, чтобы «проветрить» верши — выбрать угрей, щук, плотвиц и окуней, угодивших в ловушку.

Карл Дассов снова садится рядом с Аугустом, раскуривает трубку, протягивает табакерку соседу. Из моторного отделения выходит Хеннинг и, пройдя мимо отца, торопливо подымается на палубу. Едва он успевает стать на корме и вытереть измазанные маслом руки, у причала Преппинга раздаются гудки и рев мотора. Хеннинг улыбается, машет рукой, и кто-то в голубом платочке машет в ответ. Карл Дассов тоже выходит на корму, становится рядом с Хеннингом и машет рукой, сам не зная кому. Но погляди, как радуется Хеннинг! Лишь что-то очень хорошее может так обрадовать человека.

Жаль, что Король на своей «Чайке» пока не догнал их, не то можно было бы махать еще и еще и, быть может, переговариваться через рупор. Но хорошего понемногу, даже здесь, на борту «Журавля». Катер отца Бербель отстает, а Адмирал прибавляет ходу, чтобы поскорее выйти из зоны несчастья. Ибо все, что идет оттуда, влечет за собой несчастье и погибель.

Адмирал у руля не хочет ничего замечать, но все же и он обернулся, когда прозвучал гудок, и сразу понял, в чем дело. Всеми своими помыслами он сосредоточился на этой надвигающейся опасности.

— Принцесса опять с ними? — спрашивает Хеннинга Аугуст Бекман.

При этом он зорко следит за выражением лица Хеннинга. Сын Адмирала отвечает не сразу.

— Принцессой она была тысячу лет назад, Аугуст, а вообще-то ее зовут Бербель.

— Ты любишь ее? — допытывается Аугуст.

Карл Дассов чувствует, как неприятен Хеннингу этот вопрос. «Наверно, Аугуст хочет стравить отца с сыном»,— думает он и говорит:

— Быть может, Хеннинг и любит ее, только она отдала свое сердце другому. Тоже рыбаку.

— Да неужто,— говорит Аугуст.— Ей ведь восемнадцать-девятнадцать, не больше.

— Девятнадцать лет и тридцать три дня,— наобум говорит Карл.

— И уже просватана? — удивляется Аугуст.

Карл кивает. Хеннинг не знает, куда заведет их этот разговор.

— Просватана — слишком сильно сказано, нет, этого я не говорю. Но что она, принцесса Бабс, влюблена, это точно.

— Так-так,— говорит Аугуст.

— Да-а, и уж такой мировой парень, скажу я тебе!

— Так-так.

Затем все трое надолго умолкают — курят трубки и думают о девушке на другом катере. Каждый на свой лад.

Наконец Карл говорит:

— А хочешь знать, кому она тайно отдала свое сердце?

— Конечно,— немедленно отзывается Аугуст.

— Конечно! — передразнивает Карл.— Аугусту Бекману.

И снова гремит его смех. Он смеется так громко, что почти перекрывает шум мотора. Хеннинг дружески хлопает Аугуста по плечу, но все напрасно — Аугуст Бекман любит сердиться!

В глубине души Хеннинг благодарен Карлу: кто же говорит со стариком о молодой любви?

«Журавль» медленно приближается к месту, где стоят верши. Остров уже превратился в тонкую полоску, окруженную серо-голубой водой. В кильватере время от времени вспыхивает отраженный солнечный луч.

— Твой отец,— говорит Аугуст,— тебе задаст...

Но Хеннинг больше не отвечает Бекману. Он смотрит, скоро ли догонит их катер Преппинга. Кое-где их верши и верши бригады Преппинга стоят совсем близко, может быть, посчастливится на ходу перекинуться словечком с Бербель. Сегодня она вышла в море вместе с отцом. Рыбная ловля ей нравится, а выйти в море для нее — радость.

Далеко за «Журавлем» на поверхности воды видна черная точка, все время на одинаковом расстоянии. Это «Чайка», катер Короля Преппинга. Сегодня это имеет значение — на борту катера находится девушка с большими серыми глазами, в голубом платочке.

Хеннинг тихо насвистывает себе под нос, и этого достаточно, чтобы Аугуст Бекман встал на дыбы. По старинным поверьям, свистеть во время рыбной ловли не полагается. Можно насвистать беду. Свист предупреждает угрей о верше или вызывает течь в лодке. Карл Дассов сращивает вместе два троса. Под стрекот мотора проходит час, показывается первая верша. Хеннинг и Карл подтягивают ялик, принайтовывают его, пересаживаются. Адмирал замедляет ход, последнюю часть пути Карл и Хеннинг идут на веслах. В тихой зеленоватой воде на отмели лежит верша, бугель — позади кошеля. Оба сразу видят: на этот раз им повезло. У Адмирала здесь всегда было хорошее место для вершей, хотя далеко не самое лучшее. Они снимают бугель, перебрасывают тяжелую мотню через борт, и рыба перетекает в мешок. Хеннинг снова привязывает бугель, затем они с трудом втаскивают мешок в лодку. Борт лодки ложится почти вровень с водой, и приходится немало попотеть, чтобы втащить в лодку улов.

— Килограммов сто семьдесят будет,— говорит Карл и подсчитывает про себя свою долю. Не так уж плохо — рыбачить с хорошей бригадой. Не то что в шестой и пятой. Там не приходится напрягать силы, там нечего бояться, что лодка опрокинется. И обходятся там без мешка, одним сачком — уловы-то жидкие, зачастую достаточно один раз перегнуться за борт — и дело с концом.

Угрей теперь повсюду стало меньше, это тоже верно. Сплошь и рядом в верше находишь одного-единственного угря, так, шнурочек от ботинка, да и тот не по кондиции, приходится отпускать. Вот как порою вознаграждается работа, расходы и затрата сил.

«Нет,— мелькает мысль у Карла Дассова,— не хотел бы я рыбачить с другой бригадой. Мало радости».

Хеннинг неторопливо выбирает сачком водоросли, попавшие в мешок. Он медлит — вот-вот должен подойти Преппинг.

Неподалеку от них шумит мотор «Журавля», катер стоит на глубоком месте. Карл Дассов разворачивает ялик так, как нужно Хеннингу. Но вот уже здесь действительно больше нечего делать. Адмирал кричит с катера: «Хватит копаться, давай на борт!».

Они гребут назад к «Журавлю». И только подняли мешок на палубу, вытряхнули рыбу в ящики для сортировки, только снова пересели

на катер — подходит на своей «Чайке» Преппинг. Они проходят мимо на расстоянии длины лодки. Хеннинг машет рукой, Бербель кричит в ответ: «Сегодня снова...» Дальше ничего разобрать нельзя. Адмирал дал газ, мотор заревел. Напрасно отец Бербель замедляет ход, напрасно девушка улыбается и снова что-то кричит. Ничего не слышно. Хеннинга внезапно охватывает ярость. Неужели сумасбродного Адмирала нельзя обуздать? Неужели самодурство и впредь будет торжествовать над разумом? Решение приходит мгновенно. Несколько прыжков — и Хеннинг в рубке. Адмирал стоит у штурвала. Он стоит и глядит прямо перед собой, его ничем не проймешь. Парень, как видно, спятил, он выключает сцепление, убирает газ. Слыханное ли дело? Бывало ли, чтобы кто-нибудь врывался сюда без спроса и сбавлял ход? Но Адмирал не успевает рта раскрыть, как парень снова выскакивает из рубки. А Преппинг, это исчадие ада, тоже сбавил ход.

Парень стоит на палубе, катера медленно сближаются. Нет больше отца, нет больше послушания, нет больше уважения к старости и опыту. Хеннинг стоит на палубе и болтает с преппинговым отродьем. Быть этого не должно, закон семьи — избегать всего, что исходит от Преппингов. Закон семьи нельзя нарушать, зло не должно восторжествовать!

Катера сошлись на расстояние вытянутой руки. Рокот моторов слился в единый гул. Но Адмирал как будто ничего не слышит. Мысли скачут у него в голове, словно издалека звучит голос Преппинга, его смех. И парень смеется вместе с ним.

Старика душит ненависть. Он вдруг понял, что́ сейчас произойдет. Он выскакивает из рубки, хватает веревочный конец и какими-то неловкими шагами подходит к сыну. Остановившись перед ним, кричит:

— Перелезай туда, негодяй!

Хеннинг давно успокоился. Он только что поговорил с девушкой, они посмеялись, потому что на его шутку она ответила: «Вот умора!» Карл Дассов тоже повторил свое излюбленное словечко. И вдруг появился Адмирал. Лицо его бледно. В правой руке обрывок каната, левой он хватается за горло. Он в упор глядит на парня, и нет никого, кто бы крикнул ему: «Эй, Адмирал, потише, все, что ты думаешь,— вздор!»

— Перелезай,— снова кричит он и заносит руку. Сейчас он ударит сгоряча, ни секунды не задумываясь над тем, что́ из этого выйдет.

И Хеннинг понимает: теперь уж ничего не поделаешь. Конец их добрым отношениям, конец доверию. Но все-таки при виде старика его охватывает жалость, так же внезапно, как раньше охватил гнев.

— Отец! — говорит Хеннинг.— Отец!..

Но Адмирал не хочет ничего слушать. Хватит! Он канатом ударяет Хеннинга по плечу и снова замахивается. Хеннинг хватает его за руку, но Адмирал другой рукой бьет сына по лицу.

— Перелезай, негодяй этакий! — хрипит он.

Карл Дассов хватает Адмирала своими сильными руками, оттаскивает в сторону, крепко держит его. Для Карла это пустяки, было время, в праздник он дубасил всех почем зря. А уж удержать беснующегося Адмирала у него и подавно хватит сил, хоть это выглядит не слишком красиво.

Тут все выглядит не очень красиво. Адмирал ругается и не может остановиться. Хеннинг стоит у поручней и, кусая губы, стирает с лица кровь.

Остальные молчат. Все стоят с серьезными лицами и едва дышат.

— Моя бригада — здесь,— говорит Хеннинг.— Мое место — здесь. Никто не может запросто приказать мне: «Перелезай!»

— Ты что, оглох? — кричит Адмирал.— Я пришибу тебя, как кролика, если ты останешься на борту. Перелезай!

Из рубки «Чайки» доносится резкий, хриплый голос Преппинга:

— Перелезай к нам, парень! А твоего отца сегодня вечером отправят в сумасшедший дом!

Хеннинг молчит.

— Вот умора! — говорит Карл Дассов.— Если Хеннинг уйдет, уйду и я!

— Нет, Карл,— говорит Хеннинг.— Вы трое должны остаться. Иначе вы не сможете проветривать верши.

Глухой рокот моторов разносится над водой, закладывает уши. Дрожь палубы передается всем предметам на борту. Где-то позвякивает металл.

Люди на «Чайке» стоят неподвижно. Один из них, Иохен Клют, отворачивается, качая головой.

Адмирал вырвался из рук Карла, снова стал перед Хеннингом и честит его почем зря. Раздумывать больше нечего, Хеннинг и так уже принял решение, но все еще медлит. Что будет, если он уйдет? Что станется со стариком? И он говорит:

— Отец, подумай... ведь не...

— Перелезай, говорят тебе! Перелезай, будь я проклят!

Хеннинг вскакивает на поручни — и вот он уже на другом катере. Он тут же поворачивается к отцу. Бербель стоит неподалеку. Ее глаза потемнели от волнения, руки засунуты в карманы. Она не сказала ни слова. Она и сейчас не сразу подходит к Хеннингу. Преппинг дает газ, мотор завывает, «Чайка» идет вперед. Хеннинг наблюдает, как отец возвращается в рубку, а Карл Дассов и Аугуст Бекман начинают сортировать рыбу.

Как будто ничего не произошло... «Теперь все кончено»,-- думает Хеннинг.

Он чувствует прикосновение руки Бербель. Она ничего не говорит, лишь слегка проводит рукой по его мокрой одежде.

— Я не виноват,— говорит Хеннинг,— но как глупо все получилось!

— Быть может, еще все уладится,— отвечает девушка.

Хеннинг Грабе смотрит вслед «Журавлю», с безнадежным видом хлопает себя по бедру и устало опускает руку.

— Мы оба этому не верим,— говорит он.— Теперь все пойдет по-другому.

Позднее, когда они осмотрели все верши, «Чайка» направляется в порт сдавать улов. Команда сортирует рыбу. На борту царит веселье, как всегда при хорошем улове. Иохен Клют захватил с собой бутылку водки — она заменяет ему завтрак и обед. Когда с работой покончено, он пускает бутылку по кругу.

Первым пьет Вернер Преппинг, сын Короля, брат Бербель. Ленивым движением он подносит бутылку ко рту и делает здоровенный глоток. Иохен Клют смеющимися глазами смотрит на него и говорит:

— Ты опять отхватил добрый кусок от моего завтрака, Вернер?

Вернер отрывается от бутылки и морщит свое мясистое лицо. Он не отвечает, только ухмыляется и передает бутылку Рихарду Хельтеру, «Рихардинчику», как его прозвали за необычайно тягучую, даже для Ленненкена слишком тягучую манеру говорить.

— Да-а-а,— басит Рихард.— Уж бо-о-ольно охотно он прикладывается к буты-ы-лке...

Слаженная, дружная команда. Они давно знают друг друга, не первый год ловят вместе. Вернер вырос среди них, они добродушно над ним

подшучивают, но это его не волнует. Его вообще мало что волнует. Стопка водки, сигара. Да еще работа под руководством отца, который все умеет лучше других. Иной раз кажется, что в глубине души Король презирает сына, которому не хватает энергии и смекалки. Но это презрение проявляется редко. Король не из тех людей, что стремятся изменить однажды установленное, когда его невозможно изменить. Пока оно не вредит ему, а, наоборот, приносит пользу, как этот рохля сын, Король не видит оснований для вмешательства.

Команда «Чайки» давно знает друг друга. Они рыбачили вместе еще до того, как был основан кооператив. Они пьют из одной бутылки, перебрасываются добродушными, незначительными словами. Уж конечно то, что они говорят сегодня, они говорят и слышат не впервые. Но что из того? Хороший улов, прекрасный день.

Залив лежит гладкий, как зеркало, островки облаков разбросаны по осеннему небу. Над головой оно синее, как аквамарин, а ближе к горизонту линялое, как старый платок.

Хеннинг и Бербель устроились в рубке у Преппинга. С той минуты как Хеннинг перебрался на «Чайку», никто из команды не говорит об инциденте. Все о нем думают, каждый по-своему, но вслух никто словом не обмолвился по поводу столь необычного и, в сущности, неприятного происшествия. Отец сцепился с сыном, чуть не дошло до смертоубийства. О таких вещах сразу не говорят. Все это нужно еще переварить. Бербель рассказывает о своих учителях, об экзаменах. Преппинг хриплым голосом повествует о своих школьных годах в Неттельмине на Леннекене, о старом учителе Клабунде — он был такой строгий в школе, а дома пикнуть не смел при жене. Отец и дочь смеются. Хеннинг сидит молча. Неотвязно думается о том, что произошло.

Внезапно Преппинг говорит:

— А что, Хеннинг, не пожить ли тебе у нас? Надо же тебе где-то пристроиться, пока Адмирал не образумится.

Бербель невольно краснеет и, так как она знает, что от отца это не ускользнет, говорит:

— Я тоже об этом думала... но что скажет мать?

Преппинг делает отрицательный жест. В его глазах светится чистейшее радушие.

— Об этом не беспокойтесь, не стоит и говорить, право не стоит.

Хеннинг Грабе смотрит на Бербель, он чувствует ее радостный испуг и, недолго думая, благодарит за участие, он согласен.

— Правильно, мой мальчик,— говорит Преппинг и через секунду добавляет:— Надо же покончить когда-нибудь со ссорой между Грабе и Преппингами.

Хеннинг кивает:

— Верно, надо, эта ссора, эта вечная грызня, вредит всем нам. Если мы не будем держаться друг за друга, многое из того, что мы сделали, развалится, и толку не будет.

— Верно, совершенно верно... Мы снова должны подать друг другу руки, мы, Преппинги и Грабе. Давно пора! — говорит Преппинг своим резким, с хрипотцой голосом. Его лицо серьезно, он знает, что говорит.

— Не только Преппинги и Грабе,— замечает Хеннинг,— объединиться должны все.

Преппинг кивает:

— Все... все хорошие рыбаки. Иначе нас со временем раздавят. Нынче следует держаться вместе, не то все, что мы сделали, развалится, как ты говоришь. И весь наш труд пойдет насмарку.

Хеннинг не отвечает.

Только что он испытывал к Королю дружеское чувство, был полон благодарности к нему. А теперь оказалось, что за всем этим нет ничего, кроме кучки навоза, за всем этим — все тот же старый волчий закон, по которому они оба — Адмирал и Король — жили всю свою жизнь. И этот старый волчий закон стремится сохранить свою силу, так как на протяжении целой человеческой жизни господствовал закон собственного «я», делавший их сильными и хитрыми, обогащавший их и помогавший им набивать свое брюхо, свои кладовки и лари.

«Это тебе следовало бы перелезть к Адмиралу»,— думает Хеннинг.

Проходит немало времени, и Преппинг подтверждает вновь:

— Мы должны действовать сообща — мы, хорошие рыбаки.

Хеннинг больше не слушает его. Он поворачивает голову к Бербель. Она глядит ему прямо в лицо. В ее серых глазах — ясность и радость, что они вместе, что сегодня такой чудесный день. Но затем в них появляется неуверенность и настороженность, потому что лицо Хеннинга приобрело испытующее, ищущее выражение. Что с ним, что его мучает, уж не обидела ли она его?.. Но, кажется, она поняла его. Этим утром говорились слова, много слов, хороших и плохих. Она-то обрадовалась, что он здесь, с нею на катере. А слова были не нужны — слова, сказанные другими. Вот почему у него такое испытующее выражение. «Я в этом не виновата, конечно, нет»,— думает она.

— Дурачок,— шепчет Бербель,— не ищи там, где ничего нет.

А глаза ее говорят: «Ты будешь жить у нас, мы будем есть за одним столом. Будем приходить ко мне, когда захотим, сможем быть вместе в любое время. Ничто нам не помешает, мы будем наедине». И Хеннинг улыбается про себя.

Старый Преппинг не таков, чтобы мешать в подобные минуты. У него даже не появляется задних мыслей, когда он замечает, что дело между ними серьезное. Он лишь думает: «Не слишком ли она молода?» Но тут же вспоминает, что и сам он женился рано, и тихо радуется. «Вся в меня»,— думает он с отцовской гордостью. В этот миг, когда он принимает тайное участие в счастье молодых людей, он таков, каким был когда-то.

Эта секунда тянется только для влюбленных, для Короля она пролетает мгновенно. Он возвращается к действительности, начинает строить планы. В голове возникают картины будущего. Он привык рисовать себе будущее, чтобы позднее со свойственной ему энергией претворять его в действительность. Король Преппинг представляет себе радостные картины, на свой лад, в своем вкусе.

«Чайка» приближается к городу. С обеих сторон подступают берега, уже ясно виден мол. Город лежит под сверкающим небом, словно страница из книжки с цветными картинками. С верфи доносится рев пароходной сирены, дым из труб столбом поднимается вверх, сливается с легким туманом и тает в небе. На воде блестят радужные разводы нефти.

Король направляет катер в обход мола и берет курс к причалу. Четыре или пять лодок с Леннекена уже ждут здесь разгрузки. В путину каждый день приходится простаивать не один час, так как причал старый и не может обеспечить быструю выгрузку. Здесь же разгружаются океанские пароходы, они занимают много места, и мелким судам прямотаки деться некуда. Хеннинг знает, какое раздражение это вызывает в кооперативе. Среди катеров с Леннекена стоит и «Журавль». Но бригада Адмирала уже разгрузилась, и катер отваливает, как только Король сбавляет ход.

Бербель кивает Карлу Дассову, кричит:

— Сколько, Карл?

— Одиннадцать центнеров,— отзывается тот.

Его смех долетает даже сюда. Он весело размахивает фуражкой. Адмирал за рулем глядит прямо перед собой, рядом неподвижно сидит Август Бекман.

Катера проходят один мимо другого, отец и сын держат себя как чужие. Там, у руля, стоит отец, здесь, на корме, стоит сын, но они как будто в жизни не встречались.

Хеннинг смотрит с кормы, как катер отца медленно уплывает в теплый осенний день. И внезапно ему становится ясно: Адмирал прогнал его не только потому, что Король якобы должен принести им несчастье. Адмирал боится, как бы ему действительно не доказали, что дело его плохо. Хеннинг чувствует: разрыв с отцом — это не конец, а начало большой борьбы. Весь Леннекен будет участвовать в этой битве между справедливостью и несправедливостью. И он думает: «Хорошо, что я буду жить по соседству... Адмирал на этом не успокоится...»

— Не погулять ли нам по городу? — говорит Бербель за спиной у Хеннинга.

Он оборачивается:

— Я хочу поцеловать тебя, Бабс, а если ты со мной, таким грязнулей, согласна идти в город, я хочу поцеловать тебя еще раз.

— Вот как,— смеется девушка,— ну и поцелуй меня дважды.— И, прежде чем Хеннинг успевает опомниться, целует его.

— Неужто ты совсем не боишься, что могут сказать люди, Бабс?

— Нет,— говорит девушка,— я вообще ничего не боюсь, ничего. Посмотри, какой чудесный день!

— Действительно, чудесный день,— задумчиво говорит Хеннинг.

Попасть из тишины Леннекена в суматоху городской жизни — для Хеннинга всегда событие. Он никогда не признался бы в том, как атмосфера этого города, его площади и магазины, его церкви, его краски — как все это волнует его. Он не смог бы объяснить, почему его охватывает здесь какое-то странное беспокойство, которое бодрит и наполняет жаждой деятельности и событий. В стенах города покоятся столетия.

Хеннинг ничего не говорит об этом девушке, он сам едва отдает себе в этот отчет. Его взгляд блуждает по массивным дверям и крошечным окошечкам, по булыжной мостовой. На него производят впечатление благородная красота ратуши и давящая готика церквей, молодая женщина, переходящая площадь, спор торговки овощами с придирчивой покупательницей, громкий разговор двух мужчин на нижненемецком диалекте, пронзительный скрежет трамвая и гудок автомобиля. Но все это скользит по поверхности сознания. Рядом с ним девушка в голубом платке. Ее уверенный шаг — это его шаг, оба они — Хеннинг и Бербель — идут в одном ритме. Его резиновые сапоги глухо стучат по мостовой. Хеннинг видит, что девушка ничуть не смущается, когда их разглядывают; он в серой спецовке, в тяжелых сапогах, она — стройная и высокая, в тапочках, темных брюках и широкой серой куртке из домотканой материи. И он не нарадуется чудесному дню и красоте девушки. Он дотрагивается до ее руки, и она улыбается ему.

Бербель не может устоять перед соблазном зайти в магазин самообслуживания. Она берет у входа корзинку, другую сует в руки Хеннингу. «Только пройдемся разок»,— говорит она. И они переходят от стойки к стойке, корзины наполняются как бы помимо их воли. Еще только это, и это, и это. Затем они выходят из магазина, нагруженные большими пакетами: тут вино и хлеб, лапша и шоколад, сардины и конфеты, сгу-

щенное молоко и сигареты. Бербель раскраснелась. Она смотрит на вывеску магазина и говорит:

— Следовало бы назвать не магазином самообслуживания, а магазином самообладания.

Хеннинг смеется:

— Надо купить еще что-нибудь. Только что-нибудь такое, что напоминало бы нам о сегодняшнем дне. Не из съестного, понимаешь?

Бербель кивает.

— Но что именно? — спрашивает она и оглядывается.— Может быть, кастрюлю, или грабли, или...

Хеннинг машет на нее руками:

— Скажи еще: сковородку или домашнюю туфлю.

— Дурачок, туфли по одной не продаются,— говорит она.— И туфли у меня есть... Уж мой будущий супруг... сумел бы что-нибудь присмотреть...

— Я думаю! Только желаю тебе такого мужа, которому не понадобятся домашние туфли,— говорит Хеннинг и размышляет, что бы купить такое, что напоминало бы им о сегодняшнем дне, пока они любят, пока они вместе, и еще чуточку подольше.

Он останавливается перед ювелирным магазином. Долго стоит у витрины и раздумывает. Девушка говорит:

— Если даже я захочу когда-нибудь выйти замуж и народить кучу детей, то уж за тебя я не выйду, ты слишком долго раздумываешь, сколько будут стоить кольца.

Слово обронено, оно брошено в шутку, легко и бездумно. Но шутливое слово с серьезной подоплекой редко говорится впустую.

— Жениться? — говорит Хеннинг, растягивая слово, будто слышит его впервые.

Девушка уже отвернулась и прошла дальше. «Неужто мы такие взрослые,— думает Хеннинг,— что уже можем задумываться над подобными вещами? Неужто мы должны жениться?» И перед ним проходит жизнь его родителей, совместная жизнь многих стариков на Леннекене. В этот момент он почти готов поверить, что брак — нестоящее дело. Он наблюдал это сотни раз: жены ждут дома мужей, ухаживают за мужьями и за скотиной, а потом и за детьми. Их жизнь протекает в таком однообразии, что либо у них появляются заскоки и странности, либо они становятся под конец жизни сварливыми брюзгами. «Неужели то же самое ждет Бабс и меня?» — думает Хеннинг, берет Бербель за руку и идет дальше. Часы на церковной башне отбивают пять гулких ударов. Могучие звуки густыми плотными волнами плывут над толпой. Над ними спускается вечер, ранний вечер в удивительно пестром городе. Все краски приобретают красноватый оттенок. Желтые вагоны трамвая становятся еще желтее, стены церкви темнеют, скатерти на столиках в кафе кажутся белее прежнего.

Они пробираются сквозь толпу женщин, покупающих продукты к ужину, среди мужчин, делающих покупки на более длительный срок,— большинство из них приехало в город издалека, по делам и за покупками.

— Ты не должна думать, что, может, когда-нибудь мы поженимся, Бабс,— говорит Хеннинг.— Мы не должны об этом думать. И колец мы не будем покупать. Рыбаки не носят колец, они только мешают при работе, а женщины...

— Да замолчишь ты, наконец? — говорит Бербель.— Уж если я захочу выйти за тебя замуж, так оно и будет. А захочу, будут и кольца.— И она смеется звонко и весело, от всей души. Нет, с ней просто невоз

можно говорить разумно. Но она тут же серьезно добавляет: — Только я не хочу выходить сейчас замуж, Хеннинг. Так что пусть это тебя не волнует.

Хеннинг с минуту раздумывает, потом говорит:

— А, собственно, ты меня любишь, Бабс?

— Люблю ли я тебя? Нет, не люблю, ни капельки... Ты не такой, как все парни, которых я знала в школе, и не такой, как все, кого я еще узнаю, потому-то я тебя и не люблю ни капельки, ни вот столечко...— Она показывает кончик пальца и смотрит на Хеннинга.

— Откуда тебе знать, что я не такой, как все, кого ты еще узнаешь? — спрашивает Хеннинг.

Они ведут этот разговор в светлом городе, в яркий предвечерний час, среди толпы. Для них существует только сегодняшний день, вчера, нет и даже завтра нет, есть только сегодня.

Хеннинг покупает Бербель узкий золотой браслет и по-юношески смущается, когда она нежно благодарит его на наречии своей родины. «Дурачок мой милый, я тебе так благодарна». Он обнимает девушку за плечи и чувствует, что все это у него гораздо серьезнее, чем он предполагал.

III

Рундук Брюммера-миллионщика. Двое спорят, так как плотский грех входит в дом

Как многие дома на Леннекене, дома в Вике крыты камышом. На белые стены, которые каждый год белят заново, нахлобучена толстая теплая шапка из камыша, отделанная зеленым мехом — накрапами бархатисто мягкого мха. Высоко вздымаются крыши над приземистыми стенами. Пусть жилые комнаты низки и тесны, зато на чердаке найдется место для всего: для дров и сетей, для бугелей и стоек к вершам, для ящиков и ларей, для парусов к лодкам. Под балками, обвитыми паутиной, старый хлам фантастическим образом уживается с полезными вещами. В детстве у Хеннинга в этом запыленном мире были свои тайники, отсюда он брал материал для разных поделок и изобретений.

Он долго роется в старье. Свет карманного электрического фонарика порождает вокруг таинственные пляшущие тени и фигуры. Он роется долго, пока не находит старый рундук, некогда принадлежавший моряку Кнуту Брюммеру — Брюммеру-миллионщику, как его прозвали на Леннекене. Хеннинг обтирает рукавом старый, обитый железом, на редкость прочный ящик, читает на крышке фамилию «Брюммер», открывает рундук и переворачивает. Из него вываливается куча старых календарей, заплесневелых книг, бантов и рюшей бабушкиных времен. Но Хеннинга это не интересует. Он взваливает на плечи рундук и медленно спускается по скрипучей лестнице. История Брюммера свежа в его памяти, он вспомнил ее, как только прочел фамилию на крышке. Она вдруг живо встала перед ним во всех подробностях. Когда внизу, в своей каморке, Хеннинг начинает укладывать в рундук свои вещи, ему вспоминается тот день: Адмирал стоит в дверях, здесь же, в этой каморке, и наблюдает, как Брюммер-миллионщик собирает свои пожитки. Адмирал молчит, а Брюммер угрожает и проклинает его на чем свет стоит. Он повертывается к Адмиралу, переводит дух и говорит: «Тьфу! Ничего ты от меня не получишь, ни одного пфеннига, Адмирал Грабе!

Мои миллионы не про тебя. Теперь я это вижу». Тут Брюммер снова принимается укладывать свои вещи; он снимает со стены удивительные морские раковины и кривой турецкий кинжал, заворачивает кинжал в старые серые кальсоны, а затем опять обращается к Адмиралу: «Можешь убираться, я лишаю тебя наследства». Адмирал стоит в дверях и лишь презрительно машет рукой. Его сон о миллионном наследстве развеялся, как дым. Разве не потешался весь остров над Адмиралом, который хотел во что бы то ни стало унаследовать миллионы Брюммера? Эти миллионы, числом тридцать шесть, хранились в Швеции, в подвалах, под личным королевским надзором, перевести их в Германию запретил тогдашний великогерманский рейх. Вернувшись на родину, на Леннекен, Брюммер получил в Швеции наследство в тридцать шесть миллионов. Хеннинг Грабе был тогда еще совсем малыш, и у него сердце кровью обливалось: ведь уплывало сказочное богатство Брюммера, мечты его детства. Маленький мальчик стоял рядом с Адмиралом у косяка и не мог понять, что творится в этом мире. Дядя Кнут ругался с отцом, отец был озлоблен, а ведь они были как братья весь тот год, что Брюммер прожил у них. Со своей женой Адмирал разговаривал мало, редко бывал с нею ласков, но уж с дядей Кнутом всегда был приветлив.

Ребенок не мог понять, что рыбацкий староста должен дорожить своей репутацией. На Леннекене никто больше не верил в эти миллионы. Адмирал приютил Брюммера у себя в доме, принял его в артель, установил ему пай в улове. Из артели Адмирал его не гнал, не такой он все же человек, тем более что Брюммер работал усердно и добросовестно и никогда не имел собственного мнения. Но проверки, предпринятой задним числом с целью установить, соответствует ли действительности то, что рассказывал Брюммер о своих богатствах,— этой проверки он так и не выдержал. Поскольку оказалось, что со стороны Германской империи нет никакого запрета на перевод денег в Германию, можно было с полным основанием заключить, что миллионы Кнута Брюммера существуют лишь в его воображении. Намеки Брюммера, будто это государственная тайна, успеха у Адмирала не имели. Дошло до разрыва. Брюммер был вынужден съехать, как съезжает сегодня Хеннинг. Надежды Адмирала лопнули, и Брюммер мог убираться. В доме Адмирала Брюммер оставил один из своих рундуков, а в сердце Хеннинга — крепкое чувство уважения и дружбы.

Даже теперь, уже взрослым человеком, Хеннинг сохранил свою симпатию к Брюммеру, который переехал в Неттельмин, заново отстроил свой полуразвалившийся дом и сейчас работает в кооперативе. Его тридцать шесть миллионов не пропали. На них нарастали проценты и проценты на проценты, они превратились в солидную сумму — сорок восемь миллионов. Хеннинг, как и большинство рыбаков, не видит в этой химере ничего удивительного. Все знают, что Брюммер твердо верит в свои миллионы и никогда бы не усомнился в их существовании. И Хеннинг понимает, что выдуманные миллионы Кнута Брюммера — это не что иное, как наследие прошлого, когда достоинство человека определялось его состоянием, талерами, которыми он располагал.

Хеннинг тихо посмеивается про себя. Он набивает рундук книгами — всеми своими книгами, которые он так любит.

Придется, пожалуй, прийти сюда несколько раз, но у него хоть над душой никто не стоит, как было в свое время с Брюммером.

Адмирал сидит у окна и предается осенним мечтаниям. Этого часа он не отдаст никому.

В каморку Хеннинга заглядывает мать. Скрестив руки на животе, она долго стоит молча. Хеннинг укладывает свои вещи, готовясь покинуть

дом, в котором родился и вырос. Был день, был час, были слова. Были мысли и время. Были радости и печали, была работа. Здесь был мир книг и мечтаний. Но время текло. Отрезок жизни закончился, назрели перемены. Хеннинг не испытывает печали. По его движениям видно, что он хочет поскорее со всем покончить. Он не спрашивает, имеет ли то новое, что его ждет, смысл и цель. Он чувствует только свою силу и мужество, знает только, что больше не может оставаться здесь после ссоры и всех этих дрязг, которые начались отнюдь не сегодня. Вот уже много лет Хеннинг живет своей жизнью, как живут своей жизнью отец и мать, женщина со странностями, третья в семье. Ничто, кроме привычки, не связывает их. А в Хеннинге с годами созрело много нового.

Мать говорит:

— На мой взгляд, нет хуже двух мужчин, когда они вместе. Один непременно ездит верхом на другом, как на упрямом осле.

Она говорит это без горечи, с обычным добродушием и спокойствием, с обычной улыбкой, которую она усвоила с годами. И, к месту или не к месту, как всегда заканчивает поговоркой: «Дурная голова ногам покоя не дает». При этом лицо ее остается приветливым и безмятежным. Хеннинг поднимает голову и смотрит матери в глаза, эти всегда такие спокойные глаза; в них нет и тени неискренности или коварства, хотя порой появляется странный безумный огонек, пугающий Хеннинга. Тогда в них открывается то, что еще живет в этой женщине, в них отражаются беспокойство и мука, которые трудно объяснить. В такие минуты в Хеннинге вспыхивают сострадание и страх. Он давно знает, что в душе матери нет равновесия. И она вовсе не такая спокойная и приветливая, какой кажется изо дня в день. Правда, все это ни разу еще не проявлялось открыто, но Хеннинг знает, что это так.

— Да,— кивает она.— Мой мальчик уходит. А когда двое дерутся — третий радуется.— И она улыбается.

— Почему ты смеешься? Ты рада? — спрашивает Хеннинг, продолжая укладываться. Он не понимает, к чему она клонит. Подобные разговоры вот уже несколько лет — не новость в доме. За словами редко стоит недосказанное, понимание редко устанавливается помимо слов.

Мать долго молчит. Задумчиво смотрит перед собой, седые волосы мелкими прядями спадают на лицо, руки сложены на животе.

— Любите врагов ваших, говорится в библии. А я все-таки радуюсь.

Хеннинг не понимает, что она хочет сказать. Он слишком привык к ее странным речам. Оглядывая комнату, он замечает на стене над кроватью гравюру, изображающую расстрел мятежников. Хеннинг снимает ее с гвоздя и кладет на рундук.

Вдруг мать говорит:

— Так легко это ему не пройдет. Он за это дорого заплатит.

В ее голосе столько суровости, что Хеннинг оборачивается, удивленный и испуганный.

— Да, мой мальчик, это Иоганнесу даром не пройдет. Не так-то легко он с этим справится,— говорит Анна Грабе.

Вот он, этот безумный огонек в ее глазах, он разгорается, она смотрит на Хеннинга сверкающими глазами и добавляет:

— Гордыня предшествует падению. Всегда.— И огонек в ее глазах гаснет.

Какой странный час. На борту «Журавля» прозвучали жестокие слова, вспыхнули гнев и ненависть. Слова сказаны. Ветер унес их, но суть осталась. И здесь, в каморке, их отзвук слышен в словах матери, в ее суровости.

— И ты рада этому? — спрашивает Хеннинг.

Анна Грабе качает головой, вновь улыбается приветливо, с неподдельной теплотой.

— Что значит — рада, мой мальчик,— говорит она нерешительно.— Радуйтесь в господе вездесущем...

«Да, самое время убраться отсюда,— размышляет Хеннинг.— Самодурство и эгоизм — с одной стороны, безумие — с другой. Мать жалко, но послушаешь ее — ум за разум заходит». И Хеннинг с горечью думает об Адмирале: ведь было время — Хеннинг хорошо его помнит,— когда у матери ничего подобного не было. Он понимает: в своем безумии она нашла опору.

Еще мгновение Хеннинг задумавшись стоит над рундуком, затем захлопывает крышку, взваливает его на плечо и нагнувшись проходит в дверь.

Уже в сенях он слышит, как мать говорит: «Когда его не будет дома, навещай меня, мой мальчик». Она произносит это почти шепотом. Хеннинг слышит мольбу в ее словах. «Конечно, я буду ее навещать»,— думает он, но ничего не говорит. Пошатываясь под своей ношей, он выходит из дому. Рундук тяжело давит на плечо.

Хеннинг Грабе переезжает. Он покидает дом, в котором вырос. Он уходит без сожаления. Все свершается в свое время, все переживает подъем и упадок. Ничто не стоит на месте, ничто не остается неизменным. И если нет у него ложных иллюзий относительно того, что будет теперь, он понимает: в доме Грабе для него нет больше места. Детские годы прошли — первые чудесные, робкие шаги по земле, по необъятной земле. Всегда простиралось широкое небо над этим краем, всегда по ночам сверкали звезды, и ветер проносился над полями, дорогами и крышами, над кустами и деревьями. Все было тайной. Разъезженная ухабистая дорога, терявшаяся в полях, словно лента, опоясывала землю и сулила неисчислимые приключения. Отец сажал деревья, юные побеги росли под надежной защитой, и это было чудесно. Деревья подрастали.

В один прекрасный день в их доме поселился Кнут Брюммер. У него в рундуке оказались книги о морских путешествиях, необыкновенных приключениях. Мир расширился и вместе с тем стал меньше. Леннекен делался безымянным островом, одним из рифов Тихого океана, населенным опасными насекомыми и дикими животными. Отовсюду грозила опасность. Достаточно было взять книгу в руки, и опасности удваивались. Случалось, Уильям Текс-Хеннинг со своим скорострельным кольтом, на кляче, которая только с виду казалась клячей, на деле же могла померяться силой и быстротой с любым мустангом, гнался за бандитом и даже, оплошав, бывал убит, а случалось, Уильям Текс-Хеннинг могуществом Адмирала превращался в жалкое, хныкающее, несчастное существо: чтение запрещалось. Ничто не каралось строже, чем чтение. Только в убежище на чердаке, только под камышовой крышей Хеннинг Грабе ненадолго мог становиться Уильямом Текс-Хеннингом, старым Шэттерхэнд-Хеннингом, Синдбадом-Хеннингом, Робинзоном-Хеннингом.

Но опасности оставались. Даже тогда, когда Кнут Брюммер был изгнан из рая, куда он попал благодаря своему воображению и алчности Адмирала,— даже тогда оставалась опасность, имя которой было Адмирал. Внешне Анна Грабе не вмешивалась в ссоры отца с сыном. Она не возражала против того, чтобы сын читал, как вообще не возражала против всего, что он делал. Но она не вмешивалась и тогда, когда

Адмирал спускал с мальчика штанишки, чтобы выбить из него дурь, которой он мог набраться только из книг. Во всяком случае, по ней не видно было, огорчает это ее или нет. Понадобились годы, чтобы Адмирал привык к этой дури.

Книги для Хеннинга давно стали необходимостью, как хлеб и вода. Каждый вечер проводил он, уткнувшись носом в книгу. Долгое время его привлекал в книгах только чужой мир, чужая жизнь, потому что мир Леннекена и жизнь на нем казались слишком уж знакомыми. Затем все стало иначе.

Время от времени Адмирал делал попытки отучить мальчика от чтения, от всей этой «галиматьи», но безуспешно. Хеннинг унаследовал упрямство отца. Придирки Адмирала привели лишь к тому, что у Хеннинга появилось желание сопоставить прочитанное с действительностью. Бессистемное чтение прекратилось. С каждым годом Хеннингу становилось все яснее, что книги должны помогать, должны объяснять противоречия, которыми, куда ни посмотришь, была полна жизнь.

Потом — годы учения в профессиональной школе на Дарсе, хороший учитель, оказавший на него большое влияние. Хеннинг не забудет того дня, когда он впервые вошел в класс старого Хейдмана и прослушал первый урок истории. Старик, проживший тяжелую жизнь, преподавал всегда историю так, словно рассказывал о захватывающих событиях собственной жизни. Случалось, Хеннинг и еще несколько мальчиков собирались вечером у Хейдмана, читали какую-нибудь книгу, обсуждали события дня. Немало таких вечеров провел Хейдман со своими учениками.

Когда Хеннинг Грабе вернулся на Леннекен, многое из того, что раньше вызывало в нем лишь смутное чувство неудовлетворенности, стало ему понятным. Места для вершей были распределены несправедливо, и тут выяснилось, как далеко разошлись их жизненные пути. Одни ловили в отведенных им местах столько рыбы, что при своих заработках могли позволить себе все, решительно все. Другие же, кто остался без мест или получил плохие места, работали не меньше, но жили плохо. Первым заговорил о необходимости создать кооператив Бернгард Калла. И Хеннинг примкнул к тем, кто стоял за справедливую жизнь. При основании кооператива они сделали все возможное, чтобы добиться равенства.

После создания кооператива Преппинг прокаркал: «Во всяком случае, мы снова сумели предотвратить самое худшее!» Что бы это могло значить?

Про себя Хеннинг Грабе подумал: «На этом мы не остановимся. Это только начало».

Сегодня он покидает дом Адмирала, ни о чем не жалея, испытывая тайную, скрытую радость от того, что будет жить под одной крышей с Бербель. Хеннинг переносит свои вещи в дом Преппинга и знает, что отец, сидя у окна, наблюдает за ним. В дом злейшего врага уходит жить его сын. Он плохо кончит. А ведь еще можно было отвести беду...

Когда Хеннинг в третий раз приходит за вещами, в каморке ничего не остается. Переезд закончен. Он покидает дом, мать провожает его до порога. Она молчит, но Хеннинг чувствует скрытое беспокойство, исходящее от нее. Сделав несколько шагов, он оборачивается и говорит:

— Ведь не на тот же свет я отправляюсь, мама.

Она негромко напевает песню, старую народную песню: «Любит Мюллер путешествовать». И Хеннинг еще раз удивляется, какой странной жизнью живет его мать.

Жена Короля — худая, долговязая женщина. Держится она прямо, хотя плечи ее слегка сутулятся. Лицо у нее длинное, щеки впалые. Над низким, широким лбом — густые черные вьющиеся волосы. Узкий, словно обрубленный нос со вздернутым кончиком и тонкие губы выдают любопытство и нетерпимость. Но выделяются на этом лице глаза, темные, с лихорадочным блеском. Фридерике Преппинг слывет самой набожной женщиной на Леннекене.

Хеннинг в отведенной ему комнате раскладывает вещи и книги по шкафам и ящикам. Он не спешит — теперь, когда переезд состоялся, необычность совершающегося все же оказывает свое действие. Он вдруг чувствует, хотя и не особенно отдает себе в этом отчет, какую-то неуверенность и скованность. Рассеянно листает книгу, прочитывает несколько строк, не вникая в смысл, бросает ее и начинает как попало запихивать белье в ящик. В движениях Хеннинга есть что-то выжидающее и напряженное. Он раскладывает вещи неумело и равнодушно, не думая о том, что делает. Сняв со стены отвратительную цветную гравюру, изображающую мельницу на фоне высоких, до неба, белых гор, он вешает на ее место «Расстрел мятежников» — картину, которую особенно любит, ибо мятежники выглядят на ней более мужественными, чем палачи. Хеннинг стоит с картиной «Мельница и горы» в руках, не зная, куда деть ее. Он стоит неподвижно, вокруг него тишина старого дома. И вдруг слышит шаги на чердачной лестнице. На мгновение ему кажется, что кто-то идет сюда. Но шаги удаляются по направлению к другой мансардной комнате, где живет Бербель. Хеннинг слышит скрип дверных петель и узнает голос фрау Преппинг. На весь темный просторный чердак звучит из комнаты Бербель этот голос, громкий и ворчливый.

— Твой отец зашел слишком далеко. Неужели ты полагаешь, доченька, что я это потерплю!

— Я полагаю, прежде всего надо закрыть двери,— отвечает Бербель.

Снова скрип дверных петель — и воцаряется тишина. Хеннинг стоит, погруженный в свои мысли, обдумывая создавшееся положение. Он совершенно не обратил внимания, что, когда впервые пришел сюда со своим рундуком, никто из семьи Преппингов, кроме Бербель, не встретил его. Бербель провела его в комнату, застелила постель и была такой же, как несколько часов назад. Оба еще находились под впечатлением поездки в город, и казалось вполне естественным, что Бербель ушла затем по своим делам. Теперь же Хеннингу кажется, что она была чем-то обеспокоена. Он прислушивается. Просторный чердак поглощает слова, которые произносятся в комнате напротив. Он садится на кровать, в его больших руках книга. И он не может противиться усталости и чувству какой-то безнадежности, внезапно охватившей его. Ему кажется, что он один, совсем один на свете. Мысли скачут. Он думает о матери, о ее впустую прожитой жизни возле Адмирала. Он думает об Адмирале без раздражения и горечи — равнодушно. И еще он думает о девушке Бербель, и это та минута, когда любовь, симпатия и доверие теряют свое значение, становятся совершенно непонятными. Слова и поступки отпали, не он их произносил, не он их совершал. Чужими и холодными кажутся они, словно принадлежат кому-то другому и ничего общего не имеют с тем, что думает он, что свойственно ему. Теперь и девушка, и распавшаяся семья Грабе совершенно ему безразличны. В этой усталости ему безразличен весь мир. Хеннинг Грабе сидит неподвижно, прислушивается к собственным мыслям и ничего не слышит. В эту тяжелую минуту он дает волю своим переживаниям: сила и энергия, столь свойственные ему, покидают его. Он чувствует себя одиноким, забытым и

принимает это как нечто само собой разумеющееся, нечто такое, что даже не должно его печалить. Позднее он вспомнит эту минуту, и она поможет ему найти истинную меру вещей. Он извлечет из нее пользу.

Хеннинг возвращается к действительности, только услышав шаги, быстро удаляющиеся по лестнице. Он больше не колеблется, кладет книгу на стол и через весь чердак направляется к двери, ведущей в комнату Бербель. На чердаке темно, ничего не видно, но возвращаться не хочется. Он достает из кармана спички, чиркает, освещает себе путь. Через несколько секунд спичка гаснет. В ее потухающем свете Хеннинг успевает заметить слева от себя гробы семейства Преппинг. В этом нет ничего особенного, ничего страшного. И у них в доме стоят на чердаке два гроба. За этим кроется страх перед смертью, страх перед жизнью — вдруг она подведет и откажет в деньгах, необходимых для покупки гроба? Хеннинг все еще настроен на мрачный лад, который, в сущности, ему чужд, но теперь уже можно думать. Гробы. Старики не верят в себя и, прежде всего, не верят в других. Они не могут помыслить, что кто-нибудь позаботится о них. Они позаботились даже о своей смерти. Они бы и могилу для себя выкопали, чтобы лечь в землю. Усталость прошла. У него есть голова, чтобы думать, сердце — чтобы радоваться, мужество — чтобы не сдаваться.

Открыв дверь в комнату Бербель, Хеннинг ничем не выдает своего изумления: в комнате находится не Бербель, а Королева Преппинг. Стало быть, это Бербель спускалась по лестнице. Вид у Королевы весьма странный, хотя она этого не сознает. Она сидит у окна, опершись локтями о стол, сплетя длинные костлявые пальцы, голова запрокинута. С восторженным выражением на увядшем лице, покрытом от волнения красными пятнами, она смотрит в потолок. Ее тонкие губы беспрерывно шевелятся, словно она разговаривает сама с собой. Хеннинг догадывается, что женщина молится, но ему не приходит в голову уйти. Он испытывает лишь неловкость, ему даже не смешно. С удивлением и антипатией глядит он на женщину, которая не обращает на него внимания. Так проходит некоторое время, но вот она со стуком роняет руки на стол, смотрит на него и говорит в свойственной ей манере, без всякого перехода:

— Ты вошел в дом без моего согласия, Хеннинг Грабе. Должна тебе сказать, все это мне не нравится. Достаточно раздоров было между нашими семьями. А от того, что ты у нас, ничего не улучшится.

Хеннинг стоит в дверях и говорит:

— Не думай, что я буду тебе в тягость, фрау Преппинг. За комнату я буду платить, а если ты не хочешь для меня готовить, я найду другое место и голодным не останусь.

— Нет,— говорит женщина.— Я не буду на тебя готовить. Больше всего мне хотелось бы, чтобы ты у нас не жил. Это я должна тебе сказать.— Ее глаза сверкают, щеки раскраснелись. Она продолжает: — По твоим пятам следует грех, но ты не обманешь меня.

— Вот как,— говорит Хеннинг.— Какой же такой грех?

Фрау Фридерике пристально смотрит ему в глаза, слегка приподнимает голову, говорит:

— Молодая кровь легко закипает. Вы меня не проведете... Но я не позволю осквернить мой дом. Огнем и мечом изгоню я вас, если что-нибудь замечу, так и знай.

Образная речь Королевы не удивляет Хеннинга. Набожные женщины всегда говорят по-особенному. А Фридерике Преппинг очень набожная женщина, хотя и не хочет стряпать для него.

— Врата ада разверсты для всех, которые...— говорит женщина и не сразу находит нужное слово,—...которые, как это...

— Которые — что? — с любопытством спрашивает Хеннинг.

— Оскверняют себя,— произносит она резко.

— Не понимаю, о чем ты толкуешь, фрау Преппинг... Право, не понимаю, о чем ты говоришь.

Она грозит длинным указательным пальцем и добавляет:

— Может, я что и не так сказала, но уж ты поймешь, о чем я говорю.

Хеннинг задумчиво потирает подбородок. «И зачем она лезет не в свои дела»,— с огорчением думает он. Старики всегда воображают, будто дети — их собственность. И хуже нет, если сюда примешивается набожность и страх, что дитя попадет в ад.

Женщина молча наблюдает за ним.

— Конечно,— говорит Хеннинг,— я не хотел бы быть тебе в тягость, фрау Преппинг, но раз уж я здесь... Или мне все же уйти?

Огонь в глазах женщины гаснет. Она устало смотрит перед собой, поджав тонкие губы, и говорит тише, чем раньше:

— Нет, нет, этого я вовсе не хотела сказать... раз уж Генрих так порешил, можешь спокойно оставаться у нас... Но я боюсь греха... Грех — это погибель.

— Ах, фрау Преппинг, ты напрасно беспокоишься, ну кто же сразу...

— Нет, Хеннинг Грабе,— отвечает она, снова резко и несколько ворчливо.— Сейчас повсюду безбожие. А вы, молодежь, все безбожники, все.

Хеннинг прячет улыбку, он больше не может принимать этот разговор всерьез. Он стоит у двери и смотрит на женщину. Ему приходит в голову мысль, и он тут же высказывает ее:

— Быть может, Бербель переберется вниз? Тогда не будет и причин для беспокойства.

— Да, я уже говорила, уже говорила... Но она прячется за спину отца. ничего не выходит. А у Генриха на это глаза нет.

Королева смотрит на Хеннинга, он стоит в дверях и старается сохранить серьезное выражение лица. Все же его слова свидетельствуют о том, что не так уж он легкомыслен. Быть может, она действительно делает из мухи слона? Она хочет что-то сказать, но тут в комнату входит Бербель.

— Ты зашел ко мне? — спрашивает Бербель.

Хеннинг кивает.

Фридерике испытующим взглядом смотрит на молодых людей.

— Да,— отвечает Хеннинг,— но тебя не оказалось.

Бербель подходит к столу, оправляет скатерть, хотя в этом нет никакой необходимости.

— Ну, и что же теперь? — спрашивает мать.

— Да ничего,— отвечает Бербель,— как было, так и будет.

Фридерике Преппинг тяжко, горестно вздыхает.

— У отца нет на это глаза, он погубит свою плоть и кровь, я это знала,— произносит она бессильно.

— Господи боже, да прекрати же ты наконец,— говорит Бербель.

— Не поминай имя господа всуе! — говорит мать и подымается.

— Ну, раз теперь все ясно, я пойду приберусь,— говорит Хеннинг, кивает женщинам и по темному чердаку добирается до своей комнаты. После его ухода они долго молчат. Мать горестно и озабоченно глядит на дочь — та вся в отца, упрямая и своенравная, никогда-то ее не вразумишь.

Но тут уж ничем не поможешь. Рабе божьей Фридерике остается только быть начеку. Пока она, Фридерике Преппинг, здесь, ничего не

случится. Она будет бодрствовать, плотский грех не найдет приюта в ее доме.

— Дочка, дочка... ты идешь по дурному пути,— говорит она удрученно.

И Бербель отвечает так же, как раньше ответил Хеннинг:

— Право, не понимаю, о чем ты говоришь, мама.

Фридерике уходит. Все слова бесполезны. Остается только следить неусыпно во имя господне. И она будет следить. Уже в дверях она говорит:

— Но есть с нами вместе я ему не позволю... И спроси-ка его, что он думает относительно платы за комнату.

Она не дожидается резкости со стороны Бербель. Лестница тихо поскрипывает под ее осторожными шагами.

IV

Некто задевает больное место. Затем Король, при помощи ключа от входной двери, доказывает, какой он справедливый человек. Однако Хеннинг Грабе идет своей дорогой

— Во всяком случае, дальше так продолжаться не может, имейте в виду... Думаете, если вам хорошо, значит, все в порядке, но нам-то от этого совсем не легче. В своей бригаде мы — отец, брат и я — заработали в прошлом месяце по полтораста марок каждый, а в этом месяце, похоже, заработаем и того меньше. Так и знайте: если в скором времени ничего не изменится, мы с отцом бросим рыбную ловлю... Так и знайте.

Клаус Вуссов садится. Лицо его покраснело от волнения — он неохотно выступает на собраниях. Как только он умолкает, раздается гул голосов. Повестка дня длинная. Собственно, они собрались обсудить совсем другие дела, но тут выступил Клаус Вуссов, и все откликнулись на его слова, каждый по-своему. Одни кричат: «Ну и проваливайте! Чего тут еще изменять!» Другие говорят: «Конечно, Клаус прав. Так дальше продолжаться не может!»

Только что они сидели на улице, пили пиво, шутили, и казалось, что все — единое целое, единый кооператив, единое товарищество. Но вот один из них высказал то, что наболело у него на душе, и единство распалось, они больше не единое целое. Те, кто работает в бригадах, за которыми закреплены хорошие места, не хотят никаких перемен.

О порядке в эту минуту и говорить нечего. Каждый выкрикивает первое, что приходит в голову, но никто не предлагает что-либо дельное. Один только Адмирал молчит. Он сидит с мрачным видом среди всего этого шума и как будто ничего не слышит. Он сидит неподвижно, глядя в одну точку. Собрание происходит в холодном, сыром помещении. Стены испещрены пятнами. Словно изъедены проказой. Под потолком висят фантастические гирлянды, оставшиеся от последней танцульки, над сценой выцветший транспарант с надписью: «Перевыполним наши обязательства — повысим благосостояние». Транспарант никто никогда не читает, но он все же висит над головами. Они спорят.

В конце концов Бернгард Калла, председатель, так грохает кулачищем по столу, что пивные кружки и пепельницы подскакивают. «Тихо, черт возьми, если все будут орать, мы с места не сдвинемся!»

На мгновение наступает тишина. И, прежде чем председатель успевает продолжить, в этой тишине слышится голос Кнута Брюммера: «Как только мне вернут мои миллионы, Клаус, ты получишь от меня один, уж

это...» Только что люди ожесточенно спорили, и вот уже зал сотрясается от хохота. Они бьют себя по ляжкам, рты широко открыты, зубы сверкают. Послушайте Брюммера-миллионщика! Нет, только послушайте его! Он спасет своими миллионами Клауса Вуссова и шестую бригаду — а ведь он сам-то зарабатывает шиш с маслом; он работает в третьей бригаде, а дела там идут не блестяще.

Но Брюммер не смеется. Даже Адмирал презрительно и насмешливо кривит уголок рта, а Кнут Брюммер сидит у стола, вытянув перед собой руки, кивает и говорит: «Смейтесь, смейтесь! Вот увидите, подождите только... Смейтесь, смейтесь!»

В глубине души Бернгард Калла благодарен Брюммеру-миллионщику. Его слова пришлись как нельзя кстати — лучшего способа водворить порядок и не придумаешь. Давно уже никто не слыхал от Брюммера ничего подобного. И то, что он снова вылез со своими миллионами, показывает, как сильно трогают его заботы Клауса Вуссова, как хорошо они знакомы ему самому.

Наконец наступает тишина и председатель спрашивает, что именно хотелось бы изменить Клаусу Вуссову. Клаус на мгновение задумывается, беспомощно разводит руками, пожимает плечами и говорит:

— Если вы не знаете, откуда же мне знать? Во всяком случае, что-то надо изменить. Иначе я ухожу, бросаю рыбную ловлю. И отец тоже.

— Должен же ты знать, чего тебе хочется. Ведь речь идет прежде всего о тебе,— говорит Бернгард Калла.

— Ну да,— отвечает Клаус Вуссов.— Вот ты — в хорошей бригаде, тебе и невдомек, каково слышать от жены: «Иди лучше собирать старье в город, там больше заработаешь».

В зале снова нарастает шум, и тут Адмирал говорит:

— Всегда были хорошие рыбаки и плохие рыбаки. Одни ловили много, другие ничего не могли поймать.

На минуту становится тихо, и, воспользовавшись этим, Хеннинг Грабе говорит:

— Ты все твердишь свое, отец. Ничего другого от тебя не услышишь. Клаус Вуссов не лентяй, ты хорошо это знаешь. Дело не в нем, а в том, что у одних плохие места для лова, у других — хорошие, а работа у всех одинаковая.

— Ты тоже твердишь все свое,— отвечает Адмирал.

— Да, я тоже,— говорит Хеннинг.— Добавлю только, что в действительности у нас существуют две противоположные группы. Одни думают о собственной шкуре, всегда только о себе, другие способны думать и о том, как живется остальным. Одни за несправедливость, другие за справедливость.

— Говорил бы уж сразу — одни за социализм, а у других котелок еще варит, они против,— каркает Генрих Преппинг. Кое-кто посмеивается про себя.

Хеннинг бросает на Короля быстрый взгляд, но не дает сбить себя. Он оборачивается к Клаусу Вуссову, который завел весь этот разговор. Клаус и Хеннинг знают друг друга с детства. Они вместе разоряли гнезда чибисов, вместе ставили силки, вместе мастерили буера. Они дружат и по сей день. Но в вопросе Хеннинга сквозит нетерпение, как всегда, когда они беседуют на подобные темы. Хеннинг спрашивает:

— Хотелось бы все-таки услышать от тебя, Клаус, как ты себе все это представляешь. Скажи, пожалуйста, как, по-твоему, можно тебе помочь?

И Клаус, не задумываясь, отвечает:

— Отведите нам место на Хюкке, и все будет в порядке!

Итак, слово брошено. Слово, о котором думали все с той минуты, как Клаус заговорил о своей беде. Никто его не произнес, но оно присутствовало в их спорах, в их смехе, когда они смеялись над предложением Брюммера-миллионщика, в их вопросах и в ответах. Оно присутствовало всюду, это слово, эта мысль: место для вершей на Хюкке.

Со времени организации кооператива этого места домогались все бригады. Из-за этого места Адмирал и Король давно уже стали смертельными врагами, но ни один не получил его. Это — больное место всего кооператива. Никто не хочет уступить его, потому что оно означает большой улов. Кто завладеет им, тот будет жить припеваючи, это всем известно. Но ни одна бригада его не получает...

После слов Клауса Вуссова в зале воцаряется мертвая тишина.

— Если мы отведем вам место на Хюкке,— говорит Бернгард Калла,— мы должны будем реорганизоваться в кооператив второй ступени.

Это означает, что все должны будут работать сообща, все сообща, на всех местах.

Хеннинг мог бы еще кое-что добавить, но его больше не слушают. В этом сыром и холодном зале все разбились на три группы, на три команды. Одни за предложение Бернгарда Калла, другие думают лишь о себе. А третьи принадлежат к колеблющимся, они ни на что не могут решиться; к их числу относятся и те, кто не понимает своих собственных интересов. Все кричат и ругаются, раздаются угрозы. Некоторые смеются, среди них — Карл Дассов. А между тем все это вовсе не смешно. Посмотреть только, какими взглядами они обмениваются, как мрачнеют лица, послушать только, как Иохен Клют кричит Клаусу Вуссову: «Ах ты, дурья башка, черт безмозглый!» Не смешно и то, что Преппинг обещает вздуть своего Вернера, который сказал: «Конечно, надо все изменить!» — и, разумеется, сам не понимает, что это значит. Но забавно все-таки видеть, как Король замахивается и Вернер со страху чуть не роняет сигару, которую держит в углу рта. По залу прокатывается громкий смех Карла Дассова. В нем звучит жизнерадостность, Карл Дассов не может иначе, он должен смеяться. Карлу кажется, что все они «спятили». Он и не думает особенно волноваться, лезть в споры. Он уверен, что не помрет с голоду, будет ли у них кооператив первой ступени или второй. Во второй ступени что-то есть — это он понимает, иначе Хеннинг Грабе не стоял бы за нее. Хеннинг хочет еще что-то сказать, но это ему не удается. Бернгард Калла колотит кулаком по столу, но все напрасно. В конце концов он ревет во всю глотку: «Ти-и-и-хо, черт подери, ти-и-и-хо!»

Наступает минутная тишина, и снова звучит голос Адмирала. На этом собрании никто не просит слова, каждый говорит, как бог на душу положит. И Адмирал пользуется этим правом.

— Возможно, дело не только в том, что одни ленивы, а другие трудолюбивы,— говорит Адмирал.— Я не хочу никого обижать. Но в рыбной ловле многое зависит от удачи. Тот, кому не везет, не должен скулить и прибедняться. Бывало, в наше время нам тоже не везло, иные годы очень не везло. Но мы не скулили, мы полагались на господа нашего, и все было хорошо...

Хеннинг Грабе думает: «Да, да, милость божья всегда была с вами, только вы сами подстраивали так, что милости божьей не оставалось ничего другого, как быть с вами».

— ...И мы работали, хорошо работали. Мы никогда не ленились... Слышу, тут болтают про вторую ступень, дескать работать по бригадам больше не годится, все надо валить в один котел. Так вот, я должен сказать, что это не что иное, как грабеж. Да, конечно, самый настоящий

грабеж. Среди бела дня вы хотите утащить то, что мы, не разгибая спины, наживали всю свою жизнь.

— Правильно, Иоганнес, очень правильно, вправь им мозги! — хрипло каркает Преппинг.

Адмирал озадачен. Это голос врага. Враг подтверждает его правоту. Что случилось? Неужто Король согласен, что им надо наподдать? Замешательство Адмирала растет, он сбивается, бормочет что-то бессвязное и невразумительное и внезапно садится. Карл Дассов ревет: «Вот умора!» — и снова хохочет. Встает Преппинг:

— Всегда так было: одни наживают своим трудом добро, другие хотят отнять нажитое. Все это не ново. Только вот что я вам скажу: если вы создадите эту самую вторую ступень — будет смертоубийство. А я с такими делами не хочу иметь ничего общего. Создавайте себе эту вашу вторую ступень, валяйте. Только я прежде уйду из первой, можете быть уверены. Но можно сделать и так: те, кто хотят вторую, пусть получают вторую, а остальные останутся при первой. Создадим два рыболовецких производственных кооператива — и дело с концом.

Хеннингу на мгновение кажется, что он слышит своего отца. Король с той же интонацией произносит это длинное название, вкладывая в него все свое презрение. Он бросает взгляд на Адмирала и видит, что тот одобрительно кивает головой. В этот момент Адмирал забыл, что Король — его враг.

Бернгард Калла пока что не вмешивается, но ко всему прислушивается, все обдумывает. Упрек, который бросил в его адрес Клаус Вуссов, не дает ему покоя. Он, Бернгард Калла, больше не может понять другого, когда тому плохо! И Бернгард решает, что лучшим доказательством обратного будет, если он тут же, на месте, выскажет свое мнение, тут же, на месте, выступит за создание кооператива второй ступени. Он говорит:

— Я предлагаю немедленно проголосовать. Кто за вторую ступень, кто против?

— Голосование должно быть тайным,— хрипит Король.— Это надо решать тайным голосованием!

Бернгард Калла отрицательно качает головой:

— Не нужно, совершенно не нужно.

— Почему тайным? — спрашивает Хеннинг.— Здесь каждый может открыто высказать свое мнение. Я — за.

И он подымает руку. Его примеру следуют Бернгард Калла и Фриц Вуссов, брат Клауса. Больше никто.

Тут о многом говорили, тут спорили и бранились, тут обсуждали вопрос о двух производственных кооперативах, было произнесено слово «грабеж», раздавались угрозы. А теперь изволь-ка переварить все за пять минут. Как будто для каждого дела не требуется времени, как будто можно быстро решить, что правильно, а что нет. В головах все перепуталось, не многие сохранили способность соображать, колеблющиеся стали еще нерешительнее. Что-то говорил Преппинг, что-то сказал Адмирал, а Клаус Вуссов заладил одно: дай ему место на Хюкке. А тут еще голосовать. Да к тому же в открытую. Даже без маленькой защиты, которую дает бумажка для голосования. Конечно, Хеннинг Грабе хороший рыбак и толковый малый, но так срезать своего старого отца — на что это похоже? А теперь изволь обмозговать все за несколько минут! А два-три дня назад отец и сын Грабе подрались в море, чуть не дошло до смертоубийства. Хеннинг живет сейчас у Короля. Ну да, он дельный малый. Но так сразу голосовать? Нет, над всем этим надо поразмыслить.

Слов нет, Вуссову скоро не на что станет жить, тут действительно надо что-то предпринять. Голосовать все-таки надо. Но уж тогда хоть тайным голосованием: незачем каждому видеть, кто как голосует.

Но Хеннинг и Бернгард ничего не замечают.

Вы оба увлеклись, отложите же голосование, прислушайтесь ко всему, что было сказано, не думайте, что Король не понимает, чего он хочет. Как раз потому, что он требует тайного голосования, отложите его. Ведь необязательно все должно быть решено сегодня. Но Хеннинг и Бернгард разгорячены борьбой, они хотят, наконец, ясности. Поэтому они соглашаются на тайное голосование. Готовятся листки для голосования, из раздевалки приносят фуражку. Каждый пишет на листке «да» или «нет». Для сохранения тайны листки перемешивают. Никто не должен знать, кто как голосует. Затем разыгрывается комедия, игра в прятки. Некоторые встают, отходят к окну. Карл Дассов даже поднимается на сцену, он обращает все в шутку и сам над этим смеется. Но дело идет о серьезных вещах, никто его не поддерживает. Еще раз пересчитывают присутствующих, все бросают скрученные, свернутые, сложенные записки в фуражку. Подсчет голосов показал, что из двадцати двух рыбаков десять проголосовали за создание кооператива второй ступени, двенадцать — против. Ставили кресты, кресты выражали мнения. Спорили. Справедливость спорила с несправедливостью, разум с глупостью, знание с невежеством, в споре принимали участие суеверие и страх — наследие прошлого. В борьбе участвовали старая вера в авторитет Короля и авторитет Адмирала, Золотой Телец и погоня за ним, то и другое — от прошлого. Эгоизм боролся со всем новым. Это — основное. Вопрос решался для всего коллектива. И вопрос решался так: правда или неправда, волчий закон или закон второй половины столетия? Может ли правда прибегнуть к небольшой хитрости? Не перестает ли демократия существовать там, где голоса разделились почти поровну?

Король поднимается тотчас после оглашения итогов голосования. Для него вопрос исчерпан. Никто не думает больше о повестке дня, где среди других вопросов есть и вопрос о том, с кем работать дальше Хеннингу Грабе — ведь он оказался без бригады, так как не может больше рыбачить с Адмиралом. Король уходит. Несмотря на старость, он сохранил пружинистую походку. Он хрипит: «Ну, вот мы и добились своего!» Он направляется к выходу, позади — шум передвигаемых стульев, многоголосый говор. Внезапно он оборачивается, возвращается, подходит к Хеннингу, который все еще сидит за столом, и говорит:

— Мой мальчик, ведь у тебя нет ключа от входной двери. Возьми мой, иначе ты не войдешь в дом.

Голос его громок и скрипуч, как обычно. Хеннинг кивает и прячет ключ. Он погружен в свои мысли. Но все остальные видели, что Король ни на кого не имеет зла. Хеннинга Грабе никак не назовешь его другом, но Король всех уважает, такой уж он был всегда. Всегда справедлив.

Бернгард Калла проходит мимо Хеннинга, хлопает его по плечу.

— Пошли,— говорит он.— Мы оба болваны, давай-ка выпьем по маленькой.

Позднее Хеннинг подсаживается к Вуссовам. В кооперативном трактире шум, гул голосов, все много и охотно пьют. Водка горячит головы, развязывает языки. Франц Мур, заведующий, беспрестанно вытирает лысину, на которой блестят капли пота. Здесь немало жаждущих глоток, к тому же много рабочих народного имения, обрабатывающих поля острова, пришли посидеть тут субботним вечерком.

Пиво течет из блестящего крана, остро горчит на языке, прохладной струей льется в глотку. А прозрачное хлебное вино согреет того, кому только что было холодно. Вы поймите, мы работаем всю неделю, почему бы нам и не опрокинуть стаканчик? Наши жены с нами, когда только возможно, и сидят дома с детьми, когда только нужно. Не велика беда, если мы пропьем несколько марок. Теперь не то, что прежде, когда каждый грош долго мусолили в руках, не решаясь истратить его. А о похмелье мы сейчас не думаем. Похмелье будет завтра. Франц Мур, стоя за прилавком, улучает минуту и говорит: «Ну, Эмиль, еще рюмочку наливки за твою жену?» И Эмиль Гейдук, тракторист из имения, повторяет: «Еще рюмочку, за мою жену!» Она от радости, эта попойка, не от горя. Для большинства это невинное развлечение. Только за столом Вуссовов кто-то говорит: «Мой милый мальчик, мы больше не выдержим. Если и весной мы ничего не заработаем, тогда нам крышка, тогда мы больше не сможем работать со всеми». Хеннинг глядит в глаза Максу Вуссову, отцу Клауса. Ему вспоминается, что рассказывают о Максе Вуссове и его необыкновенной физической силе. «И такой прекрасный рыбак должен бросить рыбную ловлю,— думает Хеннинг.— Должен уйти в город и взяться за что-нибудь другое, в чем он, конечно, не так силен, и все оттого только, что наши короли не хотят ничем поступиться. Да что там поступиться! Им и не придется ничем поступаться. Каждый будет иметь столько, сколько имеют сейчас немногие. А они утверждают, что им придется кормить слабые бригады. Но это неправда. Им кажется так потому, что они всегда ставят на первое место себя, потому что таков их образ мыслей. Не всем одинаково мало, а всем одинаково много, каждому по труду. Только так может что-либо получиться. Эх, если б нам отвели хорошие места для вершей... И место на Хюкке... Но они ничего не уступят...»

— Вот видишь, мой мальчик, для нас это дело не шуточное,— говорит Макс Вуссов.— Если б у нас не было удочек, мы бы уже давно пропали, можешь мне поверить.

— Да, тут что-то надо изменить, скоро это каждый увидит,— говорит Клаус.

— «Что-то», «что-то» — ничего больше ты за весь вечер не придумал! Хотелось бы мне знать, как ты голосовал, дурья ты башка,— говорит Хеннинг.

— Это еще зачем? Хотелось бы тебе знать!.. Голосование-то было тайное. О таких вещах не рассказывают,— отвечает Клаус.

Хеннинг делает протестующий жест.

— Можешь мне ничего не рассказывать, Клаус. Ты голосовал за вторую ступень, а при открытом голосовании был бы против.

— Да, это верно,— говорит Клаус.— Но ты особенно не задавайся. Вторая ступень — тоже не бог весть что, будет еще больше шума и грызни, можешь мне поверить.

— Конечно,— отвечает Хеннинг.— Сначала будет совсем плохо, но потом станет лучше.

Некоторое время все сидят в раздумье. Затем Фриц, младший брат Клауса, говорит:

— Хотелось бы мне только знать, почему ты, болван этакий, открыто — против второй ступени, а втихую — за?

Он задает вопрос совершенно спокойно, в его тоне чувствуется большая любовь к брату.

Хеннинг правильно понимает его. Вуссовы — дружная семья. Они крепко держатся друг за друга. При нацистском режиме Вуссовы жили в нужде, места для вершей они получили, только войдя в кооператив.

Они немного ловят на удочки, имеют несколько моргенов земли — кое-как перебиваются. Но друг за друга они держались всегда. «Как жалко, что их обманули и они получили такие плохие места»,— думает Хеннинг, а вслух говорит:

— Наш Клаус из робкого десятка. Он не любит ссориться с людьми. И все еще побаивается Короля и его гвардии.

Клаус молчит. Ему неприятно, что именно Хеннинг и родной брат так подковыривают его. На помощь приходит отец.

— Нет, парень, чтобы Клаус кого-то боялся — этого о нем не скажешь. Но ведь ужасно, когда люди перестают с тобой разговаривать, думая, будто ты хочешь у них что-то отнять.

— Не вижу в этом ничего ужасного,— замечает Хеннинг,— в конце концов, вам-то не все равно, разговаривают с вами Адмирал и Король или нет. А если вы думаете, что это ужасно, то знайте: Королю безразлично, разговаривать с вами или молчать. Он заработает на этом бешеные деньги.

— В точности так, и не иначе,— подтверждает Фриц и с довольным видом посмеивается.

Снова долгое молчание. Они пьют умеренно, лишь от раза к разу, после больших перерывов, подымают они пивные кружки. Изредка пропускают рюмку водки. Время идет, разговор вертится вокруг одной и той же темы.

Ни с кем Хеннингу не бывает так хорошо, как с Вуссовами. У них свои достоинства, свои недостатки. Клаус — не борец, хоть и унаследовал от отца физическую силу. Про старого Макса Вуссова на Леннекене рассказывают чудеса.

Лет двенадцать-тринадцать назад Макс Вуссов ушел со своей женой в море ловить угрей. Они долго рыбачили, и их застала ночь. В темноте добрались до берега, поднялся ветер. На берегу не оказалось никого, кто мог бы помочь вытащить лодку. Но вытащить лодку было необходимо, иначе ее могло унести. Тогда Макс Вуссов вылез, схватился за штевень и один вытащил лодку на берег — тяжелый парусник, который обычно тащили трое или даже четверо. И вот, когда лодка была уже на суше, Макс Вуссов услышал за спиной голос жены и с удивлением спросил: «Господи Иисусе, мать, ты все еще в лодке?»

О, он силен, этот Макс Вуссов, доброй силой, не безрассудной, не хвастливой.

Так сидят они и беседуют до поздней ночи. Хеннинг рассказывает, что, по его мнению, дало бы им создание кооператива второй ступени.

— Да, мой мальчик, если б все так думали, тогда и я, быть может, был бы за. Но ведь так думают не все,— говорит Макс.

— Но и не так уж мало,— отвечает Хеннинг.— Как-никак десять из двадцати двух.— Внезапно ему в голову приходит мысль. Он еще минуту раздумывает, взвешивает, затем добавляет:— Скажи, Клаус, ты бы смог вдвоем с Фрицем проветривать верши?

Клаус смотрит на него с недоумением.

— Ты что, за маленьких нас принимаешь? Тут и работы-то всего ничего.

— Уж не хочешь ли ты сдать меня в утиль, мой мальчик? — говорит Макс Вуссов, и это звучит вполне серьезно.

— Нет,— отвечает Хеннинг,— мне только пришло в голову... Вот послушайте. Когда мы создадим кооператив второй ступени, тогда несколько бригад будут проветривать верши, а остальные могут заняться чем-либо другим.

— Да, когда мы создадим вторую ступень. Но пока этого еще нет,— говорит Фриц.

— Верно, пока этого нет. Но вы — слабая бригада, и мы сумели бы доказать другим, насколько больше можно зарабатывать, если работать разумно.

Все трое внимательно слушают. Хеннинг задумчиво проводит рукой по волосам:

— Что, если мы вдвоем, я и Макс, займемся ловом камбалы, а Клаус и Фриц пусть проверяют верши, жерлицы для щук и делают все остальное? Как по-вашему?

— Мой милый мальчик,— говорит Макс Вуссов.— У тебя на чердаке все в порядке? Неужто ты хочешь вступить в нашу слабую бригаду? Ведь у Адмирала ты наверняка зарабатываешь шесть, а то и семь сотен марок... У нас ты будешь иметь вчетверо меньше, да и то, если повезет.

Хеннинг снова делает это движение, этот, столь характерный для него, протестующий жест.

— С Адмиралом мне больше не рыбачить. И я уверен, что вчетвером мы горы можем своротить. Мы будем зарабатывать ненамного меньше Адмирала, ведь он только и знает, что ловить вершами, а все другие виды лова считает занятием для голодранцев.

Они долго размышляют, и на этот раз Клаус быстрее всех соображает, что к чему.

— Ты умный, дурень,— говорит он.— Ведь дело-то действительно стоящее. И можно было бы работать, сменяя друг дружку.

— Конечно можно,— подтверждает Хеннинг.

— Н-да,— произносит Макс Вуссов.— Пожалуй, это дело, ей-богу. Только нам потребуются две лодки.

Но это уже не препятствие. Прежде рыбачили в одиночку, во многих бригадах у рыбаков есть свои лодки. А для повседневной работы каждой бригаде нужна только одна лодка. Свободных лодок на берегу сколько угодно.

— Я поговорю с Бернгардом Калла, одну он нам даст. Ведь они рыбачат на «Эльзе» Ганнеса Люссинга. Пока что так.

Решение принято. Хеннинг заказывает еще по стопке водки, они пьют за успех дела. С понедельника Хеннинг начнет работать в шестой бригаде.

Вскоре они расходятся по домам. Идут враскачку, шаги их изобличают силу.

Над их головами сверкают звезды.

V

Как Адмиралу не удалось затеять тяжбу и он лишился копченых угрей. Бербель вынуждена принять решение. У Тимми-телеграф необыкновенный день

Тишина туманного воскресного утра висит над Леннекеном. Первые осенние листья слетают с деревьев, с легким шорохом опускаются на сухую траву. Небо — как шиферная крыша, клин журавлей летит на юг, к теплу и весне. Тела птиц кажутся плоскими, словно лук без тетивы. Их крик разносится над празднично притихшей землей.

У обочины дороги охотится черная пятнистая кошка. Она то прижимается к земле, то бесшумно прыгает, застывает на месте, выгнув спину, подняв трубой хвост со светлым пушистым кончиком.

С залива доносится шум крыльев молодых лебедей. Мир пахнет сеном, угарным дымом старых печных труб и еще тысячью запахов: землей и вялыми листьями, мхом, зеленеющим на стволах деревьев, морской водой, просмоленными бревнами, тронутыми прелью грушами.

Король, напившись, шумит в доме. Королева сидит в кухне, плачет и читает молитвы — Король не позволил ей пойти в церковь. Он требует, чтобы обед был подан минута в минуту, сегодня особенный день. Королева сварила себе кофе, уныло помешивает ложкой в чашке и вытирает нос тонким платком. Глядя на нее, можно подумать, что в доме покойник. Но никто на нее не смотрит, никому до нее дела нет. Король напился до чертиков. Он стоит внизу у лестницы, ведущей на чердак, в комнаты Хеннинга и Бербель, держится за косяк двери и кричит:

— Хеннинг Грабе, эй,ты, большевик, выходи тяпнуть по маленькой со своим домовладельцем!

Он закатывается смехом и закрывает дверь. Потом, громко хлопнув в ладони, потирает руки и уверенным шагом направляется в комнату, где Вернер сигарой и водкой тоже отметил утро воскресного дня. Круглое лицо Вернера дышит покоем и самодовольством.

— Ну, ты, выпивоха,— хрипит Король,— налей-ка нам по стаканчику!

Он опрокидывает рюмку стоя, даже не сев за стол, чтобы выпить с толком, не спеша.

— Папаша,— говорит Вернер,— ты сегодня еще выкинешь коленце.

Король усмехается, хриплым голосом напевает: «Мы властители мира, мы короли морей»,— и опять бежит к лестнице.

— Хеннинг Грабе, на совещание! — кричит он.

Никакого ответа. Выждав минуту, он направляется в кухню к Королеве. Его не удостаивают взглядом, но ему это безразлично. Негнущимся пальцем он тычет жене под ребра и хрипит:

— Перестань выть, старуха. В следующее воскресенье опять будет служба.

И вот он уже у плиты, лакает соус прямо из сотейника. Фрау Фридерике следит за ним уголком глаза, и он это отлично знает. Зачерпнув большой ложкой жирную подливу, Король смакует ее и блаженно вздыхает.

— Господи, за какие грехи? — тихо сокрушается Королева.— Почему я должна сносить наказание, которое причитается ему, пьянице и забулдыге? Всю жизнь для него не было ничего святого — ни добронравия, ни приличий.— С каждым словом она повышает голос, решительным движением сует в карман передника кружевной платочек и набрасывается на Короля: — Пьянчуга ты этакий! Доведешь нас пьянством до богадельни! Прочь от плиты! Чего присосался к сотейнику? Убирайся из моей кухни, во всем доме негде приклонить усталую голову...

— Ай-яй-яй, вы только поглядите на нее,— хрипит Король.— Я-то думал, ты ушла в церковь, старая ханжа!

Она стоит перед ним, ее щеки трясутся от гнева, пальцы сжимаются в кулаки, глаза сверкают. А Король тычет указательным пальцем ей под ребра. Они смотрят в глаза друг другу, и, хотя он добродушно хрипит: «Ну, ну, старуха, не вой, все пройдет, все образуется»,— и во взгляде его нет и тени добродушия. Она пятится от него к столу. И оба

они, прожившие вместе полвека, смотрят друг на друга глазами, в которых нет ничего, кроме страха, ненависти и безграничного презрения. В этот запойный час раскрывается все, чем стала ее жизнь. Лишь подступив вплотную к столу, он оставляет ее и твердыми шагами идет в кладовую, сгребает с полки банки с домашними разносолами и тащит их в кухню.

— Состряпай сегодня обед на славу, Рике! Завтра можешь снова скаредничать сколько угодно, а сегодня состряпай обед на славу. Хочу видеть на столе жареного гуся, а не какую-то жалкую свинину, что варится у тебя в горшке.

Она не отвечает, слезливо шмыгает носом. Она чувствует: и на этот раз с ним ничего не поделаешь. Он живет своей головой, своей упрямой башкой. Она всегда была бессильна против него. Есть в нем что-то такое, чего не сломить ни бранью, ни упреками, ни даже решительными поступками. И она молчит, только смахивает платком слезы. Она уже не раз молча сносила его грубые выходки.

И вдруг Король снова набрасывается на нее:

— Понятно тебе или нет? Чтоб был настоящий обед! И компот, и суп на первое. И чтоб черт тебя побрал, если все будет не так, как я сказал!

Она крепится, ей невыносим этот тон, эта угроза, таящаяся в каждом его слове.

— Господи Иисусе, защити,— шепчет она.

А Короля опять словно прорвало:

— Понятно тебе или нет, христова дурочка?

— Да, да, но что это на тебя нашло, Генрих? Просто не знаю, что это на тебя нашло.

— И не должна знать. Тебе можно все жрать, но необязательно все знать.

Он с презрением смотрит ей в лицо, поворачивается на каблуках и выходит из кухни. Пусть скулит, он не намерен отравлять себе воскресный отдых. А на столе сегодня будет вкусный обед — в этом можно не сомневаться. Вкусный обед — это не пустяки. Особенно сегодня. Не зря же он почти половину ночи размышлял. Дела вершат мужчины, и они должны наедаться до отвала и пить в два горла, если хотят осуществить задуманное.

Между прочим, сейчас самое время и с сынком рассчитаться, с наследником короны. Этот остолоп вчера вечером на таком важном и совершенно идиотском собрании заявил, что надо что-то изменить. Это сказано совсем не в его, Короля, духе. Верно, кое-что следовало бы изменить, но, во всяком случае, не так, как предлагает этот слизняк Клаус Вуссов. Если здесь, на Леннекене, и должно что-либо измениться, то уж только с его, Короля, соизволения.

Он наливает себе водки и намеренно забывает налить сыну. А когда тот тянется за бутылкой, шипит на него:

— Руки прочь, ты, кооперативник! Можешь хоть сейчас переходить в другую бригаду. Тогда о водке только вспоминать будешь. Можешь подыхать с голоду вместе с Клаусом Вуссовом и его папашей!

— Ну вот, теперь и за меня принялся,— говорит Вернер.

Не обращая внимания на старика, он снова тянется за бутылкой. Дух бутылки вселился в него, слишком часто Вернер к ней прикладывался. Резким движением Король выбивает изо рта сына сигару.

— Придержи язык и лучше послушай меня, сынишка! — говорит Король.

Вернер выпрямляется. Король подсаживается поближе и выдерживает долгую паузу. Перед ними комната: тяжелая дубовая мебель, горка с хрусталем, на стене — картины, много лет назад написанные по заказу Короля заезжим чудаком-художником. Вся обстановка свидетельствует о благополучии и зажиточности. На большой картине — дом Короля, вид с моря, рядом — портрет самого Короля, он стоит во весь рост в лодке, таким он был лет двадцать назад. На заднем плане — сети. Да, в них, во всех этих дорогих вещах, гордость Короля, его услада. Адмирал заблуждался, полагая, что бережливость дома Грабе разумнее роскоши дома Преппинга. Адмирал думал, что каждая покупка Короля ведет его к разорению. Он думал так, когда Король завел у себя водопровод, когда приобрел дорогие картины, когда устроил настоящую ванную, какие бывают только в городе. Король Преппинг пускал в оборот такие суммы, что у бережливого человека дух захватывало. Много, очень много потратил Король на свои причуды. Но оказалось, он мог себе это позволить.

— Так вот, сынишка... заруби себе на носу: ты вылетишь из бригады Преппинга и будешь работать у Вуссовов или у других голодранцев, если еще раз без спросу скажешь что-нибудь на собрании.

Голос у Короля хриплый, но слова звучат внушительно.

— Да что я такого сказал, папаша? Ничего. Пусть делают, что хотят. Мое дело — сторона,— нудит Вернер.

— Да,— говорит Король,— твое дело — сторона, смею надеяться, и дальше так будет.

Он подливает себе водки, медлит секунду, потом наполняет рюмку Вернера.

Снова задымили сигары. Между отцом и сыном снова установился мир. Со свойственной ему ленцой Вернер тянет:

— Пусть они делают, что хотят, нам-то с тобой все равно, так ведь?

— Не мели вздор, болван! Они вообще не должны делать, что хотят... Неужели ты не понимаешь, чего они хотят! Ты когда-нибудь задумывался над тем, что будет, если они устроят у нас свою вторую ступень? А? Пораскинул ты своими бараньими мозгами?

— Ну, уж это конечно,— мямлит Вернер.— Только не вторую ступень, тут уж и я против...

— Ты против, только ты и понятия не имеешь, почему... Ведь мы, милый мой, будем тогда зарабатывать по триста пятьдесят марок.

Вернер качает головой. Он слышит это не впервые. Так рассчитал Король, и проверить все это нелегко. Но он и не станет проверять, не в его это натуре. «Во всяком случае,— думает он,— лучше зарабатывать верных тысячу марок, а то и больше, чем триста пятьдесят, а то и меньше. Это решает всё. А на собраниях действительно не следует увлекаться». И они опрокидывают еще по рюмке.

Наверху в комнате Хеннинга — Хеннинг и Бербель. Девушка стоит у окна и смотрит на лес. Он виднеется вдали, за садом, за лугами, полыхающий красками осени. Небо слегка прояснилось, время от времени сквозь серую пелену тумана ослепительно вспыхивает солнце. Высоко-высоко описывает круги ястреб.

— Нет,— говорит Бербель,— ты не должен так думать. Он всегда был такой... Но он — мой отец, и иногда мне кажется, что я тоже такая.

Хеннинг задумчиво морщит нос. Он сидит на кровати, подперев руками голову.

— Было бы плохо, если б ты тоже была такая, Бабс. Очень плохо. Но ты не такая.

Он встает, подходит к Бербель, кладет ей на плечо руку и приближает свое лицо к ее лицу. Она поворачивается к нему, они глядят друг на друга. Хеннингу хочется поцеловать ее, но, странное дело, что-то мешает ему. Он опять испытывает какое-то непонятное стеснение и чувствует, что Бербель разделяет его. Они могли ласкать друг друга, могли целоваться сколько угодно. В этом не было ничего особенного. А потом был радостный, очень радостный день: они узнали, что будут жить под одной крышей. Но старая женщина сказала слова, бессмысленные слова. Они звучат в ушах, их забывают, их больше не слышно — и вдруг они снова всплывают, эти слова старой женщины. Бербель смотрит Хеннингу в глаза, он бегло касается губами ее щеки. Затем начинает беспокойно ходить по комнате. Ничего особенного, так, маленькая ласка. И опять эта скованность. Они избегают друг друга. Почему? Разве что-нибудь изменилось? Они испытывают друг к другу ту же нежность, что и несколько дней назад. Нет, ничего не изменилось, разве что теперь они живут рядом. Но почему-то появилась скованность. Быть может, напыщенные слова старой женщины тут вовсе ни при чем. Но что-то изменилось в их отношении друг к другу. Бербель вспоминает, что вчера вечером Хеннинг на секунду остановился, прежде чем подняться к себе наверх. Он остановился на секунду, в доме было тихо. Сердце так и колотилось, словно за дверью стоял кто-то чужой. И все-таки она испытала разочарование, когда он прошел к себе в комнату, не постучавшись к ней, не пожелав ей доброй ночи.

— Может быть, я такая же, как мать? — спрашивает Бербель.

Хеннинг перестает ходить по комнате и тихо посмеивается.

— Нет,— говорит он.— Ты и на свою мать не похожа. Ты — это ты, Бабс, и незачем ломать себе голову, в кого ты пошла.

И тут, когда он так говорит, ему вдруг становится ясно, что она еще очень молода. Гораздо моложе его. Но вот заговорила она:

— Я и не ломаю над этим голову. Мне только хочется найти оправдание своему отцу. Почему он такой? Почему у нас в доме всегда было так? Они никогда не любили друг друга. Он мог шутить с матерью и говорить ей колкости, которые, должно быть, мучили ее... Ей было с ним нелегко, это несомненно. И все-таки я пытаюсь понять его. Так было всегда. А что чувствует мать — не знаю. Меня это не волнует.

— Старики — люди вчерашнего дня,— устало говорит Хеннинг. Он думает о своем отце, о безрадостной совместной жизни родителей. Всегда деньги, только деньги. Его родители никогда ничего себе не позволяли: Адмирала заедали честолюбивые планы. Жена могла из кожи лезть — Адмирала это не трогало.

— Ну вот, скоро я уеду...— говорит Бербель.

Хеннинг отвечает не сразу. Собственно, он давно знает, что она хочет учиться, но сперва поработает год в больнице, прежде чем приступить к учебе. Он знает, что им недолго осталось быть вместе, но не любит говорить об этом. Многое еще не ясно, многое не определилось. Следует ли ему удерживать ее? Привязать к Леннекену? Быть может, даже жениться? Он долго молчит. Она подходит, садится рядом с ним на кровать, неожиданно спрашивает:

— Неужели тебе безразлично, уеду я или останусь?

И оба заранее знают ответ.

— Да, безразлично, совершенно безразлично. Ты для меня не больше, чем я для тебя, Бабс. Как ты ко мне, так и я к тебе.

— А если бы я сказала, что хочу остаться, теперь, когда ты живешь у нас, и я тебя ни капельки не люблю?

Голос ее звучит глухо, и Хеннинг понимает, что спрашивает она всерьез.

— Бабс,— отвечает он,— как мне ни тяжело, я все-таки сказал бы: поезжай...

В маленькой комнате воцаряется тишина. Хеннинг обнимает девушку. Дружеский жест, не больше. Юношу охватывает нежность, но он не поддается порыву. Ведь Бабс так сдержанна, думает он. Через некоторое время Бербель встает, снова подходит к окну, выглядывает наружу. Земля раскинулась в ярком солнечном блеске, краски, краски, без конца краски.

— Я буду время от времени приезжать... а кончу учиться, попытаюсь устроиться в наших местах. Не могу себе представить...

Снизу опять хрипло кричит Король:

— Хеннинг, Бербель... Замечательная новость!

И Бербель заканчивает фразу не так, как хотела:

— ...что он оставит нас в покое. Уж не выпить ли с ним, в самом деле?

Она вопросительно глядит на Хеннинга, он кивает. На секунду он даже чувствует облегчение. Не так просто оставаться теперь с девушкой наедине. Раньше было куда проще. И хоть он мысленно обзывает себя дураком, ему от этого не легче.

Наверно, они сидят уже битый час, прежде чем Бербель приходит в голову спросить, где же та новость, которую обещал Король.

О вчерашнем собрании никто словом не обмолвился. Не в их обычае сразу же говорить о подобных вещах, без умолку болтать о том, что еще только-только случилось. Всему свое время, ничто не делается само собой, да еще в спешном порядке. Каждое дело надо хорошенько продумать. После того как Бербель задала свой вопрос, Король самодовольно ухмыляется и продолжает говорить все о том же. Разумеется, разговор об Адмирале неисчерпаем. Их несчетное множество, этих маленьких анекдотов, которые можно рассказывать без конца, но Бербель находит, что пора поговорить о чем-нибудь другом. Об Адмирале, как она полагает, уже достаточно сказано. Про себя она думает, что Хеннингу следовало бы поменьше смеяться над всей этой чепухой, как-никак Адмирал — его отец.

— ...А он все-таки поехал к адвокату да прихватил с собою несколько превосходных копченых угрей. И жена адвоката взяла их... А самого-то адвоката дома не было. Ну, она тоже маленько разбирается во всех этих сутяжных делах, и он ей рассказывает, с чем приехал. Он говорит, что цыплята, которые бегают у меня во дворе, без сомнения, его цыплята, а вовсе не мои. Ну, и она спрашивает: «А сколько же цыплят, господин Грабе?» А он отвечает: «Наседка-то подохла, только двое и осталось. Вот эти-то двое и бегают теперь во дворе у Преппинга...» — «Да-а,— говорит жена адвоката,— бывает же такое! А вы можете это доказать?» — «Нет,— отвечает он.— Пусть господин адвокат докажет». Ну, она подумала-подумала, отнесла угрей в кухню, возвращается в говорит: «Господин Грабе, по-моему, вам лучше не подавать жалобы. У вас ее ни одни суд не примет. Это,— говорит,— такая мелочь, господин Грабе...» Так Иоганнес и отъехал ни с чем. Угри остались у адвоката, тот их слопал, а Адмирал только пальцы облизал...

Король хохочет. Хеннинг тоже хохочет и удивляется, до чего точно рассказ совпадает с действительностью. Здесь, на Леннекене, все выплывает наружу. А может, сам Адмирал в сердцах выболтал.

— Если ты сию секунду не выложишь новость, мы с Хеннингом отправимся гулять,— говорит Бербель.

— Ты, доченька, не торопись,— говорит Король и, подмигнув Хеннингу, обращается к нему: — Смотри, как бы тебе не очутиться у нее под каблуком. Моя, когда была молода, только этого и хотела.

Все поднимают рюмки и пьют хороший, выдержанный коньяк. Глаза у Вернера уже сузились.

Генрих Преппинг медленно и долго поводит плечами, словно никак не может проглотить крепкое зелье. Потом говорит:

— Так вот, последняя новость — Хеннинг Грабе будет работать в моей бригаде.

— Это действительно что-то совершенно новое,— отзывается Хеннинг.

— Что, удивился? — спрашивает Король.

Хеннинг только головой кивает.

— Да,— говорит Король,— вот это я и хотел тебе предложить. Рихард так и так скоро уйдет, поработает еще осень — и на пенсию. Он и вправду уже не молод... Ну, а раз он уходит, нам нужна подмога. По правде говоря, он начинает мне надоедать... Вот я и надумал, что ты перейдешь в мою бригаду, ведь с Адмиралом у тебя теперь ничего не получится.

Хеннинг одной рукой подпер голову, другой проводит по волосам, глядит Королю в лицо, думает, делает резкий протестующий жест и говорит:

— Вчера вечером я вступил в шестую бригаду.

Король секунду ошалело глядит на него и вдруг ударяет кулаком по столу.

— Ты величайший остолоп, какого я когда-либо встречал. Вот уж действительно! — говорит Король.

А Вернер, вдрызг пьяный, с булькающим смехом повторяет:

— Вот уж действительно...

— Да,— невозмутимо отвечает Хеннинг.— Возможно, я величайший остолоп, какого вы можете себе представить, вот только представление у вас неправильное.

— Опять слишком много о себе воображаешь? — говорит Король.

— Вовсе нет, но это единственная бригада, в которой я хотел бы в настоящий момент рыбачить.

Король трясет головой:

— О господи, дочка, ну и оболтус!

— Не понимаю,— говорит Бербель.— Разве он не может рыбачить там, где ему хочется?

— Может, может...— отвечает Король.— Но только... Пошла бы ты в такую бригаду, где, скажем, вместо семисот будешь зарабатывать всего полтораста марок? Пошла бы?

Бербель вопросительно смотрит на Хеннинга.

— Да,— говорит Хеннинг,— в этом весь вопрос. Пошла бы ты в плохую бригаду, если можешь работать в хорошей?

— Вы все свихнулись,— после краткого раздумья говорит Бербель.— Вы все хватили чуточку лишнего. Я ничего не понимаю.

— А я думаю, он унаследовал слабоумие отца,— говорит Король, и кажется, сейчас лопнет от смеха.

— Нет,— говорит Хеннинг,— вовсе нет. Ну, а ты, Бабс, что на это скажешь?

Бербель отвечает не сразу. Перед нею комната с тяжелой добротной мебелью, комната, которую она не любит, потому что все здесь слишком парадно. В одном углу — большие стоячие часы, оттуда доносится мелодическое тиканье. Тяжелый позолоченный маятник мерно качается в стеклянном ящике.

Даже Вернер смотрит осоловелыми глазами на сестру, во рту у него сигара, руки крест-накрест лежат на столе.

Наконец Бербель говорит:

— Не понимаю, зачем ты это делаешь, Хеннинг?... Но так, на первый взгляд, кажется, что ты действительно немного не того...

— Верно, дочка! Ты мигом во всем разобралась, он немного не того,— хрипит Король, вновь наполняя рюмки.

Хеннинг задумчиво смотрит в потолок.

— Но у тебя, конечно, есть свои причины? — спрашивает Бербель.

— Та-та-та! — говорит Король.— Я был бы сумасшедшим, если б так поступил. Он сам себе хуже делает.

Хеннинг поворачивается к Королю, его остроскулое лицо очень строго.

— Если бы ты так поступил, Генрих Преппинг, ты действительно был бы сумасшедшим. Но если так поступаю я, значит, у меня есть свои причины.— Он глядит девушке прямо в глаза и повторяет:— У меня есть свои причины. И это еще вопрос, намного ли меньше прежнего я буду зарабатывать. Во всяком случае, у Макса Вуссова все пойдет по-иному. И если б не наши отцы, все могли бы зарабатывать столько, сколько сегодня зарабатывает твой отец...

Еще не договорив фразу, Хеннинг замечает, что лицо Бербель становится замкнутым и холодным. Он все еще говорит, а сам чувствует, как в нем поднимается горечь. Вот оно что, думает он. Значит, и она говорит разумно только до тех пор, пока дело не касается ее лично.

Король встает и начинает ходить по комнате, взад-вперед. По его походке не заметно, что он изрядно выпил. Он вдруг останавливается и обращается к Хеннингу:

— Я не хотел верить, отказывался верить, но теперь верю, что ты самый настоящий большевик.

— Пусть это тебя не волнует,— говорит Хеннинг.— В одном могу тебя заверить: для меня это не ругательство.

— Вот, полюбуйся,— говорит Король, обращаясь к Бербель.

А когда совершенно опьяневший Вернер машинально повторяет: «Вот, полюбуйся!»— Король больше не в силах скрывать волнение. Он набрасывается на сына: «Убирайся отсюда, пустобрех! Не трепи языком!»

Вернер съеживается и, немного погодя, наливает себе рюмку.

Бербель глядит на него, на ее лице появляется гримаса отвращения. Она встает и говорит:

— Вы все тут с ума посходили. У меня голова трещит.— И уже в дверях оборачивается еще раз, спрашивает: — Ты идешь?

Хеннинг колеблется. Он хочет встать, но Король говорит:

— Лучше, если ты пойдешь одна, дочка... Хеннинг Грабе связался с голодранцами.

— Я думаю, это мое дело,— тотчас возражает Бербель.

Король морщится и устало машет рукой:

— Ты в меня, знаю... Ну, да скоро сама увидишь, к чему все идет.

Но в его словах нет убежденности. И видно, что мысли его уже где-то далеко отсюда.

После того как Бербель и Хеннинг ушли, Король снова начинает шагать по комнате. Заложив руки за спину, он ходит взад-вперед, взад-вперед. Никто теперь ему не мешает. Некоторое время Вернер еще следит за отцом стеклянными глазами, ерзает на стуле, подливает себе коньяку, но не пьет. Лишь сидит, тупо уставившись на рюмку с прозрачной золотистой жидкостью, которая таит в себе все семь чудес света и к тому же — чудо беззаботной веселой жизни.

Король видит перед собой весь остров, его дома и лачуги, народное имение, рыболовецкий кооператив. Этот кооператив представляется ему уступкой времени, распроклятому времени, которое все выворотило наизнанку. Король Леннекена видит перед собой пути и дороги, вспоминает людей и имена. Одни для него — настоящие люди, другие — «не того».

И еще ему вспоминается вчерашнее собрание, итоги голосования. Подумать только, вчера на собрании оказалось, что обе стороны почти одинаково сильны. Достаточно только двух голосов — и выходит, зря он прожил жизнь, зря беспокоился, зря трудился. А ведь он трудился всю жизнь, не давая себе ни минуты передышки. И когда пришли плохие времена, ему все было нипочем. Он был силен и несокрушим. Он что-то собою представлял. Его, Генриха Препшинга, слово имело вес далеко за пределами Леннекена, а на самом Леннекене обладало почти силой закона. А как сладко высекать свои скрижали закона, чувствовать, что мир, каким бы малым он ни был, формируется твоими руками, которые не могут оставаться без дела, твоими мыслями, выношенными в одиночестве. Разве это не чудесно? А разделять высокие устремления своего времени — это рождает новую силу, новые мысли, новые законы. Он значил все, пустая болтовня о человечности и справедливости не значила ничего. И никогда не будет иметь значения. Можно ли допустить, чтобы все выворачивалось наизнанку, чтобы плохой рыбак с поощрения государства приравнивался к хорошему? Можно ли согласиться с этим без борьбы? Если слова больше не помогают, значит, настало время действовать.

Так размышляет Король. Фридерике просовывает голову в дверь, спрашивает, как быть с гусем, открывать ли банки с соленьями. Он грубо прогоняет ее, кричит:

— Если ты не приготовишь жареного гуся, я запру тебя в курятник, там твое место!

И снова Король принимается ходить по комнате. Вернер уснул, он положил голову на стол и пьяно храпит. А Король размышляет. Все объединяются, думает он. Все голодранцы стоят друг за друга, с каждым днем они сплачиваются. И недалеко то время, когда слово настоящего человека не будет иметь никакого веса. Сетей нет, мест для вершей нет, вся жизнь пошла насмарку.

Они хотят, чтобы каждый выварился в их огромном котле. Они стоят друг за друга. Медленно затягивают свою сеть... И только мы, только мы не стоим друг за друга. Мы разобщены. Наши дети идут своей дорогой. Взять хотя бы Хеннинга Грабе, разве скажешь, что он — сын Адмирала? Ну да все равно, все равно. Здесь он хоть у меня на виду, так лучше, чем если б он жил где-нибудь еще... Вот уж не думал, что из него выйдет такой фрукт. Впрочем, эти Грабе все сумасшедшие, тут уж ничего не поделаешь. Даже не знаю, как поведет себя Адмирал, если пойти к нему и объясниться начистоту. Других убедить легче, те сразу чувствуют, когда до них начинают добираться... Но вот его соседушка про-

сто с ума спятил. А ведь нынче голос человека, который сохранил хоть каплю здравого смысла от прошлых времен, весит вдвое больше!

Мысли, слова, нашептанные фразы. Наконец Король принимает решение. Сегодня же, прямо сейчас он сделает попытку примириться с Адмиралом. Ему это вовсе не легко, но коньяк, огненный коньяк воспламенил его мысли. Можно ли раздумывать, когда все призывает к действию?

Он никому не скажет о своем решении, которое наметилось еще сегодня утром. Разгоряченный алкоголем, он не может отступить, он должен сделать эту попытку — установить, наконец, мир ради общего блага.

Закрыв за собой калитку, он медленно идет по лужайке. Одна только лужайка разделяет их участки, лужайка, щедро расписанная красками осени. До дома Грабе каких-нибудь двести метров, но с незапамятных времен они воюют друг с другом, с беззаботных юношеских лет эта лужайка была ничейной землей между двумя враждующими странами. Они боролись друг против друга, как две неприятельские армии, и не всегда были чисты средства борьбы, не всегда оставались чистыми руки. Но пусть, наконец, наступит мир, потому что дело каждого из них в действительности — их общее дело. Это обнаружилось теперь, в такие тяжелые времена, когда все выворачивается наизнанку.

Никто — так думает Король — не видит его. И это хорошо. Комнаты Хеннинга и Бербель выходят на другую сторону дома, жена в кухне, сын, этот тюфяк, этот пьянчужка, дрыхнет, уронив голову на стол, он и пить-то не умеет. Хмель подгоняет Короля. Он не смотрит на участок вдовы Тимм.

А тем временем вдова Тимм сидит за занавеской, вяжет чулок. Этот день для нее необыкновенный. Она протирает глаза, она сама себе не верит: господи боже, по лугу идет Король, идет к Адмиралу! Уж не свихнулись ли все? Кто мог бы такое подумать? Король Леннекена собственной персоной направляется к Адмиралу Грабе, который совсем недавно выгнал из дому своего сына Хеннинга. Как знать, наверно, Хеннинг что-нибудь натворил, наверно, сделал ребенка Бербель, любимой дочери Короля. И Луиза Тимм быстро прикидывает в уме, сколько дней прошло с возвращения Бербель на Леннекен. Нет, этого не может быть. Но Король все-таки идет туда. Он пересекает лужайку и исчезает за забором, скрывающим участок Грабе от глаз Луизы Тимм, прозванной Тиммша-телеграф! Больше ей ничего не видно. Надо же было Грабе поставить этот дурацкий забор! У Тиммши разыгрывается воображение. Ничего другого быть не может: обесчестил дочь, сделал ребенка. Вот Король и идет к Адмиралу потребовать с него ответа. Всяко бывает.

Проходит четверть часа, оттуда ни звука. Вязанье лежит у нее на коленях. Ну и дела творятся на свете! Тихо в деревушке Вик на Леннекене. Кое-где из печных труб поднимается дым и уходит в осеннее небо, которое все более проясняется.

Луиза Тимм, конечно, не может знать, что Король сидит в кухне у Анны Грабе. Он еще не видел Адмирала. С Анной Грабе Король беседует о том, что его волнует.

— Да, Анна,— говорит он.— Я в самом деле пришел помириться с вами... С тобой мы никогда не ссорились, но я хочу помириться с Иоганнесом. Так дальше продолжаться не может...

Мать Хеннинга взволнована, она суетится, достает из буфета бутылку водки, до блеска протирает рюмку и ставит ее перед Королем.

— Ах, Генрих, какая приятная неожиданность,— без конца повто-

ряет она и, по своему обыкновению, заключает поговоркой: — Человек предполагает, а бог располагает! — Она стоит, сложив на животе руки, и говорит: — Я всегда думала — неужели так и сойдем в могилу, не помирившись... И вот ты пришел к нам.

Ах, Анна Грабе, добрая твоя душа! Когда ты научишься видеть мир таким, каков он есть? Ты разговариваешь с Генрихом Преппингом так, как будто ты одна в доме, как будто, кроме тебя, ничего и нет, ни Адмирала, ни давней ссоры. Ты наживаешь опыт лишь для того, чтобы забывать его. У тебя нет памяти на дурное, ты любишь все ясное и светлое. Вот почему ты пугаешься до смерти, когда в дверях показывается Адмирал и, недолго думая, бросается на Короля с хриплым криком страха и ярости.

Тиммша-телеграф видит только конец. Теперь она может разнести по всему острову, что Король Преплинг пытался поговорить с Адмиралом Грабе, и с четверть часа все шло хорошо, но потом Король под градом пинков и ударов бежал домой. И еще Тиммша может туманно намекнуть о причине столь внезапного визита, между Хеннингом и Бербель произошло что-то такое, что не подлежит огласке.

Истерзанный, избитый возвращается Король домой. А Адмирал у себя в кухне охлаждает разбитый лоб студеной колодезной водой.

— Не обольщайся надеждой, тогда не будешь разочарован,— говорит Анна Грабе себе в утешение.

VI

В бурю едва теплится огонек жизни, но если дух Макса Вуссова не появился, значит, он жив. Двое едят промокший хлеб

Хеннинг передал руль Максу Вуссову. Они сидят рядом на банке, внизу рокочет мотор катера Бернгарда Калла. Катер не новый, он долго пролежал на берегу, палубная обшивка местами рассохлась, но мотор в полном порядке, и «Акула» по-прежнему послушна каждому повороту руля. Бернгард Калла сразу же согласился дать им катер. «Только смотрите не наловите слишком много,— со смехом сказал он Хеннингу,— а то братья Вуссовы тоже будут против второй ступени».

Прищурив глаз, Хеннинг спросил:

— А ты тоже против?

Ветер с юга, слабый, волны почти нет. Солнце уже взошло, вода, еще темная, слепая после ночи, как губка, вбирает в себя краски раннего утра. Облака на востоке горят всеми оттенками красного. Красный цвет переходит в желтый, затем в белый и, наконец, сливается с синевой пробуждающегося дня.

Берег лежит позади в дымке тумана. Они вышли из залива, вокруг — открытое море.

— Да, мой мальчик... До седых волос дожили, а ведут себя, как дети! Не понимаю я этого: подрались, что твои мальчишки! — И Макс Вуссов сокрушенно качает головой.— Я как услышал обо всем — нет, говорю, быть того не может, Клаус. А потом оказалось — правда.

— Да,— говорит Хеннинг,— сначала я вообще не мог себе этого представить. Король лежал на кушетке и так честил Адмирала, просто ужас какой-то... А потом за обедом Луиза Тимм рассказала мне, что произошло... Стряпает она плохо, зато трещит, как сорока. Мне даже есть расхотелось.

Хеннинг договорился с Тиммшей, что она будет готовить для него. Ее желтые глаза, всегда напоминавшие ему глаза дикой кошки, горели от возбуждения и желания поскорее выложить все, чему она была свидетельницей.

«И вот я вижу, как Король бежит из вашего дома. Сижу я, значит, у окна, вяжу, подремываю, ни о чем дурном не думаю, ни о чем таком не помышляю — господи, что еще там в Вике может приключиться? — и вдруг Король выбегает из вашего дома, а твой отец за ним. Нет, думаю, нельзя этому поверить, думаю, неужели дерутся? И вдруг Король как треснет твоего отца и припустит вовсю, а твой отец подскочил и как даст ему! Ну, думаю, дела...»

А потом она пристала с расспросами: почему да отчего... У Хеннинга кусок поперек горла стал.

— Да, Тиммша не в меру болтлива, это все знают,— говорит Макс Вуссов,— но на сей раз, мой мальчик, виноват твой отец... Похоже, Король в самом деле хотел помириться. Это делает ему честь.

Хеннинг молчит. Он долго раздумывал над этим необычайным происшествием, но так ни до чего и не додумался.

— Я бы на твоем месте не расстраивался,— говорит Макс Вуссов.

Молчание Хеннинга не нравится ему. Кто знает, быть может, парня огорчает, что его отец такой сумасшедший и не внемлет доводам рассудка.

— Не в том дело, Макс... Я не могу понять, почему Король вдруг захотел мириться,— говорит Хеннинг.

— Мне думается, Король все же не самый скверный человек на свете. Быть может, он решил, что все это пора предать забвению. Он все же справедлив, этого у него не отнимешь.

Хеннинг снова молчит. Не слишком ли часто приходится слышать, что Генрих Преппинг — справедливый человек? Все рыбаки говорят так о Короле. И действительно, Король часто помогает по мелочам. Но при всем том несомненно, что Король — человек вчерашнего дня. Он только и думает о том, как было прежде на Леннекене. Никогда он не примет настоящего, а уж будущего — и подавно. Быть может, он потому и пошел к Адмиралу, что их связывает общее прошлое. В свое время, еще до того, как они разошлись, они были друзьями.

— Во всяком случае, Адмирал окончательно спятил,— говорит Хеннинг.

— Он все же твой отец, мой мальчик... Но ты прав. Он уже «того».

Медленно движется «Акула» к месту лова. Они сидят в открытой рулевой рубке, пахнет теплым машинным маслом. Стрелка компаса дрожит от вибрации корпуса. Они чуть отклонились к северо-востоку. Макс Вуссов встает, чтобы приготовить сеть. Один конец троса он прикрепляет с левого борта, отсюда должен опуститься невод. «Акула» легко покачивается на волне, идущей с кормы.

О Максе Вуссове на Леннекене рассказывают, что он видит камбалу на дне моря. Глаз у него такой острый, что он, как чайка или орлан-белохвост, может сосчитать всех рыб, притаившихся на светлом морском дне. Есть ли тут доля правды или все это преувеличение — трудно сказать. Во всяком случае, Макс стоит на носу у поручней и не отрываясь глядит в воду. В светло-зеленой воде, среди шныряющих над белым песчаным дном рыб он выискивает маленькие блестящие черные точки — глаза камбалы. Прямо как в сказке! Но вот он поднимает руку и описывает в воздухе широкий круг. Теперь Хеннингу ясно, как должны лечь

тросы. «Акула» замедляет ход, трос падает в воду, за ним летят кошель и крупноячейные крылья, в которые и должна попасть вспугнутая тросами плоскуша. Они бросают второй трос и, описав дугу, возвращаются к первому. «Акула» медленно и осторожно продвигается вперед. Внизу, на дне, тросы натягиваются, образуя дугу, затем сближаются в эллипс, сгоняя вспугнутых рыб в одно место. Хеннинг ускоряет ход, дает полный газ. Все, что попало между тросами, устремляется в кошель — рыба поймана. Они медленно идут обратно и выбирают тросы. Растет напряжение, охотничий азарт, охватывающий всякого, кто ловит рыбу таким способом. Теперь очередь за крыльями, в них уже висят трепещущие рыбы. Рыбаки поднимают крылья, рыбы висят головой внутрь и бьют хвостами.

— Настоящая елка! — смеется Макс Вуссов.

Всегда хорошая примета, если в крылья что-то поймалось. Они поднимают кошель: замет был удачный. Но тут уж будь осторожен. Нельзя говорить: «Хороший улов» или что-нибудь в этом роде. Макс Вуссов хоть и доволен, но с кислой миной ворчит: «Первый блин комом». Только бы не сглазить.

Они недолго прохлаждаются, вытряхивают кошель, расправляют и снова забрасывают. Теперь пойдет без передышек. Замет, поворот, сближение тросов, подъем, снова замет. Их обвевает соленый морской ветер, мотор работает ровно.

К полудню они жарят на керосинке свежую камбалу, густо посыпав солью, едят ее с хлебом. И снова за дело! Только не мешкать, не приостанавливать лова. Они всецело поглощены работой, по их движениям и лицам видно, как они любят ее. К полудню уже наловили полтора центнера. Тут уж хочешь не хочешь — продолжай ловить. Камбалы много, место выбрано правильно. Неважно, что уже пора обедать.

На Леннекене все идет своим чередом. Дни мало чем отличаются один от другого. Остров невелик, никаких потрясений. В кооперативе в Неттельмине Тиммша-телеграф пространно, с обильными прикрасами рассказывает, как избили Короля. Женщины, собравшиеся вокруг нее, узнают, так сказать, из первоисточника то, что им уже давно известно. А Луиза Тимм не скупится на туманные намеки о причинах поражения Короля. Для Луизы несомненно, что речь идет именно о поражении. Ведь кто бежит, тот и побежден.

Рыбаки на лове рассуждают иначе. О случившемся разговаривают много, обстоятельно обсуждают вопрос, не свихнулся ли Хеннинг, как и его отец. Подумать только, парень перешел в плохую бригаду, когда мог бы работать в хорошей. Такого умелого рыбака кто угодно к себе возьмет. Но он предпочитает ловить камбалу. Стало быть, и у него с башкой не все ладно. Другие возражают: нет, это все неспроста. Хеннинг вовсе не унаследовал слабоумие отца. Ни разу еще не бывало, чтобы он взялся за дело, не обдумав его. А уж лучшего товарища, право, не найти. Карл Дассов говорит Аугусту Бекману:

— Ты только то и болтаешь, что хочет слышать Адмирал, уж я-то знаю. Но я вот что тебе скажу — попридержи язык насчет Хеннинга Грабе. Не то придется иметь дело со мной... Ловить камбалу могли бы многие бригады, будь между нами согласие.

— Замолчи, молокосос! Чего только мы раньше не делали, да ты-то, сопляк, что об этом знаешь? Нужно ли нам это? Я так полагаю, что теперь нам это не нужно. У нас и с вершами неплохо идет.

— Вот умора! — говорит Карл Дассов. Его опять разбирает охота поиздеваться над Аугустом.— Да ты первый вечером рот разинешь,

как привезут этак центнеров с десять. Ну и тогда, конечно, пойдет: Аугуст Бекман всегда это знал, Аугуст Бекман всегда говорил, что камбалу должны ловить все.

— Десять центнеров? — переспрашивает Аугуст.— Десять центнеров за день — да ты в своем уме?

— Не все ли равно, сколько... Только когда Макс Вуссов идет на лов камбалы, с пустыми руками он не возвращается.

— Враки! — убежденно говорит Бекман.

Адмирал много размышляет за рулем, часами думает о чем-то своем.

А дома сидит Анна Грабе. С воскресенья она почти слова не сказала. Не пела, не разговаривала, только с мрачным видом подавала на стол Адмиралу. Мало того что этот упрямец выгнал из дому родного сына, ее Хеннинга, единственного оставшегося у нее ребенка. Старший, Роберт, погиб в первые дни войны, это несчастье едва не убило ее. Хеннингу отдала она всю любовь, которая раньше принадлежала Роберту. Но что любовь, если муж разрушает все то доброе и светлое, что она создает. Ничтожный человек, не заслуживающий того, чтобы о нем заботились! Не стоит он хорошего отношения. Вот и сейчас он оттолкнул предложенные ему дружбу и доверие. Избил и выгнал человека, который хотел снова стать его другом. Никогда слова доброго от него не услышишь. Он давно уже замкнулся в себе, любой пустяк его раздражает, он ожесточен без всякой причины и ведет себя так, будто собирается жить вечно. Анну Грабе охватывает печаль. Она не поет, не разговаривает сама с собой, как обычно, молча занимается своими делами. Иной раз возьмется за что-нибудь и не доведет до конца. В ее глазах тогда появляется огонек — Хеннинг однажды заметил его и испытал страх, озабоченность и острую жалость. Анне Грабе непонятно, что происходит вокруг Адмирала.

Бербель тоже поссорилась с матерью. Они стирали белье в кухне, дочь сказала:

— Наш отец думает только о себе, на тебя ему решительно наплевать.

И хоть Фридерике Преппинг долго плакала и ругала Генриха Преппинга за его «беспутство», иными словами, за воскресную попойку, все принимает другой оборот, стоит только Бербель с ней согласиться. Выждав с минуту, Фридерике накидывается на дочь:

— Ты должна уважать отца и мать... Наш господь бог не для того давал свои заповеди, чтобы ты их нарушала. Каждый должен мести перед своей дверью!

Бербель не понимает, что именно она должна мести перед своей дверью, да и противоречивость слов матери безмерно раздражает ее:

— Господи боже, мама, в конце концов ты же ругала его, не я,— возражает она.

— Тут и сравнений быть не может,— отвечает мать.— Если я что и говорю о своем муже — это совсем другое дело. Я никогда слова дурного не сказала о своем отце.

— Да, это так... Зато ты морила его голодом, на таких тощих супах его держала!

Бербель тут же жалеет, что сказала это. Она дала себе слово никогда не говорить о таких вещах, но она еще хорошо помнит дедушку — под конец жизни он страдал болезненной прожорливостью и мог съесть невероятно много рыбы, если ему давали. Но ему ее не давали. Уж Фридерике заботилась о том, чтобы он ел не слишком много. Она постоянно

оправдывалась тем, что боится повредить его здоровью, но за всей этой заботливостью скрывалась изрядная доля жадности.

— Неблагодарная! — кричит Фридерике.— Разве ты не получала в родительском доме все, что хотела? Неужели ты будешь еще позорить меня? Неужели в школе ты ничему другому не научилась и только набралась непочтительности к родителям?

Выпрямившись, Фридерике стоит у корыта с бельем. От корыта идет пар, ее руки погружены в мыльную пену.

Бербель наклоняется и продолжает полоскать белье. Ей не хочется больше препираться, она больше не отвечает. Нет смысла отвечать, думает она. Но как раз это-то и не нравится Фридерике. Она переводит дух и продолжает:

— Все это так! Но у тебя плохая память... Знаешь ли ты, сколько ты стоишь нам в месяц? Думаешь, все, что ты получала, нам даром досталось? Твой отец работал в поте лица, да и я тоже. Ты должна бы быть мне помощницей, но нет — тебе хочется учиться, носить дорогие платья, ты жила в интернате, тогда как другие девочки...

— Тогда как другие девочки имели то же, что и я, только родители не попрекали их этим,— перебивает Бербель и с горячностью продолжает: — А ведь у многих условия были гораздо хуже. Но дома у них все как полагается. Я бы пропала, если б мне пришлось жить вместе с вами. По-настоящему дома я чувствовала себя только в интернате, вот что я тебе скажу.

— Ты испорчена, ты потеряла стыд! Испорчена, и больше ничего! — кричит Фридерике. И заключает: — А теперь замолчи, чтоб я тебя больше не слышала!

Бербель откидывает прядь волос с лица, что-то отвечает, но затем умолкает. Мы больше не можем думать так, как думают старики. У нас другие мысли, другие слова, другие понятия. Дело не только в том, что они старше нас. Уж так повелось, что старость и юность никогда не могли договориться друг с другом. Новое нарождается и полностью порывает с жизнью стариков. Раздоры между нами вызваны не временем, а его новыми требованиями.

Так думает Бербель и мысленно возвращается к разговору, который произошел между нею и Хеннингом в прошлое воскресенье. Она продолжала спорить, и Хеннинга очень огорчило, что она не понимает его. Бербель стояла на своем и не могла сразу признать, что его решение работать в слабой бригаде — правильно.

— Кто же так делает? Быть может, все это благородно и великодушно, но в действительности ты сам себя обидел,— сказала она. А когда он горячо возразил, Бербель попыталась обезоружить его доводом, что лишь немногие думают так, как он, и, по ее мнению, может только повредить, если некоторые вдруг начнут идти не в ногу со всеми.

— Неужели ты воображаешь, что вы чего-то достигнете с вашим кооперативом, если ты будешь зарабатывать меньше прежнего? Что ты вбил себе в голову? — сказала она.

Хеннинг долго молчал и наконец ответил:

— Да, я думаю, что мы добьемся лучшего. Должен же кто-то начать... И еще я полагаю, что ты в какой-то мере думаешь головой Короля, Бабс. Как-никак, ты его дочь.

Спор дальше не пошел, но в нем чувствовалась обоюдная, с трудом сдерживаемая запальчивость. Бербель увлеклась и с жаром стала доказывать, что она не дочь Короля. Это было забавно, они рассмеялись и закончили разговор. Вспоминая об этом сейчас, за стиркой белья, Бербель не может удержаться от улыбки.

— Значит, тебя на полном скаку обронил осел,— пошутил Хеннинг.

Но Бербель знает, что этот разговор еще не закончен. Они оба не успокоятся, пока не начнут его снова.

К вечеру ветер вдруг изменился и стал быстро набирать силу. Хеннинг и Макс Вуссов только что стравили тросы и теперь сближают их. Внезапно налетел шквал. «Акула» пляшет на волнах, ложится на правый борт. Ветер холодный, с ловом на сегодня покончено — это ясно. Нахмурив лоб, Макс Вуссов смотрит на юго-запад. Быть может, шторма еще не будет.

— Давай кончать, Макс,— говорит Хеннинг.— Пора. Еще успеем сдать рыбу.

Они выбирают тросы. «Акула» резко накреняется, когда становится бортом против ветра. Невод на этот раз тяжелый. Пожалуй, лучший замет за весь день. Хотя Макс и остерегался сглаза, все же за вторую половину дня они поймали немного. И, как назло, теперь, когда пора кончать, рыба сама пошла в невод. Они разворачивают катер носом к берегу. И тут Макс Вуссов высказывает то, о чем про себя думает Хеннинг:

— Сделаем еще один заход, мой мальчик. Камбала здесь есть, это несомненно.

Работают они быстро, без задержки. Их движения точны и хорошо согласованы.

Они стоят теперь носом к берегу. Снова порыв ветра, еще сильнее прежнего, старый парус туго натянут, катер кренится набок. А у них еще много дела, надо выбрать тросы. Ветер свистит и ревет, волны громоздятся друг на друга, водная стихия бушует. На горизонте полыхают первые молнии, ветер налетает со всех сторон. Они дают полный ход и берут курс на берег.

Затем снова затишье, последнее,— и вот шторм вновь на них накидывается, их вертит во все стороны, в парусе зияет большая дыра. Стало совсем темно. С неба чиркают молнии, низко нависли свинцовые тучи. По палубе хлещет дождь. Они стоят в рубке и стараются идти так, чтобы не становиться бортом к волне. Вокруг — вой ветра, шум дождя, выхлопы мотора, угарный дым. Их швыряет из стороны в сторону. Чтобы сохранить равновесие, приходится за что-нибудь цепляться. Ветер снова налетает на парус, дыра увеличивается. Огромный вал подхватывает их и вновь опускает. «Акула» зарывается носом в воду и не успевает выровняться, как следующий вал обрушивается на палубу. Вода, хлынув в рубку, окатывает их с головы до ног. Все же Хеннингу удается обуздать «Акулу». Они выскакивают на гребень волны и снова ныряют вниз.

Ветер крепчает. Он дует с юго-запада и не дает им идти курсом к берегу. Все, что они могут сделать,— это держать «Акулу» против ветра, чтобы их не захлестнуло волной. Широко расставив ноги, они стоят рядом в рубке. Их лица сосредоточенны, но если бы их спросили, страшно ли им, оба, не покривив душой, ответили бы: нет, не страшно. Не легко стоять в промокших сапогах, в мокрой одежде на холодном ветру. Не легко, но им не страшно.

Страх подкрался неожиданно, вонзил когти в Хеннинга, он почувствовал, как болезненно застучало сердце в груди. В моторном отделении вдруг зашипело, засвистело, мотор вздрогнул и остановился. И только ветер неистовствует по-прежнему, хлещет по палубе дождь, скрипят тросы и тали, хлопают обрывки паруса. Их разворачивает,

прежде чем они успевают опомниться. Не за что больше держаться, нет больше ни низа, ни верха. Но вот Макс Вуссов делает прыжок — и он уже у мотора. Он знает: теперь все решают секунды. Шум мотора еще стоит у него в ушах.

Бортовая качка усиливается. Закрепив руль, Хеннинг выскакивает на палубу, хватает невод, в котором еще трепыхаются рыбы, швыряет его за борт, обматывает тросы вокруг кнехтов.

Это помогает. Максу Вуссову удается пустить мотор. Мотор чихает, дает перебои, но затем снова начинает работать. В самое время! Хеннинг снова стоит у руля. Вал впереди, возможно, будет последним. Они это знают. Теперь каждый вал может стать последним, раз мотор барахлит. Но пока что он работает. Их выносит на гребень, Хеннинг держится за штурвальное колесо, палуба под его ногами словно провалилась. А когда они ныряют вниз, катер набирает столько воды, что Макс Вуссов в машинном отделении оказывается в ней по пояс. Они снова взбираются на гору. Вдруг снизу из машинного отделения доносится какой-то звук, Хеннинг не сразу понимает, что это такое. Он наклоняется, чтобы получше разглядеть, что там происходит. Макс Вуссов стоит по пояс в холодной воде — и смеется. Смеется заразительно, от души над всей этой передрягой. Смеется громко, раскатисто.

Хеннинг улыбается в ответ, ему это дается не так легко, он кричит:

— Смеешься, Макс! А я думаю, мы свое отсмеялись. Сейчас сыграем к рыбам на дно...

Макс Вуссов, мы свое отсмеялись. Нет больше повода для смеха. Сейчас все останется позади, сейчас та, с косой, заберет наши души.

Но Макс улыбается Хеннингу и кричит:

— Пустяки, мой мальчик. Себя мне не жалко... Вот тебя мне немного жаль.

Пустяки, мой мальчик, пустяки. Сейчас все останется позади. Не трястись же нам, как осиновый лист, не накладывать же в штаны. Сейчас мы попадем к черту на кулички. Но так мы не уговаривались — конец так конец, слезами тут не поможешь, да слезы и вообще не для нас, нам это не к лицу, ведь мы же рыбаки. Собственно, мы с самого начала знали, что когда-нибудь наступит конец. Пустяки!

Хеннинг Грабе, ты стоишь за рулем, мотор то и дело глохнет. Вы спорите со смертью. Вам нечего проигрывать, кроме своей жизни. Этой большой, красивой, увлекательной жизни. Вам нечего терять, кроме этого чудесного красочного мира, ревущего шторма, плеска воды, крика чаек над вашим родным краем. Вам нечего терять, кроме любви, мужественного сердца и головы с мозгами. Вы оба знаете это и не сдаетесь. Вы рождены не для того, чтобы сдаваться. Вы боретесь и будете бороться до последней секунды, чтобы удержать все: вашу жизнь, ваше мужество, весь этот чудесный и красочный мир. Но вы смеетесь даже перед лицом смерти.

Хеннинг никогда не забудет этого часа. В его ушах останется рев ветра, перебои мотора, клокотание воды — и смех Макса Вуссова тоже останется в его ушах. Он будет сопровождать его всю жизнь. Хеннинг не забудет, чему научил его этот смех. И позднее он скажет себе: «Только с этой минуты я стал настоящим рыбаком». Он любит жизнь не меньше других, но если ничего больше не остается, если выхода нет — надо смеяться, потому что жить по-настоящему — значит жить до последней секунды.

Они борются со штормом всем своим умением, всеми силами. Вокруг них непроницаемая тьма. Бортовые огни да лампочка над компасом — вот и все их освещение. Они не чувствуют усталости, у них нет

на это времени. Они не знают, где находятся. От одежды идет пар, оба вспотели, их лица испачканы маслом. Их «Акула» — это всего-навсего старая лоханка, затерявшаяся в ночи, отданная во власть ветра и волн. Но в этой старой лоханке сидят двое, и они хотят жить.

А Бербель ждет. Ждет Элена Вуссов, жена Макса, ждет мать Хеннинга, ждет Адмирал, ждут Клаус и Фриц Вуссовы и жена Клауса, Ротрауд Вуссов. Нет на Леннекене рыбака, который не думал бы об этих двоих, что штормуют сейчас в темном, холодном море. Бернгард Калла говорит своей Лисбет:

— Что мне «Акула», по мне хоть бы она пошла ко дну, лишь бы они остались живы.

Озабоченные, сидят они у себя дома, часы пробили одиннадцать, буря бушует вокруг. Много окон светится в эту ночь на Леннекене.

Август Бекман и Брюммер-миллионщик сидят в трактире, пьют водку и, делая долгие паузы, разговаривают об этих двоих, которых, быть может, уже нет в живых.

— Я только вчера его видел,— говорит Кнут Брюммер,— он еще сказал мне, что скоро мы будем зарабатывать столько, сколько у меня миллионов в Швеции... А я еще засмеялся и говорю: «Хеннинг,— говорю,— до того времени много воды утечет в море». А он еще засмеялся и говорит: «Нет,— говорит.— Это будет скоро, Кнут».

Август Бекман молча слушает. Что тут можно сказать? В конце концов еще неизвестно, действительно ли они погибли. Бывали же случаи — считали человека погибшим, а он спасался.

— Да, Хеннинг был мировой парень, ничего другого о нем не скажешь,— замечает Кнут Брюммер.

— Ты говоришь так, как будто Макса Вуссова вообще не существовало.

— Нет, этого я не сказал, что правда, то правда... Этого я не сказал, но Макс все-таки был постарше, это не так ужасно...

С минуту они сидят молча, каждый думает о своем. Потом Бекман говорит:

— И ведь все так, зазря. Далась им эта камбала! Как будто нам вершей не хватает...

— Да тебе-то уж, наверно, хватает. У Адмирала ты неплохо устроился, совсем неплохо.

— Ты вот что мне скажи: зачем Хеннинг пошел в плохую бригаду? — спрашивает Август, разозленный упреком в том, что он зарабатывает больше, чем Кнут.

— Зачем?.. Я думаю, это нетрудно объяснить. Я понимаю, почему Хеннинг так поступил... Из-за своей порядочности, скажу я тебе, да, порядочности.

— При чем тут порядочность? Пусть я буду меньше зарабатывать! Ведь это же просто глупость,— отвечает Август Бекман.

— Один называет так, а другой этак,— говорит Кнут.— Но только разница есть, что правда, то правда!

— Если б Хеннинг не поссорился с отцом, то сегодня не утонул бы,— говорит Август.

Брюммер-миллионщик делает отрицательный жест.

— Не отец он ему. На мой взгляд, он просто головорез! И удивительно, как это у него вырос такой сын, вот что я тебе скажу!

Последние слова Кнут Брюммер произносит на повышенных нотах.

Но Август Бекман, как всегда, защищает Адмирала.

— Не говори дурно об Иоганнесе Грабе... Ни слова больше. Я не позволю его порочить! Кто скажет хоть слово против Иоганнеса, тому придется иметь дело со мной.

— Хо-хо! — говорит Кнут.— Ты, кажется, и в самом деле воображаешь, будто тебя кто-то боится... Не смеши людей. Ты подлизываешься к Адмиралу потому, что сам уже еле на ногах стоишь.

— Что ты хочешь этим сказать, Брюммер-миллионщик? Ну, что?

— Что я хочу сказать? А то, что ты боишься старости. Боишься, что на пенсии тебе не каждый день придется заливать за воротник. Вот что я хочу сказать... Потому-то и лебезишь перед Адмиралом.

Франц Мур, заведующий, подходит к их столу. Одной рукой он почесывает лысину, другую кладет на плечо Кнуту Брюммеру.

— Только не шуметь, а то еще драться полезете, а мне неприятность,— говорит Франц, и его вмешательство приходится очень кстати. Два старых боевых петуха сидят, выпрямившись, и громко осыпают друг друга ругательствами.

— Да он вообще не человек,— говорит Кнут, указывая на Аугуста.

— Во всяком случае, я не хвастаю миллионами, которых у меня нет.

Хорошо, что Франц Мур рядом. Кнут не любит, когда существование его миллионов ставится под сомнение.

— Давайте-ка расплачивайтесь — и по домам! — говорит Франц.— Выйдете на улицу — ссорьтесь сколько хотите.

— А я и не думаю ссориться,— говорит Аугуст Бекман, а сам весь побагровел от злости. В этот момент оба они забыли, что Макса Вуссова и Хеннинга Грабе, возможно, уже нет в живых.

— Моя старая «Акула» выдюжит,— говорит Бернгард Калла.— Но выдюжит ли она такое...

Калла забежал к Ганнесу Люссингу, второму председателю кооператива. Ганнес тоже не спит, как и многие другие в эту ночь. У него мягкий приятный голос. «И далась им эта камбала!» — говорит он с хмурым, как обычно, выражением лица.

Люссинг считает, что ему живется нелегко. Раньше было легче. У него были снасти — он унаследовал все от отца,— была лодка, он сам себе был хозяин. И никто не сомневался в его физической силе. Теперь все по-другому. Теперь приходится сдерживать себя, когда споришь с этим неотесанным Бернгардом. И никогда не знаешь, что из этого выйдет.

— Ты все на свою мерку меряешь,— говорит Бернгард Калла.— Перейти на лов камбалы — по существу тут нечего возразить. Надо только проводить его по-другому. Если б в море вышло несколько лодок, было бы не так опасно... Вот им и приходится выкарабкиваться самим, потому что мы действуем разобщенно. Таково мое мнение.

И так как мнение это высказано довольно громко, Ганнес Люссинг предпочитает не спорить.

— Может быть, ты и прав,— говорит он.

То же самое происходит у большинства рыбаков на острове. Все ждут до глубокой ночи, все чувствуют свое бессилие перед призраком смерти, который бродит вокруг них, и потому достаточно пустяка, чтобы вспыхнула ссора. И так в Холленбеке, в Поггендорфе, в Неттельмине и в Вике. Поскольку люди понимают, что при обстановке, сложившейся у них здесь, на острове, они бессильны чем-либо помочь, они легко раздражаются, и вспыхивают ссоры. Они не единодушны и потому не составляют единой силы. Ничего, кроме раздоров, не получается, но кое у кого в эту ночь зародились новые мысли, возникли новые вопросы.

До полуночи Бербель лежит в постели одетая. Прислушивается к ветру, который воет вокруг, задувает в камин, свистит в трубе. Она слушает, затаив дыхание, стискивает зубы, зарывается головой в подушку. Ей не остается ничего другого, как ждать. Все, что можно было сделать, давно сделано. Они звонили в город, наводили справки, не приходила ли «Акула» сдавать улов. Нет, но если придет, им тотчас же позвонят. Ждать, терзаться тысячью вопросов, тысячью мрачных предположений и ждать.

К полуночи Бербель не выдерживает. Встает, повязывает платок, натягивает дождевик. В сенях у открытой двери в комнату стоит Король. Он качает головой:

— Нет смысла, дочка... И на берегу ты его не найдешь. Оставайся лучше дома... Право же, нет смысла...

Бербель на секунду останавливается, словно прислушивается к сказанному. Ветер завывает. Из спальни доносится храп Фридерике Преппинг. Она спит крепким сном праведницы, но Бербель едва обращает на это внимание. Сейчас она чувствует лишь острую неприязнь к отцу.

— Нет смысла, нет смысла — как будто все должно иметь смысл,— говорит она.— Ты всегда думаешь только о смысле! И самое скверное то, что, если Хеннинг утонет, это будет иметь очень большой смысл. Особенно для тебя. Во всяком случае, ты так думаешь... Но как раз для тебя это не будет иметь смысла, так и знай.

Она говорит торопливо и сбивчиво. Не знает, что хочет сказать, и даже не замечает этого.

— Ты не должна так говорить, дочка. Только не это. Ты хорошо знаешь, что мне было бы жаль Хеннинга... Право же, очень жаль,— говорит Король.

— Жаль, жаль,— повторяет она.— Не больше того. Немного жаль...

Она выходит из дому. Ветер вырывает дверь у нее из рук и с грохотом ударяет о стену. Из спальни доносится испуганный вскрик, но Бербель уже ничего не слышит. Нагнувшись вперед, преодолевая напор ветра, она направляется к берегу. В лицо хлещут клочья пены с залива. Под ветром скрипят тополя. Тьма такая, что хоть глаз выколи. Лишь с той стороны, где лежит город, изредка блеснет слабый свет. Другие огни, если они и горят где-нибудь, гасят темнота и дождь.

Ждать бессмысленно. Хеннинга Грабе нет больше в живых. Его давно поглотило штормовое море — там, дальше, оно бушует куда сильнее, чем здесь в заливе. Нет, неправда, Хеннинг не может умереть. Ведь невозможно, чтобы человек, который недавно дышал, смеялся, был полон радости и пил вино под окном сарая — туман куполом висел над ними,— чтобы человек этот был мертв, чтобы тело его носилось в море без дыхания, без улыбки, без...

Бербель идет по тропе к сараю. В доме Грабе еще горит свет. Там, на холме, у сарая, так же темно, как и здесь, на берегу. Их там нет, и, быть может, они больше не вернутся...

Пусть сгинет сама память об этом острове Леннекен, если Хеннинг не вернется. Я тогда здесь не останусь... Но они не погибли. Хеннинг вернется, Хеннинг Грабе не может погибнуть.

.

В доме Грабе ждет безутешная мать. Отчаяние всецело завладело ею. Подперев голову руками, она сидит за столом в кухне. Анна Грабе больше не прислушивается. И этого сына она потеряла. Что еще может случиться? Жизнь погасла, раз у нее нет сына, которому принадлежала вся ее любовь. Круг ее путаной, многострадальной жизни замкнулся.

Вот он, конец длинной цепи мучений, горестных дней. Все, что когда-то терзало ее, давно разрешено. Или ей только казалось, что разрешено. Был у нее сын, в нем одном заключался ответ на вопрос о жизни, которая должна была прийти, которая когда-то возвестила о себе красотой, юностью и любовью. Лживые мечты! Ничего не осталось, кроме единственного ответа: умный, смелый, сильный сын. Но беда не дремала, она сторожила. Она таилась до сегодняшнего дня. Теперь больше не будет никакого ответа.

Волосы прядями спадают на ее натруженные шершавые руки. Анна Грабе не плачет, глаза ее закрыты, но она не плачет. Уже много часов подряд она сидит в одной и той же позе за столом. Она больше не ждет. И даже не шелохнется, когда дверь со скрипом открывается и в кухню входит Адмирал. Он останавливается за ее спиной, по привычке засунув руки глубоко в карманы.

В плите что-то тихо потрескивает. Женщина сидит неподвижно, словно не замечая, что за спиной стоит муж, и смотрит в темное окно, в стеклах которого отражается его расплывчатый, раздробленный крестовиной образ.

Седая щетина на щеках Адмирала делает его старее и немощнее, чем он есть на самом деле. Глаза у него мутные, со множеством красных прожилок на белках. По его лбу не видно, какие мысли скрываются за ним. Только глаза выдают бессонницу. Колючая борода — уже много дней не стрижена.

Лишь когда он с неподвижным выражением лица говорит жене: «Приготовь постель, я устал»,— она вздрагивает и оборачивается.

— Изверг! — кричит она.— Сам стели себе постель! С меня хватит, слышишь, хватит! Изверг! — Глаза ее горят мрачным блеском и нисколько не смягчаются, когда она добавляет: — Повадился кувшин по воду ходить... С сегодняшнего дня управляйся сам! Изверг! Чудовище!

Они пристально глядят друг на друга, эти двое людей, вместе прожившие весь свой век. От их долгой жизни не осталось ничего, кроме этого часа. Адмирал поворачивается и, не сказав ни слова, выходит из кухни, хлопнув дверью. Анна Грабе смотрит вслед и долго, очень долго сидит, не меняя позы. Глаза ее горят мрачным блеском. Наконец она подымается и идет вслед за Адмиралом. Нимало не обращая на него внимания, переносит свою постель в комнату, где жил Хеннинг. Отныне, кажется Анне Грабе, все будет по-иному, не так, как раньше.

Адмиралу не спится, его воспаленные глаза устремлены в потолок. Вокруг дома скачет бешеный всадник...

На отшибе, между Виком и Поггендорфом, стоит дом Вуссовов. Все собрались у стола в большой комнате.

Здесь сидят: Элена, жена Макса Вуссова, Клаус и его жена Ротрауд, Фриц Вуссов. С ними сынишка Клауса, семилетний мальчуган. Он спит, положив голову на колени матери, и сладко посапывает. Ротрауд уже несколько раз собиралась уложить его и все откладывала. Разве они не ждут того, кого нет сейчас с ними, разве можно, чтобы кого-то не хватало? Конечно, это не дело — укладывать мальчика на коленях, но сегодня ночью Макс непременно вернется. Живой или мертвый. Пусть будет среди них и малыш. Его место — здесь.

Элена Вуссов что-то рассказывает. На ее ясном лице нет и тени тревоги, голос звучит спокойно. Немало ночей, подобных этой, провела она в своей жизни. Часто ожидание бывало еще томительнее. Хорошо,

когда в такие часы что-нибудь рассказывают. И вовсе не вредит, чтобы история была пострашнее. Что ж из того?

И вот вся семья, собравшись за столом, слушает рассказ о необыкновенной смерти рыбака Пегелова, по имени Роберт, отца Элены Вуссов.

Элена рассказывает:

— Осень была точь-в-точь как в прошлом году. О вершах тогда и не мечтали... У нас было несколько удочек, кошельковый невод, переметы. Мать и тетя Хейди ловили на удочки, а мой отец, ваш дедушка, ходил на лов в море с Вилли Клемпнером. Вы его уже не застали в живых... Ох, какой это был год! Мы страшно много задолжали пекарю Брандту, он нам ничего больше не давал, и мы каждый день ели рыбу, рыбу, одну рыбу... В то время мы за рыбу очень мало получали, а было нас шесть голодных ртов, и каждому хотелось есть... Плохая была жизнь! Раз, как сейчас помню, отец принес домой лосося, красивая такая рыба! За эту рыбу, сказал отец, пекарь Брандт наверняка отпустит нам хлеба на целую неделю. И отец понес лосося пекарю, а хлеба мы так и не получили. Слишком мы ему задолжали. Никак не могли вылезти из долга. О боже, что это были за времена! Притом дешёво-то все как было — литр тминной водки стоил всего пятнадцать пфеннигов, нынче это вовсе не деньги. Нынче простая водка стоит шесть марок, и все-таки ее покупают, ведь зарабатывают-то куда больше... Кто сегодня думает о хлебе! Без хлеба с маслом и колбасой никто теперь в море не выходит... А есть такие, что на прогулку в своей машине выезжают, а поглядеть — так наш брат, рыбак... Ну, конечно, не всем жилось одинаково, куда там! Как подумаю, чего только не было у отца Генриха Преппинга! Но его добром мы не были сыты... Для него мы всегда были голодранцы.

— Ну а как умер дедушка? — спрашивает Фриц. Предисловие кажется ему слишком растянутым.

— Цыц, не мешай,— говорит Фрицу Клаус, который любит обстоятельные рассказы матери.

— Дай рассказать все по порядку,— говорит Элена Вуссов.— Сейчас начнется, уж такая страсть была, что мороз по коже подирает... Так вот, плохой выдался год, право слово. Отцу особенно не везло. Невод остался в море. И не будь Лерке, рыботорговца, того самого, который потом женился на Эмми Шильке... Ах да, вы ее тоже не знаете. Ну так вот, если б Лерке не одолжил отцу невод, мы бы все умерли с голоду, можете в этом не сомневаться... Но Лерке, лихоимец, тоже знал, что делает: отец должен был два года подряд сдавать рыбу только ему, и за полцены. Но ничего поделать было нельзя, у отца не было выхода... Ох уж этот Лерке! У него в городе было шесть, не то семь домов. Он свободно мог подарить отцу этот невод... Но кто в то время что-нибудь дарил? Никто. Нынче и это по-другому. Нынче за несколько грошей можно взять верши напрокат. Так вот, Эмми Шильке только год жилось привольно. Говорят, он потом ее здорово поколачивал... Кончилась ее сладкая жизнь, и она вернулась на Леннекен. Но и после этого долго она не прожила...

— Ну, мать, а скоро самая-то история пойдет? — спрашивает Фриц.

— Дай рассказать по порядку. Ты что, на иголках, что ли, сидишь? Все подгоняешь и подгоняешь, будто мы куда торопимся.

На мгновение все умолкают, и лишь глубокое дыхание спящего Петера нарушает тишину. Все прислушиваются к шуму бури и тут только вспоминают: они ждут. Но будь, что будет. История так интересна, она захватила всех, никто больше ни о чем не думает. Элена тоже прислушивается: не послышатся ли за дверью шаги? Все напряженно слу-

шают, но вот снова раздается спокойный голос матери. Этот голос звучит ровно, не понижаясь и не повышаясь. Он воскрешает прошлое, известное только рассказчице. Клаусу вспоминается: однажды он уже слышал эту историю, но знает, что каждый раз она звучит по-новому. А сегодня Элена Вуссов особенно не торопится.

— Плохой был этот год, такого вы и представить себе не можете. Моя младшая сестра Ханне захворала летом коклюшем, а у тети Хейди один за другим выпали зубы, и никто не знал, почему... Потерять зубы — дурная примета. И они там на хуторе в этом убедились: сперва у хозяйки выпали зубы — а уж какие красивые были,— а потом у них сгорел сарай, большой, новый сарай... Он стоял там, где сейчас конюшня народного имения. Вот уж пожар-то был...

Рассказчица на мгновение умолкает, на нее нахлынули воспоминания. Перед глазами Элены оживает прошлое, другой мир, ее мир. Она рассказывает о нем, описывает его детям, и мир этот, каков он был, продолжает жить в памяти семейства Вуссовов. Ведь и сама Элена — это было давно — слушала рассказы о прошлом. И часто с пользой для себя. Истории, подобные этой,— неотъемлемая часть ее жизни, жизни всех обитателей Леннекена. Пространные истории, которые только она и умеет рассказывать. В эти истории вплетена их жизнь.

— Дайте же рассказать все по порядку... В то утро мы быстро управились с работой. Хейди и мать ушли на рыбалку, а я сидела в кухне, чистила камбалу... Я, правда, была от горшка два вершка, но деловитости хоть отбавляй. Отец давно ушел в море, в то время все уходили спозаранку... Вот уж, наверно, длинный был у отца день!.. Мотора у него не было, только парус, да и то заплата на заплате... Эх, как подумаешь, что все нынче по-другому... Нынешние рыбаки, работай они в то время, наверняка все бы сбежали, бросили это дело. Ну, а нашим-то деваться некуда, ничего другого не оставалось. Так и сидели на этой работе, как прикованные. Некоторые даже своей фамилии написать не умели... Отец мой, правда, умел писать... Но сколько же было неграмотных! Бывало, как только перестанет малец ходить в мокрых штанах, так сразу к быкам... Школа на Леннекене! Боже праведный, да разве можно было назвать ее школой!..

— Если конец не скоро, я лучше пойду спать,— говорит Фриц.

— Сейчас начнется, постой... На чем же я остановилась?.. Ах да, на школе... Так вот, тогда на все был один учитель, не то что нынче, когда нужны двое или трое. У нас был учителем пономарь, разило от него за версту. А как он нас колотил, что мальчишек, что девчонок. Ему было все едино. Хватал линейку, скакал через скамьи и бил кого попало... Ну да нам еще не так худо приходилось, среди Пегеловов дураков не бывало...

Фриц тяжело вздыхает. Мать слышит это и говорит:

— Да, мой мальчик, у тебя и вправду в заду иголки, но дай же рассказать по порядку... Вечером, в восемь, отец не вернулся, и в девять, и в десять его еще не было. А шторм-то какой был! С сегодняшним и не сравнить. Сегодня что! Так, просто легкий ветерок, ей-богу. А тогда в дымоходе так и завывало! Того и гляди, весь дом обвалится... Наш старый дом в Холленбеке... Он уже давно развалился, и ваша мать переехала сюда... А как мучилась моя мать в том доме... Полов не было, утоптанная глина — и все. А какую грязищу развозили, когда убирались... Так вот, одиннадцать часов, а отца все нет. Никто не ложился, все сидели и ждали, клевали носом, а мать нас будила. Сейчас-то я понимаю, что она не хотела оставаться одна, не могла сидеть совсем одна. Ветер на дворе так ревел и свистел, что господи помилуй... Так

вот, значит, полдвенадцатого пробило... отца все нет... Но он пришел, боже праведный, вспомнить страшно, как он пришел! Было ровно двенадцать, когда дверь вдруг распахнулась и мать вскрикнула: «Отец, что с тобой!» Тут мы, маленькие, заплакали, потому что никого не увидели, а мать — наша мать — сказала: «Ну входи, садись, отец! Да куда же ты уходишь?» И тут я увидела в дверях его широкую спину... А мать сидела за столом и плакала, и слезы так и текли по щекам... Потом уж она рассказывала, какой у него был вид: весь мокрый и бледный как смерть. Господи боже!

Они сидят, потрясенные жутким рассказом. Даже Фриц стал слушать внимательно. И все ждут, каков же конец.

— ...С его старой куртки стекает вода, зюйдвестка разорвана... А когда мать посмотрела на то место, где он стоял, там ни капельки воды... Мы все сидели и ревели, как оглашенные... Мать первая опомнилась, порылась в сундуке — знаете, тот старый сундук, что стоит сейчас на чердаке,— и достала траурное платье. А три дня спустя тело отца прибило к берегу. Но он дал о себе знать, и было уже не так страшно... Он дал о себе знать.

— Страсти-то какие! — с раздражением говорит Фриц.

Клаус улыбается, Ротрауд тоже не может сдержать улыбки. Они с самого начала знали, что под конец пойдет сплошная чертовщина.

— Да, мой мальчик, только и всего. Но я тогда своими глазами видела отца... И если пробьет двенадцать и ваш отец не даст о себе знать, мы можем спокойно лечь спать... Случись с ним беда, он дал бы о себе знать... Он ведь такой аккуратный, во всем любит порядок.

Так проходит время. Все сидят и думают о рассказанном. Правда это или неправда, но, слушая такие истории, легче переносишь ожидание. И Элена Вуссов повторяет убежденно: «Одно могу вам сказать — с отцом ничего не случилось... Можете мне поверить. Разве может с ним что-нибудь случиться?».

Это голос ее детства, ее юности. И никто не может устоять перед его волшебством.

А те двое, из-за которых столько волнений, не сдаются. Они как бы слились воедино. Они измучены, их одежда промокла до нитки, но они не ослабляют усилий в борьбе, они каждую минуту начеку.

Уже начало светать, когда им удалось бросить якорь. Волна еще не улеглась, но шторм уже потерял силу. Оба сползают по ступенькам в кубрик. В воде плавают одеяла, подушки, бутылки, сорванные со своих мест штормом. Тут же — их пакеты с едой. Оба они — молодой Хеннинг Грабе и старый Макс Вуссов — садятся в мокрой одежде на койки и разглядывают весь этот разор. Они чувствуют только усталость и страшный голод. Они выгребают из бумаги мокрый, набухший водою хлеб, отжимают его, насколько возможно, и запихивают в рот. Потом, отжав одеяла, завертываются в них и мгновенно засыпают. Снаружи плещутся об обшивку волны.

VII

«Скорее возвращайся домой»,— говорит Бербель

Их отнесло далеко от берега, надо долго плыть, чтобы добраться до города. Пожалуй, только после полудня они смогут сдать улов. Да, они сдают улов, тащат на берег ящики с камбалой — и даже не вспоминают

о своих близких. Под ногами снова берег залива, и они начинают забывать то, что еще совсем недавно было суровой действительностью.

У них хорошее настроение — они трудились не напрасно. В большой крытой галерее, куда они приходят за расчетом, пахнет морской водой и рыбой. Рассчитавшись, они выходят оттуда, и в этот момент с мола доносится крик. Кто-то машет руками в воздухе, сверкают зубы, кто-то бросается им навстречу: «Так это вы! А мы уж думали, вас взяло море!» Это Бернгард Калла, председатель. Он улыбается им, они смеются в ответ, он хватает их ручищами за плечи, словно хочет убедиться, что перед ним не призраки, а живые люди. Он трясет их. Радость его так велика и неподдельна, что их сердца переполняются счастьем.

Они стоят у рыбохранилища. Из гавани слышны гудки разгрузившегося парохода. Городские башни возносятся к небу, сегодня оно опять ясное и спокойное. С верфи доносится шум работ, и Хеннинг чувствует, как прекрасна жизнь. Они все преодолели, и в нем растет радость, от которой больно в груди. Какой большой и красивый город, какой замечательный парень этот Бернгард Калла! Макс Вуссов поглаживает небритое лицо, оно светится радостью и благодушием. О да, они сильные люди, они достойны уважения, они действительно чего-то добились, действительно отстояли свою жизнь. Им пришлось здорово поработать, чтобы получить возможность снова быть здесь, рядом с Бернгардом Калла, и смеяться от всего сердца. Рабочие, которые взвешивали рыбу, стоят чуть поодаль в своих черных резиновых передниках и смотрят на них. У рабочих тоже радостные лица. Все знают, что этот катер уже считали пропавшим, а этих двух рыбаков, молодого Хеннинга Грабе и старого Макса Вуссова,— тоже. Но они выкрутились. Как же тут не радоваться?

— Да, Бернгард,— говорит Хеннинг.— От паруса-то одни клочья остались, его теперь только выбросить.

— Вспомнил тоже! — говорит Бернгард и пренебрежительно машет рукой.— Действительно, какой пустяк — старый изодранный парус. А теперь самый раз — в закусочную.

Оглянувшись, Хеннинг замечает среди рабочих Хорста Брейтмана. Хорст работает на заводе рыболовного оборудования, и Хеннинг знает, что жена Хорста ждет ребенка.

— Ну что, Хорст, мальчик или девочка? — спрашивает он, проходя мимо.

— Это еще не известно, Хеннинг,— с озабоченным лицом отвечает Хорст.— Ведь наперед не узнаешь...

Они останавливаются на минуту. Один из рабочих замечает:

— Непременно будет мальчик, Хеннинг, иначе не тянулось бы так долго.

— Разумеется... Для того чтобы вышло что-нибудь дельное, требуется время, тут уж ничего не поделаешь,— серьезно добавляет Макс Вуссов.

— А что,— говорит Бернгард,— не выпить ли нам по маленькой — одну за мальчика, другую за Хеннинга и Макса?

Рабочие переглядываются, пересмеиваются.

— А давай! — говорит один.

Хорст Брейтман высказывает опасение:

— А вдруг будет девочка? — но его никто не слушает.

Бернгард заказывает водку. Все стучат стопками о стол и, прежде чем опорожнить их, смотрят в глаза друг другу. Их глаза говорят: «Хорошо, что мы снова с вами. Мы живы, и было бы действительно

очень жаль, если б нас уволокла эта старуха с косой. Хорошо, что вы снова с нами».

Бернгард Калла говорит:

— Все-таки вы сумасшедшие... Таково мое мнение... Вам пришлось здорово поработать, могу себе представить...

И он рассказывает, сколько людей не спали прошлой ночью на Ленекене, как их ждали. С серьезным лицом Калла добавляет:

— Мы ведь действительно думали, что вы уже не вернетесь... Весь Леннекен.

Тут Хеннинг вспоминает: надо позвонить. Надо немедленно известить Бербель и мать, сообщить Вусовам. Он идет к телефону, просит соединить его с Леннекеном, с домом Короля Преппинга.

Как только раздался звонок, Бербель подошла к телефону. У Хеннинга вдруг часто-часто забилось сердце, до того ощутимой стала радость там, на другом конце провода.

— Бабс,— говорит он.— Бабс, девочка моя, все в порядке, все хорошо, успокойся, ну, успокойся.

Секунду он молчит и ждет. Слышны одни только всхлипывания, но вот изменившимся голосом Бербель шепчет:

— Господи, Хеннинг, возвращайся скорее домой, дурачок ты мой... дурачок ты мой.

Хеннинг молчит, затем говорит более спокойно:

— Сообщи моей матери и Вуссовам.

— Бегу, сию же минуту!.. Только скорее возвращайтесь домой!

Хеннинг вешает трубку, и тут только до него доходит, как велика была опасность: ведь их почти что похоронили.

Они выпивают еще стопку-другую с Бернгардом Калла, спокойно и обстоятельно рассказывают о пережитом. Их слова ничего не раскрывают, за ними не чувствуется ни той муки, ни жути, которые им довелось испытать. Но Бернгард Калла — сам рыбак, ему много расписывать не надо. Он легко представляет себе, что все это значит, каково им было там, в открытом море, когда вокруг бродила смерть.

— Надо лучше организовать нашу работу в кооперативе,— говорит Калла, после того как Хеннинг и Макс Вуссов закончили свой рассказ.— Так дальше дело не пойдет. А если нас будет больше и мы будем действовать сплоченно, тогда все станет легче. Таково мое мнение.

— Мы не должны ослаблять усилий,— говорит Хеннинг.

— Не должны и не будем,— подтверждает Бернгард.

— Да, это правильно... Что-то нужно изменить...— задумчиво качает головой и Макс Вуссов.

Они еще долго сидят, обмениваясь планами и мыслями о том, как развернутся дела на Леннекене.

А Бербель отгоняет все сомнения и твердым шагом направляется к дому Грабе. Радость переполняет ее, она не может себе представить, чтобы Адмирал обошелся с нею так же, как с отцом.

Она входит в дом, стучится в дверь кухни и слышит голос Адмирала:

— Войдите.

Бербель колеблется, мелькает мысль: наверно, он и на нее набросится, но она все-таки открывает дверь в кухню.

Адмирал один, он стоит у плиты с повязанной головой и помешивает ложкой в кастрюле. Он не оборачивается. Бербель останавливается в дверях, но Адмирал догадывается, кто пришел.

— Всем, кто идет из дома Преппинга, нечего искать здесь. Кое-кто уже в этом убедился,— говорит Адмирал, не глядя на девушку.

— Мне это известно, господин Грабе. Но я думала, и тебе было бы небезынтересно знать, жив Хеннинг или нет.

Адмирал делает вид, будто ничего не слышит. Он продолжает помешивать в кастрюле и молчит.

— Хеннинг только что звонил... Они скоро будут здесь,— говорит Бербель.

Но не такой человек Адмирал, чтобы выказать хоть малейшую радость. Он ничего не слышал и не считает нужным быть полюбезнее с дочерью Короля Преппинга — даже для такого случая. Бербель поворачивается, хочет уйти, и тут Адмирал говорит:

— Можно сообщить об этом фрау Грабе, она в комнате Хеннинга.

Вот и все участие, на которое способен Адмирал, но при нынешнем положении вещей и это немало.

Бербель идет к Анне Грабе, и здесь ее встречают с неменьшей радостью, чем испытывает она сама. Мать Хеннинга плачет и смеется, обнимает Бербель и бежит в кухню варить кофе. И хоть она не говорит Адмиралу ни слова — пускай сам о себе заботится, с нее хватит! — Бербель слышит, что она тихо напевает себе под нос. Ничего не поделаешь, Бербель должна остаться выпить чашку кофе.

— На ком почиет милость божья...— говорит Анна Грабе. Она стоит в комнате, сложив на животе руки, слегка склонив голову.— Уж я-то думала — все кончено... Что мне здесь делать одной без моего мальчика.

— Я тоже думала — все кончено,— говорит Бербель.— И вдруг он позвонил.

Анна Грабе ласково смотрит на девушку.

— Ты очень его любишь? — спрашивает она.

— М-м-м...

Обе с минуту молчат, не глядя друг на друга.

— Не рой другому яму, сам в нее попадешь...— говорит Анна Грабе, думая об Адмирале. Затем вне себя от радости добавляет: — Но милосердный бог не оставляет детей своих.

VIII

Дни становятся короче, осень идет по острову. Хеннинг Грабе подал хороший пример, жена предъявляет Адмиралу ультиматум

Анна Грабе сидит, выпрямившись на постели. Лампа освещает ее руки — шершавые, в трещинках, с длинными узловатыми пальцами. Усердно постукивают спицы, тихо шурша, тянется из корзинки шерстяная нить. По привычке Анна Грабе что-то тихо бормочет себе под нос. Иногда она приподнимает вязанье — детскую распашонку,— разглядывает свою работу и снова принимается вязать. Потом затягивает колыбельную, которую пела когда-то своим детям.

Несется с моря ветерок
И шепчет у дверей:
«Пришла пора, усни, сынок,
Закрой глаза скорей.

Ты обними меня, малыш,
Прижмись ко мне щекой.

Мой маленький, пока ты спишь,
Храню я твой покой.

И ветер спать на крышу лег,
Шуршит в соломе он,
Ты спишь, и пусть тебя, сынок,
Хранит хороший сон».*

Она напевает эту простую песенку, а спицы в ее руках стучат и стучат. Анна Грабе вяжет распашонку и напевает колыбельную: не похоже ли, что скоро понадобится и то и другое — и распашонка, и колыбельная? Анна Грабе смотрит вперед. Конечно, Хеннинг и Бербель еще не поженились, но что из того? Бербель любит Хеннинга, она сама об этом сказала. А мальчик любит Бербель, хоть он об этом и не говорил. Долго так оставаться не может, а потому заранее надо приготовить все, что может потребоваться для малыша. Для Анны Грабе, матери Хеннинга, это дело дней. На то у человека и голова на плечах, чтобы своевременно запастись всем, что может срочно понадобиться.

«Хорошая девочка эта Бербель, что правда, то правда... Мой Хеннинг знает, чего хочет»,— думает Анна Грабе вслух. На минуту она умолкает и снова начинает напевать. Она устроилась в комнате, где раньше жил Хеннинг. Поставила здесь все, что ей дорого и мило: кровать на точеных ножках, комод, на полированной поверхности которого расставлены разные вещи. Под стеклянным колпаком лежит серебряный венец в память серебряной свадьбы, карточка солдата в золоченой рамке — фотография Роберта Грабе, брата Хеннинга, погибшего на последней войне; ничего, кроме этой фотографии, от него не осталось. Еще стоит на комоде карточка Хеннинга, когда он был ребенком.

Тепло и уютно в маленькой комнатке. Стучат вязальные спицы в руках Анны Грабе. Она тихо разговаривает сама с собой: «Конечно, для Иоганнеса это нож острый, но кто любит, тот тянется друг к другу и должен найти себя... Я считаю правильным, что они любят друг друга... Пусть он говорит, что хочет». И вдруг она перестает вязать. Со времени благополучного возвращения Хеннинга ее часто мучает мысль: неужели новая семья будет создана без родительского благословения с той и с другой стороны? Может ли Король Преппинг дать свое согласие, если сумасшедший Адмирал избил и выгнал его из своего дома? Хорошо ли создавать новую семью, если родители молодых не разговаривают друг с другом? И может ли Иоганнес Грабе дать свое согласие, если она, Анна Грабе, милостью или немилостью божьей его законная жена, перестала стряпать для него? Должна ли она быть так сурова с Иоганнесом теперь, когда ее мальчик вернулся из шторма?

«Суженого и на коне не объедешь»,— шепчет она, и эта поговорка, которую она знает с детства, не выходит у нее из головы. Она снова начинает вязать, но в мыслях она уже с Адмиралом. «Так дальше продолжаться не может... Каждый должен нести свой крест... Иоганнес Грабе — крест не легкий, что и говорить... И если я уступлю, если пойду к нему и скажу: давай помиримся, не будем больше ссориться, и он скажет «аминь»,— все станет как прежде, снова будет лад, как семь лет назад»... Она прислушивается к последним словам и повторяет: «Снова будет лад, как семь лет назад... Верно, рифмуется, и это может быть хорошим предзнаменованием».

Теперь старая женщина знает, что ей делать. Ее желания и надежды опережают события. Она уже вяжет распашонки, напевает колыбельные песни, а потому вражде между бабками и дедами должен

---

* Перевод И. Н. Москвина.

быть положен конец. Ибо Анна Грабе и Иоганнес Грабе скоро станут бабкой и дедом. Нет, тут надо навести порядок.

Быстро приняв решение, она встает с постели, натягивает на белую льняную сорочку вязаную кофту, оправляет чепец и, шлепая войлочными туфлями, идет в спальню.

Адмирал еще не спит. Он придвинул к кровати стол и сидит одетый, на столе перед ним лежит толстая книга в переплете из свиной кожи, он что-то вписывает в нее мелкими, но разборчивыми буквами. Фамильная хроника семьи Грабе. Книга еще не старая, Иоганнес приобрел ее в тридцатых годах, когда пошла мода на родословные. Делать в книге новые записи, перечитывать ее на досуге — одна из радостей жизни Адмирала. И так как приход Анны, неверной жены, для Адмирала полная неожиданность, он и не пытается спрятать книгу. Спокойно дописывает он фразу, как до того четким почерком записывал все события, касавшиеся его и Анны Грабе. Сейчас он как раз писал о «неверной жене» и считает нужным дописать до конца. «Все, что происходит с моим сыном Хеннингом Грабе и моей женой Анной Грабе, урожденной Клют, имеет один общий источник. Кооператив заражает духом злонравия жителей Леннекена. Следовало бы уничтожить кооператив, чтобы в моем доме и на Леннекене водворился мир».

Анна стоит у двери, сложив на животе руки, и спокойно глядит на мужа. Тот ставит точку в конце фразы и лишь тогда поднимает глаза. Во всем необходим порядок!

— Ты этого не ожидал, Иоганнес?.. Не сердись, это вредно для печени.

Он безмолвно смотрит на жену. Потом захлопывает «Хронику», откладывает перо и завинчивает чернильницу.

— До меня многие уже думали, что все женщины — сумасшедшие. Но я не только так думаю,— говорит он.— Я в этом уверен.

Анна Грабе хмыкает и улыбается своей странной улыбкой.

— В ком нет ни благодарности, ни веры, тот в жизни глуп без меры,— говорит она.

Адмирал даже бровью не повел. У этой женщины поговорки всегда заменяли разум. Но все же нельзя отрицать: Адмирал выглядит неважно. Анна Грабе это сразу заметила. Под глазами у него мешки, опять он небрит, опять брался за свою «Хронику». Значит, и для него невыносимо то положение, в котором оказались они и их сын. У нее появляется желание сказать мужу доброе слово, ведь столько лет прожито вместе, и бывали же дни... Но Адмирал говорит:

— Благодарности нет у тех, кто мнит себя выше этого... Все праведники будут отмечены господом богом, говорит пророк Исайя.

— Не воображай о себе слишком много,— замечает Анна Грабе, и на мгновение ее глаза принимают мрачное выражение.

Некоторое время они молчат. Через открытую дверь доносится тиканье старых стенных часов. В комнате стоит тишина.

— Я вот что хочу тебе сказать, Иоганнес,— произносит Анна Грабе.— Между нами должно быть все ясно... Даю тебе три дня на размышление... Если ты не помиришься с Генрихом Преппингом, я уйду... Я не хочу, чтобы детям пришлось стыдиться своих родителей. Вот что я хотела тебе сказать.

И снова в ее глазах вспыхивает мрачный огонек. Она поворачивается и закрывает за собой дверь.

Адмирал слышит, как гулко бьют часы, отсчитывая дребезжащие удары. Десять часов вечера. Он все еще сидит на кровати, перед ним

на столе лежит «Хроника семьи Грабе». Что она сказала? Она ставит условия? Опять злонравие. Кооператив заражает духом злонравия рыбаков Леннекена. Ты так это и записал, Адмирал. Но началась новая глава, хоть ты и не хочешь в это поверить. Помирись со своим врагом, Королем Леннекена. Ты и так одиноко проводишь свои ночи, и они станут еще более одинокими, если ты не уступишь.

Дверь открывается еще раз. И Анна Грабе еще раз просовывает голову:

— Не подумай, что я шучу!.. Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сложить!

Когда дверь снова захлопывается, Адмирал шепчет:

— Чтоб вы все перерезали друг друга!.. Чтоб все вы перерезали друг друга! Все!

Собрание партийной организации Леннекена затянулось. Уже одиннадцатый час. Последний вопрос повестки дня: «О работе рыбаков». Тут есть о чем поговорить.

— На мой взгляд, будет неправильно, если мы и дальше поползем черепашьим шагом.... Ты считаешь, что необходим постепенный переход, Фите, но на Леннекене это не обязательно... Хеннинг Грабе придерживается того же мнения,— говорит Фриц Вуссов.

Фите Шульт, секретарь парторганизации, обращается к Хеннингу:

— Согласись, Хеннинг,— если вы немедленно реорганизуетесь в кооператив второй ступени, трудностей станет не меньше, а больше... Или ты думаешь, что все само собой образуется?

Хеннинг на мгновение задумывается и говорит:

— Нет, для меня совершенно ясно, что, если мы сразу же перейдем во вторую ступень, все станет гораздо хуже, облегчения не будет никакого...

— Не понимаю я тебя, Хеннинг, раньше ты говорил одно, теперь другое,— прерывает его Фриц Вуссов.

— Постой, Фриц... Я говорю, легче не станет, но все же считаю, что лучше уж сразу, чем тянуть. Ведь если мы начнем сейчас сливать бригады и ловить совместно, общими вершами, как мы уже однажды пытались, каждый раз будет складываться новая ситуация... Пойдут раздоры и мелкие склоки. Всякий раз рыбаки должны привыкать к чему-то новому, а они этого не любят, это каждый знает... Не говоря уже о том, что Преппинг и его люди используют любую неувязку, уж можете мне поверить.

Хеннинг говорит долго: положение на Леннекене осложняется еще и тем, что бригады живут далеко друг от друга и что даже при слиянии бригад невозможно будет полностью устранить несправедливость в распределении мест для вершей. Только и слышишь: «Здесь ловят Король с Шустером и Адмирал». Ведь это же факт: те, у кого хорошие места, держатся сплоченно. И опять-таки те, кто ловил на хороших местах, могут снова сговориться проводить все мероприятия формально, а не по справедливости, и помешать этому будет трудно.

Слово берет Альфонс Киммель — директор школы на Леннекене. Он торопливо говорит:

— У вас в кооперативе только три члена партии, и, на мой взгляд, вы неправильно разговариваете с товарищами по работе.

По словам Киммеля, ему довелось беседовать с одним из рыбаков и тот сказал, что лучше бы все оставалось по-старому. «По крайней

мере,— сказал рыбак,— все были бы довольны, а кооператив только ссорит рыбаков между собой».

— Против этого товарищам следовало бы выступать,— закончил Киммель.

— Он набрался таких мыслей в бригаде Короля,— замечает Фриц Вуссов.— Только не думайте, что с Королем можно говорить... С ним никогда не договоришься, так же как и с Адмиралом.

— Не надо делать слишком поспешных выводов, Фриц... Ведь во всяком критическом замечании наверняка есть пять процентов правды,— говорит Фите Шульт.

Бернгард Калла ухмыляется, глядя на Фрица Вуссова, и проводит пальцем у себя под носом, что должно означать: «Так тебе и надо, Фриц!»

Фите Шульт продолжает. Он согласен с критикой. Действительно, с рыбаками беседуют мало, они слишком слабо разбираются в обстановке здесь, на Леннекене. Но виноваты в этом не только три члена партии, состоящие в кооперативе, это — упущение всей парторганизации острова.

— Действительно Хеннинг Грабе подал хороший пример... Да, да, Хеннинг, нечего отмахиваться! Ты пошел в шестую бригаду — и попал в самую точку. На мой взгляд, в этом направлении мы и должны идти — сперва подать личный пример, а потом уж агитировать, разъяснять...

Фите Шульт внезапно замолкает, нахмурившись, задумывается на секунду, затем поднимает голову и спрашивает:

— А, собственно говоря, кто те двенадцать, что голосовали против создания кооператива второй ступени?

В комнате становится совершенно тихо. Все словно еще прислушиваются к этим словам. Затем Хеннинг говорит:

— Насколько мне известно... мой отец и Аугуст Бекман были против.

Бернгард Калла молчит. Фриц Вуссов смотрит на Хеннинга и говорит:

— Но ведь против были не только Адмирал и его прихвостень, это же ясно.

— Да,— говорит Фите Шульт, и по его широкому, открытому лицу пробегает усмешка.— Против голосовало двенадцать, а не всего лишь двое.

— Голосование было тайным,— говорит Бернгард Калла,— так что не известно, кто голосовал за, кто против... Но нам действительно следовало бы разобраться в этом. Таково мое мнение.

Они сидят, ждут, обдумывают.

Наконец Хеннинг начинает подсчитывать: «Аугуст Бекман и мой отец, вся бригада Преппинга — вот уже шесть голосов... А потом, возможно, пятая бригада...

— Исключено,— говорит Бернгард Калла.— Шустер — допускаю, но едва ли Франц Эбелинг...

— Франц Эбелинг недавно сказал, что кооператив только ссорит рыбаков между собой,— замечает директор школы.

— Да,— говорит Фриц Вуссов.— А вот Герман Вельтер — нет, хотя он тоже у Шустера.

Фите Шульт переводит взгляд с одного на другого.

— Хорошо,— говорит он.— Более или менее разобрались... Что бы мы ни предприняли в ближайшее время, мы должны держать более

тесную связь с товарищами по работе, тут мы дали промах... А теперь давайте обсудим, как следует действовать дальше... В доводах Хеннинга против постепенного перехода ко второй ступени есть доля правды... Действительно, существует опасность, что сплотятся вновь лишь хорошие бригады. Этого не следует забывать...

Так они совещаются, партийцы острова Леннекен. И никто не может сказать, что они относятся к делу несерьезно. С самого начала у них нет единства мнений, они горячо спорят, их лица вспыхивают, когда кто-нибудь обронит необдуманное замечание, на которое сразу не возразишь, потому что кто-то уже взял слово. Но в важных вопросах между ними полное согласие. Они знают, что справедливо и что несправедливо. И пусть они спорят о способах — цель у них одна. Они высказывают различные точки зрения и резко возражают друг другу, но прекращают спор, как только находят лучший способ достигнуть цели. И хоть живут они на отдаленном острове, каждый знает, что они тут не одни. С ними вместе думают многие.

Бернгард Калла долго говорит о том, какая серьезная проблема — причалы в городе.

— Что ни говорите, нам необходим собственный причал, товарищи.

— А как доставлять рыбу в город? — спрашивает Фите.

— На грузовике. Кооператив должен приобрести грузовик.

— А кто будет его водить? — спрашивает Хеннинг.

— Пока наш кооператив не перешел во вторую ступень, придется нанять водителя. А когда перейдем во вторую ступень, все будет по-иному... В Глёве так и сделали. Кооператив у них неплохой. Это каждый знает. А после того как построили причалы, у них еще лучше стало. Таково мое мнение.

— Бернгард,— говорит Фриц Вуссов,— ведь Леннекен — остров. На что тут тебе грузовик? А Глёв и другие деревни расположены не на острове, а на материке.

Бернгард Калла хочет взять слово, но его опережает управляющий народным имением.

— Скоро мы построим мост, и тогда все изменится, с мостом мы больше не будем островом.

— Так долго мы ждать не можем,— возражает Бернгард.— Семилетний план будет выполнен в 1965 году, и мост будет построен не раньше. К тому времени мы должны уйти дальше. Не построить ли причалы на материке, у самого парома? Таково мое мнение. И вовсе не надо держать грузовик на Леннекене. Машине все равно, где стоять.

Так они сидят и совещаются. Тут директор школы и учитель, тут трактористы и рабочие из народного имения «Леннекен», управляющий имением и три рыбака — Хеннинг Грабе, Фриц Вуссов и Бернгард Калла.

Половина одиннадцатого, половина двенадцатого. Давно погас свет в окнах рыбацких поселков, но товарищи должны расставить вехи. До двенадцати они все закончили.

— Хорошо,— говорит Фите Шульт.— Мы согласны. Приобретайте грузовую машину и доставляйте рыбу на ней, минуя город. Сверхплановый улов самостоятельно сдавайте торгующим организациям или продавайте на рынке. Выручка, которую будет приносить грузовик, пусть идет в особый фонд. Перед вами прекрасная возможность на деле доказать разумность коллективного труда. Надеюсь, мы добьемся и быстрого роста кооператива.— Он умолкает на минуту, смотрит на товарищей и, тряхнув головой, добавляет:— Это будет здорово!

IX

Принцессу Бабс лишают наследства. Хеннинг Грабе стоит на причале и даже не машет рукой на прощанье

Дни полны солнца, по ночам под луною сверкает вода. Причалы Вика черными языками вдаются в воду. Тишина полна таинственности. Время от времени слышен скрип каната на битенге. Стоны чаек и пронзительный крик морского орла. Перед тем как подняться, он бьет крыльями по воде. Затем вылетает на свет и исчезает во мраке. Дома наверху — как мягкие тени, охраняемые желтоватым светом.

Хеннинг и Бербель, в свитерах и пальто, уселись на дощатом причале Преппинга. Они смотрят на иссиня-черную воду и световую дорожку на зыбкой черноте.

— Когда я приеду в следующий раз,— говорит Бербель,— я, наверно, уже буду старой женщиной... замужем... с полдюжиной ребятишек... И ты тоже, Хеннинг Грабе, будешь женат и ребятишек у тебя будет целая дюжина... Так всегда бывает... Наверно, так должно быть. Такова жизнь.

Лицо Хеннинга расплывается в улыбке. Его затылок касается затылка Бербель — они сидят спина к спине на причале Преппинга, внизу булькает вода, тихо плещется у свай и у катера — серой тени с белеющей в темноте палубой. Когда Бербель говорит, ее слова звоном отдаются в ушах Хеннинга, он как бы слышит их дважды.

— Не смейся, дурачок! Иначе и быть не может, просто не может.

— Во-первых,— отвечает Хеннинг, и теперь его слова звоном отдаются в ушах Бербель,— во-первых, ты не можешь видеть, смеюсь я или плачу. А во-вторых, ты уж слишком широко размахнулась... Каких-нибудь три месяца... Восемнадцать ребятишек за три месяца, о господи!

И он так громко смеется, что на этот раз она действительно слышит его смех.

Некоторое время они сидят молча, тихо сидят на старом причале, слегка касаясь затылками друг друга. Потом Бербель говорит:

— Милый мой, что ты знаешь о времени... Три месяца — тридцать лет. Я больше не хочу мыть дома полы... Попробовал бы ты три месяца подряд мыть полы и выносить ночные горшки... Нет... Время — понятие относительное, можешь мне поверить.

— Подумаешь! — говорит Хеннинг.— Три месяца — это пустяки... Три месяца — это три месяца... А вот когда ты станешь врачом, тебе не придется больше мыть полы, зато ты будешь хорошо знать, что это такое.

Бербель неожиданно выпрямилась, да так резко, что Хеннинг едва не упал на спину.

— Что ты об этом знаешь... Я всю жизнь буду мыть полы, всю жизнь... Сперва в больнице, потом дома — или, быть может, ты будешь мыть их за меня?

Одной рукой Хеннинг опирается о мокрые доски причала, другую тянет вверх и щелкает Бербель по носу.

— Поцеловала бы меня лучше!

После чего Бербель говорит:

— Ну, садись на место.

Оба сидят тихо. Мир Леннекена окружает их.

— Знаешь,— говорит Хеннинг,— к твоему возвращению здесь многое изменится, вот увидишь...

— Да,— говорит Бербель.— Знаю: ты собираешься жениться на Тиммше-телеграф. Давай, давай... Или еще подумаешь?

— С тобой действительно нельзя говорить серьезно,— замечает Хеннинг.— Ну хоть бы одно разумное словечко!

Но она знает: он и не хочет говорить серьезно. Она знает, ничего другого ему не надо — только сидеть здесь, чувствовать, что она — рядом, ведь они последний вечер вместе. Завтра на рассвете она уедет. Только сидеть и говорить, все время говорить не то, что думаешь. Больше ничего.

— Да,— говорит Бербель.— Хоть бы одно разумное словечко... А сейчас я и подавно скажу тебе что-то совсем неразумное...— И, чувствуя, что он хочет подняться, быстро говорит: — Сиди, дурачок! С тобой только так и можно говорить...

Бербель тянется рукой через голову и ударяет его по макушке.

— Молчи... когда мать говорит, отец должен молчать.

Они снова умолкают. Хеннинг тихонько смеется про себя.

— Неужели ты пять минут не можешь посидеть спокойно?

— Хорошо, не говорю больше ни слова, ни звука.

— Да, так что же я хотела тебе сказать... Совершенно неразумное... Ах, да... Я хотела сказать, что теперь я решилась, хоть это и страшно глупо, теперь я решилась... да... выйти за тебя замуж, Хеннинг.

С хриплым криком, заслонив луну, пролетает косяк диких уток. Лодка у сваи поскрипывает, тихо и как будто осторожно. Вода спокойна.

— Ты опять молчишь, Хеннинг Грабе... Ты опять молчишь. Ну скажи что-нибудь!

Хеннинг сидит неподвижно.

— Сейчас? — спрашивает он.— Жениться прямо сейчас?

Хеннинг не видит, как Бербель закрывает глаза, не видит, как она улыбается. Быть может, он угадывает ее радость, но не видит ее и, кажется, не хочет видеть.

Но тут Бербель снова говорит:

— У меня совсем закоченели ноги. Кажется, достаточно мы тут сидели и болтали.

Но они продолжают сидеть. Теперь оба молчат. А потом подымаются на берег и идут домой. Они даже не держатся за руки. Между ними — лунный свет.

В прохладных сенях их ждет Король. Он зажигает свет как раз в тот момент, когда они входят. Свет слепит глаза, оба жмурятся.

— Пожалуй,— говорит Король,— твоя мать права... Последний вечер — и тот не дома... Ты должна думать не только о себе, дочка...

— Господи,— говорит Бербель,— я столько времени пробыла здесь и каждый вечер...

— Мне бы хотелось, чтобы сегодня ты не шаталась с Хеннингом, вот что я тебе скажу.

Из столовой появляется Фридерике. Она молчит, на ее худом лице беспокойно горят глаза. От нее исходит столь ощутимое недоверие, что Хеннинг и Бербель не могут скрыть своего смущения и растерянности. Женщина переводит взгляд с одного на другого, наблюдает, констатирует, наблюдает и все примечает, каждое движение, еле заметный взмах ресниц. Бербель, отвернувшись, убирает со лба воображаемую

прядку волос. Торопливый, неловкий, бессмысленный жест. Хеннинг Грабе сует руки в карманы и чувствует себя смешным в пальто — в этой непривычной одежде, которую он надел по настоянию Бербель. Потом он снова вынимает из карманов руки, не знает, куда их деть, потирает тыльной стороной ладони подбородок. Фридерике Преппинг по-прежнему молчит и все примечает. Король тоже чувствует, что здесь происходит что-то неладное — неладное даже при самом широком взгляде на вещи, а что у него широкий взгляд на вещи, никто не вздумает отрицать. Что же это такое? Что?

— И вообще, на мой взгляд, ты ведешь себя неподобающим образом, Хеннинг Грабе. Если ты любишь мою дочь, то и веди себя соответствующим образом. Последний вечер, во всяком случае, следовало остаться дома.

Снова глядят они друг на друга, здесь, в холодных сенях, осенней ночью, в доме на Леннекене. Фридерике не отрывает глаз от Хеннинга Грабе. Но с него хватит, от недавнего смущения не осталось и следа. Он смотрит женщине прямо в глаза, чувствует истерическую взвинченность ее существа и готов сам вспылить. «Старики удивляются, что мы идем своей дорогой и не хотим считаться с их бреднями»,— думает Хеннинг и не спускает глаз с Фридерике. Он так долго глядит ей в глаза, что в них вспыхивает огонек, веки начинают подергиваться. Наконец она переводит взгляд на Бербель, но и от нее, пожалуй, не многого добьешься. Взгляд на Бербель и снова на Хеннинга, на этого нахала, этого наглеца, у которого ни к чему нет уважения. Спаси господи, у него такой вид, будто он вот-вот бросится на меня.

И тут Король говорит:

— Вообще... я бы не прочь узнать, что ты себе вообразил, Хеннинг Грабе? Моя дочь не какая-нибудь... Кто хочет встречаться с моей дочерью, тот должен вести себя подобающим образом.

Бербель уже совладала с собою и спокойно наблюдает за Хеннингом. Она смотрит на него и видит, как он без слов разговаривает с матерью. И так как подобные ситуации во вкусе Бербель, она улыбается, как только мать начинает выказывать беспокойство. Ох уж этот Хеннинг Грабе! Кто еще мог бы так говорить с ее матерью, не раскрывая рта? Ах, Хеннинг, дурачок мой!

Бербель улыбается. Она улыбается даже словам отца.

Хеннинг переводит, наконец, взгляд на Короля. Говорит:

— Итак?

И слова Короля теперь не более как бессильный порыв ветра. Он уже побежден.

— Да,— говорит он, и голос его звучит громко, очень громко от обиды и сознания собственной правоты.— Да, муж моей дочери — могу расписаться в этом — уж не будет большевиком, большевиком вроде тебя.

Бербель вспыхивает. Она совершенно серьезна. А Фридерике Преппинг, Королева, переводит взгляд с одного на другого. Она энергично кивает, на ее щеках от волнения выступили красные пятна. Бербель хочет что-то сказать, она открывает рот, вот-вот заговорит, но Хеннинг вдруг делает движение — сильный, протестующий жест, рука согнута в локте, вытянута ладонью вперед. Теперь скажу я, говорит эта рука. Теперь ты должен молчать. Это — мое дело.

— Твоя дочь,— говорит Хеннинг Грабе,— твоя дочь выйдет замуж за кого хочет. Она тебя не спросит, она...— И Хеннинг вызывающе смотрит прямо в лицо Королю,—...она и меня не спросила бы, если б захотела выйти за меня замуж. Твоя дочь не пойдет ни за кого против своей

воли. И уж конечно не пойдет за человека вчерашнего дня, Генрих Преппинг.

Король упирается кулаками в бока.

— А слышал ты когда-нибудь о такой вещи, как лишение наследства, ты, осел?

Король почти кричит. Но теперь поздно. Он слишком долго спал. Он проспал час, когда еще не поздно было проснуться. И молодым людям больше нечего сказать здесь, в этих холодных сенях.

Бербель — ведь о ней, собственно, и идет речь — смотрит на Хеннинга, ее серые глаза — как море в жаркий летний день.

И напрасно Король кричит:

— Марш в постель, дрянь этакая! Отодрать бы тебя как следует!

Бербель смотрит Хеннингу Грабе в глаза и говорит, не отводя взгляда:

— Что ж, спокойной ночи, отец! Значит, ты лишил меня наследства. А тебе, мама,— она поворачивается к Фридерике,— нечего так разглядывать нас, право, нечего... То, о чем ты думаешь, произойдет, когда мы этого захотим.

Королева как будто только этого и ждала. Она начинает ругаться и даже больше не подогревает себя, она подогрела себя, пока молчала.

— Скалкой бы по тебе пройтись!.. Я с самого начала говорила, еще когда он только появился у нас, вместе с ним в дом вошел плотский грех. Я говорила! Вот козлище, который и бога не боится! А отец закрыл на все глаза...

— Да заткнись ты! — кричит Король.

Но она набрасывается на него, эта женщина, у которой ничего нет за душой, кроме ханжества и длинного языка:

— Как? И ты смеешь мне это говорить! Сам дьявол во плоти вошел в...

— Тихо, черт подери! — кричит Король.

А Бербель повторяет: «Спокойной ночи!» — и, прежде чем старики успели опомниться, молодые люди взбегают по ступенькам, и вот уже они на середине лестницы. Старики стоят внизу, с потолка падает резкий свет, отбрасывая длинные тени на пол, освещая их лица, старые, усталые лица.

Наверху, на лестничной площадке, Бербель обнимает Хеннинга, прижимается к нему и шепчет на ухо:

— Пройди громко в свою комнату, разуйся и тихонько приходи.

Хеннинг чувствует у своего уха ее мягкие губы и, стуча башмаками, идет по темному чердаку. Бербель ждет и запирает дверь лишь после того, как он проскальзывает в комнату.

У нее тепло. Бербель натопила так, точно на дворе зима. Хеннинг хочет что-то сказать, но она прикладывает палец к губам: тише!

И тут они слышат: тихий скрип ступенек, чьи-то осторожные шаги. А потом — да, потом ключ поворачивают снаружи в замке и вынимают. Слышно чье-то учащенное дыхание — и кто-то снова спускается по лестнице.

— Грех вошел с тобой в дом, Хеннинг Грабе,— звонко говорит Бербель и добавляет: — Она проделывает это каждый вечер, запирает меня на ключ, потому что ты есть грех.

Хеннинг радостно смеется. Они глядят друг на друга, в глазах Бербель блестят слезы.

— А сам бы, наверно, не догадался прийти, дурачок!

— Почем знать,— говорит Хеннинг.— Вот только как я отсюда выберусь, принцесса Бабс?

— У меня есть запасной ключ,— смеется девушка и гасит свет.

— Стой! — говорит Хеннинг в темноту и протягивает руку, но девушки уже нет. Ему кажется, он вдруг очутился один в этой темной комнате. Потом глаза привыкают к темноте, и опять рядом слышится смех Бабс.

Дом Короля Преппинга спит. Лунный свет падает на крышу, на накрапы мха, и они поблескивают старинным серебром. В балках стучит древоточец. Он долбит, грызет, пожирает время, как часы. В тополях плачет сова. Ночи на Леннекене темные. Ночью на Леннекене тишина, глубокая тишина, и спится в ней спокойно, без сновидений. Только древоточец стучит. По темному полу пробегает мышь. Кожа Бербель суха и прохладна.

— Бабс,— шепчет в ночной тишине Хеннинг Грабе.— Послушай, Бабс, я тебя нисколечко не люблю, хоть ты и дочь Короля Преппинга!

А девушка отвечает в тишину ночи:

— А я люблю тебя, хоть я и дочь Короля Преппинга, и, по-моему, ты большой дурачина, сам себе хуже делаешь, что идешь ловить камбалу с Максом Вуссовом...— И, так как он хочет возразить, она рукой прикрывает ему рот,— ...а не провожать меня на станцию... Как раз за это я и люблю тебя, что ты себе делаешь хуже. Как это ни безрассудно.

И она отнимает руку от его рта.

— А что скажет Король?

— Мне это безразлично! Но вот зато я ему скажу: мой дорогой отец, скажу я ему, на стороне Хеннинга справедливость. А у тебя ее никогда не было.

— Вы лишены наследства, принцесса, скажет он.

— Мне это безразлично! — говорит девушка. И кожа у нее гладкая, прохладная. В комнате тепло. Как только рассветет, Бербель уедет на катере в город и сядет там в поезд. Скорый поезд на Росток.

И еще не рассвело, а Хеннинг Грабе уже стоит у причала Короля Преппинга. Он ждет, спрятав руки в карманы. Он смотрит на темное, уже начавшее светлеть небо, повисшее над Леннекеном, в туманную дымку, в которой словно тают лодка и сваи. Бербель выходит из дому и подходит к Хеннингу, кладет руку ему на плечо. Они глядят друг на друга, девушка что-то шепчет, но Хеннинг не разбирает слов. Хеннингу очень хотелось бы спросить ее, но она уже ушла. Король хмуро здоровается с ним и проходит мимо. Они садятся в катер, Хеннинг подходит к «Чайке» и останавливается. Бербель стоит напротив у поручней. Они могли бы поговорить — Король возится с мотором, шипенье паяльной лампы заглушит их голоса. Но они молчат, только смотрят друг на друга, на воду, на полосу легкого тумана над водой. Небо на востоке стало лиловеть. Там рождается новый день. Они молчат, но вот заработал мотор, и Хеннинг Грабе говорит:

— Всего только три месяца, Бабс, время пролетит быстро.

Девушка поднимает глаза, ее губы вздрагивают, она как-то странно вздыхает, говорит:

— О господи, Хеннинг, я уже сейчас чувствую тоску по дому...

Хеннинг разжигает трубку. «Чайка» отходит, а он стоит неподвижно. И Бербель в последний раз видит: он стоит, с трубкой во рту, в облаке табачного дыма. Руки спрятаны в карманы. Он даже не машет рукой на прощанье, и она тоже не машет.

В Хеннинге подымается легкая грусть, катер уходит все дальше. И вот он начинает ругать себя. Такие расставанья будут не редкость, когда они поженятся. Пусть будет пышная свадьба, думает Хеннинг. Он поднимается на берег — пора готовиться к лову. Взяв в руки комбинезон, Хеннинг на минуту задумывается. Перед его глазами встает картина — должно быть, приятная картина, так как Хеннинг Грабе задумчиво улыбается. А спускаясь с причала, он что-то тихо насвистывает себе под нос.

А Бербель сидит в рубке с Королем, и, когда тот говорит: «Ну вот, доченька, ты снова уезжаешь, я думаю — как раз вовремя»,— молчит, будто не слышит его.

Король искоса взглядывает на нее.

— По-моему, тебе надо выбросить из головы этого Хеннинга. Какой это муж для девушки из семьи Преппинг.

Бербель молчит.

Катер идет вперед. Король смотрит прямо перед собой и говорит:

— По-моему, тебе следует повременить и, быть может, найти себе мужа среди твоих школьных товарищей... Можешь быть уверена — твой отец поможет тебе... Если понадобятся деньги — в них недостатка не будет, а если б ты решила устроиться по-другому, скажем, поехала бы учиться в Гамбург или еще куда-нибудь — моя поддержка тебе обеспечена. Это мое твердое слово, как аминь.

Так говорит Король. Девушка молчит и, кажется, вообще не слушает его. Но вот она заговорила — и Королю теперь остается только надежда, ничего больше, слабая надежда на то, что девушка образумится.

Она говорит:

— Я никогда не собиралась учиться в Гамбурге... Не понимаю, почему мне не учиться в Ростоке, право, не понимаю... А все, что ты говоришь о Хеннинге, сказано на ветер, папа. Тут меня уговорить невозможно. Ни вот на столечко... На рождество мы поженимся.

Король молчит долго, очень долго.

— Может, еще и передумаешь, дочка,— говорит Король.— Непременно передумаешь! — Но в глубине души он не верит в то, что говорит.

(Окончание следует)

Стихи

Элли Иоанниду-Белоянис

Подпольщик идет по Афинам

Перевод с греческого Юлии Друниной

Закатного солнца косые лучи,
Пронзительный запах цветов и бензина.
И сердце подпольщика громко стучит,
И сердце подпольщика громко кричит:
«Афины!
Родные Афины!»
Глядишь ты на город, волненье тая,
Глядишь, улыбаясь и нежно, и гордо,
На песню похожа улыбка твоя,
А в песне одно лишь:
«Афины, мой город!
Любимый мой город!»
И нет больше слов,
И ты, как ребенок, заплакать готов...

Зачем затуманен слезами твой взгляд?
Зачем так сжимается смелое сердце?
Зачем над тобою пылает закат,
Суровый подпольщик, бредущий из Меца?
Ты выглядеть должен сейчас как пижон,
Гулять, на прохожих глазея.
О, если бы знали они,
Как тяжел,
Как страшен
Твой путь в Каллитею!
А плечи твои, что прямы и крепки,
Ссутулились вдруг,
И к тому же
Сквозь слезы
Не видишь свои башмаки,
А пыль на ботинках —
Что может быть хуже
Для тех, кто себя выдает за гуляк!..

Подпольщик идет на заданье,
Он плечи расправил,
Он выровнял шаг,
В подъезде пустынного зданья
Поспешно ботинки платком обмахнул,
Ну вот, все как будто в порядке.
В порядке —
Лишь сердца пугающий гул,
На лбу потемневшие прядки...
Идет он,
Прохожих слепя башмаками,
Пижонский пиджак парусит под ветром,
Как змеи, жалят острые камни
Сквозь сито подошвы ветхой,
Отглажена в брюках
Каждая нить —
Легко ли франтить
Без денег?
Немало надо труда приложить,
Чтоб выглядеть
Как бездельник!

А мимо плывут,
Как грудастые лодки,
Отчаянно крашенные красотки,
А с ними, буксирами, офицеры —
Гляди равнодушней
В их глаз прицелы!
Ты думаешь:
«Может, вот этот парень
Меня в Чрезвычайном суде осудит,
И будет третье голосование,
А после — могила из камня:
Гуди́ *.
И, может, сейчас этой кукле в бантиках
Плетет он что-нибудь
О фанатиках:
Мол, он им покажет, что значит
Порядок,—
Выдернет их,
Как сорняк из грядок!
Сорняк!..
А давно ли
Вот в том квартале
Ракетами песни борьбы взлетали:
То шли «фанатики» —
Патриоты,
Шли на германские пулеметы!»

Зачем затуманен слезами твой взгляд?
Зачем так сжимается смелое сердце?

---

* Предместье Афин, где был расстрелян Белоянис.

Зачем над тобою пылает закат,
Усталый подпольщик, бредущий из Меца?
Глядишь на Афины, волненье тая,
Глядишь, улыбаясь и нежно, и гордо.
На песню похожа улыбка твоя:
«Ты будешь свободным,
Любимый мой город!»

Заключенный

1. Дверь

Дверь черна,
Словно пропасть, черна эта дверь.
Здесь у сильных людей подгибаются ноги,
Вот открылась она,
Вот закрылась —
Теперь
Все оставила ты на пороге:
И Любовь,
И Свободу,
И Счастье,
И Жизнь...
Мрак, тюремщик бряцает ключами.
В безнадежность вступая,
Назад оглянись,
И...
Посмейся над палачами:
Пусть шаги твои будут тверды —
Словно нож
Для наемников наше презренье.
Ты одну лишь
Решимость
С собою берешь...
Нет!
Берешь ты и солнце,
И оливы цветенье,
Все берешь —
Будни быта
И праздник Любви,
Все берешь ты во тьму
Для неравного боя.
У тюремщиков
Руки и души в крови —
Разве трудно им сладить
С девчонкой,
С тобою?
Суетятся они и ключами гремят.
Да, на их стороне
И законы, и сила.
«Что ты ждешь? —
Говорит их насмешливый взгляд,—
Иль тебе не понятно,
Что это — могила?»
Улыбаешься ты.
Свирепеют они:
«Сколько ваших
Здесь нашими стали!»
Улыбаешься ты...
«Вот сюда загляни —
Может, сделана ты из стали?»
Ты глядишь:
На скамейке,
Полу,
Стене
Расползлись темно-бурые пятна...
Улыбаешься ты.
Все, как в страшном сне,
Только в Жизнь
Нет пути обратно.

2. Бетон

Вниз,
Туда, где братская могила,
Тесные бетонные гробы.
В камеру вошла ты
И застыла:
Ты — в гробу!
Страшнее нет судьбы.
Никогда
Ты не увидишь света,
Слышать будешь
Лишь свои шаги.
И выходят в бой

Без пистолета
Заключенных тайные враги:
Ночь, бетон.
Они тебя иссушат,
От бетона
Леденеют души,
Этот мертвый камень
Постепенно
Человека
Ставит на колена.
Но не бойся,
Приложи к бетону ухо,
Пусть он холоден и влажен —
Не беда!
Слышишь голос?
Он звучит так глухо,
Он сочится,
Как сквозь грунт
Вода.
Этот слабый голос
Не заглушишь —
Тихий,
Он грохочет, как набат.
Говорит он
О великих душах,
Что под пыткой,
Как бетон,
Молчат.

...У соседа звякнула щеколда.
Стон.
И окрик, резкий, словно плеть.
Стисни зубы!
...Под твоей щекою
Мертвый серый камень
Стал теплеть.

Снова тихо.

Лишь грохочет сердце,
Сердце рвется, словно динамит.

Нет!
Бетон заставишь
Ты согреться,
А не он
Тебя оледенит!

Питер Темпест

Вскипает свободы прибой!

АНГЛИЙСКИЙ ДОЖДЬ

Перевод с английского В. В. Рогова

Английский дождь смягчает
Суровый климат нам
И чаек пригоняет
На радость малышам.

Спокойная прохлада
Спускается с небес
На зелень рощ и сада,
На поле, луг и лес.

В такую непогоду
И птиц в пруду и скот
Жезлом дождя природа
Чудесно достает.

Его в трущобах встретим:
По окнам дребезжа,
Ползут на радость детям
Жемчужины дождя.

И влага дождевая,
Пройдя водопровод,
Горячей чашкой чая
На стол ко мне идет.

Мы, труд кончая бодро
Под небом голубым:
«Ну, вот и снова вёдро»,—
Соседям говорим.

ДЖИН И АПЕЛЬСИН

Рука
Рожденного
На Вест-энде *,
В перстнях,
В маникюре,—
Десница денди! —
С блюда серебряного
Берет
Большой апельсин,
Золотистый плод.

Надрез ножом —
И сладкий сок
В стакан хрустальный
Закапал, потек.

Холеные пальцы
Цепко берут
Плод
Из страны,
Где дешев труд,
Где черных работа —
В поту,
В пыли —
Выдирать всходы
Из скудной земли.

Рука
Выжимает
Сок
Из плода —
А в жарких странах
Гнет и нужда,
На плантациях
Гибнет черный народ...

Готово!
Начисто выжат плод.

---

* Аристократический район Лондона.

И в кровь
Золотистого апельсина
Добавляется

Доза крепчайшего джина.
«До дна,
Старина!» —
«Будь здоров,
Дорогой!»
. . . . .
Сэр,
Допейте!
Вскипает
Свободы прибой!

ШАХМАТЫ

Фигуры на доске стоят —
Могуч и грозен каждый ряд.

Труба рокочет, и вперед
Игрок простую пешку шлет.

Конь поскакал, разгорячен,
Наискосок прорвался слон;

Оберегая жизнь свою,
Король уходит за ладью.

Фигурам устоять нельзя
Под ярым натиском ферзя.

Эй, шахматы! Кого из вас
Позвать на помощь в трудный час?

Тебя ли, ферзь? Тебя ль, ладья?
Доверюсь скромной пешке я:

Всех выше будет рядовой,
Что станет Пешкой Проходной.

Уильям Фолкнер

ОСОБНЯК

РОМАН

Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой

8

Чарльз Маллисон

Линда Коль (бывшая Сноупс, как сказал бы Тэккерей, да и бывшая Коль, так как ее муж умер) была не первым раненым героем войны, которого забросило к нам в Джефферсон. Однако ее первую мой дядя потрудился встретить. Но не на железнодорожном вокзале: в 1937 году в Джефферсоне вот уже год как не останавливались поезда, на которых приезжали бы стоящие пассажиры. И не на автобусной станции, да и вообще не в Джефферсоне. Мы поехали встречать ее в мемфисский аэропорт, и в последнюю минуту мой дядя сообразил, что ему одному будет трудно вести машину восемьдесят миль туда и обратно.

Впрочем, она была и не первым героем-женщиной. Еще в 1919 году у нас две недели прожила сестра милосердия, девушка в чине лейтенанта, конечно, не жительница, не уроженка Джефферсона, но как-то связанная с одним из джефферсонских семейств (а может, просто заинтересованная в одном из членов этого семейства; она служила в госпитале на военной базе во Франции и, по ее словам, целых два дня провела на передовом распределительном пункте и слышала, как грохочут пушки за Мондидье).

В сущности говоря, тогда, в 1919 году, даже пятилетним джефферсонцам, вроде меня, уже немножко надоели герои войны, и не только те, кто остался цел и невредим, но и раненые, приезжавшие на поезде из Мемфиса или Нового Орлеана. Я не хочу сказать, что те, кто остались целы и невредимы, сами называли или считали себя героями, да и вряд ли думали об этом, пока не очутились дома, где им все уши прожужжали этим словом, а уж тогда некоторые из них, не все, конечно, всерьез стали верить, что они, может быть, и на самом деле герои. А уши им прожужжали именно те, что затеяли и организовали всю эту шумиху, те, что сами на войну не пошли и уже заранее приготовились устраивать парадные встречи в портах и более скромные, местного значения,

---

Продолжение. Начало см. в №№ 9, 10.

торжества в маленьких городах с угощением и пивом; те, что не пошли на эту войну и не собирались идти на следующую, да и вообще, если удастся, не воевать, а покупать безналоговые облигации займов и устраивать парадную шумиху в честь героев для того, чтобы будущие рекруты — теперь восьми-, девяти-, десятилетние мальчишки — могли любоваться красивыми погонами, нашивками за ранения и ленточками медалей.

Шумели до тех пор, пока некоторые из вернувшихся всерьез не поверили, что раз им все кругом прожужжали уши про их геройство, значит, это, по всей вероятности, правда, и они на самом деле герои. Потому что, если верить дяде Гэвину (а он тоже был в некотором роде солдатом, сначала на американской полевой службе при французском штабе в шестнадцатом и семнадцатом году, потом тоже во Франции, чем-то вроде секретаря или как их там называли, при санитарной службе Ассоциации молодых христиан), им ничего другого не оставалось: этих юношей, вернее, мальчишек, у которых было самое смутное и совершенно превратное понятие о том, что такое Европа и где она есть, и уж абсолютно никакого представления об армии, не говоря уж о войне, в один прекрасный день сбили в кучу, помуштровали и послали в экспедиционные войска, где они еще до двадцати пяти лет пережили (если им повезло) самое великое испытание в своей жизни, хотя многие этого даже не осознали. А потом, опять без их ведома, опять в один прекрасный день их выплюнуло обратно, туда, где они надеялись увидеть привычный, знакомый им мир,— а ведь им внушали, что для того их и оторвали от дома, для того они и шли на страдания и на смерть, чтобы в этом их привычном мире все осталось по-прежнему, когда они вернутся, но только, когда они вернулись, от прежнего и следа не осталось. Так что вся эта шумиха насчет героев, все эти оркестры, парады и банкеты длились совсем не долго; они затихли даже прежде, чем к ним стали привыкать, подошли к концу еще до того, как последние из «героев» с опозданием вернулись домой, и уже им говорили под замирающие звуки оркестров, над застывшим жиром жаркого и выдохшимся пивом: «Ладно, ребятишки, доедайте мясо с картофельным салатом, допивайте пиво и не путайтесь у нас под ногами, мы по горло заняты в этом новом мире, где главное и единственное наше дело — не просто извлекать выгоду из мирного времени, а получать такие прибыли, какие нам и не снились».

Так что, по словам дяди Гэвина, им необходимо было поверить, что они герои, хотя они уже никак не могли вспомнить, где же именно, какими подвигами и в какую именно минуту или секунду они заработали, заслужили это высокое звание. А больше им ничего и не осталось: прожили они всего треть своей жизни, но уже поняли, что пережито огромное испытание, и, вернувшись, увидели, что их мир, ради сохранения которого они столько терпели и так рисковали, в их отсутствие был до неузнаваемости изменен теми, кто благополучно отсиживался дома, так что теперь для них в этом мире места не оказалось. Потому-то им и необходимо было верить, что про них хоть отчасти говорят правду. По этой же причине (как говорил Гэвин) возникли всякие союзы и легионы ветеранов войны: единственное священное прибежище, где хоть раз в неделю, среди других обманутых и обездоленных, они могли уверять друг друга, что во всем этом есть хоть какая-то микроскопическая доля правды.

В сущности (во всяком случае, у нас в Джефферсоне), даже те, что вернулись без ноги или без руки, вернулись совершенно такими же, как уехали, только их, так сказать, выделили курсивом, подчеркнули. Взять,

например, Тэга Найтингейла. Отец его был сапожник, работал в крошечной конуре в переулке за площадью — маленький, сухощавый человечек, который не потянул бы и ста фунтов вместе со своей скамейкой, верстаком и сапожным инструментом, весь обросший, со свирепо торчащими усами и бородой, со свирепыми, бесстрашными, неумолимыми глазами — твердокаменный баптист, который не то что верил, а твердо знал: земля плоская, а Ли предал весь Юг, сдавшись при Аппоматтоксе. Сапожник был вдовый, Тэг — его единственный оставшийся в живых сын. Тэг дошел почти что до четвертого класса, когда сам директор школы сказал мистеру Найтингейлу, что Тэгу лучше из школы уйти. Тэг ушел и сейчас все свободное время болтался на конном рынке за конюшней Далзека, где, впрочем, и раньше торчал целыми днями, но теперь он нашел себе дело: сначала связался с Лонзо Гейтом, местным барышником, торговавшим мулами и лошадьми, а потом с самим Пэтом Стэмпером, который среди лошадников — и не только в округе Йокнапатофа или на севере штата Миссисипи, но и во всей Алабаме, и Тенесси, и Арканзасе — был по сравнению с Лонзо Гейтом все равно что сам Фриц Крейслер по сравнению со скрипачом на сельской пирушке, и Тэг понимал, что перед ним — гений. А у самого Тэга были не просто какие-нибудь ерундовые навыки и умение обращаться с мулами, он был для них homme fatal *, любой мул, жеребец или кобыла были в его руках послушной глиной, он мог делать с ними что угодно, только не умел выгодно продавать и покупать. Потому он и остался простым конюхом и подручным, а в конце концов ему пришлось стать маляром, чтобы зарабатывать на жизнь: маляр он был далеко не первоклассный, но по крайней мере умел натереть краску и выкрасить забор или стенку, если ему сначала кто-нибудь покажет — где именно красить.

Так он жил примерно до 1916 года, то есть лет до тридцати с лишним, когда в нем что-то стало меняться. А может, он давно изменился, только мы, джефферсонцы, до сих пор ничего не замечали. Для нас он был, что называется, обыкновенным провинциальным, захолустным маляром: холостяк, живет с отцом в домишке на окраине, по субботам ходит в цирюльню мыться и бриться, а потом немножко напивается — не особенно сильно: всего лишь два-три раза в год воскресным утром он просыпался в местной тюрьме, признавал свою вину и его выпускали, попадал он туда не за пьянство, а за драку, хотя дрался он именно под пьяную руку и только в тех случаях, когда кто-нибудь (противники всегда оказывались разные — все равно кто) вдруг пытался разбить его прочную, завещанную отцами веру в то, что генерал Ли был трус и предатель и что земля плоская, с закраиной, как крыши сараев, которые он красил. Потом в овраге за кладбищем он немножко играл в кости, пока к концу воскресного дня не проходил хмель, а с понедельника он уже брался за свои краски; кроме того, раза четыре в год он ездил в мемфисский бордель.

Но потом на него накатило. Он по-прежнему брился по субботам в цирюльне, по-прежнему немножко выпивал, хотя, насколько было известно в Джефферсоне, давно не допивался до драки из-за генерала Ли, Птоломея и Исаака Ньютона, так что ни разу не попадал в тюрьму, и ночной полисмен, который при малейшей драке встревоженно колотил в дверь запертой цирюльни или биллиардной и орал: «Тише, ребята, марш по домам!» — и тот его ни разу не накрыл. Не видели его больше и за игрой в кости в овраге за кладбищем: в воскресное утро на глазах у всех он шествовал рядом со своим отцом, щуплым, маленьким,

* Роковой человек *(франц.)*.

со свирепыми усищами, к баптистской молельне, стоявшей в переулке, а после обеда сидел на малюсенькой галерейке их игрушечного домика, уткнувшись в газеты и журналы (это он-то, еле-еле проковылявший через первые два класса и выгнанный из третьего), откуда мы черпали все наши сведения о войне в Европе.

Он очень изменился. Даже мы (то есть весь Джефферсон, мне самому было всего три года) не понимали, насколько он изменился, вплоть до того апреля 1917 года, после гибели «Лузитании» и декларации президента, когда капитан (тогда еще просто мистер, пока его не выбрали капитаном) Маклендон организовал джефферсоновский отряд под названием «Стрелки Сарториса», в честь того первого полковника Сарториса (в отряде ни одного Сарториса не было, так как Баярд и его брат-близнец Джон уже служили в английской королевской авиации), и только потом все стало известно: Тэг Найтингейл, которому уже было за тридцать, так что он даже не подлежал призыву, одним из первых записался в отряд, и мы, вернее, они узнали, в какой переплет он попал: он просто не смел и думать, что будет, если отец узнает, что он решил поступить в армию янки, потому что, узнай отец об этом, он немедленно проклял бы Тэга и вышвырнул его из дому. И хотя капитан Маклендон говорил: «Глупости! Не может быть»,— все же они вместе с другим волонтером — его потом назначили сержантом — решили сами пойти домой к Тэгу; тот, другой, будущий сержант, все нам и рассказал:

— Будто тебя заперли в сарай с электропилой, а она на полном ходу соскочила с оси, нет, верней, стоишь ты рядом с динамитной шашкой, запал у нее уже дымится, а она скачет себе по полу, как змея, и к ней не только не подступиться, не прижать ногой — тут уж не до того, лишь бы выскочить живьем,— а Мак все говорит: «Да погодите, мистер Найтингейл, это же не армия янки, это армия Соединенных Штатов, вашей родины!» — а этот сумасшедший карлик, черт его дери, шипит и трясется, будто ему усы подпалили, и орет: «Стрелять их, сукиных детей! Стрелять! Стрелять!» — а Тэг тоже пытается его успокоить: «Папаша, слышишь, папаша, капитан Маклендон и Крэк тоже в этом отряде»,— но старик знай орет: «Расстрелять их всех! Расстрелять их всех, синепузых сволочей!» — а Тэг пробует его уговорить: «Папаша, да если я сейчас не пойду, все равно, когда начнется призыв, меня заберут!» — а этот сумасшедший одно орет: «Всех вас расстрелять! Всех расстрелять, сукины вы дети!» Да, брат. Наверно, если бы Тэг захотел пойти в германскую армию, к французам или даже к англичанам, старик благословил бы его. Но только не в ту армию, которой генерал Ли сдался в 1865 году. Он тут же выгнал Тэга. Мы все трое выскочили из дому и давай бог ноги, но не успели выбежать на улицу, как он ринулся в комнату, где, видно, жил Тэг, и даже двери не стал открывать, вышиб стекло вместе с рамой и ну выкидывать вещи Тэга прямо во двор.

Словом, Тэг перешел Рубикон, и теперь как будто все было в порядке. Я хочу сказать, что капитан Маклендон приютил его у себя. Он, этот Маклендон, сам вырос в громадной семье, с целой кучей братьев, в громадном доме, и мамаша у него была громадная, весила чуть ли не двести фунтов, очень любила стряпать да и покушать как следует, так что одним человеком больше или меньше для нее никакого значения не имело, может, она даже и не заметила Тэга. В общем, пока отряд ожидал приказа к выступлению, Тэг мог бы жить спокойно. Но товарищи не оставляли его в покое: такой способ поступления в армию был единственным в своем роде, почти как в пьесе «Ист Линн». Кто-нибудь всегда начинал:

— Скажи, Тэг, правда ли, что генералу Ли вовсе и не надо было сдаваться, когда он сдался? — и Тэг отвечал:

— Да, папаша так всегда говорит. Он сам тогда воевал, все видел, хоть ему и семнадцати не было.

Но тут второй добавлял:

— Значит, тебе пришлось идти ему наперекор, собственному отцу наперекор, чтобы поступить в отряд стрелков? — А Тэг сидел, не двигаясь, спокойно, свесив меж колен руки, которыми он умел красить только самые простые стенки сараев, только самые незамысловатые заборы, но зато с любым, даже самым норовистым мулом делал, что хотел,— сидел и ждал, зная, что сейчас начнется. А кто-нибудь из них, вернее, все, кто тут были поблизости, одним глазом косились на Тэга, а другим — на капитана Маклендона, стоявшего поодаль, и дожидались той минуты, когда капитан выйдет на улицу.

— Верно,— говорил Тэг, и кто-нибудь снова начинал:

— Зачем же ты так сделал, Тэг? Тебе уже за тридцать, призывать тебя никто не стал бы, отец твой уже старик, как же ты его одного оставишь, кто о нем позаботится?

— Нельзя этим немцам позволять измываться над народом. Кто-нибудь должен им набить морду.

— Значит, ты пошел наперекор отцу в армию, чтобы им морду набить? А теперь тебе и дальше надо идти ему наперекор, ведь придется объехать вокруг света, иначе тебе не взяться за этих немцев.

— Я во Францию еду,— говорит Тэг.

— А я что говорю? Полсвета надо обогнуть. Ты куда поедешь — на восток или на запад? Можешь в любую сторону ехать — все равно попадешь туда. А хочешь, я с тобой побьюсь об заклад? Поезжай на восток, пока не доедешь до войны, приструни там этих немцев как следует, а потом двигай еще дальше, на восток, а я поставлю сто долларов против одного, что ты доедешь до самого Джефферсона и окажешься прямо против почтового ящика мисс Джоанны Берден, в миле от городской площади, от суда.

Но тут уже возвращался капитан Маклендон: кто-нибудь успевал за ним сбегать. Видно, он оказался настолько неумелым командиром, что его освободили от этой должности задолго до того, как отряд попал на фронт, а через несколько лет он тут, в Джефферсоне, встал во главе такой шайки, что я каждый раз, ложась спать, радуюсь, что их тут, в темноте, нет поблизости. Но в те времена он по крайней мере держал свой отряд в руках, и не оттого, что на нем были погоны: если б только это, в отряде после первого же субботнего вечера не осталось бы ни души; он их держал какими-то своими простыми человеческими качествами: видно, они в нем таились, даже когда он потом впутался в скверное дело и отряд ждал лучшего командира. Капитан уже был в военной форме. Вообще-то он промышлял хлопком, скупал его для одной мемфисской экспортной фирмы, а все свои комиссионные просаживал на бирже, играя на повышение; но именно в военной форме он особенно походил на фермера.

— Какого черта вы тут затеяли? — говорил он.— Что же, по-вашему, Тэг — муравей какой-нибудь, ползущий по апельсину? Вовсе он не поедет вокруг чего-то, он поедет напрямик, прямо через океан, во Францию, сражаться за свою родину, а когда он там больше не понадобится, то вернется назад, опять-таки прямо через океан, сюда, в Джефферсон,— откуда уехал, туда и приедет, и все мы будем рады, когда вернемся сюда. И чтоб больше мне тут всякое... мягко выражаясь, дерьмо не разводили, понятно?

Понадобилась ли еще Тэгу помощь капитана Маклендона или нет, но факт тот, что эта помощь сама собой кончилась. Через неделю весь отряд построили и отправили на обучение в Техас, после чего, принимая во внимание, что Тэг умел красить любую плоскую поверхность, если только она была достаточно простой и с осязаемыми краями, и кроме того обладал таким удивительным умением обращаться с мулами и лошадьми, что эксперт по этому делу Пэт Стэмпер разглядел в нем проблески редкого качества, которое называется талантом,— принимая во внимание именно эти данные, его, разумеется, назначили в армии поваром и в тот же день отправили на фронт; так что он был не только первым солдатом из округа Йокнапатофа (не считая братьев Сарторис, официально числившихся в британских войсках), которого отправили за море, но он был одним из последних американских солдат, вернувшихся домой в конце 1919 года, так как, видимо, то же самое военное начальство, которое его назначило поваром, забыло, куда его послали (нет, они его не совсем потеряли, мой собственный опыт, приобретенный между 1942 и 1945 годом, меня научил, что военное начальство ничего не теряет, оно только может где-нибудь вас заживо похоронить).

Словом, наконец он вернулся домой и жил один (его отец, старый Найтингейл, умер еще летом 1917 года; по словам дяди Гэвина, его сгубил его собственный непреклонный характер, потому что он, не сдаваясь, с презрением бросил вызов самому Джаггернауту — беспощадной истории и науке, еще в тот апрельский день 1865 года, и с тех пор ни разу не дрогнул); Тэг снова красил заборы и сараи, мылся по субботам в цирюльне, снова играл в кости и выпивал в меру своих возможностей, но на лице у него, как говорил В. К. Рэтлиф, застыло такое выражение, будто его всю жизнь учили верить, что четвертое измерение невидимо, и вдруг он его сам увидал. А кроме того теперь при нем не было капитана Маклендона. То есть Маклендон тоже вернулся домой, но он уже не был его командиром. А может быть, тут и не помогла бы прирожденная гуманность капитана Маклендона, которую он проявил тогда, защищая Тэга от беспощадных истин космологии, да и вообще запас этой доброты в нем, как видно, иссяк, потому что в том последующем столкновении с проблемами гуманизма он никакой доброты не выказал.

А история с Тэгом опять разыгралась в цирюльне (нет, я при этом не присутствовал, я еще был в том возрасте, когда меня обязательно выгнали бы из цирюльни в субботу в десять часов вечера, даже если бы мне удалось сбежать от мамы; историю с Тэгом Рэтлиф рассказал дяде Гэвину, а тот потом уж мне).

На этот раз заводилой был Скитс Макгаун, приказчик из кондитерской дяди Вилли Кристиана,— франтоватый, хвастливый юнец, от которого больше пахло одеколоном, чем чистотой; в кондитерской его обожали четырнадцатилетние и пятнадцатилетние девчонки, но потом мы узнали, что он вовсе не так молод, как казалось, и, по утверждению Рэтлифа, он и десять лет спустя не стал таким образованным, каким притворялся в те годы, делая вид, что даже кое-что позабыл. Скитса только побрили и надушили, а Тэг принял душ и сидел спокойно, пока первые порции виски не стали сказываться на его настроении.

— Значит, из Техаса ты поехал на север,— сказал Скитс.

— Верно,— сказал Тэг.

— Ну, расскажи, как было дело,— продолжал Скитс.— Значит, ты выехал из Техаса прямо на север, в Нью-Йорк. Потом сел на пароход и поехал дальше, тоже прямо на север.

— Верно,— сказал Тэг.

— А вдруг они тебя малость обманули? Вдруг они повернули пароход на запад или на восток, а то и обратно, на юг?

— Будь я проклят! — говорит Тэг.— Что же я, по-твоему, не знаю, где север? Да меня можно среди ночи поднять с постели, и я сразу тебе пальцем ткну на север, даже света зажигать не надо.

— Хочешь поспорим? На пять долларов? На десять?

— Могу поставить и десять долларов против одного, только, наверно, ты свой последний доллар уже профукал на шампунь или на шелковую рубаху.

— Ладно, ладно,— сказал Скитс.— Значит, пароход отправился прямо на север, во Францию. Пробыл ты во Франции два года, потом опять сел на пароход и опять поехал прямо на север. А потом ты слез с парохода, сел в поезд, и он тоже...

— Заткнись! — говорит Тэг.

— ...поехал прямо на север. И ты слез с поезда и очутился в Джефферсоне.

— Заткнись, ублюдок проклятый! — сказал Тэг.

— Неужели же ты не понимаешь, что это значит? Одно из двух — либо Джефферсон перенесли...— но Тэг уже встал с места, хотя Скитс еще не понимал, что его ждет, и продолжал: — ...а всякий, кто сидел тут дома и на войну не ходил, тебе скажет, что этого не было. Либо ты уехал из Джефферсона через Техас, на север, и приехал в Джефферсон, тоже двигаясь на север, но Техас уже не проезжал...— Тут уже всем парикмахерам и клиентам, и просто зевакам, и даже ночному полисмену пришлось удерживать Тэга силой. Впрочем, к этому времени «скорая помощь» уже увезла Скитса в больницу.

Потом вернулся Баярд Сарторис. Он приехал весной 1919 года и купил самый мощный гоночный автомобиль, какой можно было найти, и все время носился по округе или в Мемфис и обратно, но потом его тетушка, миссис Дю-Прэ (мы все считали, что это она), оглядела весь Джефферсон и одной рукой захватила мисс Нарциссу Бенбоу, а другой придержала Баярда между двумя поездками ровно настолько, чтобы успеть их поженить, надеясь, что этим она помешает Баярду сломать себе шею, так как он остался последним из могикан — Сарторисов (Джона в конце концов сбили в июле 1918 года), но из ее планов ничего не вышло. Потому что, как только Нарцисса забеременела (а это случилось довольно скоро), он, Баярд, опять стал носиться в своей машине, пока на этот раз не вмешался сам полковник Сарторис: он отказался от своей коляски, хоть и терпеть не мог автомобилей, и Баярд возил его в машине до банка и обратно, так что по крайней мере этот отрезок пути проезжал помедленней. К несчастью, у полковника Сарториса было больное сердце, и, когда случилась авария, он умер; а Баярд вылез из разбитой машины и скрылся, бросив беременную жену и дом, и о нем услыхали только на следующую весну, когда он все еще пытался разогнать тоску, пробуя, на какой предельной скорости можно нестись к намеченной цели: на этот раз он испытывал самолет, новую экспериментальную модель, на испытательном аэродроме в Дайтоне; но, к сожалению, самолет его перехитрил, сбросив в воздухе все четыре свои крыла.

— Да, его тоска заела,— говорил дядя Гэвин, и еще он сказал, что в цивилизованном мире война — единственное состояние, которое дает выход низменным инстинктам, присущим человеку, причем это не только поощряется, но и поддерживается; Баярд не мог простить немцам не то, что они начали войну, а то, что они ее кончили, прекратили. Но моя мама сказала, что это неверно. Она сказала, что Баярду стало страшно и стыдно, стыдно не потому, что он испугался,но страшно, когда он понял, что

способен устыдиться, подвержен стыду. Мама говорила, что Сарторисы не похожи на других людей. Другие люди больше всего любят самих себя, только они это от всех скрывают, а может быть, и себе признаются в этом только тайком; так что им этого не надо стыдиться, а если им и становится стыдно, они не пугаются этого стыда. Но Сарторисы не сознавали, что они любят себя больше всего на свете, один только Баярд это знал. Но ему это не мешало, и он не знал стыда, пока вместе с братом-близнецом не приехал в Англию, где оба стали обучаться летному делу, летая без парашюта на самолетах, сделанных на соплях и проволоке; а может быть, он и не знал этого стыда, пока оба они не попали на фронт, где даже для тех, кто до сих пор выжил, шансы — по сравнению с пилотами-разведчиками, которые обычно оставались живы в течение первых трех недель действительной службы,— равнялись примерно нулю. И тут Баярд вдруг понял, что он — единственный человек в эскадрилье, а может быть, и во всем британском воздушном флоте, а может, и во всей военной авиации, у которого есть двойник, понял, что он — не один человек, а два, потому что у него есть брат-близнец, который так же рискует, имея столько же шансов выжить, как и он. Так что, в сущности, из всех летчиков, сражавшихся в этой войне, он имел двойную гарантию безопасности против всяких случайностей (и, разумеется, у его брата-близнеца шансов тоже было вдвое больше, только как раз наоборот), и в ту же секунду, как он это подумал, он с ужасом понял, что ему стыдно даже одной этой мысли, одного сознания, одного того, что он посмел так подумать.

В этом, как говорила моя мама, и была его беда — вот почему он и вернулся в Джефферсон угрюмый и безучастный, с одной целью — пробовать, каким способом лучше сломать себе шею и всех окружающих постоянно держать в тревоге, в огорчении или по крайней мере в недовольстве: вся беда была в совершенно не свойственном Сарторисам чувстве стыда, с которым он и жить не мог и расстаться не умел; не мог с ним примириться и не мог сам своей волей от него избавиться. Вот почему он рисковал жизнью, играл с опасностью, верил в судьбу. Но, вероятно, та же тайная мысль — что у близнецов есть как бы двойная гарантия безопасности — тогда же пришла в голову и второму брату, Джону, недаром они были близнецами. Впрочем, Джона это, наверно, беспокоило ничуть не больше, чем его прадеда (первого, настоящего полковника Сарториса) беспокоило то, что этот прадед делал на той, давнишней войне (дядя Гэвин говорил — а лет через пять я сам имел возможность это проверить на себе,— что человек, даже если он служил в санчастях АМХ, всегда возвращается с войны, жалея о чем-то, что он сделал, или хотя бы стараясь забыть об этом); и только один Баярд из всей семьи оказался таким слабым, таким не Сарторисом.

И вот теперь (если моя мама была права) он мучился вдвойне. Во-первых, он мучился от мысли, что способен дойти до такого падения не только в том, что дал волю своему низменному воображению и эгоистическим надеждам, но и в том, что способен их стыдиться, обречен на этот стыд, и, во-вторых, что если эта двойная гарантия безопасности сработала в его пользу и Джона сбили первым, все равно ему, Баярду, как долго бы он ни прожил, должно быть, придется, уже в сонме бессмертных, встретиться со своим близнецом, и тогда никак нельзя будет скрыть свою слабость, свое позорное пятно. А позорным пятном была не эта самая мысль, потому что та же мысль и в то же время, наверно, приходила в голову и его брату, хотя они оказались в разных эскадрильях; позор был в том, что из них двоих Джон никогда не устыдился бы этой мысли. А мысль была вот какая: Джон сумел сбить трех немцев,

прежде чем его самого сбили (наверно, он лучше стрелял, чем Баярд, а может быть, командир больше любил его и помогал ему), но и сам Баярд набрал достаточно очков по британскому счету (если только кому-то из них не пришла невероятная мысль сказать: «Я тут ни при чем, я так сдрейфил, что забыл ко всем чертям нажать спуск у пулемета»), так что ему засчитали двоих сбитых и одного возможного, а теперь, когда Джон погиб и ему уже не нужны были никакие очки, предположите, только на секунду предположите, что Баярд мог бы выклянчить, подделать или запутать записи, подкупить того, кто их вел, с тем чтобы все трофеи записать на одного Сарториса — пусть хоть один из них вернется домой героем,— причем эта мысль сама по себе вовсе не была такой низкой, потому что она не только приходила в голову Джону, но если бы Джон остался жив, а Баярда убили, Джон непременно как-нибудь осуществил бы эту идею, но низкой она стала потому, что Баярд ее унизил и изгадил тем, что он ее устыдился. Причем он никак не мог самовольно уйти от этой позорной мысли: ведь если когда-нибудь он на том свете встретится с Джоном, погибнув от несчастного случая, то Джон просто презрительно усмехнется, но если он сам уйдет из жизни, сунув дуло пистолета в рот, дух Джона не просто будет над ним насмехаться с презрением, он никогда с ним не помирится, никогда ему не простит.

В общем, Линда Сноупс — виноват, Сноупс-Коль — была первым нашим героем-женщиной. Так что можно было предполагать, что весь город явится ее встречать или по крайней мере пришлет делегатов от гражданских клубов, от церковных советов, не говоря уж об «Американском легионе», который непременно встречал бы ее, если б она получила титул «Мисс Америка», а не просто подорвалась на мине или была контужена снарядом, словом, тем, что ударило в санитарную машину, которую она вела, и оглушило ее навсегда. Я и сказал: «А зачем она, собственно говоря, возвращается домой? Ей тут и вступать некуда. На кой ей нужно «Дамское благотворительное общество» — устраивать лотереи, где разыгрывают варенье и самодельные абажуры, что ли? Даже если она умела бы варить варенье, хотя этому скульптору, наверно, меньше всего нужно было, чтобы она умела стряпать. Да он, должно быть, и вообще проводил с ней время только между партийными собраниями, пока кто-то не затеял войну с фашистами и он в эту войну не ввязался. Уж я не говорю, что в Джефферсоне, штат Миссисипи, ей пришлось бы заново научиться готовить. Особенно, если она раньше училась этому в ресторации «Грязная ложка», которую ее папаша отнял у Рэтлифа, когда они только появились у нас в городе». Но я ошибся. Встречали ее не городские организации, а просто частные лица, все трое оказались в Джефферсоне по чистой случайности, потому что фактически они явились из прошлого ее матери: мой дядя, ее отец и Рэтлиф. Потом я увидел, что их будет всего двое. Рэтлиф даже не захотел сесть в машину.

— Поехали! — сказал дядя Гэвин.— Едем с нами!

— Я лучше подожду здесь,— сказал Рэтлиф.— Я буду комитетом по встрече. Значит, до следующего раза? — сказал он мне.

— Что? — переспросил дядя Гэвин.

— Ничего,— говорит Рэтлиф.— Это Чик как-то сказал в шутку, а я ему напоминаю.

Потом я увидел, что людей, связанных с прошлым ее матери, будет не двое, а один. Мы не только не остановились у банка, мы даже мимо не проехали. Я сказал: «А какого черта мистеру Сноупсу терять по крайней мере шесть часов хорошего ростовщичества и ехать до самого Мемфиса встречать свою дочку? Он ведь не пожалел никаких затрат, лишь бы отправить ее из Джефферсона подальше: он не только изуродовал

особняк де Спейна, он еще нагромоздил весь этот импортный итальянский мрамор на могиле ее матери, чтобы дочке хоть из-за этого захотелось уехать отсюда или сюда не возвращаться, считай как тебе угодно».

Я сказал: «Значит, я виноват, что родился слишком поздно, чтобы защищать «Дас Демократи» в вашей войне или Марксов «Дас Капитал» в ее войне? Что ж, значит, у меня еще впереди времени достаточно. Или ты хочешь сказать, что Гитлер, Муссолини и Франко вместе взятые не могут добиться того, чтобы впутать доподлинного, беспорочного, официально зарегистрированного члена гарвардского запасного офицерского корпуса в серьезную военную передрягу? Конечно, я вряд ли попаду в «Порселлиан», например, Ф. Д. Р.* так и не попал».

Я сказал: «В том-то и дело. Для того ты и настаивал сегодня, чтобы я поехал с тобой: хотя у нее барабанные перепонки порваны и она не услышит, как ты скажешь: «Не надо», или «Пожалуйста, не надо», или даже «Не надо, черт побери!» — но по крайней мере она не сможет выйти за тебя замуж прежде, чем мы доедем до Джефферсона, если я буду сидеть тут же, в машине. Но впереди еще целый вечер, а меня ты можешь выгнать, я уж не говорю, что есть еще восемь ночных часов, когда маме приятно думать, что я честно сплю наверху. Не считая того, что в будущем месяце мне надо возвращаться в Кэмбридж, если только ты не решишь, что ради сохранения твоего... как бы лучше сказать — целомудрия или просто холостого состояния? — можно даже пойти и на эту жертву. А впрочем, почему бы и нет, ведь это ты придумал отправить меня в этот самый Кэмбридж, штат Массачусетс, для того чтобы там получить то, что мы в шутку именуем образованием. Не зря мама говорит, что она всю жизнь тебя обожала, только она была слишком молода, чтобы это понять, а ты был слишком джентльменом, чтобы ей объяснить. Может быть, мама действительно всегда все знает лучше всех?»

Но тут мы подъехали к аэропорту, то есть к Мемфису. Дядя Гэвин говорит:

— Поставь машину, давай выпьем кофе. Вероятно, нам придется ждать еще с полчаса.

Мы выпили кофе в ресторане; не знаю, почему они тут не называют его «Рай на земле» — может быть, Мемфис еще не получил разрешения. Рэтлиф говорил, что рано или поздно она обязательно выйдет замуж и с каждым днем этот срок приближается. Нет, вернее, он говорил не совсем так: не вечно же ему — дяде Гэвину — удирать от судьбы, вот-вот настанет день, когда какая-нибудь женщина решит, что он уже вполне солидный, вполне надежный человек и ему наконец можно дать постоянную работу вместо случайных поручений и что чем скорее это случится, тем лучше, тогда уж никакой опасности не будет.

— При чем тут опасность? — говорю.— По-моему, он в полной безопасности, я никогда в жизни не видал человека более неуязвимого.

— Я не про него,— говорит Рэтлиф.— Я про нас, про Йокнапатофский округ, может, хоть тогда нам никакие опасности угрожать не станут, потому что времени у него не будет во все вмешиваться.

Да, в таком случае нас нелегко от него уберечь. Потому что в его — Гэвина — характере было что-то такое, что его всегда спасало. Дело в том, что люди вообще взрослеют, особенно девочки лет пятнадцати-шестнадцати, которые за полгода или год вдруг вырастают больше, чем потом в течение десяти лет. Я хочу сказать, что Гэвин всегда любил детей, а может быть, к нему особенно привязывались девчонки, они его любили. Но они ли его выбирали или он их, все это было в том возрасте,

---

* Франклин Делано Рузвельт.

когда клятвы в вечной верности испаряются быстрее, чем дыхание. Я сейчас говорю про Мелисандру Бэкус, правда, это было еще до меня и до Линды Сноупс. То есть Мелисандре было и двенадцать, и тринадцать, и четырнадцать за много лет до того, как она освободила место для Линды, заполнившей эту пустоту, и тогда, давно, Гэвин выбирал и заказывал томики стихов для Мелисандры, во всяком случае, наблюдал за ее чтением и руководил им, и, может быть, это ему помогло, проверяя свои ошибки опытным путем, установить, какими книжками можно повлиять на ум и характер Линды, и, когда подошла ее очередь, он уж, во всяком случае, знал, как лучше повлиять на ее умственное развитие.

К сожалению, Мелисандра совершила непоправимую ошибку — она сразу повзрослела, навеки променяв призрачный мир Спенсера и юного Мильтона на обыкновенную человеческую жизнь, где даже такая девушка, каких выбирал дядя Гэвин или какие выбирали его, может потребовать от мужчины, который разглагольствует о верности и преданности, чтобы он либо действовал, либо молчал. Во всяком случае, в тот раз он спасся. Правда, меня при этом не было, так что я не знаю, в каком порядке все произошло: то ли Гэвин сначала уехал в Гарвард, то ли это случилось между Гарвардом и Гейдельбергом, а может быть, Мелисандра вышла замуж еще до этого. Во всяком случае, когда он вернулся с войны, она уже была замужем. Вышла за крупного новоорлеанского дельца и гангстера, за некоего Гарисса, через два «с». Одному богу известно, каким образом и где она ему попалась на глаза — скромная, застенчивая девочка, выросшая без матери, единственная дочка овдовевшего отца, с которым она жила в нескольких милях от города — когда-то там было огромнейшее поместье, но с годами оно пришло в запустение, а его хозяин все дни просиживал летом на веранде, а зимой в библиотеке с бутылкой виски и томиком Горация в руках. Она, Мелисандра, на нашей памяти ни разу в жизни не уезжала из дому, и только каждый день кучер-негр отвозил ее в экипаже в город, где она окончила начальную, потом среднюю школу, потом «Женскую академию». А об этом человеке мы только и знали то, что он сам рассказывал, то есть, что его фамилия Гарисс, через два «с»,— так оно, может быть, и было,— и что он занимается кое-каким «импортом» в Новом Орлеане. Мы ему верили, потому что (это было в начале 1919 года, когда дядя Гэвин еще не вернулся) даже джефферсонцы понимали, что значит черный бронированный «кадиллак» с двумя шоферами, у которых под двубортными пиджаками у левой подмышки что-то слегка выпирает.

Я уж не говорю о деньгах. Мистер Бэкус в скором времени умер, и, конечно, многие говорили, будто умер он от горя, оттого, что его дочка вышла за короля бутлеггеров. Хотя он, наверно, прежде чем умереть, убедился в том, что его зять — настоящий король, во всяком случае, его королевство дает хорошую прибыль: еще до смерти старика деньги стали притекать, все крыши и веранды были починены и укреплены, хотя мистер Бэкус все еще упирался и красить дом не позволял, аллея была вымощена гравием, так что когда дочь впервые приехала к отцу на рождество с нянькой и наследным принцем, то спокойно могла выезжать в город уже не в старом экипаже, запряженном рабочими клячами, а в новом автомобиле.

А потом мистер Бэкус умер, и дом вместе со службами выкрасили. И тут Гарисс, через два «с», стал появляться в Джефферсоне и со временем даже приобрел друзей, хотя наш Йокнапатофский округ не так-то легко можно было купить и жители держались в стороне, только ездили на своих старых фордиках, а то и верхом на конях или мулах смотреть, как это обыкновенное, знакомое, всем известное поместье в

северном Миссисипи превращали в коннозаводскую ферму, вроде как на Лонг-Айленде или в Вирджинии: целые мили обнесли белыми дощатыми загородками (тогда как у нас фермеры вполне довольствовались мотком проволоки и любыми подвернувшимися под руку кольями), с белыми конюшнями, куда провели паровое отопление, электричество и водопровод, и где лошадей обслуживали специальные лакеи и дворецкие, как будто они не кони, а люди, тогда как у нас многие еще жили при керосиновых лампах и жены таскали дрова из ближнего леса и воду из ручья или колодца.

У них уже было двое детей — наследный принц и принцесса,— когда Гарисс, со своими двумя «с», умер в кресле новоорлеанской парикмахерской от обычного профессионального заболевания тридцать восьмого калибра. После чего лошади, их конюхи и слуги перешли другим владельцам и дом был заперт, остался только сторож, а миссис Гарисс со своими двумя «с» и двумя детьми, с пятью слугами, с няньками и секретарями уехала, и моя мама, которая училась с ней в «Женской академии», и другие ее подруги стали получать от нее открытки и письма из всяких шикарных европейских городов, сначала насчет того, насколько там лучше климат, а потом — насколько там лучше и климат и школы для детей, и (это она писала конечно только маме) она надеется, что Гэвин здоров, а может быть, даже женат.

— Ну, теперь ему хоть эта не опасна,— говорю я Рэтлифу, а он мне отвечает:

— Не опасна?

— Конечно, черт возьми! Она не только выросла и ей сказки больше не нужны, у нее теперь двое детей и куча денег, какого черта ей выходить замуж? Да и Гэвину это ни к чему, деньги ему не нужны, ему одно нужно: во все вмешиваться, всех исправлять. Разве она ему теперь опасна, черт возьми?

— Это-то правильно,— говорит Рэтлиф.— Выходит, что теперь он вообще в безопасности, верно? По крайней мере до следующего раза.

Шутка, конечно. Но он ее повторил два часа назад, когда отказался ехать с нами в аэропорт. И теперь Гэвин сидел и пил то, что содержатели ресторана в аэропорту именовали «кофием», и вид у него был самодовольный, и непроницаемый, и высокомерный, и неприступный, как у вши на королевском заду. Наверно, у этой Линды Коль (простите, Сноупс-Коль) тоже было денег достаточно, ей не только мать оставила, но и дяде Гэвину, как ее опекуну, кое-что удалось выжать из старого Билла Уорнера. Из ее отца ему не приходилось ничего выжимать, потому что старый Сноупс, наверно, сам был рад выложить хоть малую толику, лишь бы то, что дядя Гэвин или Рэтлиф назвали бы безупречной девичьей прямотой, перестало мозолить ему глаза. Но ведь у нее-то не было двух детей, так что нам с Рэтлифом приходилось на этот раз надеяться, верить в то же самое основное обстоятельство, заключавшееся в самом обыкновенном течении времени: каждый раз наступал какой-то момент, когда все они вмиг становятся старше: то есть для того, чтобы он их вдруг начинал замечать, надо было, чтобы они росли и жили, а для этого им надо было находиться в постоянном движении, и выходило так, что единственный момент, когда он их начинал замечать, обращать на них внимание, был именно тот момент, когда они становились взрослыми, и тогда они мелькали перед ним, как мелькают в дверях складки юбки, рука или нога, снятые замедленной съемкой, будто они остановились, хотя на самом деле все уже исчезло в движении, в пролетевшем, невозвратном миге.

Это-то и спасало его каждый раз: именно то, что мгновение было

преходящим. Они не могли остановиться в дверях, а тем более уже войдя в двери; иногда они даже не успевали закрыть за собой эту дверь и уже уходили в другую и дальше за нее — уже в замужество: от зрелости к материнству в один урок, так сказать. И это было хорошо. Там, за следующей дверью, дяди Гэвина уже не было. Он все еще стоял у первой двери. А так как жизнь это не столько движение, сколько однообразное повторение одних и тех же движений, то ему недолго приходилось стоять у этой первой двери, пока снова за ней не начинали мелькать убегающие складки платья, пока не исчезала несформировавшаяся ножка подростка. И я мог бы сказать Рэтлифу, что, пока я помогаю дяде Гэвину прощаться в Мемфисе с прошлым, пусть он посмотрит, кто же будет следующий, как Линда когда-то заняла место Мелисандры прежде, чем Мелисандра поняла, что у нее есть заместительница. Но вскоре я постиг, что ничего не нужно и что дядя Гэвин уже, наверно, выбрал кого-нибудь, вот почему он теперь сидит такой спокойный, такой безмятежный, попивая кофе, в ожидании, пока объявят о прибытии самолета.

Наконец, объявили. Мы вышли на поле. Я остановился у загородки.

— Я тебя подожду,— говорю.— Вы, наверно, захотите побыть наедине, пока можно; хотя вы будете не одни, но тут вас все равно никто не знает. Ты приготовил грифельную доску? А может быть, она уже приспособила себе дощечку, привязала к рукаву или к коленке, знаешь, как летчики пристраивают карту?

Но он не отвечал. Тут подкатил самолет, новый ДК-3, и вскоре она вышла. Издали мне не были видны ее глаза, но ведь пострадали не глаза, а уши от этой бомбы, или мины, или снаряда, не знаю, что там в нее попало. А она была все та же высокая девушка, слишком высокая, так что даже трудно было сказать, хорошо ли она сложена (впрочем, не знаю, с такими женщинами бывает — снимешь с нее платье и удивишься, хоть бы ей и было уже двадцать девять лет). А потом я увидел ее глаза, такие синие, что сначала показалось, будто они черные. Вообще я никак не мог понять, откуда у нее такие глаза и темные волосы, потому что у старого Сноупса глаза были цвета затхлой болотной воды, а волосы и вовсе бесцветные, а у ее матери глаза, правда, были голубые, но волосы белокурые. Когда я вспоминал ее мать, она мне всегда представлялась такой, будто ее только что вытащили из веселого дома в скандинавской Валгалле, и полиция, прежде чем посадить ее в полицейскую карету, только-только успела накинуть на нее кое-какую одежонку. А у Линды глаза были хорошие, и, наверно, если бы именно тебе довелось снять с нее платье, так ты бы сказал, что глаза у нее прекрасные. А в руке она действительно держала маленький блокнот и карандаш, пока целовала Гэвина. Честное слово, целовала. Но, очевидно, он не сразу сообразил, что надо пользоваться этим блокнотом, потому что сказал вслух, как будто она все слышит:

— И Чик тоже тут,— и она меня вспомнила; она была высокая, как Гэвин, чуть ли не с меня ростом, и ногти кусала, впрочем, может, это после контузии, а может, с горя. А когда она пожимала руку, чувствовалось, что она сама водила машину, и резину на ней тоже, наверно, меняла сама, и говорила она негромко, но голос у нее был какой-то сухой, резкий, крякающий, каким обычно говорят глухие, она даже спросила меня про маму, про отца, будто ей и впрямь было интересно, будто она самая обыкновенная жительница Джефферсона и никогда даже во сне не участвовала в войнах, не подрывалась на минах. А дядя Гэвин уже сообразил, что надо воспользоваться блокнотом, взял карандаш и что-то нацарапал, наверно, про багаж,

потому что она сказала: «Ах, да!» — как будто слышала, и сразу достала квитанции из сумочки.

Я подвел машину, пока они разбирались с багажом. Значит, она жила с тем типом несколько лет до того, как они зарегистрировались, но по ней ничего такого заметно не было. А потом она отправилась в Испанию, на войну, и подорвалась в машине, но по ней и этого видно не было. Я сказал:

— Почему ты ей не дашь вести машину? Тогда она хоть перестанет нервничать из-за того, что не может разговаривать с тобой.

— Ты лучше веди машину сам,— говорит он.

Так мы и сделали. «Итак, на родину доставлен был герой», я — за рулем, они — сзади. Правда, кто-то, кажется, сказал: «А почему бы нам втроем не сесть впереди, тут места хватит». А впрочем, не помню, сказал или нет. Кажется, нет. В общем, они сели вдвоем сзади. Я тоже не помню почему, но дядя Гэвин вдруг сказал:

— Можешь успокоиться, теперь ты в безопасности. Я держу ее руку.

Они и вправду держались за руки, она держала его руку обеими своими у себя на коленях, и через каждую милю этот утиный голос говорил: «Гэвин»,— а потом еще через милю опять: «Гэвин». И должно быть, она только недавно начала пользоваться блокнотом и карандашом, еще не привыкла, а может быть, когда теряешь слух и погружаешься в настоящую тишину, то забываешь, что не все совершается в этом замкнутом, отъединенном мире. А может быть, когда он взял у нее из рук карандаш, чтобы писать на блокноте, она не могла дождаться, чтоб он ей отдал карандаш, вообще надо было бы им обоим иметь блокноты.

— Да, да. Чувствую, где-то внутри черепа, где-то в горле. Звук ужасный, правда? — Но Гэвин, очевидно, привыкал писать, потому что снова ему ответил этот утиный голос: — Да, есть. Я чувствую, понимаете? — И опять утиный голос: — А как? Если я буду практиковаться, как я узнаю — хорошо выходит или нет?

И тут я с ней согласился: если ты собираешься отрывать время от своих юридических занятий, от обязанностей главного прокурора штата, чтобы вернуть своей глухой подруге потерянную девственность ее сладкогласия, то интересно, как ты этого будешь добиваться? Хотя для мужа это просто клад: ему только надо будет внушить своей глухой, как стенка, жене, что главное для приобретения красивого, мягкого голоса — это больше помалкивать, чем говорить. А может быть, дядя Гэвин написал ей просто цитату из Бена Джонсона (или старика Данна, или, может, Гаррика, а то даже и Сэклинга — словом, к кому там он приучал это ушко — а теперь глазок — наш старик Стивенс): «Кораллы губ не тяготи пустою речью. Но дай мне выпить с них в твоем дыханье — «да!». А может, он ей написал еще проще: «Помолчи, пока мы приедем домой. Тут не место ставить тебе голос. Кроме того, этот младенец в конце месяца вернется в Кэмбридж, тогда мы подолгу сможем бывать с тобой наедине».

Словом, «На родину доставлен был герой». Уже показался Джефферсон, часы на здании суда и, конечно, электростанция, где служил когда-то ее папаша, и тут утиный голос произнес имя Рэтлифа:

— Барту он понравился. Он не ожидал, что ему может понравиться житель Миссисипи, но потом сказал, что ошибся.

О чем ее спросил Гэвин, можно было понять сразу:

— Нет, даже вы. Он с меня взял обещание, пусть тот из нас, кто выживет, подарит Рэтлифу одну из скульптур. Вы помните —

итальянский мальчик, вы еще не могли понять, что это такое, хотя и видели раньше всякую скульптуру, а вот Рэтлиф никогда в жизни не видал не только итальянских мальчиков, но и вообще ничего, кроме памятника перед зданием суда, и все-таки сразу понял, кто изображен и даже что он делает.— И мне ужасно захотелось взять на минутку блокнот и написать: *А что делал итальянский мальчик?* — но тут мы подъехали к городу: доставили домой героя. И Гэвин сказал:

— Сначала остановись у банка. Надо его предупредить, этого требует простое приличие. Если только его уже не предупредили и он не уехал на время из города, чтобы пересилить себя, подготовиться к этой минуте. Конечно, если предположить, что даже он наконец понял, что нельзя просто-напросто вычеркнуть ее из жизни, погасить, как вексель или закладную.

— Что же, значит, нам тут, прямо на улице, принимать почести, даже не дав ей привести себя в порядок? — говорю.

— Успокойся,— говорит он мне снова.— Станешь старше, сам поймешь, что люди гораздо бережнее, гораздо внимательнее, добрее, чем тебе сейчас хочется о них думать.

Я остановился у банка. Но будь я на его месте, я бы даже не стал брать карандаш, пусть хоть голос, похожий на кряканье, сказал бы: «Какого черта? Поезжайте прямо домой». Но она промолчала. Она сидела, держа его руку обеими руками, даже не на коленях, а прямо прижав к животу, и обводила глазами площадь, а утиный голос все повторял: «Гэвин! Гэвин!» А потом она вдруг говорит:

— Вон дядя Вилли идет с обеда.

Только это вовсе был не старик Кристиан, тот давно умер. А в общем, неважно, не стоило об этом писать на блокноте. И Гэвин оказался прав. Никто даже не остановился. Я видел, что двое ее узнали. Нет, вернее, узнали вот почему: машина Гэвина Стивенса стоит у обочины перед банком, днем в двадцать две минуты второго, за рулем — я, а Гэвин с какой-то женщиной — сзади. А ведь все слышали про Линду Коль, виноват — Сноупс-Коль, во всяком случае, знали, что эта женщина раньше жила в Джефферсоне, а потом настолько близко видела войну, что ей пробило обе барабанные перепонки. Вообще-то он прав: люди добры, бережны, внимательны. И не то что не ждешь от них этого, а просто заранее решаешь, что они не такие, и они тебя сбивают, запутывают. Никто даже не остановился, только один сказал: «Здорово, Гэвин»,— и направился дальше.

Я вышел из машины и зашел в банк. Я думал о том, что сделал бы, если бы у меня была единственная дочка и у ее деда куча денег, да и я был бы достаточно богат, чтобы отправить ее в колледж. Однако я ее все не отправлял, и никто не знал почему, а потом вдруг взял да и отправил, но только в тот университет, что поближе, всего в пятидесяти милях, и никто не понимал, зачем я это сделал: но я стремился стать президентом того банка, где был президентом человек, который, по мнению всех, с тех пор как мы переехали в этот город, спал с моей женой. Вообще никто не понимал, зачем я отослал дочку до того самого дня, через три месяца после ее отъезда, когда моя жена впервые в жизни пошла в косметический кабинет и в ту же ночь аккуратно, чтобы не помять новый перманент, прострелила себе висок, и когда наконец на все это осела пыль, оказалось, что тот прелюбодей, президент банка, навсегда уехал из города, и теперь я стал не только президентом его банка, но и поселился в его особняке, и тут каждый понял бы, что мне теперь совершенно не нужна эта дочка и пусть она уезжает ко всем чертям, куда ей угодно, лишь бы не воз-

вращалась в город Джефферсон, штат Миссисипи. Я ее только не отпускал до тех пор, пока мы оба, сидя в машине, не увидали, как открыли памятник на могиле ее матери; и мы беспомощно смотрели на эту вырезанную на мраморе беспомощную издевку:

ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ЖЕНА — ВЕНЕЦ СУПРУГУ.
ДЕТИ РАСТУТ, БЛАГОСЛОВЛЯЯ ЕЕ.

И тогда я сказал:
— Все. Можно ехать...
Я вернулся к машине.

— Мистер Сноупс освободил себе день,— говорю,— чтобы посидеть дома и дождаться дочки.— И мы все втроем поехали туда, к этой классической уродине, которая была второй издевкой. Теперь у него в Джефферсоне было три монумента: электростанция, памятник и этот особняк. И кто его знает, у какого окна он, выжидая, шпионил, или, шпионя, выжидал, как вам больше нравится.— Может быть, и мне с вами войти? — говорю.

— Может быть, нам обоим надо завести блокнот и карандаш,— говорит дядя Гэвин,— и ей тогда всех будет слышно!

Нас ждали. Почти сразу из парадного вышел негр-шофер, он же привратник. Я выгрузил вещи на тротуар, а они оба стояли, высокие, почти одного роста, и она крепко обняла Гэвина, а он обнял ее, и они целовались тут же, на улице, средь бела дня, и утиный голос повторял: «Гэвин! Гэвин!» — не только так, будто она все еще не могла поверить, что наконец-то видит его, но так, будто она еще не привыкла произносить вслух его имя, как произносила раньше. Потом она его отпустила, он сказал: «Едем»,— мы сели в машину — и все. Герой вернулся в родной дом. Я свернул за угол, даже не оборачиваясь, да, хотелось бы мне сказать, что я не обернулся, только это неправда: привратник еще возился с вещами у парадного, а она стояла рядом, глядя нам вслед, слишком высокая на мой вкус, неприкосновенная, замурованная в безмолвии, неуязвимая, безмятежная.

В том-то и дело: в безмолвии. Как будто не существовало звука. А если ты живешь в безмолвии, значит, люди уже ничем тебя не проймут, не обидят: ни пальбой, ни предательством, ни человеческими словами.

В том-то и дело: в глухоте. Ни Рэтлиф, ни я ничего тут сделать не могли. Те, прежние, промелькнувшие складками платья, те уплывали, исчезали, взрослея, созревая, и сразу за этой зрелостью для них открывались двери, и сразу за ними алтарь — и длинный ряд сохнущих пеленок: исполнение желания, конец. Но она победила. Она не промелькнула мимо, не исчезла за той дверью — нет, от громового удара она застыла в безмолвии, остановилась в неподвижности, а та дверь и те стены исчезли, улетели, и она сама уже стала не порождением минуты, но неуязвимой невестой безмолвия, в нерушимой девственности, недвижной, навеки защищенной от превратностей и перемен. Наконец дня через три я поймал Рэтлифа.

— Ее муж прислал вам подарок,— говорю,— ту скульптуру, которая вам понравилась: итальянский мальчик чего-то там делает, помните, вам понравилось, а вот Гэвин, хоть и видал раньше итальянских мальчишек и, может, даже видел, как они делают то, что этот делает, все-таки не разобрал, что к чему. Впрочем, это пустяки. Жены, женщины в доме у вас нет и невинных дочек тоже, значит, можете держать у себя что хотите... Она выйдет за него замуж.— говорю.

— А почему бы и нет? — говорит.— Полагаю, что он и это выдержит. А кроме того, если кто-нибудь наконец возьмет его в мужья, может, нам, остальным, будет спокойнее.

— Вы хотите сказать — им, остальным? — говорю.

— Да нет,— говорит,— я именно то сказал, что хотел. Я говорю про всех про нас.

9

Чарльз Маллисон

Гэвин был прав. Это было в конце августа. А три недели спустя я снова сидел в Кэмбридже и надеялся, то есть старался, ну, в общем, я уже был на том курсе, который кончал или, во всяком случае, должен был кончить в июне будущего года. Но я пробыл в Джефферсоне целых три недели, времени у них было вдоволь, даже если бы они настояли на церковном оглашении, что было совершенно лишнее — ведь Линда была вдовой, и не просто вдовой, а раненым героем войны. Так что я подумал — может, они ждут, пока избавятся от меня. Знаете, старая затасканная мелодрама, только наоборот: обезумевшее дитя держится не за мать, а за фалды жениха, рыдая: «Папочка, папочка, папочка (впрочем, тут надо бы «дядечка, дядечка, дядечка»), не надо жениться на миссис Смит!»

Потом я подумал (уже подошел день благодарения, скоро я должен был ехать на рождественские каникулы домой): *Естественно, никто из них и не сообщил мне сюда, в Массачусетс.* Так что я даже хотел написать и спросить, разумеется не маму и уж конечно не дядю Гэвина, потому что, если это уже случилось, он будет слишком занят, а если нет — все равно он будет занят, то ли спасая свою жизнь, если он все еще говорит «нет», то ли стараясь поставить ей голос настолько, чтобы услышать и от нее «согласна!», если он первый сказал «да». Надо бы спросить Рэтлифа, который всегда был заинтересованным зрителем, хотя трудно назвать его безграничное любопытство к чужим делам просто невинным интересом,— может, даже надо было послать ему телеграмму: *Спят ли они официально вместе? Сообщите — это уже «rosa» или все еще «sub»*, допуская, что вы допускаете то же допущение, которому нас научили тут в Гарварде, а именно: если снять платье с высокой и тонкой женщины, она может оказаться вовсе не такой уж тонкой.*

Потом пришло рождество, и я подумал: *Может, я к ним несправедлив. Может, они только и дожидаются меня, чтобы не прерывать экстренным вызовом мои академические занятия, ждут, пока праздник мира и в человецех благоволения приведет меня домой, и я понесу букет, или кольца, или что там полагается.* Но я с ней даже не встретился. А мы с дядей Гэвином как-то целый день провели вместе. Я поехал к Сарторисам поохотиться на куропаток вместе с Бенбоу (ему было всего семнадцать лет, но он считался лучшим стрелком в округе, уступая только Лютеру Биглину — наполовину фермеру, наполовину промысловому охотнику, который еще натаскивал собак и стрелял с левой руки, он был чуть постарше Бенбоу, в общем, почти мой ровесник и жил на реке близ Олд-Вайотспорта), и дядя Гэвин напросился с нами. Он, Гэвин, стрелок был так себе, даже если ему и удавалось помолчать какое-то время, но все же он изредка ездил со мной на охоту. И весь день об этом — ни слова. Наконец я сам спросил:

* Sub rosa — по секрету *(лат.)*.

— Ну, как идет постановка голоса?

— У миссис Коль? Неплохо. Но ты, свежий человек, лучше сможешь судить,— а я говорю:

— Когда же это я смогу? — а он говорит:

— В любой день, когда окажешься поблизости.— И на рождество я опять спросил о ней. Обыкновенно Рэтлиф в первый день рождества обедал у нас, он был гостем дяди Гэвина, хотя моя мама тоже очень любила Рэтлифа, может потому, что она и дядя Гэвин — близнецы. А иногда дядя Гэвин обедал у Рэтлифа и брал меня с собой, потому что Рэтлиф здорово стряпал, а такой чистоты, такого уюта я нигде больше не видел, он все делал сам, даже свои неизменные синие рубашки шил сам. В общем, я первый спросил маму:

— А почему бы не позвать к обеду миссис Коль? — и дядя Гэвин сказал:

— О господи, неужто ты приехал из самого Кэмбриджа, чтоб на рождественском обеде видеть перед собой рыбью морду этого сукиного...— но тут он спохватился вовремя и сказал:— прости, пожалуйста, Мэгги,— а мама сказала:

— Ну конечно, ей придется в первый день рождества пообедать с отцом, ведь это ее первое рождество дома.

А на следующий день я уехал. Мой друг Споуд — его отец учился вместе с дядей Гэвином в Гарварде еще в 1909 году — пригласил меня к себе в Чарлстон, хотел показать мне, что такое настоящий бал в день святой Цецилии. Да и вообще мы всегда разъезжались в эти дни: отец ездил на неделю в Майами смотреть лошадей, а мама тоже уезжала с ним, не потому, что и ей хотелось завести скаковую конюшню, а наоборот, чтобы своим присутствием или хотя бы своим пребыванием где-то поблизости удержать отца от покупки лошади.

Наступил 1938 год, я вернулся в Кэмбридж. А потом подошел сентябрь 1938 года, и я все еще по-прежнему был в Кэмбридже, уже на юридическом факультете. Пережили Мюнхен, или отметили его, или отпраздновали — как хотите. Дядя Гэвин сказал:

— Теперь уже скоро.— Но он это говорил и прошлой весной. И я ему сказал:

— Зачем же мне тратить еще два-три года на то, чтобы стать адвокатом, когда очень скоро, если верить тебе, никому не нужно будет вести гражданские дела, даже если я научусь защищать или обвинять? — а он говорит:

— Затем, что, когда окончится эта война, на помощь человечеству и справедливости придет только одно — законность,— а я говорю:

— А разве теперь она людям не нужна?

— Сейчас хорошие времена, времена подъема, расцвета, а зачем искать справедливости, когда вокруг сплошное благосостояние? Сейчас закон — последнее прибежище, если хочешь запустить руку в тот карман, куда раньше не попал или где было пусто.

И вот прошлой весной, в начале июня, они с мамой (отца они бросили в Саратоге, хотя он обещал поспеть в Кэмбридж к самой раздаче дипломов) приехали на мое выпускное торжество. И я сказал:

— Как? До сих пор никаких свадебных колоколов? — И он сказал:

— Для меня, по крайней мере, нет.— А я сказал:

— А как продвигаются уроки постановки голоса? Ну рассказывай же,— говорю — Я теперь большой мальчик, я уже гарвардский кандидат прав, хотя я и не поеду учиться в Гейдельберг. Расскажи мне все Неужели вы только этим и занимаетесь, когда уютно сидите вдвоем? Разговариваете и все?

— Помолчи и послушай, что я тебе скажу. Ты едешь на лето в Европу — это мой тебе подарок. Я уже заказал билеты и оформил паспорт; тебе осталось только пойти к фотографу и запечатлеть свою физиономию.

— А почему в Европу? Почему теперь? А если мне не хочется?

— Будущим летом там, может быть, ничего не останется. Значит, надо ехать теперь. Поезжай, посмотри эти места, может быть, тебе придется там умереть.

— Так, может, лучше дождаться? — а он говорит:

— Тогда ты поедешь туда хозяином. А этим летом ты еще можешь быть гостем.

Я поехал с двумя приятелями — побегали, похлопотали и по протекции достали билеты на один пароход. И в то же лето мы, верней, я — мои дружки в последнюю минуту никак не смогли оторваться от Парижа — проехался по Европе на велосипеде. Я хочу сказать, по тем местам, куда еще был открыт доступ, по той самой полосе, где, если прав дядя Гэвин, меня, возможно, и ждет смерть, по Англии, Франции, Италии, по той Европе, от которой, как говорил дядя Гэвин, скоро ничего не останется, так как те, кто выживут, уничтожая Гитлера, Муссолини и Франко, будут слишком измучены, а тем, кто просто выживут, вообще все будет безразлично.

И я старался все увидеть, все понять, потому что даже в свои двадцать четыре года я по-прежнему верил ему безоговорочно, как верил в четырнадцать лет и (мне так кажется, хотя я, конечно, не помню) в четыре. Но той Европы, которую он знал или, как ему казалось, вспоминал, уже фактически не было. Я увидел что-то вроде сдержанной, подспудной, сосредоточенной истерии: бешеный разгул, в котором все казались туристами — и местные жители, и приезжие. И слишком много солдат. Я хочу сказать, слишком много людей были одеты и вели себя как военные, словно из каких-то политических или временных хозяйственных соображений они должны были носить эти маскарадные костюмы и строить линию Мажино (и притом все или во всяком случае французы как будто говорили: «Помилуйте, зачем же над нами потешаться? Мы и сами в это не верим!») — и это в самом разгаре борьбы за тридцатидевятичасовую рабочую неделю. А тут же — громкие парламентские дебаты: на какой стороне Пикадилли или Елисейских полей лучше будут выглядеть мешки с песком, совершенно так, как будто решали, на какой стене развесить картины; и сверкающая великолепием фигура генерала Гамлена, который вытирал суп с усов, заявляя: «Будьте спокойны. Я тут». Словно вся Европа (да, конечно, и мы тоже, везде было полно американцев) говорила: «Раз так выходит, что Зло всеми признано и не только общепринято, но и преуспевает, давайте все станем на сторону Зла и тем самым претворим его в Добро».

А потом я провел в Париже две последние недели: хотелось посмотреть, исчез ли Париж Хемингуэя и Скотта Фитцджеральда (это не одно и то же, хотя они и жили в одном месте), совсем ли он исчез или не совсем; потом — снова Кэмбридж, куда я опоздал всего на день: и это все связано, то есть, вернее, ни с чем не связано, но объясняет мне, почему вышло так, что я полтора года не видел ее. Итак, настал Мюнхен: минута почтительного молчания — и мы снова занялись своими делами. От дяди Гэвина пришло письмо: «Теперь уже скоро». Но для меня, пожалуй, уже было поздно. Когда мне придется идти — нет, я не так сказал: когда подойдет время мне идти,— я хотел бы стать летчиком-истребителем. Но мне уже минуло двадцать четыре года, через шесть лет мне минет тридцать, а может, и сейчас уже поздно: Баярду и Джо-

ну Сарторисам было по двадцать лет, когда они уехали в Англию в 1916 году, а дядя Гэвин рассказал мне об одном летчике из КВФ (теперь они называются КВС *), совсем мальчишке — командире звена, у которого было столько боевых заслуг, что британское правительство отослало его домой, чтобы он по крайней мере дожил до своего гражданского совершеннолетия. Так что мне, пожалуй, придется стать штурманом или механиком на бомбардировщике, а может быть, в тридцать лет мне и вообще летать не дадут.

А свадебных колоколов все нет как нет. Может быть, из-за ее голоса. Мои агенты — мне, собственно, нужен был всего один, моя мама — доложили мне, что частные уроки постановки голоса продолжаются, может, она считала, что ее «да» будет еще недостаточно сладкогласным, чтобы считаться законным. А на этом — я говорю о законном браке — она, разумеется, будет настаивать, потому что в тот первый раз испытала сожительство, можно сказать au naturel **, и оно взорвалось у нее на глазах. Нет, все это чепуха. Наоборот, сожительство было прочным до тех пор, пока не стало законным, пока кто-то из них, не знаю кто именно, наконец не сказал: «Ну, хорошо, черт возьми. доставай священника или выправляй брачное свидетельство, только, ради христа, замолчи!» Так что теперь она будет бояться церковного брака или регистрации пуще самого дьявола или палача, потому что для любого мужчины обвенчаться с ней значило подписать себе смертный приговор. А этого она, конечно, не могла пожелать дяде Гэвину, потому что ее «да» не только должно было прозвучать очень нежно, раз она вернулась в Джефферсон исключительно ради того, чтобы произнести это слово, но Гэвин был не настолько богат, чтобы стоило стать его вдовой, если в этом «да» не будет особой нежности.

Нет, это тоже чепуха. Если ей надо было прожить с человеком под одной крышей пять лет, прежде чем он согласился с ней обвенчаться, да еще со скульптором настолько современным, настолько передовым, что даже Гэвин не мог разобрать, что он там лепил и мастерил,— значит, он, наверно, был здорово передовым. А если ему пришлось бросить такую приятную и спокойную жизнь, то есть быть скульптором в Гринич-Вилледже и жить с девушкой, которая так охотно платила за жилье и покупала харчи, не считаясь с тем, были они обвенчаны или нет, если ему пришлось все это бросить и уехать сражаться в Испанию на стороне тех, кого — и это ему каждый мог сказать — явно ожидало поражение, значит, он был не просто передовым человеком, а куда больше. И если она любила его настолько, что могла пять лет прождать, пока он не сказал: «Ладно, зови священника, наплевать»,— и потом поехала в Испанию, чтобы им не расставаться, и из-за этого подорвалась на мине, значит, она тоже из них, потому что нельзя быть лишь отчасти на стороне коммунистов: ты либо целиком за них, либо целиком против. (Я спросил об этом его, я говорю о дяде Гэвине. «Ну, предположим»,— говорит. «Так»,— говорю. «Ну, и какого черта?» — говорит. «Так, так»,— говорю. «А тебе-то какое дело, черт побери?» — «Так, так, так»,— говорю.) И то, что она подорвалась на мине, ее, как видно, ничуть не исправило. Так что никаких свадебных колоколов явно не предвиделось, та, первая, ошибка была, очевидно, заблуждением юности и больше не повторится, она только на миг стала «враждебным элементом» и сразу поплатилась за это.

Значит, никаких тебе священников. Значит, они будут на практике

---

* Королевский Воздушный Флот и Королевские Воздушные Силы.

** В чистом виде *(франц.)*.

проводить народную демократию прямо тут, в Джефферсоне, независимо от того, как она будет выглядеть, когда он снимет с нее платье,— тут уж все равны. И ломать голову приходилось только над тем, каким чертом они ухитрятся это сделать в таком маленьком городишке, как Джефферсон, где царит такое равенство и братство. Вернее, не они, а он, Гэвин. Я хочу сказать, что все эти трудности, волнения, поиски выхода ложились на него. Ее это не касалось. Она была свободна, отрешена от мирских дел: кто знает, может быть, те, кто прошел кастрацию звука, обрезание слуха, не ищут никакого выхода. Ей досталось безмолвие: громовой удар навеки заключил ее в нерушимое, замкнутое одиночество, и пусть все другие несутся в грохоте и в толчее к цели — хоть и оказывается, что цель-то у края пропасти, как в старых чаплинских фильмах.

Его дело было найти пути и возможности, а ей надо было только проявить покорность и воскресить, так сказать, старые фамильные традиций. Но, конечно, она была не похожа на свою мать, уж не говоря о том, что Гэвин был отнюдь не Манфред де Спейн. Понимаете, мне было всего тринадцать лет, когда миссис Сноупс застрелилась, так что я до сих пор не знаю, что я видел и помню сам, а что дошло до меня или вошло в меня через дядю Гэвина, оттого что я, как выражался Рэтлиф, прожил первые одиннадцать-двенадцать лет своей жизни в самом нутре дяди Гэвина, думая его мыслями и глядя его глазами не потому, что он меня этому учил, а потому, что он меня допускал, приобщал к этому. Понимаете, у Линды и дяди Гэвина не было того безупречного, естественного преимущества, какое было у ее матери и Манфреда де Спейна: той ауры, того нимба, не знаю, как назвать, того, в чем миссис Сноупс не только существовала, жила, дышала, но и что создавала вокруг себя просто тем, что существовала, жила, дышала. Никак не подберу нужное слово: не то что атмосфера распутства, нецеломудренности, потому что (может быть, это тоже слова Рэтлифа, не помню) мелкие моральные запреты, вроде воздержания и чистоты, имели не больше отношения к такой женщине, как миссис Сноупс (вернее, такая женщина, как она, не больше считалась с ними, не больше обращала на них внимания), чем всякие конвенции насчет того, какие средства как, и где, и когда применять, имеют отношение к войнам или ураганам. Я хочу сказать, что когда какое-нибудь общество вдруг обнаружит, что оно является единственным обладателем богини Венеры, хотя бы на какой-то срок, то от нее и не надо требовать, чтоб она была целомудренной женой или даже верной любовницей, независимо от того, такая она или нет, хочет она быть такой или не хочет. Требовать этого не только недопустимо, но и было бы совершенно преступным недомыслием, и если бы общество, получившее такой великий дар, даже не потребовало бы, а просто приняло бы чистоту и воздержание как должное, то это было бы оскорблением дарителям и заслуживало бы их божественной мести. Это было бы все равно, как если б в нашем краю в какое-то чудодейственное невероятное время года ветер, солнце, дождь, жара и холод в какой-то чудодейственный миг создали бы самые благоприятные условия для посева, а мы вдруг начали бы мелочно настаивать на нашем праве что-то отбирать, отсеивать, селекционировать, вместо того чтобы сразу, скопом выпустить на поля всех, кто может ходить: мужчин, женщин, детей,— чтобы они могли засеять столько, сколько может принять земля. Но мы все — я говорю и о мужчинах и о женщинах — даже не хотели избавиться от треволнений и разговоров, подымавшихся из-за того, что она жила и дышала среди нас, и мы считали, что даже недостойны ревновать ее, пока среди нас есть хоть один человек, который может с ней сравняться, справиться в равном бою и тем самым быть нашим чемпионом, и мы

можем им гордиться, как гордится штат, вырастивший самого быстрого скакуна во всей стране. Мы все были на их стороне — ее и де Спейна,— мы даже покровительствовали их встречам, охраняли их, только проповедники ненавидели ее, они ее боялись, потому что божество, чьим воплощением она была (легко, без всяких ухищрений оно заставляло мужчин вздыхать по ней, а женщин гордиться, что хотя бы одна из них стала его посланницей), это божество оказалось куда сильнее, чем бледнолицый, страдающий галилеянин — единственный, через кого они бросали ей вызов.

Но в Линде этого свойства не было, оно ей не передалось. Так что ей и Гэвину оставалось одно — воздержание. Грубо говоря, высоконравственное поведение. Куда же они могли деваться? К ней домой нельзя, потому что из них двоих — отца и ее — не тот был глухой, кому надо было. К нему тоже нельзя, потому что он жил вместе с моей мамой, а одно из самых нерушимых правил, которому он меня (конечно, когда подошло время) обучил, было то, что джентльмен не приводит женщин в дом в таком порядке: в дом своей жены, своей матери, своей сестры, своей любовницы. Им вместе нельзя было и уезжать во всякие укромные местечки, в Мемфис или в Новый Орлеан, а может быть и дальше — Сент-Луис и Чикаго, куда (как мы предполагали) ездила ее мать с Манфредом де Спейном, потому что даже совесть полиции, не говоря уже о совести той полулегальной среды, в которой им пришлось бы очутиться, не потерпела бы, чтобы совершенно глухую женщину соблазнитель привез из спокойного, нравственного родного дома для такой низкой цели. Так что им оставалось только прятаться в его машине, с отчаянной торопливостью загнанной в кусты: он — Гэвин Стивенс, пятидесяти лет, М. И., Гарвард, Д. Ф., Гейдельберг, Американская полевая служба и ПСС *, АМХ, Франция, 1915—1918, прокурор штата — и она — Линда Коль, тридцати лет, вдова, раненная в рядах коммунистических войск в Испании,— задыхаясь, целуются в спрятанной машине, будто им по семнадцать лет.

Особенно если бы полиция еще узнала (понимаете, если бы кто-нибудь пришел и донес), что она коммунистка. Или если бы, скажем, об этом узнали в Джефферсоне. У нас жили два финна, которые еле-еле унесли ноги из России в 1917 году и из Европы в 1919, а в начале двадцатых годов очутились в Джефферсоне; никто не знал, как они сюда попали, один из них был сапожник, он работал в крошечной мастерской мистера Найтингейла, другой — слесарь; в сущности, оба они не были официально признанными коммунистами, да и сами в этом не признавались, потому что слишком плохо говорили по-английски еще до того, как чиновники «нового курса» мистера Рузвельта и профсоюзные боссы превратили слово «коммунист» в бранную кличку, относившуюся главным образом к Джону Льюису и его Конгрессу производственных профсоюзов. В сущности, с их точки зрения не было никакой необходимости ни тайно сознавать, ни явно признавать себя коммунистами. Они просто были уверены, что в Джефферсоне есть пролетариат, совершенно конкретный, определенный, явственный, как сегодняшняя погода, и что, как только они выучатся говорить по-английски, они отыщут этот пролетариат, и так как все они пролетарии, то все тут же станут коммунистами, потому что это не только их право и их долг, но иначе и быть не может. Было это лет пятнадцать назад, хотя тот высокий сапожник, который никак не мог выучиться говорить по-английски, все еще пребывал в недоумении и растерянности, считая, что преградой служит только незна-

---

* Магистр искусств, доктор философии, Полевая санитарная служба.

ние языка, а не то обстоятельство, что джефферсоновские пролетарии не только не желали осознать, что они пролетариат, но и с неудовольствием считали себя средним классом, будучи твердо убеждены, что это — временное, переходное состояние перед тем, как они в свою очередь станут собственниками банка мистера Сноупса или универсальных магазинов Уоллстрита Сноупса или (как знать?) займут место во дворце губернатора Джексона или президентское кресло в Белом доме.

Тот, что поменьше, слесарь, был куда сообразительнее. Может быть, в отличие от сидячей и более философической профессии сапожника, его работа больше сталкивала его с людьми. Во всяком случае он уже давно понял: для того чтобы стать одним из пролетариев Джефферсона, надо сначала этот пролетариат создать. За это он и взялся. Единственную возможность вербовать людей, обращать их в коммунизм, единственный материал для этого представляли негры. Потому что среди нас, белых граждан мужского пола города Джефферсона, царило полное и единодушное согласие, которое, может быть, глубже всего коренилось и громче всего высказывалось именно в низших слоях населения; но и вообще все жители Джефферсона, начиная от разносчиков жареных орехов и кукурузы, ставивших свои лотки на углу по субботам, хозяев захудалых, дешевых лавчонок и кончая владельцами огромных универмагов, автомобильных гаражей и заправочных станций, все были против тех, кого теперь называли коммунистами,— против Гарри Гопкинса, Хью Джонсона, против тех, кто как-нибудь был связан с Юджином Дебсом, рузвельтовским «новым курсом», прогрессивными профсоюзами,— словом, против всех и каждого, кто подвергал хотя бы малейшему сомнению наше природное джефферсоновское право покупать, доставать, раздобывать, выращивать или отыскивать что-нибудь как можно дешевле, пуская при этом в ход любое мошенничество, уговоры, угрозы или насилие, а потом продавать все это как можно дороже, пользуясь нуждой, невежеством или робостью покупателя. И это было все, что Линда нашла у нас, в нашей чужой капиталистической пустыне, вдалеке от всего ей родного, если только она и вправду была коммунисткой и если коммунизм и вправду не просто политическая идеология, но вера, которая без дел мертва,— нашла она тут только двух иммигрантов из-за полярного круга: один, фактически, даже не мог изъясняться на человеческом языке, как троглодит, другой был маленький, вспыльчивый, упорный, как шершень; причем оба они уже считались вне пределов джефферсоновского общества, не из-за того, что были признанными коммунистами (никому до этого и дела не было, пусть бы тот, маленький, и называл себя коммунистом, лишь бы он не вмешивался в нашу оплату труда; с таким же успехом они оба могли быть республиканцами, лишь бы не мешали нашему городу и нашему округу голосовать на выборах за демократическую партию; или католиками, лишь бы не устраивали пикеты около протестантских церквей и не нарушали молитвенных собраний), а из-за того, что они были друзьями негров — их знакомыми, их политическими единомышленниками. Нет, они не заводили с ними знакомства домами, этого у нас не потерпели бы даже от них, а тот, маленький, достаточно знал наш джефферсоновский язык, чтобы понять хоть это. Но вообще связываться с неграми им не следовало, и местная полиция давно уже косо посматривала на них обоих, хотя мы и не верили, что иностранцы могут по-настоящему совратить наших вполне лояльных цветных.

Так что сами понимаете, все, что им, Линде и Гэвину, оставалось — это брак. Потом наступило рождество 1938 года, последнее рождество перед затемнением, я приехал домой на праздники. и она пришла к

нам в гости. Не к рождественскому обеду, а к ужину. Не знаю почему. то ли мама и Гэвин решили, что удобнее всего будет пригласить ее к обеду и пусть бы она сама отказалась, то ли они решили к обеду ее совсем не приглашать. Нет, это неверно: держу пари, что мама пригласила их обоих — и ее, и старика Сноупса. Ведь женщины — удивительнейшие существа, они могут спокойно и безмятежно пройти сквозь какое-то препятствие, об которое мужчины годами разбивали себе голову в кровь,— и тут вдруг обнаруживается, что препятствие это не только ерунда, но его вообще не существует. Она пригласила их обоих так просто, будто уже сто лет подряд по крайней мере раз в месяц звала их к себе всякий раз, когда думала, что им доставит удовольствие у нее пообедать или же ей доставит удовольствие их принять,— а Линда отклонила это приглашение так же просто.

Можете себе представить рождественский обед в их доме, где никто из моих знакомых не бывал, кроме моей мамы (о да, она должна была зайти к ним после приезда Линды) и дяди Гэвина: столовая — стол, буфет, сервант, канделябры, расставленные точно так, как стояли они в мемфисском мебельном магазине, где он, Сноупс, обменял на эти вещи старинную обстановку матери майора де Спейна; на одном конце стола — он, на другом — Линда, и привратник в белой куртке им прислуживает; он, этот старый сукин сын с рыбьей кровью, весь словарь которого состоит из двух слов: «НЕТ» и «ПРОСРОЧЕНО», и она, невеста безмолвия, более непорочная в своей чистоте, чем жена Цезаря, потому что она была навеки неуязвима, навсегда защищена этой извечной чистотой, и, конечно, она не услышала бы его, даже если бы ему было что сказать ей, так же как он не понял бы ее, ибо они говорили на разных языках. Так они сидели лицом к лицу, выполняя длинный, мучительный обряд, к которому этот день из всех дней в году их обязывал, и никто не знал, зачем они это делали, терпели, зачем она это терпела и выносила, какой ритуал соблюдала, какое выполняла обязательство — или, как знать, какое знамение воплощала, чтобы он ни о чем не забывал. Может быть, потому так и вышло. Я хочу сказать — может быть, потому она и вернулась в Джефферсон. Наверно, не за тем, чтобы выйти замуж за Гэвина Стивенса. Во всяком случае пока что не за этим.

В общем, к нам ее позвали просто отужинать, хотя моя мама уверяла и сама безоговорочно верила, что ужин устроили в честь моего приезда. Я же только что сказал, что женщины — удивительный народ. У нее, у Линды, был подарок *(угадай от кого?)*, крошечный блокнот из тонких пластинок слоновой кости с золотыми уголками, в каждой строке еле умещалось три слова, и странички переворачивались на золотых колечках, и к нему золотой карандашик, им можно было писать, а потом стирать написанное носовым платком, или, бумажкой, или второпях, по-мужски, послюнив палец, а потом опять писать (наверно, он ей подарил эту штучку взамен той золотой зажигалки с инициалами «Г. Л. С.», хотя в его инициалах не было никакого «Л», да и вообще у него никакого третьего инициала не было, а она подарила ему эту зажигалку пять лет назад, только он никогда не пользовался ею: он был твердо убежден, что зажигалка придает табаку бензиновый вкус). Мама тоже пользовалась этим блокнотиком, как и все мы, но у нее это выходило вполне естественно, как обычные жесты в разговоре. Потому что при этом она разговаривала с Линдой, не заглядывая в блокнот, а прямо смотря ей в глаза, так что, наверно, нельзя было даже разобрать те закорючки, какие она писала не глядя, если только она вообще что-нибудь писала, потому что она говорила с Линдой совершенно так же, как со всеми нами. И провались я на месте, если Линда ее не понимала, они обе болтали и

смеялись, как все обыкновенные женщины, хотя, может быть, женщины вообще друг друга не слушают, им это, может, и не нужно, они как-то умеют общаться без слов, еще до того, как заговорят.

А Линда в такие вечера много говорила. Да, уроки постановки голоса с Гэвином пошли ей на пользу, не могли не пойти, потому что занимались они много, во всяком случае достаточно, если предположить, что встречались они хоть отчасти для того, чтобы поставить ей голос. Но все-таки голос у нее был какой-то утиный: сухой, безжизненный, мертвый. Вот именно: мертвый. Не было в нем страсти, тепла и, что еще хуже, надежды. Понимаете, вдвоем, в постели, в темноте, когда в тебе столько любви, столько радости и восторга, что одному не выдержать и надо поделиться, пошептаться, а как же тут шептаться, бормотать, когда тебе отвечает только этот сухой, безжизненный, крякающий голос. В тот вечер (потом, летом, она часто бывала у нас в доме, но в тот раз я впервые сидел с ними вместе за столом) она начала рассказывать об Испании. Нет, не о войне. То есть не о том, как проиграли войну. И это было странно. Она упоминала о войне лишь вскользь, не так, словно войны не было, но так, будто их вовсе и не побили. А ведь многие, например Коль, были убиты, другим оторвало к чертям руки и ноги и повредило барабанные перепонки, как ей самой, а скольких разбросало по свету, и очень скоро их объявят вне закона, ФБР начнет их преследовать, уж не говоря о том, что их будут донимать и допекать добровольные охотнички, но пока что у нас до этого еще не дошло, и все-таки их, как видно, не побили и они ничего не проиграли. Она рассказывала о людях на войне, о таких, как Коль. Рассказывала об Эрнесте Хемингуэе и Мальро, об одном русском — он был поэт и, наверно, стал бы лучше Пушкина, только его убили; а мама что-то царапала на этом блокнотике, причем они с Линдой обе не обращали внимания на то, что она там, как ей казалось, царапала, а вслух она говорила:

— Ах, Линда, какой ужас! — Понимаете, как, мол, ужасно — умереть молодым, не закончив работу. Но тут Гэвин уже выхватывал у мамы блокнот, а сам говорил:

— Чепуха. Не бывает «немых, неведомых Мильтонов» *. Если бы Мильтон умер двух лет от роду, все равно за него написал бы кто-нибудь другой.

Я уж и не пытался взять блокнот, сомневаюсь, чтобы они мне его отдали.

— Под фамилией «Бэкон» или «Марло»,— говорю.

— А может быть, под хорошим, доброкачественным, обобщенным профессиональным псевдонимом, вроде Шекспира,— сказал дядя Гэвин.

Но Линда даже не посмотрела на блокнот, я же говорил, что им с мамой это было не нужно.

— Почему? — сказала она.— Какая строчка, какой стих или даже поэма может сравниться с тем, что человек отдает жизнь, чтобы сказать «нет» таким, как Гитлер или Муссолини? — И тут Гэвин тоже не стал возиться с блокнотом:

— Она права. Она абсолютно права, и слава богу, что это так. Ничто не пропадает зря. Ничто. Ничто.

Только Линда, конечно, пропадала Гэвин говорил, что Коль был сильный человек. Не то что кусок мяса, но мужественный, живой; человек, любивший то, что греки называли радостью, такой человек мог, умел наполнить, насытить жизнь женщины и духовно, и физически. А Линде сейчас было всего тридцать, о да, глаза у нее были прекрасные,

---

* Цитата из «Элегии» Грея.

а может быть, не только глаза; впрочем, Колю, наверно, было безразлично, какая она там была под платьем, и тому счастливцу, который стал бы его преемником — не исключая и дяди Гэвина,— тоже, наверно, это было бы все равно. Так что теперь я наконец понял, что происходило у меня на глазах: ни моей маме, ни Линде совершенно не надо было смотреть на закорючки, которые мама царапала на этих нелепых костяных пластинках, потому что с того самого дня, как Линда вернулась домой, моя мама, очевидно, так же бессовестно хитрила и добивалась своего, как добивались в старину викторианские мамаши, охотившиеся за женихами во время сезона на курортах в Бате или Танбридж-Уэлсе, как описано у Диккенса, Филдинга и Смоллета. Потом я понял еще одну вещь. Я вспомнил, как примерно с год назад мы сидели вдвоем с Рэтлифом в дядином кабинете и он мне сказал:

— Послушай, зачем ты себе портишь кровь, ревнуешь своего дядюшку? Кто-нибудь непременно выйдет за него замуж раньше или позже. Когда-нибудь ты сам его перерастешь, дел будет по горло и тебе некогда станет торчать тут и оберегать его. Так что пусть уж лучше Линда, чем другая.

Понимаете, что я хочу сказать? Значит, оно все-таки передалось по наследству. Я про то — не знаю, как назвать,— чем была отмечена ее мать. Гэвин увидел Линду однажды, когда ей было всего тринадцать лет, и видите, что с ним сталось. Потом, когда ей было девятнадцать, ее увидел Бартон Коль, и видите, что с ним произошло. А теперь я увидал ее два раза, то есть когда я уже стал понимать, на что смотрю,— первый раз в мемфисском аэропорту прошлым летом и сегодня вечером, у нас за ужином, и теперь я знал: придется мне пригласить дядю Гэвина в библиотеку или в свой кабинет, словом, где полагается вести такие разговоры, и сказать ему:

— Послушайте, молодой человек. Я знаю, насколько бесчестны ваши намерения. Но я желаю знать, насколько они серьезны.— Впрочем, может, придется сказать не ему, а кому-нибудь другому. Вряд ли это будет он. Рэтлиф мне рассказал, будто Гэвин говорил, что ее судьба — полюбить раз в жизни и потерять его, а потом горевать. Может, потому она и вернулась в Джефферсон: если человеку только и остается, что тосковать, так не все ли равно, где жить. А теперь она пропадала, теперь она теряла даже того последнего человека, который должен был жениться на ней по той простой причине, что именно он с самого ее детства потратил больше сил, чем кто другой, чтобы сделать ее такой, какой она стала теперь. Но это будет не он, ему нужно было оправдать свое собственное предсказание, доказать свои слова, кто бы ни тосковал и ни страдал.

Да, она пропадала. С тех пор как она вернулась, она водила эту черную банкирско-баптистскую машину; очевидно, она сначала решила, что будет ездить одна, но потом старый Сноупс сам запротестовал из-за ее глухоты. И вот она каждый день ждала в машине, когда закроется банк, и они вдвоем катались по окрестностям, и он прислушивался к сигналам. Ему они были нужны, эти самые поездки по окрестностям, потому что вся округа была его владением, его вотчиной — поля, фермы, посевы,— и может быть, владельцы собирались заложить и то, на что он еще не держал закладные, и он мог осматривать и прикидывать, как бы их заполучить и за сколько.

Не ездила она с ним только раз в неделю, обычно в среду. Старый Сноупс не пил, и не курил, и даже не жевал табак, а челюсти у него мерно двигались потому, что он, как говорил Рэтлиф, до сих пор жевал тот кусочек пустоты, воздуха с Французовой Балки, который он привез

во рту тридцать лет назад, когда переехал в Джефферсон. Да, она пропадала: в тот день она обратилась даже не к дяде Гэвину, она подошла к Рэтлифу и сказала:

— Не знаю, у кого теперь можно купить виски.— Нет, она не то что растерялась, она просто отсутствовала слишком долго, и сама объяснила Рэтлифу, почему она не обратилась к дяде Гэвину: — Он прокурор округа, и я подумала...— и Рэтлиф потрепал ее по плечу прямо тут же, посреди улицы и сказал так, что все слышали — она-то слышать не могла:

— Давно дома не была. Поедем. Все достанем.

И они втроем в машине Гэвина поехали к так называемому кэмпингу для рыбаков Джейклега Уотсона у Вайот-Кроссинга, чтобы она потом знала, где и как достать то, что надо. Для этого нужно было подъехать к маленькой некрашеной лавчонке Джейклега (Джейклег не хотел ее красить, чтобы каждый раз, когда вновь избранную администрацию округа одолеет жажда реформ и шериф тайком предупредит его, что грозит налет полиции, ему не надо было бы портить краску, выдергивая гвозди и снимая части самогонного аппарата, чтобы перенести их на милю в глубь леса, пока реформы не затихнут и он не сможет вернуться обратно, поближе к шоссе и автомобилям), там надо было выйти из машины, зайти в лавочку, где на некрашеных полках валялись рыболовные крючки, поплавки, удочки, пачки табаку, батареи для фонариков, жестянки с кофе и бобовыми консервами, патроны для охотничьих ружей, а на стенах были аккуратно приколоты лицензии департамента внутренних сборов США, а сам Джейклег в широченных и высоченных резиновых сапогах, которые он не снимал ни зимой, ни летом, с револьвером за голенищем стоял за стойкой, обнесенной проволочной сеткой, а приезжий говорил: «Здорово, Джейк, что у вас есть сегодня?» — и он всегда называл одну и ту же марку с таким видом, будто ему было наплевать, нравится она вам или нет, и одну и ту же цену, будто ему в высшей степени безразлично, по карману вам она или нет. И едва только ты говорил, сколько надо бутылок, негр-слуга (в прошлогодних резиновых сапогах Джейклега) наклонялся или выходил, словом, исчезал с глаз, а потом появлялся с бутылками и стоял, не выпуская их из рук, пока Джейклегу не отдавали деньги и не получали сдачу (если причиталось), и тогда Джейклег открывал окошечко в проволочной сетке, просовывал бутылки, и приезжие возвращались в машину — вот и все; и он (дядя Гэвин) взял Линду с собой в лавку и, наверно, сказал: «Здорово, Джейк. Познакомьтесь — это миссис Коль. Она не слышит, но вполне может выпить и почувствовать вкус». А Линда, должно быть, сказала: «А что у него есть?» — и, наверно, дядя Гэвин написал ей на блокноте: *Тут не спрашивают. Тут бери, что дают. Плати восемь долларов или шестнадцать, если берешь две.*

Так что в следующий раз она, возможно, приехала туда одна. А может быть, дядя Гэвин сам зашел в банк, в маленькую заднюю комнатку и сказал: «Послушайте, сукин вы сын, рыбья морда, вы что же, так и будете тут сидеть, а ваша единственная дочка, женщина, которая даже трубы в судный день не услышит, пусть ездит одна в притон Джейклега Уотсона покупать виски?» А может быть, это вышло просто случайно, в одну из сред, и он, мистер Сноупс, не мог ей сказать: «Стой, куда ты едешь, черт возьми? Надо вовсе не сюда»,— потому что она все равно ничего не слышала, и вообще я не понимаю, как он мог с ней разговаривать, потому что не представляю себе, чтобы его рука писала что-нибудь, кроме цифры процентов или даты просрочки; может быть, у них при себе была карта местности, он тыкал пальцем куда надо, и до сих пор это их

вполне устраивало. Но теперь он сталкивался не с одной трудностью, а с тремя: во-первых, всем знакомая машина банкира подъезжала к притону самогонщика, и он сам в ней сидел; во-вторых, стоило ли, чтобы каждый будущий должник Йокнапатофского округа узнал, что он, сидя в машине, разрешает своей единственной дочке заходить в пользовавшийся весьма дурной славой притон и покупать виски; и в-третьих, стоило ли заходить ему туда самому и собственной рукой, рукой баптистского церковного старосты, выкладывать шестнадцать долларов своих кровных денежек.

Пропадала. Гэвин рассказывал мне, как примерно с год назад оба финна-коммуниста стали наведываться к ней по вечерам (по ее приглашению, разумеется), и можете вообразить, что это было. Сидели они в гостиной. Дядя Гэвин говорил, что она устроила себе комнаты наверху, но с финнами она сидела внизу, в гостиной, а наискось, через коридор, была комната, где старый Сноупс, как говорили, проводил все то время, что не торчал в банке. Значит, гостиная капиталиста — и в ней трое — два финских рабочих-иммигранта и дочка банкира,— один ни слова не говорит по-английски, а она вообще ни слова не слышит ни на каком языке, и оба стараются как-то общаться через третьего, который еще и писать не научился, и беседуют они о надежде, о светлом будущем, о мечте: навеки освободить человека от трагедии его жизни, навсегда избавить его от болезней, от голода и несправедливости, создать человеческие условия существования. А через две двери, в комнате, где он разве только не ел и не держал наличных денег, сидел, уперев ноги в некрашеную планку, прибитую прямо гвоздями к антикварному камину работы знаменитого скульптора, и жуя то, что Рэтлиф называл глотком воздуха с Французовой Балки, он сам — капиталист, владелец этой гостиной и этого дома, всего этого окружения, в котором они предавались мечтам; начал он жизнь нигилистом, потом смягчился, стал анархистом, а теперь превратился не просто в консерватора, а в настоящего реакционера: в столп, в незыблемую опору существующего порядка вещей.

Пропадала. Вскоре она, как это называлось в Джефферсоне, стала совать нос в негритянские дела. Как видно, она без приглашения и без всякого предупреждения начала посещать уроки в негритянской начальной и средней школе, причем, сами понимаете, ей даже гром был неслышен, так что она только и могла смотреть на выражения лиц, на жесты учеников и учителей, а им всем было жутковато, может быть, даже страшно, во всяком случае их беспокоило и настораживало неожиданное присутствие непонятной белой женщины, которая заводила разговор с преподавателем крякающим утиным голосом, а потом протягивала ему блокнот и карандаш для ответа. Но тут сразу, лишь только его успевал найти перепуганный посланец, в класс входил директор школы — как говорил дядя Гэвин, это был человек с университетским образованием, очень неглупый и преданный своему делу,— и тут она, и директор, и старшая преподавательница школы уходили в директорский кабинет, и там не столько она, белая женщина, сколько они, двое негров, сами догадывались и понимали все, хотя и не соглашались с ней. Потому что они, негры, когда дело не касается страстей, вскормленных нуждой, невежеством и страхом,— азартных игр, пьянства,— а касается простых человеческих отношений, народ мягкий, добрый, они добрее и мягче белых, потому что им пришлось стать такими; и они гораздо мудрее в своем отношении к белым, чем белые в своем отношении к ним, потому что им — меньшинству — приходилось бороться за существование. И тут они тоже заранее знали, что ей придется бороться с невежеством и предрассудками, с тем невежеством и предрассудками, которые будут проти-

виться ее мечтам, губить их, а если она будет идти напролом, то и уничтожат ее,— знали, что это невежество, эти предрассудки коренятся не в черной расе, которую она хочет понять, а в белой, к которой она принадлежит.

И в конце концов случилось то, чего ждали, что предчувствовали все, кроме нее самой, очевидно, из-за ее глухоты, изолированности, одиночества, от того, что она жила не среди звуков, а только в окружении жестов. Может быть, она и ждала сопротивления, но, побывав на войне, просто не придавала этому значения. Во всяком случае, она шла напролом. А задумала она еженедельно устраивать что-то вроде соревнования или конкурса, и чтобы победители, то есть лучшие ученики этой недели, следующую неделю провели на специальных курсах, которые она собиралась организовать, и занимались там у белых учителей, причем подробно план будет разработан позднее, а временно они станут собираться в ее гостиной, в доме ее отца, на общие лекции, и тех, кто вышел на первое место в эту неделю, на следующей неделе заменят другие победители, причем в эти группы будут входить ученики всех классов, начиная с приготовительных и кончая выпускными, потому что у нее была своя теория: если ты в восемнадцать лет дорос до восприятия знания, значит, ты дорос и в восемь лет, потому что в этом возрасте новое дается легче. Понимаете, слышать-то она ничего не могла, не только слов, но и тех интонаций, тех обертонов и полутонов страха, ужаса, испуга, какие звучат в голосе черного, когда он вынужден говорить: «Благодарю вас». Так что в конце концов директор школы сам пришел к дяде Гэвину в его кабинет,— интеллигентный человек с волевым и трагическим лицом.

— Я ждал вас,— сказал дядя Гэвин.— Знаю, о чем вы хотите поговорить.

— Благодарю вас,— сказал директор.—Значит, вы сами поняли, что ничего не выйдет. Что и вы к этому еще не готовы и мы, конечно, тоже.

— Немногие представители вашей расы с этим согласятся,— сказал дядя Гэвин.

— Никто не согласится,— сказал директор.— Так же, как никто не соглашался, когда это говорил мистер Вашингтон.

— Мистер Вашингтон?

— Букер Т.,*— сказал директор,— и мистер Карвер тоже.

— Понятно,— сказал дядя Гэвин.— А что именно?

— Что мы сначала должны сделать так, чтобы белые нуждались в нас. В прежние времена мы были необходимы вашему народу хотя бы в области экономики, если не в области культуры, необходимы, чтобы производить хлопок, табак, индиго. Но это была не та необходимость, в ней коренилось много зла, много бед. И она не могла сохраниться. Она должна была исчезнуть. И вот теперь мы вам не нужны. Нет для нас места ни в вашей культуре, ни в вашей экономике. Мы в рассрочку покупаем те же автомобили, что и вы, расходуем тот же бензин, пользуемся теми же радиоприемниками, чтобы слушать ту же музыку, и теми же холодильниками, где держим то же пиво, что и вы. Но это и все. Так что теперь нам надо найти себе место как в вашей культуре, так и в вашей экономике. Не вы должны предоставить нам место, чтобы мы не путались у вас под ногами, как тут, на Юге, или чтобы заполучить наши голоса для увеличения ваших политических капиталов, как там, на Севере, но *мы сами* должны найти себе место, сделаться необходимыми для вас, чтобы вы не могли без нас обойтись, так чтобы никто, кроме нас, не смог заполнить то место в вашей экономике и культуре,

---

* Букер Тальяферро Вашингтон — негритянский общественный деятель.

которое сможем заполнить мы, вот тогда это место по праву станет нашим. Надо, чтобы вы не просто сказали нам «пожалуйте!», но чтобы вам было необходимо сказать нам «пожалуйте!», чтобы вы захотели сказать нам «пожалуйте!» Не можете ли вы объяснить ей это? Скажите, что мы ее благодарим, мы этого никогда не забудем. Но пусть оставит нас в покое. Хорошо, если мы можем всегда рассчитывать на вашу дружбу и на вашу помощь, когда она нам понадобится. Но не покровительствуйте нам, пока мы сами не попросим.

— Это совсем не покровительство,— сказал дядя Гэвин.— Вы это отлично знаете.

— Да,— сказал директор школы.— Я и это знаю. Простите. Я не хотел...— Потом он добавил:— Вы просто скажите ей, что мы ей благодарны, мы ее не забудем, но пусть нас оставят в покое.

— Как же можно сказать это человеку, который идет на такой риск исключительно ради справедливости, только ради того, чтобы помочь уничтожить темноту, невежество?

— Понимаю,— сказал директор.— Это действительно очень трудно. Может быть, мы и впрямь еще не умеем обходиться без вашей помощи, вот я же попросил вас помочь. Прощайте, сэр! — сказал он и ушел. Но как мог дядя Гэвин сказать ей об этом? Кто мог ей сказать об этом — будь то белый или черный? Дело было не в том, что она не слушала. она и слушать бы не стала даже то единодушное «нет», которым ее встречала негритянская школа в том массовом — нет, не сопротивлении, а скорее оцепенении, инстинктивном, как у животного, когда оно лежит неподвижно, даже не дыша, ничего не понимая. А может быть, она почувствовала это, потому что сразу, без промедления, из школы пошла прямо в инспекцию народного образования: раз она не может уничтожить невежество постепенно, занимаясь с отдельными учениками, она попытается сделать это оптом, пригласив белых учительниц в негритянскую школу; ни у кого не прося помощи, даже у Гэвина, она пошла сама — сначала в педагогический совет школы, а когда они отступили, совершенно стушевались, она проникла в самое святилище — в инспекцию народного образования всего округа, вооружившись не каким-то блокнотиком из слоновой кости, а целой пачкой желтой бумаги для заметок и карандашами для всех. Очевидно, они сделали роковую ошибку, допустив ее на заседание. Гэвин рассказывал, что дело было примерно так:

Инспектор написал: *Давайте на минуту предположим, что мы назначили белых учителей в негритянскую школу. Что же станется с учителями-неграми — или вы, может быть, сами собираетесь выплачивать им пенсию?*

И ее утиный голос:— Не совсем так. Я их пошлю на Север, в школы для белых, где они получат такое же образование, как белые учителя.

Карандаш: *Опять-таки, предположим дальше, что мы отчислим учителей-негров, где же вы найдете белых учителей, которые согласятся занять места негров тут, в Миссисипи, и долго ли им позволят занимать места негров именно тут, в Миссисипи?*

Утиный голос:— Я их найду, если только вы их защитите.

Карандаш: *Защитим — от кого, миссис Коль?*

Но на это ей не надо было отвечать. Это уже началось: слова «ПРОДАЛАСЬ ЧЕРНОМАЗЫМ» уже появились крупными буквами, мелом на тротуаре перед их особняком, и на следующее утро ее отец неторопливо шел по этим буквам в своей черной банкирской шляпе с галстуком бабочкой, жуя все тот же глоток воздуха. Да, конечно, он видел надпись. Гэвин говорил, что ее нельзя было не заметить, что к полудню чуть ли не весь Джефферсон ухитрился «случайно» пройти мимо и взглянуть

на эту надпись. Но что еще мог сделать банкир, *этот* банкир? Поплевать на платок и, встав на колени, стереть буквы с тротуара? А позже и Линда вышла, направляясь в здание суда, чтобы снова проникнуть за запертые двери и ловить других представителей окружной власти. И, может быть, даже вполне возможно, она ничего не заметила. Во всяком случае ни она, ни повариха, ни привратник ничего не сделали. Сделала женщина, их соседка, она вышла с метлой и хотя бы размазала буквы, злобно, сердито, но не для того, чтобы защитить немыслимые фантазии Линды, и даже не из инстинктивной женской солидарности, но только потому, что она тоже жила на этой улице. Можно было писать на тротуаре примитивные ругательства, непристойности — даже в этой респектабельной части города так случалось,— и она прошла бы не останавливаясь, не то выходило, будто она во всеуслышание призналась, что ей, порядочной женщине, понятно, что тут написано. Но на улице, где она жила с мужем и владела недвижимостью, конечно, никто не смел писать «ПРОДАЛАСЬ ЧЕРНОМАЗЫМ» или как-нибудь иначе, то есть выражать в явной, вызывающей надписи мелом этот древний глухой, сокровенный, атавистический расовый страх.

В конце концов старший инспектор народного образования пересек площадь и зашел в банк, в маленькую комнату, где старый Сноупс сидел, положив ноги на каминную доску, в те часы, когда не занимался просроченными закладными, и я хотел бы собственными глазами посмотреть, как это было; посторонний человек входит в комнату и говорит примерно так: «Неужто вы, черт побери, не можете держать свою дочь дома или по крайней мере не пускать ее в официальные учреждения?» Безнадежная попытка: разве можно чего-то добиться, если дочери тридцать лет и она не только вдова, материально независима, она к тому же ветеран войны и фактически — Рэтлиф сказал бы «фанатически» — побывала под огнем. Да она и тут удержу не знала: дошло до того, что члены инспекции боялись отпирать двери во время заседания и даже не шли в полдень завтракать домой, а вместо этого им через заднее окошко передавали сандвичи из кафе «Дикси». И тут каждому могло прийти в голову, что, может статься, она-то и послушалась бы советов, последовала им, но он, старый Сноупс, не смел ее просить, уж не говорю — приказать ей бросить все это. Причины, конечно, никто не понимал. Можно было только гадать — какой вексель или закладную из его прошлого, за его подписью она держала в руках, вексель, благодаря которому он занял это место в задней комнатке банка и теперь мог сидеть и наживать состояние, выдавая ссуды и опротестовывая векселя.

Но вскоре ему пришлось вытерпеть не только надписи, сделанные неизвестно кем на тротуаре, по которому он проходил чуть ли не каждый раз, как шел из дому. Однажды ночью (я тогда был в Европе) на лужайке перед особняком вдруг запылал грубо сколоченный крест, пропитанный керосином, и горел до тех пор, пока полисмены, возмущенные, обозленные, но совершенно беспомощные, не прибежали и не потушили его; тут кто угодно, не только полисмены, оказались бы беспомощными. Поймите: если бы она жила самостоятельно, если бы она была просто дочерью какого-нибудь врача, или адвоката, или даже священника, это было бы одно, тогда это было бы поделом и ей, и папаше. А вместо того надо же было ей оказаться не просто дочкой банкира, но дочкой *того самого* банкира, вот и выходило, что крест ярко озарял неопровержимый факт, что люди, запалившие его, дубины и олухи, и, если защита белой расы находится в руках болванов, которые не могут, а главное не умеют разобраться, где сад банкира, а где нет, значит, хороша была судьба этой белой расы!

А через месяц был Мюнхен. Потом — пакт Сталина с Гитлером, и уж теперь, когда Флем утром выходил из дому в своей черной банкирской шляпе и в галстуке бабочкой, жуя все ту же неизменную пустоту, как говорил Рэтлиф, ему приходилось идти не по каким-то обычным заборным словам: теперь огромные буквы складывались в три слова, покрывавшие весь тротуар перед его домом в разных сочетаниях и перестановках: «КОЛЬ КОММУНИСТКА ЖИДОВКА».

И он, банкир, консерватор, реакционер, который приложил больше усилий, чем кто бы то ни было в Джефферсоне или во всем Йокнапатофском округе, чтобы повернуть время вспять, по крайней мере к 1900 году, должен был идти по этим словам, как будто их и вовсе не было, будто они были написаны на другом языке, в другом веке, и вполне естественно, что он их не понимает, и весь Джефферсон — во всяком случае через своих представителей — следил за ним, смотрел, не выдаст ли он себя. Но что же он мог сделать? Теперь-то становилось понятно, что это правда, что действительно на нем лежал запрет — не сметь!—потому что он завоевал себе положение, одержал победу, а за этим крылись уже две смерти: не только самоубийство матери, сделавшее Линду сиротой, но и то, что, будь он другим человеком, его жене не надо было бы стреляться, а он мог бы воспитать такую дочку, чей муж Бартон Коль не был бы скульптором-евреем, да еще с гороскопом, где значилась испанская война. Но в следующую минуту у людей появлялись совершенно противоположные мысли: видно, эти надписи на тротуаре, по которым ему приходилось ступать всякий раз, как он выходил из дому, не были для него ни мрачным предзнаменованием, ни угрозой гибели, так же как неудачно выданный вексель не был для него непоправимым несчастьем, раз деньги сами по себе еще не отменены. И что никогда ему и в голову не пришла бы мысль: «Это мой крест, я буду нести его»,— потому что думал он так: *Мне теперь одно нужно, чтобы люди думали, будто это мой крест, а не мой ход в игре.*

Потом — Польша. Я сказал: «Теперь я пойду»,— а Гэвин сказал: «Годы твои не те. Тебя пока что не возьмут в летную школу»,— и я сказал: «Пока?» — и он сказал: «Поучись еще год в юридическом институте. Никто не знает, что тогда будет, но во всяком случае не то, что ты видишь сейчас». Так что я опять вернулся в Кэмбридж, и он мне туда написал, что ФБР наводит о ней справки, он писал: *Я боюсь. Не за нее. Не за то, что они о ней узнают,— она сама все рассказала бы им, если бы только они догадались, что самое простое — прийти к ней и расспросить ее.* А потом он мне рассказал обо всем: как она наконец перестала стучаться в двери, за которыми не дыша пряталась вся инспекция и школьный совет, и теперь только собирала по воскресеньям маленьких ребятишек в одной из негритянских церквей и читала им вслух своим сухим, монотонным, крякающим голосом, конечно, не ортодоксальные библейские притчи, но хотя бы легенды Месопотамии или сказки народов Севера, которые даже христианство приняло в свой обиход, и это ограждало ее, потому что даже белые священники не могли протестовать против такого парадокса. Так что теперь на тротуаре больше не писали ни «КОЛЬ КОММУНИСТКА ЖИДОВКА», ни «ПРОДАЛАСЬ ЧЕРНОМАЗЫМ» (хотелось бы верить, что те устыдились), и ей не приходилось переступать через это, чтобы ежедневно у всех на виду появляться в городе: невеста безмолвия и тишины, неприкосновенная в неслышимости, неуязвимая, она проходила, как и тогда, когда ей было четырнадцать, и пятнадцать, и шестнадцать лет: похожая на молодого пойнтера, который вот-вот выследит и подымет стаю дичи.

И когда я приехал домой на рождество, я сразу сказал Гэвину:

— Вели ей разорвать этот проклятый партийный билет, если он у нее есть. Слышишь? Вели немедленно. Людям она помочь не может. Они того не стоят, не нужны им ни советы, ни работа. Они хотят одного — хлеба и зрелищ, и к тому же даром. Человек — дерьмо. И как это она ухитрилась целый год проторчать на войне, где и муж погиб и у нее самой что-то в голове лопнуло ко всем чертям, да еще при этом их все равно побили,— и все-таки ничего не понять? Да, да, конечно, знаю. Знаю, что и ты и Рэтлиф вечно мне твердили одно, а уж Рэтлиф сто раз мне говорил: «Человек в сущности не зол, просто он ничего не понимает». Но тогда это еще верней, тогда тем более люди совершенно безнадежны, совершенно не стоят ничьих тревог, ничьих усилий, ничьих страданий.— Но тут я замолчал, потому что он положил мне руку на голову. Теперь ему надо было дотягиваться до меня, но он совершенно так же положил руку, как раньше, когда я был вдвое меньше ростом и втрое моложе, мягко, нежно, слегка поглаживая, и голос у него был тоже спокойный и мягкий:

— А почему ты ей сам не скажешь? — спросил он. Да, он очень хороший и мудрый, кроме тех случаев, когда его занесет вдруг, сразу закрутит и он повернет не туда,— даже я и то понимал, что он повернул не туда,— и потом полетит, не разбирая дороги, совершенно не считаясь ни с логикой, ни со здравым смыслом, пока всех нас не втянет в такую кашу, в такую путаницу, что я и то сообразил бы, что нельзя было так делать. Он хороший человек, может, я иногда ошибался, доверчиво следуя за ним, но я был прав, что любил его.

— Прости,— сказал я.

— Не надо,— говорит,— только помни об этом. Не трать времени, раскаиваясь в ошибках. Просто не забывай их.

Так что мне опять пришлось где-то ловить Рэтлифа. Впрочем, нет, я просто воспользовался случаем. Это было во время рождественского ужина — Рэтлиф сам его готовил и всегда приглашал дядю Гэвина и меня к себе в гости. Но в тот вечер Гэвина вызвали в Джексон по какому-то делу санитарной инспекции, и мне пришлось одному сидеть в безукоризненно чистой кухоньке Рэтлифа, попивая холодный пунш из домашнего виски старого Кэлвина Букрайта — Рэтлиф доставал это виски без всякого труда, хотя теперь, на старости лет, Кэл мог и продать вам бутылку и подарить, но мог и выгнать вас взашей, этого никогда нельзя было предвидеть; и я потягивал холодный пунш, его только Рэтлиф умел так делать: сначала растворить сахар в малой толике воды, потом добавлять виски, непрерывно помешивая ложечкой, потом долить дождевой воды из бочки; а тем временем сам Рэтлиф без галстука, в белоснежном фартуке поверх чистой синей чуть выцветшей рубашки — он их сам шил — готовил еду, и готовил превосходно не только потому, что любил поесть, но потому, что любил стряпать, любил сам доводить все до совершенства, до высшей точки. Потом он снял фартук, и мы сели ужинать за кухонный стол с бутылкой красного вина, которую обычно приносили мы с дядей Гэвином. Потом, взяв кофе и графинчик с виски, мы перешли (как всегда) в маленькую безукоризненно чистую комнатку — он называл ее своей гостиной,— где в углу стояла навощенная до блеска фисгармония, вокруг — навощенные стулья, а в камине, наполненном в летнюю пору жатой зеленой бумагой, зимой стоял газовый радиатор в виде полена,— и до нас дошел прогресс, поглотил и нас,— а посреди комнаты на навощенном столике, на подставке под стеклянным колпаком лежал галстук от Аллановны — на густом, почти алом, вернее, винно-красном фоне рассыпаны мелкие желтые подсолнечники с крохотными синими серединками, в точности того же,

чуть линялого синего цвета, что и его рубашки; он привез этот галстук из Нью-Йорка года три или четыре назад, когда они с Гэвином ездили к Линде на свадьбу и потом провожали ее в Испанию, но я бы скорее отрезал себе язык, чем сказал ему, что, наверно, за этот галстук заплачено (по-моему, платил Гэвин) не меньше семидесяти пяти долларов; и все же как-то я нечаянно проговорился и Рэтлиф сказал:

— Я-то знаю, сколько заплачено: сам платил. Сто пятьдесят долларов.

— Что? — сказал я.— Сто пятьдесят?

— Да, их было две штуки,— сказал Рэтлиф.

— Но я вижу только один,— говорю.

— А другой ты, наверно, и не увидишь,— сказал он,— это дело частное,— и тут же стояла эта самая скульптура, которую ему завещал Бартон Коль, и если Гэвин все еще пытался хоть для начала разобраться, что это, так я уже давно вышел из игры — я даже не мог понять, что изображено, уж не говорю, что оно делает.

— Не хватает только золотой зажигалки, которую она ему подарила,— говорю,— Музей имени Линды Сноупс.

— Нет,— сказал Рэтлиф.— Имени Юлы Уорнер. Надо бы еще кое-что сюда поставить, но пока и этого хватит. Если среди нас хоть раз в тысячу лет рождается такая Юла Уорнер, живет тут, дышит, значит, надо хотя бы воздвигнуть ей... нет, памятник не то слово.

— Мавзолей,— говорю.

— Вот именно,— сказал Рэтлиф,— мавзолей ее памяти, напоминание тем, кому не выпало счастье видеть ее, кто тогда был еще ребенком.— Он остановился. Он стоял и молчал. Но он скорее над чем-то посмеивался, призадумался, а не то чтоб замечтался. И тут я сказал:

— Вы ошибаетесь. Не выйдет.

— Что? — говорит он.— Ты о чем?

— Она не выйдет замуж за Гэвина.

— Правильно,— говорит,— будет куда хуже.

И тут уж я переспросил:

— Что? Как вы сказали?

Но он уже снова стал таким, как всегда: мягким, невозмутимым, непроницаемым.

— Полагаю, что Юрист и это выдержит,— сказал он.

10

Гэвин Стивенс

Я мог бы ей посоветовать, предложить сделать так — и она послушалась бы, она разорвала бы свой билет, быстро, не задумываясь, со страстью и самозабвением. В одном по крайней мере она походила на свою мать — ей тоже было необходимо, непременно нужно, найти в жизни что-то очень крепкое, очень надежное (в данном случае, в ее случае, не просто сильного человека, потому что Коль был достаточно сильный, но все же и он, как выяснилось, состоял из плоти и крови и потому оказался недолговечным), чтобы отдать все, что у нее было. При этом она в данном случае была обречена на неудачу не потому, что Бартон ее подвел, а потому, что и в его гороскопе была обреченность. Значит, если коммунистическая партия, уже доказавшая, что для пуль она неуязвима,

а следовательно, бессмертна, заменила ей Бартона и никогда не подведет, то, разумеется, она разорвала бы свой билет со страстью и самозабвением, может быть даже с радостью. Разве может любовь потребовать большей жертвы, чем полное самоуничижение, самопожертвование, особенно ценой того, что грубые, бесчувственные материалисты в своем непроходимом невежестве могут окрестить трусостью и позором? Я всегда смутно подозревал, что древнехристианские мученики, брошенные на растерзание диким быкам и львам, втайне чувствовали к ним расположение, а может быть, даже и любовь.

Но я посоветовал другое. Шел 1940 год. Маньяк-нибелунг разорил Польшу и пошел на Запад, где ему продали Париж, эту блистательную всемирную куртизанку, как простую потаскушку, и только благодаря стойкости английского характера он повернул на Восток; еще год — и человек, ставший во главе государства после Ленина, станет нашим союзником, но для Линды это будет уже слишком поздно; и для нас всех тоже поздно, поздно для того, чтобы на ближайшие сто лет можно было сохранить мир для народов Запада, как уже говорил в частных беседах знаменитый толстяк в Англии; но в тяжкую минуту... и так далее.

Все началось в моем служебном кабинете. Пришел тихий, спокойный, почти что незаметный человечек неопределенного возраста, от двадцати пяти до пятидесяти,— все они такие,— который деловито показал мне значок ФБР (звали его Гихон), принял приглашение сесть, сказал: «Благодарю вас»,— и начал деловой разговор спокойно и равнодушно, как они всегда начинают, словно просто передают не слишком важное поручение. Ну и конечно я был последним в его списке, самым последним, потому что он, наверно, тщательнейшим образом предварительно без моего ведома проверил меня, все обо мне разузнал, так же, как он уже много дней назад, а может быть, и месяцев разведал и проверил и отобрал все, что удалось узнать о ней.

— Мы знаем, что она действует или пыталась действовать совершенно открыто, явно, на виду у всех.

— Думаю, что на этот счет вы можете быть спокойны,— сказал я.

— Да,— сказал он,— вполне открыто. И вполне безобидные вещи. С самыми лучшими намерениями, и только... не очень практично. Ничего такого, что не должна бы делать леди, и все же несколько...

— Странновато,— сказал я.

— Благодарю вас. Вот именно. Могу сказать вам по секрету, что у нее есть партийный билет. Разумеется, вы об этом не осведомлены.

Тут я сказал:

— Благодарю вас.

— А кто раз был коммунистом — знаете, тут, как в старой поговорке, конечно, без всяких намеков, сами понимаете: «Раз наблудила...» и так далее. Конечно, если спокойно поразмыслить, то каждому понятно, что это не так. Но видите, что получается. Сейчас не время раздумывать, спокойно размышлять. Тут даже надеяться на это нечего, а не то что требовать этого от правительства или народа перед лицом того, что нас ждет гораздо раньше, чем мы предполагаем...

— Да, да,— сказал я.— Так чего же вы от меня хотите? Что я, по-вашему, могу сделать?

— Она... Я так понял, мне говорили, что вы — самый старый и до сих пор самый близкий ее друг...

— Конечно, без всяких намеков,— сказал я. Но тут он уже не сказал «благодарю». Он вообще ничего не сказал, ни слова. Он просто сидел и смотрел на меня сквозь очки, серый, безликий, как хамелеон, жуткий, как след ноги на берегу необитаемого острова Робинзона, слишком

безликий, слишком ничтожный в своей безликости и незаметности, чтобы нести на своих плечах ту страшную власть, какую он представлял.— Значит, вы хотите, чтобы я повлиял на нее...

— ... как гражданин и патриот, который достаточно умен, чтобы понимать, что и мы тоже будем втянуты в эту войну в ближайшие пять лет: я кладу пять как самый крайний предел — в прошлый раз немцам понадобилось всего три года, чтобы совершенно потерять голову и втянуть нас в войну, причем теперь мы точно и не знаем, кто будет нашим врагом, но потом уже будет поздно...

— ... и уговорил ее спокойно отдать вам партийный билет и чтобы вы с нее взяли клятву — не знаю, какие там у вас полномочия на этот счет,— сказал я.— Но разве вы сами только что не сказали «Раз наблудила — опять наблудит» (без всяких намеков, конечно!).

— Я с вами вполне согласен,— сказал он.— В данном случае никаких намеков и быть не может.

— Так чего же вы хотите от меня... от нее?

Он вынул небольшую книжечку, открыл ее, она была разграфлена не только по дням, но и по часам.

— Она и ее муж были в Испании шесть месяцев и двадцать девять дней, воевали в республиканской, то есть коммунистической армии, пока его не убили в бою, она сама осталась в госпитале после ранения и работала санитаркой, пока республиканцы не эвакуировали ее через границу во Францию, о чем знают даже тут, в Джефферсоне.

— Да,— сказал он.— Перед этим она семь лет жила в Нью-Йорке в гражданском браке...

— ... и это, конечно, ставится ей в вину не только тут, в Джефферсоне, но и в Вашингтоне.— Но он даже не остановился:

— ...со всем известным зарегистрированным членом коммунистической партии и близким соратником других известных членов коммунистической партии, о чем, быть может, у вас в Джефферсоне и неизвестно.

— Так,— сказал я.— Дальше?

Он закрыл записную книжку, положил ее в карман и снова посмотрел на меня совершенно спокойно, совершенно равнодушно, словно пространство между нами было линзой микроскопа:

— Значит, она знала людей не только в Испании, но и тут в Соединенных Штатах, людей, которые пока что неизвестны даже нам,— членов компартии и агентов, важных людей, хотя и не столь заметных, как еврейские скульпторы и колумбийские профессора и всякие интеллигентные дилетанты.— И вот тут-то я его наконец понял:

— Все ясно,— сказал я.— Вы предлагаете мену. Вы ей гарантируете неприкосновенность в обмен на список имен. Ваше бюро обелит ее, превратит из врага в обыкновенную доносчицу. А есть у вас какой-нибудь ордер?

— Нет,— сказал он. Я встал.

— Тогда прощайте, сэр! — Но он не сдвинулся с места.

— Значит, вы ей не станете советовать?

— Нет, не стану,— сказал я.

— Ваше отечество в опасности, может быть даже под угрозой гибели.

— Но угроза — не она,— сказал я. И тут он тоже встал и взял шляпу со стола.

— Надеюсь, вам не придется пожалеть об этом, мистер Стивенс.

— Прощайте, сэр! — сказал я.

Вернее, я ей все написал. Уже прошло три года, и она старалась, действительно очень старалась научиться читать по губам. Но что-то

было не так. Может быть, жить вне человеческих звуков значило жить и вне человеческого времени, и у нее не было времени учиться, не было желания. И все же что-то было не так. Может быть, ей не надо было и трех лет свободы, уединения, отгороженности от всего, чтобы понять: вся сложность человеческого существования коренится в непрестанной болтовне, которой человек окружает, обволакивает, отгораживает себя от расплаты за свои собственные глупости, а вот если бы платить за ошибки, подчеркивать их красными чернилами — можно было бы сделать жизнь наполненной, достойной, плодотворной. Так что я ей написал: *Уходи отсюда. Переезжай.*

— Как переехать? — сказала она.— Вы хотите сказать — жить отдельно? Найти дом или квартиру?

Нет, уезжай из Джефферсона,— написал я.— *Совсем уезжай, уезжай навсегда. Отдай мне этот самый билет и уезжай из Джефферсона*

— Вы мне и раньше говорили.

— Нет, не говорил,— сказал я. Сказал, а сам уже писал всю фразу, в которую должна была уместиться моя мысль: *Мы не упоминали о билете и вообще о компартии. Даже три года назад, когда ты мне впервые пыталась рассказать, что у тебя есть билет, хотела показать его, я не позволил, остановил тебя, отказался слушать — неужели не помнишь?* Но она уже заговорила:

— Нет, помните, мне было лет пятнадцать-шестнадцать, и вы сказали — тебе надо уехать из Джефферсона?

Я не стал писать о другом, я написал: *Но тогда было нельзя. Теперь можно. Отдай билет и уезжай.* Она помолчала минуту, другую. В таких важных и трудных случаях мы даже не пытались пользоваться костяным блокнотом. Он был просто игрушкой, забавой, женской безделушкой, в сущности почти бесполезной: тоненькие пластинки слоновой кости, в золотой оправе, на золотых колечках, каждая величиной с игральную карту, на ней еле помещалось три слова в строку, вроде анаграммы или акростиха для детского возраста, будто загадка или сказка с продолжением, вырванная из букваря. Сейчас мы были наверху в гостиной — она сама обставила ее — и стояли у камина, сделанного по ее рисунку: доска как раз такой ширины и высоты, чтобы удобно было ставить большой отрывной блокнот, когда надо было что-нибудь обсудить точно, без ошибок или поговорить о том, на что не стоило тратить времени, например о деньгах, так что она могла читать слова сразу, вслед за моей рукой, почти как голос, почти слыша их.

— Куда уехать? — сказала она.— Куда же я могу уехать?

Куда угодно, в Нью-Йорк, в Европу, но в Нью-Йорке остались люди, знавшие тебя и Бартона, друзья, ровесники.

Она взглянула на меня. Когда у нее расширялись зрачки, глаза казались почти что черными. И слепыми.

— Боюсь,— сказала она.

Я заговорил. Отдельные слова она могла читать по губам, если говорить медленно:

— Ты? Боишься? — Она сказала:

— Да. Мне не хочется быть беспомощной. Не хочу быть беспомощной. Не хочу ни от кого зависеть.

Я торопливо думал, как бывает в ту секунду, когда надо поставить на карту, или объявить игру, или сдать, а каждая минута промедления отнимает у тебя шанс выиграть. Я написал медленно и твердо, под ее взглядом: *Зачем же тогда я?* — и отодвинул руку, чтоб ей было видно. И она проговорила своим сухим, безжизненным, как Чик называл — утиным, голосом:

— Гэвин.— Я молчал. Она снова сказала: — Гэвин.— Я молчал. Она сказала: — Ну, хорошо. Я солгала. Дело не в зависимости. Я ни от кого зависеть не буду. Просто мне надо быть там, где вы.— Она даже не добавила: «Потому что, кроме вас, у меня нет никого». Она стояла все так же, глаза в глаза, и смотрела на меня сквозь что-то, через что-то — пропасть, мрак — без унижения, без вопроса, даже без надежды; вот сейчас я все узнаю; и снова этот утиный голос произнес: — Гэвин.

Я стал писать быстро, по три-четыре слова сразу, залпом, одним духом, называйте, как хотите, чтобы она читала из-под моей руки, пока я писал: *Все хорошо Не бойся Я отказываюсь на тебе жениться 20 лет слишком большая разница, у нас ничего не выйдет а кроме того я не хочу*

— Гэвин,— сказала она.

Я снова стал писать, отрывая желтоватые листки блокнота и откидывая их в сторону на камин: *Я не хочу.*

— Я вас люблю,— сказала она.— Даже когда мне надо солгать, вы уже заранее придумываете все за меня.

Я написал: *Никакой лжи о Бартоне Коле не было и речи.*

— Была,— сказала она.

Я написал: *Нет.*

— Но вы всегда можете со мной переспать,— сказала она. Вот именно. Она употребила грубое слово, выговорила его своим резким, крякающим утиным голосом. С тех пор как мы начали заниматься постановкой голоса, труднее всего было наладить голос, как смягчить тон, как приглушить звук, который она сама слышать не могла. «Получается совсем наоборот,— объясняла она.— Когда вы говорите, что я шепчу, у меня в голове словно гром гремит. Но когда я говорю вот так, я совсем ничего не чувствую». А тут она почти что выкрикнула это слово. Вышло так потому, что ей казалось, что она, наоборот, приглушает голос. Я стоял и ждал, пока замрет эхо слова, громом поразившего меня.— Вы покраснели,— сказала она.

Я написал: *Это слово.*

— Какое слово?

Которое ты только что сказала.

— Подскажите мне другое слово. Напишите, я посмотрю и запомню.

Я написал: *Нет другого слова это слово точное но я человек старомодный меня оно все же шокирует Нет шокирует когда его произносит женщина и сама ничуть не шокирована пока не видит что я шокирован.*— Потом я приписал: *Это неверно шокирует то что все волшебство страсть восторг определяется и отбрасывается одним этим голым неприятным словом.*

— Ну, хорошо,— сказала она,— тогда не надо никаких слов.

Я написал: *А ты действительно хочешь...*

— Конечно, вам все можно,— сказала она.— Всегда. Вы сами знаете.

Я написал: *Я тебя не о том спрашиваю,*— и она прочла. И тут она промолчала. Я написал: *Посмотри мне в глаза,*— и она посмотрела на меня оттуда, сквозь то, что я должен был увидеть и понять через несколько минут.

— Да,— сказала она.

Я написал: *Ведь я только что сказал тебе никогда не надо бояться,*— и на этот раз мне пришлось слегка пододвинуть блокнот, чтобы привлечь ее внимание, и тогда она сказала, не поднимая глаз:

— Значит, мне и уезжать не надо?

Я написал: *Нет,*— у нее перед глазами, и тут она взглянула на меня, и я понял, откуда, сквозь что она на меня глядела: сквозь неизмеримую глубину потери, сквозь неутолимую тоску, сквозь верность и постоянство, а сухой трескучий голос повторял: «Гэвин, Гэвин, Гэвин»,— пока я писал: *потому что мы 2 во всем мире можем любить друг друга без того, чтобы...*— и в конце вышел резкий росчерк, потому что она обняла меня, прижалась ко мне изо всей силы, и сухой дребезжащий голос повторял:

— Гэвин, Гэвин. Люблю тебя. Люблю,— так что мне пришлось высвободиться, чтобы дотянуться до блокнота и написать: *Отдай мне билет.*

Она уставилась на бумагу, и как снимала руки с моих плеч, так они и остались поднятыми.

— Билет? — проговорила она. И потом сказала: — Я потеряла его.

Тут я все понял вмиг, словно молния сверкнула. Я написал: *Твой отец,*— а вслух повторял: — Ах он сукин сын, сукин сын,— и сам себя уговаривал: *Погоди, погоди! Он иначе не мог. Поставь себя на его место. Что еще он мог сделать, каким еще оружием защищать самое свое существование, прежде чем она его разрушит,— свое положение, ради которого он пожертвовал всем — женой, семьей, друзьями, покоем,— чтобы добыть единственную ценность, какую он знал, потому что он только эту ценность и понимает, потому что весь мир, в его восприятии, внушил ему, что только это и нужно, что только этого и стоит добиваться.* Ну конечно, это было единственное его оружие: овладеть билетом, угрожать ей тем, что сдаст его в ФБР, остановить ее этой угрозой прежде, чем она его погубит. И все же я твердил себе: *Как же ты не понял, он использует этот билет, чтобы погубить ее. Наверно, он сам писал Жидовка Коммунистка Коль на своем тротуаре в полночь, чтобы заранее запастись сочувствием всего Джефферсона, когда ему придется отправить свою единственную дочь в сумасшедший дом.*

Я написал: *Обыскал твою комнату ящики стола?*

— Да, кто-то обыскал,— сказала она.— Еще в прошлом году. Я подумала....

Я написал: *Это твой отец.*

— Вот как? — Да, именно таким тоном. Я написал: *Разве ты не понимаешь что это он?*

— Не все ли равно? Наверно, мне пришлют другой билет. Да и это неважно. Во мне-то ничего не изменилось. И мне не нужна книжечка, чтобы это доказать.

Тут я стал писать медленно, обдуманно: *Тебе уезжать не надо, я больше и просить не стану, но, когда я попрошу тебя уехать, ты просто поверь и сразу уезжай, я все устрою, сделаешь?*

— Да,— сказала она.

Я написал: *Поклянись.*

— Хорошо,— сказала она.— Тогда вы сможете жениться.— Я все равно не смог бы ничего написать: она схватила обе мои руки, прижала к груди: — Вы должны жениться. Я так хочу. Нельзя, чтобы у вас никого не было. Никто не должен жить один. Никто, никто.— Она смотрела на меня.— То слово, которое вы не любите. Моя мать тоже один раз вам так сказала, правда? — Слова не походили на вопрос.— Это было?

Я высвободил руки и написал: *Ты знаешь, что нет.*

— Почему нет?

Я написал: *Потому что она меня пожалела, а когда что-то хочешь сделать для человека из жалости, значит, для тебя самой это вовсе не важно.*

— А мне вас не жаль. Вы это знаете. Разве вы не понимаете, что для меня это было бы важно?

Я написал: *А может быть, ничего не случилось, потому что я был недостоин ее, и мы оба это знали, но я подумал, если ничего не будет, то она, быть может, всегда будет думать, а вдруг я мог бы стать...*— но тут я оторвал лист, смял его, сунул в карман и написал: — *Мне надо идти.*

— Не уходите,— сказала она. Потом сказала: — Нет, уходите. Видите, все прошло, я даже больше не боюсь.

Я написал: *Чего же тебе бояться,*— и на том же листке: — *Где моя шляпа?* — и она пошла за шляпой, пока я засовывал исписанные листки в карман, и я взял шляпу и пошел к двери, а скрипучий голос окликнул меня:

— Гэвин,— и я повернулся: — Как вы сказали? Только мы двое во всем мире можем любить друг друга и не... Я люблю вас, Гэвин,— тем голосом, звуком, что ей казался шепотом, бормотаньем, но для тех, у кого, к несчастью, еще сохранился слух, звучал пронзительно и резко, как гудок старого автомобиля.

И надо бы сразу, немедля, вон из его дома, его особняка, его дворца, туда, в его банк, тоже сразу, немедля, а потом назад, прямо в ту маленькую комнатку и спугнуть, столкнуть, сбросить его ноги с каминной доски, уже протягивая руку: «Отдайте-ка мне этот билет, будьте добры!» Но только это значило бы легкомысленно упустить такую возможность, такой подарок судьбы: зачем позволять ему самому выбрать момент, когда он захочет собственноручно дать эту улику в ФБР? Почему не напасть первому — не напустить на него ФБР прежде, чем он, как сказал бы Рэтлиф, укусит: чтобы тот кроткий, незаметный человек показал ему свой значок и сказал: «Мы знаем из достоверных источников, что вы, мистер Сноупс, храните билет коммунистической партии. Вы хотите что-нибудь нам сообщить?»

Но я не знал, где сейчас Гихон, да он бы все равно не поверил мне, своему явному врагу. Так что он как представитель ФБР отпадал; значит, надо было прямо обращаться к той всемогущей Силе, которая называлась Правительством, причем самый донос должен был быть написан без сучка и задоринки, исходить из низов и строго придерживаться жаргона анонимок. Нужна открытка, дешевенькая открыточка. Сначала я думал, что надо адресовать ее прямо президенту Соединенных Штатов, но при том количестве маньяков, которые пишут письма мистеру Рузвельту, мое письмо, наверно, утонет в этом потоке. Но хотя военные власти никогда не теряют ни клочка бумаги, если на нем что-то написано и подписано (что-нибудь другое — пожалуйста, это они могут и выкинуть, и отдать, и уничтожить, но листок исписанной бумаги — ни за что, хотя и приходится оплачивать и одевать в форму тысячи людей исключительно для сохранения подобных бумажек), конечно, они этой бумаге когда-нибудь дадут ход, хотя бы через сто лет, но это слишком долго. И вдруг я сам себя спросил: а что тебе мешает действовать непосредственно через ФБР, как ты и задумал вначале? И я ответил себе — ничего. И я уже мысленно представил себе написанную открытку. В низах знали, что у нас было два Гувера: один — бывший президент, другой — владелец фабрики пылесосов и что фамилия главы ФБР тоже Гувер. Так что я представил себе такой адрес:

ГЕРБЕРТУ ГУВЕРУ
Департамент ФБР

но потом остановился: нельзя писать в Вашингтон — эти анонимки пишутся не только людьми осведомленными, но и на вполне определенном

жаргоне, так что сначала я подумал, не адресовать ли донос в Парчмен, Миссисипи, начальнику каторжной тюрьмы штата, но там, вероятно, почту принимал какой-нибудь доверенный, отбывающий срок пожизненно, а что для такого человека несколько лишних дней? Значит, открытка и там может заваляться. И тут я сообразил, куда писать: в Джексон, столицу штата. Лучше не надо: город не слишком большой, агенты там, наверно, так скучают и бездельничают, что рады будут любой оказии; кроме того, это близко. Значит, письмо должно выглядеть примерно так:

ГЕРБЕРТУ ГУВЕРУ
Департ. Ф. Б. и Р.
Джексон. Миссисипи.

Ежели приедете в Джефферсон Мисс. с ордиром на обыск и обысчете банк и дом Флема Сноупса там обноружете коммонистической партейный белет.

Гражданин-патриот

Пожалуй, можно возразить, что выражение «ордер на обыск» несколько выпадает из жаргона и что слово «обнаружите» чересчур исковеркано. Но я могу доказать обратное: слова «ордер на обыск» и «обнаружите» настолько для него привычны, что при любом правописании он тут никакой ошибки по существу сделать не может: первое, «обыск» неизбежно грозит ему — а по его разумению и вам тоже — чуть ли не каждый день, а второе, «обнаружите», или, что для него синонимично, «зацапаете», постоянно сопутствует первому.

Да, если бы я только на это решился. Вы понимаете, если бы даже я мог обыскать его дом или взломать сейф в банке, найти билет, стереть ее имя и вместо него подставить его имя, чтобы в ФБР ему устроили допрос с пристрастием, то она первая встала бы на дыбы, налетела, наскочила, опровергла бы, разоблачила, потребовала бы признать билет ее собственностью; сначала она, наверно, отправилась бы к Гихону или любому из них, кто оказался бы поблизости, и заявила о своих убеждениях, если б только ей пришло в голову, что они этим заинтересовались. И тогда с этого часа вплоть до того часа, когда даже самый сильный союз всех безумцев вселенной наконец приутихнет, станет мирным и неприметным, ее будут мотать и мучить, за ней станут шпионить день и ночь, следить, как она ходит, ест, даже спит. Так что в конце концов мне пришлось отказаться от этого дела не из-за ее наивной убежденности, что все это неважно и никакого значения не имеет, а из-за своей более низменной и более обоснованной уверенности, что для него этот билет — единственное орудие защиты и он не станет им пользоваться, пока его к этому не вынудит страх.

А может быть, и надежда... Словом, так обстояли дела до того времени, когда битва за Великобританию фактически спасла Линду; иначе мне оставалось бы только пойти к нему и сказать: «Отдайте мне билет»,— что, в сущности, равносильно тому, чтобы подойти к незнакомому человеку и сказать: «Это вы украли мой бумажник?» Словом, битва за Великобританию спасла ее, да на какое-то время и его тоже. Я говорю про те известия, про те сообщения, которые доходили до нас, о горсточке юнцов, сражавшихся за родину. А до тех пор всю весну, лето и осень 1940 года она становилась все беспокойнее. Да, она все еще занималась своей негритянской воскресной школой, все еще, как говорили в городе, «совала нос» куда не надо, но ей это как-то прощали — видно, привыкли, а кроме того, никто еще не придумал, каким способом остановить ее.

Так было до июня, когда Чик приехал из Кэмбриджа. И тут я вдруг обнаружил, открыл две вещи: во-первых, что теперь Чик в ее представлении стал чуть ли не главой нашей семьи, а во-вторых, что она даже лучше его знала имена летчиков и названия всех самолетов английского воздушного флота — Мэлена, Эйткена, Финукейна и все эти «спитфайры», «бофайтеры», «харрикейны», «берлинги» и «диры», знала, как зовут всех иностранных добровольцев — тех американцев, которые не хотели дожидаться, тех поляков и французов, не желавших, чтобы их били, знала Дэймонда, и Вжлевского, и Клостермана; а в сентябре этого же года мы договорились: Чик обещал еще год проучиться на юридическом факультете, а мы согласились, чтобы он из Кэмбриджа перевелся в Оксфордский университет. Должно быть, это и послужило толчком: когда он уехал, ей не с кем было обмениваться сведениями насчет авиации. Так что, пожалуй, нечего было удивляться, когда она явилась ко мне в служебный кабинет. Она не стала говорить: «Я тоже должна помогать, я должна что-то делать, я не могу сидеть сложа руки»,— нет, она просто сказала:

— Я уезжаю. Нашла работу на заводе в Калифорнии, там строят самолеты для отправки в Европу,— и я торопливо нацарапал: *Погоди.*— Все в порядке,— сказала она,— уже все улажено. Я им написала, что слух у меня потерян, но что я хорошо знаю моторы и вообще автомобиль и легко научусь делать то, что им надо. Они пишут, чтобы я приезжала и захватила кое-какие документы. Ну, скажем, рекомендательное письмо, что вы меня давно знаете и заверяете их, что она, мол, вполне нравственная, в лоск не напивается и на воровстве ее тоже ни разу не поймали. Так что напишите, ведь вы даже можете официально подписаться «Председатель Йокнапатофской окружной мобилизационной комиссии, штат Миссисипи»,— а я все пишу ей: *Погоди,*— нет, даже не пишу, я уже раз написал, а просто хватаю ее за руку и другой рукой поднимаю блокнот, чтобы она прочла и замолчала или, по крайней мере, хотя бы прочла или хотя бы замолчала, чтобы я мог написать дальше:

На этом заводе на всех заводах один человек безграничной власти сотрудник службы безопасности его работа должность единственное что освобождает его от службы в армии,— я писал, а ее рука, ее пальцы лежали у меня на плече, я чувствовал ее дыхание, вдыхал запах ее волос, касавшихся моей щеки,— *естественно он будет спасать свою шкуру разоблачая почаще подрывные элементы так что рано или поздно он доберется до тебя выгонит ты пом...*— я оторвал лист, не останавливаясь,— *...нишь на берегу Мексиканского залива Билокси Спрингс ты там бывала.*

— Да, с мамой... и,— я думал, что тут она замолчит, но она даже не остановилась,— ...с Манфредом. Помню.

Я написал: *Паскагула верфь где стоят транспорты для перевозки самолетов танков орудий если тебя берут в Калифорнии значит и там возьмут поедешь туда?*

— Да,— сказала она. Потом сказала: — Для России,— и глубоко вздохнула.— Но служба безопасности будет и там.

Я написал: *Да но это близко я сразу смогу туда приехать помешает служба безопасности найду тебе еще что нибудь.*

— Хорошо,— сказала она, дыша спокойно и медленно у самого моего плеча.— Близко. Я могла бы приезжать на воскресенье.

Я написал: *Возможно придется работать и по воскресеньям транспорты очень нужны.*

— Тогда вы сможете приезжать ко мне. По воскресеньям ваша мобилизационная комиссия не работает, правда?

Я написал: *Там будет видно.*

— Быть вместе хоть иногда. Вот почему я боялась Калифорнии — слишком далеко. Но Паскагула близко. Хоть иногда, хоть изредка.

Я написал: *Конечно.*

— Хорошо,— сказала она.— Конечно, я поеду.

И она уехала сразу после Нового года, пошел 1942 год. У меня там был знакомый адвокат, и ей устроили маленькую квартирку с отдельным входом у знакомых. И, по всей видимости, она решила, что раз она теперь не связана с Джефферсоном и по крайней мере в двенадцати часах езды от запретов, которые на нее могли бы наложить Сноупс или я, вместе или по отдельности, значит, никто ей не помешает купить себе маленькую машину и самой ее водить, но тут я пригрозил, что если только я об этом услышу, как тут же самолично сообщу властям в Паскагуле, что она не слышит. Она обещала отказаться от покупки, и мой приятель адвокат договорился, что она будет пользоваться машиной на паях с другими, и вскоре она стала работать браковщицей в инструментальной, хотя сразу написала мне, что по ее просьбе ее почти согласились перевести на сварку и клепку, где глухота была преимуществом. Во всяком случае, она снова надела рабочий комбинезон, снова стала маленьким винтиком в этом мужском или, вернее, бесполом мире, стараясь овладеть смертоносной гигантской техникой, без которой теперь невозможна война, и, может быть, даже успокоилась, если только теперь был возможен покой. Во всяком случае, сначала приходили письма, где она писала: *Когда вы приедете, мы непременно...* а потом: *Если вы приедете, не забудьте...*— и через несколько недель просто дешевенькая открытка: *Я без вас соскучилась,*— и ни слова больше, та почти бессловесная скудость открыток с видами, на которых написано: *«Жаль, что тебя тут нет»* или *«Это наша комната»,*— обычно полуграмотные люди посылают такие открытки домой,— а потом недавно снова письмо, на этот раз в конверте: *Хорошо. Я все понимаю. Знаю, как много времени отнимает работа в комиссии. Приезжайте, когда сможете, потому что мне надо попросить одну вещь.*

На это я ей ответил сразу, немедленно (я хотел добавить «так как не знал, что подумать», но я знаю, что я подумал): *Попросить или сказать?* — И она ответила, как я и предполагал: *Да. Попросить.*

И тогда (уже стояло лето) я ей телеграфировал число, и она ответила телеграммой: *Заказала номер гостинице каким поездом встречать целую.* И я ей ответил (я же сам ей запретил покупать машину): *Приеду машиной за тобой вторник верфь концу работы целую,*— там я ее и ждал у выхода. Она вышла со своей сменой, в комбинезоне и протянула мне блокнотик и грифель, прежде чем расцеловать меня, прижавшись крепко и говоря:

— Расскажите мне все! — и я высвободился, чтобы написать, снова связанный этими короткими словесными обрывками, клочками фраз, которые приходилось стирать:

Ты мне скажи, в чем дело.

— Поедем к морю,— а я:

Может, сначала пойдешь переоденешься.

— Нет. Поедем на берег.— Мы поехали к морю. Я поставил машину, и мне казалось, что я уже написал: «Теперь расскажи мне», но она вышла из машины, а когда и я вышел, отняла блокнотик и грифель и сунула в карман, а потом взяла меня под руку обеими руками, и мы пошли, и она держалась за мою руку крепко, обеими руками, так что мы сталкивались и спотыкались на каждом шагу; солнце уже садилось, и наши длинные тени, сливаясь, касались края прибоя, и я думал: *Нет,*

нет, не может быть,— и тут она сказала: — Погодите,— и выпустила мою руку и стала рыться в кармане, но не в том, куда засунула блокнотик.

— У меня для вас что-то есть. Чуть не забыла.— Это была раковина; наверно, мы растоптали их с миллион, на той сотне ярдов, что прошли от машины, пока я думал: *Не может этого быть. Это невозможно.* Я ее нашла в первый же день. Боялась, что потеряю до вашего приезда, а вот и не потеряла. Нравится?

— Очень красивая.

— Что? — спросила она, уже протягивая мне блокнотик и грифель. Я написал: *Просто прелесть. Теперь скажи мне.*

— Хорошо,— сказала она. Она прижалась ко мне, сильно и крепко охватив мою руку, и мы все шли и шли, и я думал: *Почему бы нет, почему этого не может быть, почему не может быть на свете второго Бартона Коля или хотя бы достойной замены, хоть как-то жить, все лучше, чем тоска,*— и тут она сказала: — Вот,— и остановилась и повернулась вместе со мной так, чтобы нам увидеть последний миг перед самым заходом солнца, высокие лохматые пальмы и сосны, застывшие в уже гаснущей вспышке света, перед тем как ночной ветер станет их трепать и тормошить. Потом все кончилось. Остался обыкновенный закат.— Вот,— сказала она.— Теперь все хорошо. Мы были тут. Мы это сберегли. Взяли себе. Понимаешь, вот земля прошла весь долгий путь от сотворения мира, и солнце прошло весь долгий путь от начала времени ради одного такого дня, такой минуты, такой секунды из всех дней, минут и секунд, а взять этот миг — некому, не было тех двоих, которые наконец оказались бы вместе после стольких преград, после такого ожидания, но вот они наконец вдвоем, они уже отчаялись от долгого ожидания, они даже бегут по берегу к тому месту, оно уже недалеко, туда, где они наконец будут вместе, вдвоем, и никто в мире не узнает, не осудит, не помешает, словно нет ни самого мира, ничего, кроме них, и теперь мир, который даже еще не был сотворен, может возникнуть, начаться.

А я думал: *Быть может, такая верность и стойкость должны встретиться каждому хоть раз в жизни, пусть даже кто-то страдает. Да, ты слышал про любовь, про утрату, а может быть, и любовь, и утрату, и горе, про верность и стойкость, и ты сам знал и любовь, и утрату, и горе, но никогда не встречал все пять вместе, вернее четыре, потому что верность и стойкость, про которые я думаю, неотделимы,*— а она в это время говорила:

— Я не про то, чтобы вместе...— и остановилась сама прежде, чем я поднял руку и закрыл ей рот, не знаю, сделал бы я это,— и сказала: — Нет, не бойся, я больше не скажу то слово.— Она посмотрела на меня: — Теперь ты, наверно, знаешь, о чем я с тобой хотела говорить.

— Да,— сказал я, это она прочла по губам. Я написал: *О браке.*

— Как ты догадался?

Неважно,— написал я.— *Я рад.*

— Я тебя люблю,— сказала она.— Теперь пойдем обедать. А потом домой, я тебе все расскажу.

Я написал: *А ты не пойдешь переодеваться?*

— Нет,— сказала она.— Туда можно идти не переодеваясь.

Она так и пошла. И среди посетительниц этого ресторана она могла бы появиться в чем угодно, хоть с одной слуховой трубкой и в набедренной повязке, причем внимание привлекла бы, наверно, слуховая трубка. Это был настоящий притон. Наверно, в субботу к полуночи, а может быть, и в другие вечера (это было время бешеных заработков на верфях) здесь начинался настоящий бедлам, даже, как говорится, пожар в бедламе; мне и сейчас казалось, что я в сумасшедшем доме, так тут

орало радио. Но я-то не глухой. Зато еда — камбала и креветки — была первоклассная, и официантка подала стаканы и лед, бутылку я принес с собой, и в этом шуме голос Линды был не так приметен. А она все время нарочно говорила о том, на что я мог бы отвечать только «да» и «нет», болтала о верфи, о работе, о других людях, и похоже было, что она — маленькая девочка, в первый раз приехала на каникулы домой из школы, и ела она тоже по-детски торопливо, не прожевывая как следует, а когда мы поели, сказала:

— Теперь пойдем!

Она мне еще не говорила, где я остановлюсь, а я не знал, где она живет. Мы снова сели в машину, и я зажег свет, чтобы она видела блокнот, и написал: *Куда?*

— Прямо,— сказала она. Мы вернулись к центру города, и я поехал прямо, пока она не сказала: — Поверни тут,— и я повернул, потом она сказала: — Вот тут,— и мне пришлось остановиться у обочины, чтобы написать: *Который дом?*

— Гостиница,— сказала она.— Вон, дальше.— Я написал: *Нам надо поговорить. Разве у тебя нет в квартире комнаты, где никто не помешает?*

— А мы тут сегодня оба ночуем. Я все устроила. Наши комнаты рядом, между ними только стенка, и я велела обе кровати поставить к этой стенке, и когда мы поговорим и разойдемся по комнатам, я в любое время ночью смогу постучать в стенку, и ты услышишь, а я приложу руку к стене и почувствую ответный стук. Я знаю, я тихо постучу, чтобы никого не разбудить, никто, кроме тебя, не услышит.

Около гостиницы была стоянка для машин. Я взял чемоданчик, и мы вошли. Хозяин был знаком с Линдой — должно быть, к этому времени все в городе уже знали ее или слыхали о молодой женщине, глухой, которая работала на верфи. Во всяком случае, нас никто не остановил, хозяин назвал ее по имени, она меня с ним познакомила, он отдал мне оба ключа, и опять нас нигде не остановили, я открыл дверь ее номера, а там уже стояла ее сумка и даже цветы в вазе, и она сказала:

— Теперь я могу принять ванну,— и я сказал: — Хорошо,— потому что это слово она умела читать по губам, и ушел к себе в номер. Да, почему должна существовать верность и стойкость, неужто только потому, что ты вообразил, будто они есть? Если бы у всех людей мечты сбывались, какие же это были бы тогда мечты?

И вскоре она постучала в стенку, и я прошел из одного номера в другой, пять шагов, и закрыл за собой дверь. Она сидела в постели, опираясь спиной на обе подушки, на ней было что-то вроде свободной кофточки или халатика, а волосы (должно быть, она остриглась, когда правила санитарной машиной, но теперь они огросли, она их уже связывала лентой, темно-голубой, как ее глаза) расчесаны или убраны на ночь, одной рукой она придерживала на коленях блокнотик и грифель, другой похлопала по кровати, чтобы я сел около нее.

— Тебе он и не понадобится,— сказала она, слегка подымая и снова кладя блокнот,— тебе придется только отвечать «Да», а это я могу слышать. И вообще, раз ты знаешь, о чем идет речь, нам будет легко договориться. А если я еще скажу, что прошу сделать это ради меня, тебе будет еще легче это сделать. Вот я и говорю. Сделай так ради меня.

Я взял блокнот.

Конечно сделаю все что ты...

— Помнишь, там на берегу, когда солнце село и ничего не осталось, только сосны и закат, песок и океан и мы с тобой и я сказала, что нель-

зя, чтобы все это пропадало зря после такого ожидания, такой разлуки, что должны быть два человека во всем мире, которые так отчаялись, так стосковались друг без друга, что наконец заслужили, чтобы все это не пропадало зря, и вот они вдруг бегут вдвоем, спешат туда, на это место, а оно уже близко, вот тут, и нет больше отчаяния и тоски, нет больше ничего, ничего — и вдруг я увидал, как прямо под упором моего взгляда у нее сразу хлынули, потекли слезы, а я никогда не видел, чтобы она плакала, и она сама как будто не чувствовала, не сознавала, что с ней делается. Я написал:

Перестань.

— Что перестань? — а я:

Ты плачешь.

— Нет, не плачу,— а я:

Посмотри на свое лицо.

На столике, как всегда, лежало обычное, стандартное зеркальце и пачка салфеток, но я вынул носовой платок и протянул ей. А она вместо платка прижала к глазам ладони ребром и растерла слезы по лицу, по щекам, горстью, как стирают пот, и даже стряхнула влагу движением кисти, как стряхивают капли пота.

— Не бойся,— сказала она.— Я не скажу то слово, я об этом и не думаю. Потому что это неважно, как неважно дышать, пока ты не сознаешь, что дышишь, а просто дышишь, когда тебе нужно. Это становится важным, только когда встают вопросы, когда тебе трудно, когда ищешь выход: ведь дыхание тоже становится важным, только когда встает вопрос — можешь ли ты вздохнуть, только когда тебе становится трудно дышать. Все дело в другом, в мелочах: вот подушка, на ней еще осталась вмятина от его головы, вот галстук, он еще сохранил форму, словно только что снят вечером и висит, пустой, на спинке кровати, даже пустые туфли на коврике стоят, как прежде, правый чуть повернут наружу, будто его ноги все еще в них, все еще идут, как он ходил, слегка припадая на одну ногу, негры в старину говорили — гордая походка...— И я:

Перестань, перестань же. Ты опять плачешь.

— Я не чувствую. Я ничего не чувствую на лице с того самого дня, ни жары, ни холода, ни дождя, ни воды, ни ветра — ничего.— Тут она взяла мой платок, вытерла лицо, но когда я подал ей зеркало и даже начал писать: *«Где твоя пудра?»* — она и зеркала не взяла.— Я больше не буду. Понимаешь, вот этого я хочу и для тебя. Я тебя люблю. Если бы не ты, я, наверно, не выдержала бы. Но теперь все в порядке. И я хочу, чтобы у тебя тоже было все это. Сделай это ради меня.— И я:

Но что ради тебя Ты мне так и не сказала.

— Женись,— сказала она.— Я думала, ты понял. Разве ты мне не сказал, что знаешь, о чем я? — И я:

Мне жениться Мне...

— А про кого же я говорю? Неужели ты подумал, что я... Гэвин!

— Нет,— сказал я.

— Я прочла. Ты сказал «нет». Ты солгал. Ты думал, что я сама собираюсь замуж.

— Нет,— сказал я.

— Помнишь, как я тебе однажды сказала, что, если ты решил солгать ради меня, я всегда могу рассчитывать, что ты не отступишься, как бы тебя ни разоблачали?

— Помню,— сказал я.

— Значит, все в порядке,— сказала она.— Нет, теперь я о тебе. Вот что ты должен сделать ради меня. Я хочу, чтобы ты женился. Хочу, что-

бы у тебя тоже было все это. Потому что тогда нам будет хорошо. Мы всегда будем вместе, хотя бы мы были вдали друг от друга, хотя бы нам пришлось жить далеко, врозь. Как ты говорил? Те, двое на всем свете, которые могут любить друг друга без того, чтобы — нет, даже без того, чтобы думать об...— я не скажу то слово, которое ты не любишь. Значит, обещаешь?

— Да,— сказал я.

— Знаю, ты не можешь завтра выйти из дому и тут же найти ее. Может быть, пройдет год, два. Только не надо сопротивляться мысли, что тебе нужно жениться. Как только ты перестанешь сопротивляться, все выйдет само собой. Ты сделаешь это?

— Клянусь,— сказал я.

— Как? Ты сказал «клянусь», правда?

— Да,— сказал я.

— Ну, поцелуй меня! — Я поцеловал ее, на миг ее руки крепко, сильно сомкнулись у меня на шее, потом опустились.— И завтра пораньше уезжай домой.— И я написал:

Я собирался остаться на весь день.

— Нет. Завтра. Пораньше. Я приложу руку к стене, и, когда ты ляжешь, постучи мне, а если я проснусь ночью, я смогу тебе постучать, и если не будешь спать, если еще будешь там, ты тоже постучи мне, а если я не почувствую стука, ты мне напишешь из Джефферсона завтра или послезавтра. Теперь мне хорошо. Спокойной ночи, Гэвин.

— Спокойной ночи, Линда,— сказал я.

— Я прочла и это. Я люблю тебя.

— Я люблю тебя,— сказал я.

— Я и это прочла, но ты все равно напиши, и у меня утром — как это говорят? — будет чем опохмелиться.

— Хорошо,— сказал я и протянул руку за блокнотом.

11

Чарльз Маллисон

В тот раз я уже был в военной форме. Теперь мне только надо установить, вспомнить, про какой «тот раз» я говорю, когда именно происходило то, о чем я рассказываю. Это было не в тот раз, когда я снова увидел Линду, потому что тогда она все еще работала в Паскагуле, строила транспорты для России. И было это не в тот раз, когда я побывал в Джефферсоне, потому что тогда я только заехал ненадолго, по дороге к коричневым рубашкам. Может быть, я хотел рассказать про тот раз, как я опять припер Рэтлифа к стенке. В общем, я хочу сказать, что в тот раз я увидел дядю Гэвина после свадьбы — он уже был женат.

Шел 1942 год, и Гэвин был женат на Мелисандре Гарисс (бывшей Бэкус, как сказал бы Тэккерей): повадился кувшин по воду ходить, а тут ему и крышка, как сказал бы Рэтлиф, только он, кажется, этого не говорил. В одно воскресное утро мы узнали про Пирл-Харбор, и я дал Гэвину телеграмму из Оксфорда, так сказать, в ответ на события: «В о т о н о н а к о н е ц, е д у». Дал я телеграмму Гэвину, потому что иначе пришлось бы говорить с мамой по телефону, а мама по междугородному наговаривает кучу денег, и лучше было телеграфировать Гэвину за сорок два цента, а уж мамин разговор пусть запишут на счет отца в Джефферсоне.

Так что я побывал дома как раз вовремя, стал свидетелем того, как были пробиты первые, невинные с виду бреши в его, как он считал, неприступных бастионах: я «сопутствовал» ему, стал шафером при его катастрофе. Вышло вот как. Я не попал на подготовительные авиационные курсы при университете, но мне сказали, что если имеешь высшее образование и достаточное количество летных часов, особенно если есть самостоятельные вылеты, то имеешь полное основание попасть прямо в офицерскую школу летчиков. Нашелся профессиональный летчик из сельскохозяйственной авиации, летавший с того же аэродрома, и он взялся меня обучать на самолете, настоящем армейском учебном самолете, который был даже больше, как он говорил, чем те хлопушки в пятьдесят лошадиных сил, на которых обучали летчиков в армии.

Так что, когда я посылал дяде Гэвину телеграмму, у меня на счету уже было пятнадцать летных часов, три из них — самостоятельных, и когда мама позвонила мне по телефону, я уже сложил вещи и вывел свою машину, чтобы ехать в Джефферсон. Таким образом, я попал туда вовремя и увидел, как все это началось, хотя Гэвин, может, и не считал это церковным оглашением. Я говорю про ту историю на коннозаводческой ферме, куда Мелисандра Гарисс, бывшая Бэкус, изредка привозила двух своих детей (к этому времени они уже выросли, и Гэвину при женитьбе достались не маленькие пасынки, а женатые дети) домой из Европы, пока немцы не начали взрывать американские корабли у ирландских берегов. Так что потом они жили в Южной Америке и привезли оттуда с собой аргентинца-кавалериста, наездника, про которого этот маньяк-мальчишка, один из гариссовых отпрысков (я не хочу сказать, что оба гариссова отпрыска были маньяки, а то, что один из них был мальчишка) решил, что этот аргентинец хочет жениться на сестре ради ее денег — они были под опекой матери,— а не ради самой сестры, она пока что получала только карманные, как и ее брат. Тогда он (этот самый маньяк) решил убить этого аргентинского кавалериста при помощи дикого жеребца, принадлежавшего Рейфу Маккаллему. Он не то купил, не то сманил этого жеребца, словом, как-то запер его на конюшне, куда ни в чем не повинный аргентинец должен был войти ночью в темноте и открыть дверь, думая (я про ни в чем не повинного аргентинца), что там стоит не просто смирная, но и полуслепая лошадь. К счастью, Гэвин погадал на своей кофейной гуще или воспользовался своим ясновидением или своей волшебной палочкой — уж не знаю, чем он там пользовался в таких случаях,— и добежал до конюшни первым.

Словом, аргентинец был спасен, а маньяку в тот же вечер пришлось выбирать между вербовочной комиссией в Мемфисе и дядей Гэвином, и он, для вящей безопасности, пошел в армию, а этот аргентинец в тот же день женился на сестре маньяка, и они уехали из Джефферсона и тоже оказались в безопасности. Но дядя Гэвин остался, а мне в тот же день пришлось уехать в военную школу, для предварительной наземной тренировки, и, когда я приехал домой в следующий раз, уже в военной форме, дядя Гэвин был не только мужем Мелисандры, но и отчимом пасынка, из которого вышел бы первоклассный убийца, лучше и не придумать, если бы не наглое вмешательство Гэвина, которое возмутило бы даже собаку, и падчерицы — это она, обвенчавшись с аргентинцем-кавалеристом, сделала Гэвина тестем жокея. (К этому времени я и сам был обвенчан с авиабомбой — пилотом я не стал, но зато в полете должен был сидеть рядом с летчиком, невесту мне сосватало правительство, явно не доверявшее моему с ней обращению и потому приставившее ко мне соглядатаев, которым было поручено следить за тем, что я с ней буду делать, причем, прежде чем ее мне доверить, мне внушили, что нель-

зя доверять ни моим соглядатаям, ни вообще никому на свете, а потому рядом со мной стоял запертый черный ящик, прикрепленный ко мне цепью, даже когда я спал, что было, разумеется, источником не только постоянного неудобства, но и неустанной взаимной подозрительности, взаимного недоверия, а с течением времени и взаимной ненависти, и все это я приучался терпеть, тем самым проходя наилучшую подготовку к будущему счастливому браку).

Словом, когда я в следующий раз приехал в Джефферсон, я был уже в военной форме, успел только навестить владельца замка и его супругу среди их родовых конюшен с электрическим освещением и белыми загородками, сказать: «Благослови вас бог, дети мои»,— а потом опять припереть Рэтлифа к стенке:

— Теперь уж он на ней не может жениться,— говорю,— у него уже есть жена.

Как-то никогда не думалось, что можно сказать про Рэтлифа «здраво мыслит». По крайней мере, до сих пор, до этого разговора.

— Правильно,— сказал он.— Она за него замуж не выйдет. Будет куда хуже.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

12

ФЛЕМ

Когда грузовичок, подвезший его от Кларксдейла, свернул в сторону у городка под названием Лейк-Корморант и ему пришлось выйти, он пошел дальше пешком. И все-таки он еще был далеко от Мемфиса. Он начинал понимать — вот самое важное и, пожалуй, самое страшное, что произошло с ним за эти тридцать восемь лет: он забыл, что значит расстояние. Он забыл, как далеко один город может находиться от другого. А ведь теперь еще надо было есть. У него была всего-навсего одна десятидолларовая бумажка, которую ему выдали вместе с новым комбинезоном, с башмаками и шляпой при выходе из Парчмена, да еще три доллара восемьдесят пять центов, оставшихся от тех сорока долларов, которые его родич Флем — да, их наверняка прислал Флем: после того, как он наконец понял, что Флем не приедет помочь ему, даже никого не пришлет из Французовой Балки, и перестал кричать из окна тюрьмы всем прохожим, чтобы они сообщили о нем Флему, никто на свете, кроме Флема, да еще, может быть, кроме судьи, не знал, даже не интересовался, что с ним сталось, где он теперь,— прислал восемнадцать лет назад, перед тем как заслать в тюрьму Монтгомери Уорда, чтобы тот подговорил его бежать в женском платье и шляпке, а его, конечно, поймали, дали ему еще двадцать лет.

Маленькая, тесная лавчонка с аккуратно разложенными товарами, сплошь оклеенная разными рекламами, ютилась за бензоколонкой, у самой дороги; разбитая, вся в пыли и грязи машина стояла тут же, а в лавке никого, кроме хозяина и молодого негра в совсем изношенной военной форме. Он спросил хлеба и вдруг — почти через сорок лет — вспомнил сардинки, вкус сардин, разок можно было истратить лишний никель, но тут в испуге, в недоверии — на минуту он усомнился, что расслышал правильно,— он узнал, что коробка стоит теперь двадцать три

цента, та маленькая плоская тяжелая жестянка, которую всю жизнь до Парчмена он мог купить где угодно за пять центов,— и, пока он стоял в недоверчивом испуге, хозяин лавочки поставил перед ним другую жестянку и сказал:

— Эту можете взять за одиннадцать.

— А что это? — спросил он.

— Тушенка,— сказал хозяин.

— Что еще за тушенка? — сказал он.

— Не спрашивайте,— сказал хозяин.— Ешьте и все. Что там купишь за одиннадцать центов?

И вдруг он увидел у стены напротив поставленные друг на друга ящики с газированной водой, и что-то страшное случилось с его ртом и горлом: вдруг брызнула, потекла жидкая слюна, словно тысячи муравьев кусали его от гортани до самого желудка; и с каким-то недоверчивым испугом, твердя про себя: *Нет! Нет! Небось стоит четверть доллара!* — он услыхал собственный голос:

— Пожалуй, возьму вон то.

— Весь ящик? — спросил хозяин.

— А одну бутылку нельзя? — сказал он, торопливо считая в уме: *Там бутылок двадцать. Все десять долларов уйдут. Может, это для меня спасение.* Но когда хозяин открыл и поставил перед ним холодную запотевшую бутылку, он даже не успел сказать себе: *Надо скорей взять в рот, пока не знаю, сколько стоит, а то не смогу выпить,*— как его рука уже сама взяла бутылку, уже наклонила, уже засунула горлышко чуть ли не силой в рот, и первый глоток обжег холодом, слишком быстро, не дав почувствовать вкус, пока он не смирил, не сдержал этот позыв, эту страсть, чтобы ощутить вкус и увериться, что ничуть не забыл его за все тридцать восемь лет: только забыл, какое наслаждение допить бутылку медленными, сдержанными глотками и уж тогда отнять ее от губ и в страхе услышать свой голос: «Дайте еще одну»,— и хотя про себя он твердил: *Нельзя! Нельзя!* — но сам стоял совершенно спокойно, совершенно неподвижно, пока хозяин открывал вторую запотевшую бутылку, а потом взял ее, тихо закрыл глаза и выпил медленно, до дна, а потом отделил одну долларовую бумажку в кармане, где лежали еще две по доллару (десятидолларовая была аккуратно завернута в газетную бумагу и приколота изнутри английской булавкой к нагрудному кармашку комбинезона), и положил этот доллар на прилавок, никуда не глядя, в ожидании, что хозяин спросит еще доллар, а может, и два, но тот бросил на прилавок шестьдесят восемь центов мелочью и взял доллар.

А две пустые бутылки так и стояли на прилавке, у всех на виду, и он торопливо подумал: *Если б можно было взять сдачу и выйти, пока он не заметил,*— но это было невозможно, это была слишком опасная игра, он не смел, ему некогда было идти на риск: либо отдать два доллара, либо — крик, прыжок через прилавок, запертая дверь, пока шериф не придет за ним опять. И он сказал, не трогая сдачи:

— Вы газировку не посчитали.

— Что такое? — сказал хозяин. Он рассыпал сдачу по прилавку.— Консервы — одиннадцать, хлеб... — он остановился и вдруг снова смел все монеты в кучу.— Откуда вы, говорите, приехали?

— Ничего я не говорил,— сказал Минк.— Издалека еду.

— И давно тут не были, верно?

— Верно,— сказал он.

— Ну, спасибо,— сказал хозяин.— Я и вправду забыл про эту кока-колу. Проклятые профсоюзы, из-за них и кока-кола подорожала, не под-

ступишься. Вы две выпили, так? — он взял из сдачи полдоллара и пододвинул ему остальное.— Не знаю, что народ будет делать, если их не остановят. Придется этих проклятых демократов по шапке, не то и вовсе обнищаем, дойдем до богадельни. Куда, сказали, едете? В Мемфис?

— Ничего я не сказал,— начал было он. Но хозяин уже заговорил или продолжал разговор с негром, уже подавал негру откупоренную бутылку воды.

— Это за мой счет. Ну-ка, бери свою машину и довези его до перекрестка, там его скорее подвезут, может, кто завернет с шоссе.

— Да я еще не собирался ехать.

— Врешь, собирался,— сказал хозяин.— Жалко тебе лишних полмили сделать, что ли? А времени у тебя хватит. И не появляйся тут, пока не съездишь. Вот так,— сказал он Минку.— Там вас скорее подвезут.

И он поехал дальше в разбитой, забрызганной грязью машине; на одну секунду негр покосился на него и сразу отвел глаза.

— Откуда это вы приехали? — спросил негр. Он не ответил.— Из Парчмена, а? — Машина остановилась.— Вот и перекресток,— сказал негр.— Может, кто вас подвезет.

Минк вылез из машины.

— Премного благодарен,— сказал он.

— А вы ему уже заплатили,— сказал негр.

И опять он пошел пешком. Главное, подальше бы от всяких лавок, нельзя больше никуда заходить. Если бы бутылка стоила доллар, это было бы для него запретом, за этот предел его никакое искушение, никакая слабость не могла бы увлечь, тут бы ему ничто не грозило. Но бутылка стоила всего четверть доллара, а у него на руках было целых двенадцать долларов, значит, надо сначала доехать до Мемфиса и купить револьвер, иначе никак нельзя предугадать, не поддастся ли он вдруг искушению: уже сейчас, выходя из лавчонки, он себе говорил: *Будь человеком. Будь же человеком. Ты должен быть человеком, у тебя дело есть, опасное дело,*— и уже на ходу, выйдя из лавки, он почувствовал, как его прошибает пот, и он не то что задыхается, но старается перевести дух, словно путник, который нечаянно попал в тайное логово, в объятия Мессалины или Семирамиды и, вырвавшись оттуда, все еще потрясен своей дерзостью, все еще никак не может опомниться, понять, как это ему удалось выскочить живым.

И тут он открыл еще одну вещь — все двадцать с лишним лет до тюрьмы и все тридцать восемь последних лет он всегда ходил по мягкой земле. Теперь он шел по асфальту, и у него не только ныли ноги, но боль пронизывала насквозь все кости, все мышцы, до самого черепа; наконец он нашел лужу цвелой воды в пожухлом редком бурьяне у канавы и, сняв негнущиеся новые ботинки, выданные вместе с комбинезоном, сел, опустил ноги в воду и стал жевать консервы с хлебом, думая: *Нельзя мне распускаться. Может, и заходить туда нельзя, где этим торгуют,*— думая, в сущности, без огорчения, но неуклонно, непоколебимо: *Наверно, придется за него отдать все десять долларов, а то и больше. Значит, остается всего три доллара восемьдесят пять центов, а я уже восемьдесят два из них протратил,*— и тут он остановился, вынул горсть монет из кармана, аккуратно разложил их на земле около себя; у него было три бумажки по доллару и мелочи на восемьдесят пять центов, и он, медленно пересчитав эти восемьдесят пять центов — полдоллара, двадцать пять центов и два никеля,— отложил их в сторону. Он отдал лавочнику одну из долларовых бумажек, и лавочник дал ему сдачи — хлеб стоил одиннадцать, консервы одиннадцать, значит, всего двадцать два цента,

потом лавочник взял еще полдоллара за воду, а всего семьдесят два цента, значит, должно было остаться двадцать восемь центов; он снова пересчитал сдачу — монету за монеткой, потом отдельно те деньги, что отложил в сторону, чтобы еще раз себя проверить. И все-таки сдачи получалось всего восемнадцать центов, вместо двадцати восьми. Десять центов пропало. А ведь консервы стоили всего одиннадцать центов, он это помнил, потому что об этом был разговор. *Значит, хлеб подорожал, наверно хлеб. На целых десять центов подорожал, тут же, на глазах,*— подумал он.— *А если хлеб мог подскочить сразу на десять центов у меня на глазах, так, может, и револьвера мне не купить даже за все тринадцать долларов. Значит, надо где-то пристроиться, найти работу.*

По шоссе густо шли машины, они шли очень быстро, большие легковые машины, совсем новые, и грузовики, громадные, как вагоны, не было пыльных пикапов, которые подвезли бы его, только машины богачей, а они мчались так, что не могли заметить одинокого человека в комбинезоне. А может, и того хуже: наверно, они, огромные, быстрые, сверкающие, затерли бы ту, что остановилась ради него; больно им надо, чтобы он путался у них под колесами в Мемфисе. Но в общем, это было неважно. Пока что Мемфиса и не видно. Теперь даже нельзя было сказать, когда он его увидит, и он думал: *Может, еще понадобится долларов десять, если не больше, пока я дойду до того места, где их продают.* Во всяком случае, надо было добраться до Мемфиса поскорее, пока еще все можно сделать, пока ничто не помешало; во всяком случае, когда он доберется до Мемфиса, все его тринадцать долларов и три цента должны быть целы, сколько бы ему ни пришлось выложить, чтобы попасть в город. Значит, надо добыть еще денег, раз он даже не может поручиться, что не зайдет в лавочку, где продают газированную воду. *Значит, надо где-то остановиться и попросить работы, а я в жизни ни у кого еще работы не просил, может, я и не сумею,*— думал он.— *Значит, пропадет по крайней мере день, а то и больше,*— подумал он спокойно, все еще не отчаиваясь,— *слишком я стар для этого; не стоило бы в шестьдесят три года ввязываться в такое дело,*— и это он подумал, не отчаиваясь, по-прежнему непоколебимый: *Нет, раз уж пришлось ждать тридцать восемь лет, подожду еще день-два, а то и три, ничего мне не сделается.*

Женщина была плотная, но не жирная и вовсе не старая, довольно строгая с виду, в линялом, но очень чистом платье, она стояла в узком замусоренном дворике и обрывала засохшие плети вьюнка с ограды.

— Вы не из духовного звания? — спросила она.

— Мэм? — сказал он.

— Вы похожи на проповедника.

— Нет, мэм,— сказал он.— Я не здешний.

— Какую работу можете делать?

— Ту, что вы делаете. Я вам двор вычищу.

— А еще?

— Я фермером был. Все могу делать.

— Наверно, вас сначала накормить надо,— сказала она.— Ну, ладно. Все мы божьи твари. Оборвите-ка сначала эти плети. А грабли возьмете за кухонной дверью. И помните, я за вами следить буду.

Может, она и следила за ним из-за оконной занавески. Трудно сказать. Да ему и дела не было. Но, как видно, она все время следила, потому что вышла на крохотную веранду, как только он снес в кучу последнюю охапку листьев, показала ему, где тачка, дала три спички и смотрела, как он отвез сушняк на пустырь рядом с домом и поджег всю кучу.

— Поставьте тачку и грабли на место и ступайте в кухню,— сказала она. Он пошел в кухню — плита, раковина, холодильник, у накрытого стола стул, на столе тарелка скверно сваренных овощей с кусками сероватого сала, на блюдечке два ломтика покупного хлеба и стакан воды; он постоял, не двигаясь, спокойно опустив руки и глядя на стол.

— Брезгуете, что ли? — спросила она.

— Не в том дело,— сказал он.— Я не голодный. Мне деньги нужны на дорогу. Нужно добраться до Мемфиса, а там обратно в Миссисипи.

— Будете вы обедать или нет? — спросила она.

— Да, мэм,— сказал он,— премного благодарен,— и под ее взглядом сел за стол, и тут она открыла холодильник, вынула оттуда початую консервную банку и поставила перед ним. В банке лежала половина персика из компота.

— Ешьте,— сказала она, выходя.

— Да, мэм,— сказал он.— Премного вам благодарен.— Должно быть, она и сейчас откуда-то следила за ним. Он съел сколько мог (все было холодное), потом отнес тарелку, нож, вилку к раковине, чтобы вымыть, но тут она вдруг вернулась на кухню.

— Я сама,— сказала она.— А вы идите по дороге, четыре мили. Подойдете к почтовому ящику, там написано: «Брат Гудихэй». Читать умеете, а?

— Найду,— сказал он.

— Скажите, что Бесс Холком вас прислала.

Ящик он нашел, найти было необходимо. Он думал: *Надо найти,*— думал, что, может быть, сумеет прочесть имя на ящике, просто потому что прочесть необходимо, необходимо проникнуть в эти непонятные иероглифы, и думал, стоя перед металлическим ящиком со словами *«Бр. Д. С. Гудихэй»,* не написанными, а выведенными краской, не то чтобы неряшливо, небрежно, но как-то нетерпеливо, с каким-то диким, яростным нетерпением, думал еще прежде, чем понял, или во всяком случае, когда уже понял, что его кто-то зовет: *Может, я всегда умел читать, но никогда не знал, пока вот не пришлось.* Но тут он услыхал голос и в маленьком, дико запущенном дворике увидел деревянный домишко с малюсенькой террaской, а на ней человека, который махал ему рукой и кричал: «Сюда, сюда! Заходите!» — худого, проворного, лет под сорок, с холодными бегающими глазами и длинной верхней губой, как у стряпчего или уличного оратора, и длинным подбородком — такими изображали на старинных карикатурах пуритан,— и тот ему сказал:

— Черт, да вы проповедник?

— Нет,— сказал он,— я не здешний. Хочу добраться до...

— Ладно, ладно,— сказал тот.— Идите кругом, я вас встречу,— и сразу скрылся в доме. Он, Минк, пошел вокруг дома на задний двор, еще больше запущенный и захламленный, чем передний, и тут стоял еще один дом, даже не разрушенный, а просто завалившийся — груда бревен, стропил, оконных рам, дверей и неразобранных кусков перегородок, а среди этого навала двигался или стоял внушительного роста человек, примерно одних лет с Минком, хотя на нем была форменная куртка английского образца, а таких до Пирл-Харбора никогда не носили, и на плечах — погоны дивизии, тоже не существовавшей до войны, а когда Минк показался во дворе, этот человек стал торопливо стучать топором по наваленным тут же доскам; он еле успел за это взяться, как с грохотом отворились двери домика и тот, первый, вышел с пилой в руках; только теперь Минк увидел козлы и горку напиленных досок.

— Вот,— сказал первый человек, подавая Минку пилу.— Все крепкие куски откладывай. Гвоздей не гни, вытаскивай аккуратно. Распили все

обломки на ровные куски. Папаша тебе покажет. А я буду в доме,— и он тут же ушел в дом; даже двери, едва он их выпустил из рук, сердито захлопнулись, как будто, проходя, он их втянул за собой.

— Значит, и тебя подловили, Мак? — сказал человек в военной куртке (видно, это и был Папаша).

Минк ничего не ответил. Он только сказал:

— Это и есть сам преподобный?

— Это Гудихэй,— сказал старик.— Не слыхал, как он проповедует, но, даже если он и рта не откроет, все равно он, наверно, проповеди читает лучше, чем стряпает. Что ж, кому-то надо же пересушивать лепешки. Говорят, от него жена сбежала с одним сукиным сыном, разносчиком каким-то, когда он еще на Тихом океане воевал. Все они тут этим занимались, да, как я примечаю, и сейчас не бросили, хоть на войну уже сваливать нечего. Ну и черт с ним, я всегда говорю — было бы болото, лягушки найдутся, одна ускачет, другая сядет. Значит, и тебя подловили, а?

На этот раз он ответил:

— Мне в Мемфис надо попасть, а потом обратно в Миссисипи. Я и то задержался. Надо бы сегодня к вечеру двинуться. Сколько он платит?

— Мало ли, чего тебе надо,— сказал тот.— Я тоже дня три назад так думал: заработаю доллар-другой и двину дальше. Но ты тут церковь строишь, голова еловая. Давай надеяться, что этот черт напроповедует хоть чего-нибудь, нам денег не видать, пока он их не соберет в воскресенье.

— В воскресенье? — сказал он.

— Ну да,— сказал тот.— Сегодня четверг, так что считай сам.

— В воскресенье,— сказал он.— Это же еще три дня.

— Правильно,— сказал тот.— В здешних местах воскресенье всегда наступает через три дня после четверга. У них обычай такой.

— А сколько мы получим в воскресенье?

— Может, доллар наличными, ты же работаешь на господа бога, а не на мамону, не ради денег. Но тут по крайней мере тебя кормить будут, спать положат.

— Не могу я так долго работать за один доллар,— сказал он.— Времени нет.

— А может быть, и больше дадут. Я слыхал, у него кое-что есть. Во всяком случае, он собирать умеет. Говорят, он служил в морской пехоте, сержантом на десантной барже, в Тихом океане, да вот японский бомбардировщик спикировал прямо на них, и все попрыгали в воду, пока бомба не попала, а один молокосос не то сдрейфил, не то зацепился и никак прыгнуть не мог, наш же преподобный (только он тогда еще не был верующим, это с ним случилось через несколько минут) полез на баржу обратно, чтобы отцепить того, а тут вся баржа взорвалась к чертям собачьим, и их обоих, и преподобного и того молокососа, сразу потянуло на дно, и вот тут-то преподобный отцепил этого второго и сам с ним всплыл наверх. За это он будто бы и получил медаль, это так официально считается или по крайней мере так считает он сам и его паства— как я слыхал, к нему все больше ходят бывшие солдаты, или их жены, или всякие девки, которых они трахнули без венца, больше все молодые, но есть и старики, их, так сказать, попутно сюда втянуло, может, они — родители тех ребят, что на войне убило, а может, они вроде этой самой сестры Холком, что тебя подловила там, на шоссе, она-то, наверно, ни разу не подтаяла как следует, чтобы завести ребятенка, и вообще спаси господи ее мужа, ежели он только у нее есть; эту никто не втягивал, она сама прицепилась к автобусу, благо проезд бесплатный...— Он остано-

вился.— Нет, знаю, зачем она сюда ходит: послушать, как он забористо выражается, когда проповедует, или как это у них там называется. Так про что я рассказывал? Да, про эту самую баржу. Сам преподобный так рассказывает, что он уже лежал себе тихо и спокойно, мертвый на дне Тихого океана, отвоевался, наконец, и вдруг сам Иисус Христос очутился перед ним и говорит: «Встань!» — И он встал, а Иисус говорит: «Смирно! Налево кругом»! — и тут же его прикрепили на постоянную работку сюда, поближе к Мемфису, в штат Тенесси. Да, что-то в нем есть такое, что ему помогло завербовать целое стадо прихожан для своей новой церкви, теперь им даже новое помещение понадобилось. И будь я проклят, ведь он и плотника заполучит, чтоб сколотить эту ихнюю будку. Что он тебя спросил, когда увидал?

— Как? — сказал Минк.

— Ну, что он сказал, когда посмотрел на тебя?

— Он сказал: «Черт, да вы проповедник».

— Вот видишь! Он оплел бог знает сколько народу, разослал по всему штату, велел искать такие дома, где бы уж никто не сидел на крылечке, велел разбирать их и стаскивать сюда, а уж тут разделывать на доски, вот как мы с тобой. Только нет у него пока что настоящего плотника, чтобы сколотить им церковь. Потому что хорошие плотники все члены профсоюза, им каждый день выкладывай деньги на бочку, а его на это место назначил сам Иисус Христос, он деньгами не интересуется, особенно когда их надо выкладывать. Вот он и его приспешники ловят всех, кого можно, по дороге сюда, как эта сестра Холком, та, что тебя заарканила, ловят и просеивают, все ищут.

— Просеивают?

— Ну да. Как муку. Пропускают народ через этот задний двор, пока не заполучат такого, чтоб сумел сколотить им церковь, а наше дело готовить побольше досок и бревен и оконных рам. Ну, давай-ка возьмемся за дело. Правда, я не заметил, чтобы он за нами шпионил из-за занавески, но все же с отставным сержантом морской пехоты, будь он хоть сто раз проповедником, шутить не стоит.

— Значит, мне и уйти нельзя?

— Как нельзя? Можно. Иди хоть на все четыре стороны. Но денег ты не получишь, пока они сбор не проведут, в воскресенье. Уж не говорю, что тебя тут и спать положат, и так называемым ужином накормят, если, конечно, ты не станешь нос воротить.

Вообще-то в этом доме ни ставен, ни занавесок не было, так что подсматривать, казалось бы, неоткуда. А когда он внимательно разглядел весь этот дом, ему почудилось, что это тоже времянка, вроде того неописуемого навала стенок, дверей и окон, среди которых работал он и его сотоварищ: казалось, весь дом наспех сколочен гвоздями и еле держится; и пока медленно рос штабель отобранных досок и куча растопки, напиленной из бракованных кусков, Минк иногда слышал, как проповедник расхаживает по домику, и думал: *Если он там, в доме, сочиняет проповедь, так похоже, что он на это тратит не меньше сил, чем если бы он седлал мула.*— Солнце уже садилось, и он подумал: — *Наверно, заработано не меньше полдоллара. Надо получить. Надо идти дальше. Не могу я дожидаться воскресенья,*— но тут дверь домика дернулась, распахнулась, и проповедник сказал:

— Ну, все. Ужин готов. Заходите.

Он пошел вслед за Папашей. Никто и не заикнулся насчет умывания.

— Я уж лучше...— начал Минк. Но было уже поздно. Они очутились в кухне, не то что спартанской, а просто заброшенной, как старый летний барак для туристов где-нибудь в пригородном парке, с плитой — он про

себя называл ее «автоматической», потому что никогда в жизни не видел ни газовых, ни электрических плит, пока не попал к миссис Холком. Гудихэй стоял перед плитой в свирепом молчании, окруженный злобным шипением стряпни. Минк опять начал было: — Я уж лучше...— но тут Гудихэй отошел от плиты с тремя мисками, в которые было наляпано что-то подгорелое; на эмалированной поверхности оно имело столь же странный, неуместный и несъедобный вид, как коровья лепешка.— А я уже поел,— сказал Минк.— Я уж лучше пойду.

— Что? — спросил Гудихэй.

— В Мемфисе меня дело дожидается,— сказал он.— Мне обязательно надо вечером двинуться.

— Значит, вам сейчас и деньги платить? — сказал Гудихэй, ставя миски на стол, где уже стояла громадная бутылка томатного соуса, тарелка нарезанного хлеба, сахарница и банка сгущенного молока с продырявленной крышкой.— Садитесь,—сказал Гудихэй, отходя к плите, где Минк уже носом учуял кофе, перекипавший через край с тем же яростным нетерпением, с каким шипело мясо на сковородке, громоздились доски во дворе и разлетались буквы на почтовом ящике; но тут Гудихэй поставил три чашки кофе и опять сказал: — Садитесь.— Папаша уже сел.— Я сказал садитесь,— повторил Гудихэй.— Деньги получите в воскресенье, после сбора.

— Некогда мне ждать, долго очень.

— Ладно,— сказал Гудихэй, поливая соусом еду.— Сначала поужинайте, ужин вы уже заработали.— Он сел. Те двое уже ели. Гудихэй сразу все съел, вставая, положил вилку и, еще дожевывая, хлопнул дверью (Минк не разобрал, что на ней внутри висела каска в защитной сетке, какие носила морская пехота на тихоокеанском фронте, потому что он в это время смотрел на приклад пистолета-автомата, торчавший из-за широкого пояса под каской) и вынул из холодильника, стоявшего за дверью, банку консервированного компота — половинки персиков,— поставил банку на стол, точно и беспристрастно разделил сироп с персиками, разлив его в жирные миски, и компот тоже был съеден, причем Гудихэй и тут доел раньше всех; за все время, что Минк его видел, он впервые сидел абсолютно неподвижно, будто спал, дожидаясь, пока те двое кончат есть. Потом сказал: — Делай уборку! — и сам первый подошел к раковине со своей миской, чашкой и ложкой, вымыл их под краном, потом посмотрел, как те двое вслед за ним вымыли посуду, вытерли и поставили на полку. Потом он сказал Минку: — Ну как? Уйдете или останетесь?

— Придется остаться,— сказал Минк.— Мне деньги нужны.

— Ладно,— сказал Гудихэй.— Встать на колени,— и сам встал первым, а за ним и они, прямо на кухонный пол, под колючим смутным светом единственной голой и тусклой лампочки, свисавшей с провода, и Гудихэй стоял на коленях, но голову не склонил и, даже не прикрыв клокочущие холодом глаза, проговорил: — Спаси нас Христос, несчастных сукиных детей,— после чего поднялся и сказал: — Все. Свет тушить. Грузовик придет в семь часов.

Это была в сущности не комната, а кладовушка, чуть побольше шкафа. Одно оконце, дверь, ведущая в дом, с потолка свисает одна лампочка, на полу тонкий тюфяк, покрытый брезентом, но ни подушек, ни одеял, вообще ничего; Гудихэй придержал двери, пока они входили, потом закрыл. Они остались одни.

— Ну, давай,— сказал Папаша.— Пробуй!

— Чего пробовать? — спросил Минк.

— Дверь. Он нас запер. Нет, выйти ты можешь, когда угодно, окошко не заперто. Но дверь ведет в дом, а ему никак не хочется, чтоб мы, будущие плотники, обшарили на прощание его хазу и смылись. Хотя ты теперь на господа бога работаешь, балда, но командует тут парадом сержант морской пехоты.— Он зевнул.— Но ты-то хоть получишь свои два доллара в воскресенье, а то и три, если он сегодняшний день засчитает. А в придачу еще и проповедь услышишь. А это стоит трех долларов. Знаешь, бывают такие редкие издания, за которые берут в десять раз дороже, потому что их выпускают всего каких-нибудь две-три штуки.— Он подмигнул.— А почему? Потому! Долго он не продержится.— Он опять подмигнул Минку.— Никто этого не допустит.

— Значит, мне мои два доллара не отдадут? — сказал Минк.

— Нет, нет,— сказал тот.— Я про здешних жителей, кого он еще не обратил, они больше этакого не потерпят. Про тех, кто эту проклятую войну терпел все четыре с лишним года, кто про нее забыть хочет. Они пять лет бедовали, разорялись, лишь бы от этой войны избавиться, а только они собрались зажить по-старому, по-мирному, является, черт их подери, кучка горлопанов, бывших солдат, отъелись на пенсии, сукины дети, и такое развели, словно все то, отчего война началась, не только раньше было, но и теперь продолжается, да так и будет продолжаться, пока кто-то чего-нибудь не сделает. Вся ихняя шайка — неплательщики, они, наверно, скорее бы голосовали за Нормана Томаса,* чем за Рузвельта, я уже не говорю про Трумена, а теперь, в 1946 году, хотят тут своими силами Христа воскресить. Так что, сам понимаешь, может, и стоит потерять три доллара, чтоб этого Гудихэя напоследок послушать на свежем воздухе, а то, чего доброго, придется ему проповедовать, а нам слушать через тюремную решетку.— Он снова зевнул во весь рот, снимая военную куртку.— Что ж, книжки у нас тут нет, почитать на сон грядущий нечего, значит, только и остается, что лечь спать.

Они легли. Свет потух. Минк лежал на спине, тихо дыша, сложив руки на груди. Он думал: *Наверняка не меньше трех долларов. Наверняка и сегодняшний день засчитают,*— думал: *Но с воскресеньем, выходит, три дня пропало, даже если мне добраться до Мемфиса в воскресенье после расчета, там уже все лавки, где его можно купить, закроют до понедельника,*— думал: *Как видно, придется подождать три дня,*— и с огорчением: *Все равно ничего не придумаешь,*— и тут же почти сразу уснул спокойным крепким сном, и уже было совсем светло, когда он очнулся; некоторое время он лежал спокойно, прежде чем понял, что остался один. После ему казалось, что, осознав, что стряслось, он еще минуту лежал тихо и спокойно, все еще лениво вертя в руке английскую булавку, которая лежала расстегнутая у него на груди; но тут он вскочил, сел и, даже не видя, что окно открыто и ставня болтается, уже неистово рвал из нагрудного кармана сверток газетной бумаги, где была приколота десятидолларовая бумажка, и вместо проклятий и ругани у него выходило только жалкое повизгивание, и он стучал кулаком в запертую дверь, пока ее не распахнул Гудихэй, сразу увидевший раскрытое окно.

— Ограбил, значит, сукин сын,— сказал Гудихэй.

— Десять долларов взял,— сказал Минк.— Поймать его надо. Пустите!

— Погодите,— сказал Гудихэй, все еще загораживая двери,— сейчас его уже не поймать.

— Надо! — сказал он.— Мне эта десятка нужна.

---

* Общественный деятель, священник.

— Вам она нужна, чтобы до дому добраться, так, что ли?

— Да,— сказал он и снова выругался.— Я без нее никуда. Пустите же!

— Давно дома не были? — сказал Гудихэй.

— Тридцать восемь лет. Скажите, куда он, по-вашему, пошел?

— Погодите! — сказал Гудихэй, не двигаясь.— Ладно, постараюсь, чтобы вы в воскресенье получили эти десять долларов. Стряпать умеете?

— Могу жарить мясо, яичницу,— сказал Минк.

— Ладно. Готовьте завтрак, а я нагружу машину. Пошли.— Гудихэй показал ему, как зажигать плиту, и ушел; а он долил вчерашний кофе водой, по привычке, как доливал всегда, пока гуща не теряла всякий запах и цвет, потом нарезал сало, по той же привычке посыпал его мукой на сковородке, достал яйца для яичницы и, постояв у открытой двери, отошел и стал сосредоточенно смотреть на висевший под каской автомат в тяжелой кобуре, думая спокойно: *Взять бы мне его дня на два, тогда и десяти долларов не понадобилось бы,*— думая: *Ограбил меня запросто, слова не сказал, почему же и я теперь не имею права грабить? Уж не говорю, что мне эти десять долларов позарез нужны, во сто раз, в тысячу раз нужнее, чем какому другому человеку,*— думая уже совсем спокойно, мирно: *Нет, никогда я не воровал. Никогда я до этого не доходил, воровать я никогда не стану.*

Когда он подошел к двери, чтобы кликнуть Гудихэя завтракать, тот еще с каким-то человеком уже сложили в грузовик целые перегородки и отдельные доски; потом, сидя на этой груде досок, он снова ехал по шоссе к Мемфису; он даже подумал: *Может, они проедут до самого Мемфиса, и, будь у меня десять долларов...*— но потом перестал думать и просто трясся в кузове, пока грузовик не свернул на боковую дорогу; сначала подъезжали, потом въехали и дальше уже ехали по чьим-то владениям, угодьям, плантациям — по бескрайним хлопковым полям, где еще белел хлопок в ожидании сборщиков, потом повернули по проселку через поле и подъехали к заросшему ивняком затону, где стоял еще один пикап, тоже с грузом разобранных перегородок, и рядом трое или четверо мужчин, чем-то до странности похожих на Гудихэя и водителя его, вернее, их грузовика; он, Минк, не мог сказать, чем именно похожих, и даже не думал об этом: не присматриваясь, он просто заметил еще одну военную куртку, потом, тоже не присматриваясь, увидел канат, натянутый прямоугольником меж вбитыми кольями и обозначавший место, где собирались строить; и тут они разгрузили доски, и Гудихэй сказал:

— Ладно, вы с Альбертом можете отправляться за следующим грузом.

Теперь он ехал в кабине назад, в приход, или как оно там называлось, где они с Альбертом еще раз нагрузили пикап и опять поехали к затону; к этому времени при стольких рабочих руках — если все четверо работали так же быстро, как Гудихэй,— там должна была уже вырасти целая стенка. Но вместо этого ни второго грузовика, ни Гудихэя, ни отмеченного вешками и канатом участка там не оказалось, и только трое мужчин спокойно сидели возле кучи досок и бревен.

— Что такое? — спросил Альберт.

— Ага,— сказал один из сидящих.— Передумал.

— Как? — сказал Минк.— Кто передумал? Мне ехать надо. Я и то опаздываю.

— Хозяин участка,— сказал Альберт.— Сначала разрешил поставить тут молельню. Да кто-то заставил его передумать. Может, банк, который держит на него закладную. Может, Легион.

— Какой Легион? — сказал Минк.

— Американский Легион. Что хотят, то и делают, как в восемнадцатом году. Не слыхал никогда, что ли?

— А где преподобный Гудихэй? — спросил он.— Мне надо уезжать.

— Ну, ладно,— сказал Альберт.— Всего! — И Минк остался ждать. Только после обеда второй грузовик подлетел на полном ходу, и Гудихэй соскочил с него прежде, чем он остановился.

— Ну,— сказал он.— Грузите.— И снова они поехали по мемфисскому шоссе, и пикап мчался вслед за грузовиком, чтобы не потерять из виду Гудихэя, мчался, как все машины по шоссе, а он думал: *Было бы у меня сейчас десять долларов, хотя мы, наверно, и этот раз до Мемфиса не доедем.* Они и не доехали. Гудихэй повернул, и они за ним, рискуя головой, иначе Гудихэй, ехавший впереди, потерял бы их в пустынном безлюдье; кончилась плодородная дельта, пошли выветрившиеся голые глинистые холмы и дальше сплошные унылые пустыри; Гудихэй остановился — перед ним была свалка, нагромождение ржавых остовов автомобилей, котлов, хлопкоочистительных машин, груды битого кирпича, куски бетона; но вехи уже были заново вбиты, и канат натянут между ними тугим прямоугольником, а Гудихэй уже стоял около своего грузовика и, размахивая руками, звал их:

— Сюда! Приехали. Начинай.

Наконец-то началась настоящая работа. Но становилось поздно, полдня пропало, а завтра была суббота, то есть всего один полный день.

Но когда он попытался заговорить, Гудихэй сразу оборвал его:

— Я же вам сказал, что вы получите свои десять долларов в воскресенье. Чего же еще?

И насчет ужина Гудихэй тоже не распорядился. Он просто дернул, распахнул дверцу холодильника, выхватил оттуда запачканную кровью бумагу с мясом и ушел из кухни. И тут Минк вспомнил, что он когда-то умел варить овсянку, и нашел крупу и подходящую кастрюлю. В этот вечер Гудихэй не запирал его; он, Минк, попробовал дверь, потом запер ее изнутри и лег спокойно на спину, сложив руки на груди, как покойник, пока Гудихэй не разбудил его, чтобы он поджарил бекон с яичницей. Грузовик уже стоял наготове, на этот раз собралось человек двенадцать, и уже можно было видеть, как будет выглядеть молельня (так они ее называли). Работали дотемна. Он сказал:

— Мне сегодня не холодно, могу тут пристроиться, вон под теми листами толя, а завтра начну на рассвете, пока другие еще не...

— Мы по воскресеньям не работаем,— перебил Гудихэй.— Поехали.— Наступило воскресенье. Шел дождь, моросящий, неугомонный дождик ранней осени. Какой-то мужчина с женой заехали за ними, но уже не в пикапе, а в легковушке, видавшей виды и порядком помятой. Снова повернули на перекрестке, дальше пошли уже не дикие пустыри, а просто ровная местность, и наконец некрашеная коробка здания, и что-то где-то виденное до тех тридцати восьми тюремных лет подтолкнуло, подсказало. *Да это же негритянская школа,*— подумал он, выходя на стоянке; пять или шесть таких же грязных, помятых легковых машин и пикапов и кучка людей ждали тут же, были люди постарше, но большинство — ровесники Гудихэя или чуть помоложе; снова он почувствовал в них что-то одинаковое, общее, помимо сходства в одежде: военные куртки, зеленые армейские плащ-палатки, одна военная фуражка со следами офицерской кокарды; за его спиной кто-то сказал: «Здорово»,— это был Альберт, Минк узнал и эту мисс или миссис Холком, чей двор он чистил, а потом увидел высокую негритянку — уже немолодую женщину, сильно отощавшую, но все еще толстую. Он остановился не от удивления, а просто насторожившись.

— Вы сюда и черномазых пускаете? — удивился он.

— Эту пускаем,— сказал Альберт. Гудихэй уже вошел в дом. Теперь и остальные пошли за ним, толпясь в дверях — Ее сын то же самое заработал, что и сыновья белых женщин, хоть на памятнике его имя рядом с ихними именами не написано. Видишь ту женщину в желтой шляпке? — Шляпка была грязная, но все еще броская, пальто когда-то было белым, тоже немного броским, и хозяйке шляпы и пальто можно было с виду дать лет двадцать пять, но сейчас она выглядела плохо, исхудавшая, хоть и не очень потрепанная.— Да, вот именно,— сказал Альберт.— Она и сейчас смахивает на потаскушку, но ты бы поглядел на нее прошлой весной, когда она явилась из того дома, на Католпа-стрит. Муж ее, лейтенант, командовал пехотным взводом, там, где япошки гнали нас из Азии, а мы отступали все скопом — австралийцы, англичане, французы из Индокитая — и даже ничего удержать не пытались, отрывали окопчики, когда темнело, и только успевали подобрать отставших и тех, кто прятался по окопам, а наутро — снова бежать, если только к утру хоть кто-нибудь оставался жив. А его взвод в ту ночь находился в дозоре, он в окопчике, его отделение в цепи, а тут этот черномазый подполз к нему с боезапасом. Понимаешь, он был новенький — я про негра. Он никогда япошек близко и не видел.

— Представляешь, как это было: сидишь там, согнулся в три погибели, кругом вонь, непроглядная тьма, сидишь в вонючей мокрой яме, уши и глаза до того напряг, что вот-вот они у тебя вылетят из головы, как камешки, а кругом стрекочет что-то вроде кузнечиков в траве, только вдруг ты понимаешь, что никакие это не кузнечики, а вроде бы голоса, и стрекочут они про тебя по-английски: «На заре — помереть. На заре — помереть». А тут еще приползает этот черномазый с ручными гранатами, с автоматными дисками, и лейтенант велит ему лечь в окопчик, кладет его руку на спуск автомата и говорит: жди тут, пока я не вернусь, а сам ползет назад докладывать командиру, словом, куда-то смывается. Знаешь, как это бывает. Есть у человека предел. Он сам не знает, когда он до этого предела дойдет, но вдруг приходит минута, и он понимает, что теперь все, что он уже кончился; конечно, всякому тошно станет, но тут никто не виноват, тут ничего поделать нельзя. В том-то и беда: заранее сам не знаешь, когда сдашь, заранее никто тебе не скажет — держись. А на войне особенно. Поневоле подумаешь, что нашей породе людской и не место на войне, раз она такая слабая, верно? А уж если войны будут продолжаться, так надо бы изобрести что-нибудь покрепче людей, да их и посылать в драку. Словом, настает утро, заря и первая отрубленная голова — может, ты с ним вчера еще последний паек делил — летит прямо к нам в окоп, как будто кто бросает баскетбольный мяч. Видим, голова-то черная, того негра. А как же иначе? Вырос он, этот негр, на арканзасской плантации, а тут ему белый человек, да еще лейтенант, да еще с арканзасским выговором, приказывает: «Бери эту тяпку, то есть эту винтовку, и жди тут, пока я не вернусь». А когда мы отогнали япошек настолько, что можно было снова целый день спокойно прятаться от их налетов, наш лейтенант зашел за груду хвороста, что мы таскали за собой для костров... Да, странная штука эти джунгли. Весь день потеешь, даже ночью, глотка всегда пересыхает, воды-то в джунглях нет и не надейся, а выйдешь на солнце, не успеешь рубаху застегнуть, уже весь пошел пузырями. И начинает казаться, что, урони ты котелок или штык или даже ударь кованым каблуком по корню, сразу искры посыпятся, все кругом заполыхает. А попробуй разжечь огонь. Ты только попробуй что-нибудь поджечь, увидишь, что это за мука. Ну, словом, наш лейтенант зашел за груду хвороста, где его никто видеть не

мог, и сунул себе дуло револьвера в рот. Ясно, что теперь ее сюда пускают.

Уже все вошли в помещение, и он вспомнил, хоть и через тридцать восемь лет, как долго остается запах в комнате, где негров уже давно нет,— этот запах нищеты, и тайного страха, и терпения, и стойкости, а надежда слишком слаба, чтобы отбить этот запах,— и тут все присутствующие (он подумал, что, наверно, у них это называлось молитвенным собранием) расселись по скамьям без спинок, женщина в желтой шляпке на первой скамье, высокая негритянка, одна, на последней, и Гудихэй встал перед ними в конце комнаты, опираясь на доску, положенную на козлы, руки его лежали спокойно, кулаки были не стиснуты, а просто сжаты, и он выжидал, пока все затихнут.

— Ну, вот,— сказал Гудихэй.— Если кто думает, что достаточно ему усесться на корму и ждать, пока благодать сама на него снизойдет, вроде дождя или чего еще, так тому тут делать нечего. Надо крепко стать на ноги, искать ее, пока не поймаешь, а там уже держать покрепче, драться за спасение души, если понадобится. А не дождешься благодати, сам сотвори ее, черт подери! Сам сотвори себе благодать, спасение души. Так сотвори, чтобы и Он ее признал, заработай на нее право, держись за нее, дерись, если надо, но не выпускай из рук, хоть бы тут все летело к чертовой матери...

И тут мужской голос перебил его·

— Расскажи все сначала, Джо. Давай. Расскажи еще раз.

— Что? — спросил Гудихэй.

— Расскажи еще раз,— сказал мужской голос.— Давай!

— Да я же вам рассказывал,— сказал Гудихэй.— Вы же слышали. Не могу я все сначала объяснять.

— Нет, можешь,— сказал мужской голос; тут послышались и женские голоса:

— Можешь, Джо. Рассказывай! — А он, Минк, все смотрел на руки, не стиснутые, а просто сжатые, на клокочущие холодом глаза анахорета — глаза отшельника пятого века, глядящие в пустоту из своей месопотамской пещеры,— на тело, напряженное в неподвижности, словно в страшной натуге под тяжелым грузом.

— Ну, хорошо,— сказал Гудихэй.— Значит, лежу. Все в порядке. Раздолбали нас к чертовой матери, все нормально — пошли ко дну. Знаете, как в воде веса своего не чувствуешь, лежишь, а свет идет сверху, вроде как сквозь решетчатые ставни, когда они на ветру тихонько так дрожат, трясутся. Лежу себе, смотрю, как мои руки плывут в воде, мне шевелить ими не надо, а тени словно от решетчатых ставен по ним мелькают, подмигивают, и ноги мои тоже плывут, совсем вес потеряли, идти некуда, маршировать не надо, даже дышать не надо, даже спать не надо, ничего не надо — словом, все нормально, пошел ко дну. И вдруг вижу: стоит Он надо мной, с виду обыкновенный лейтенантишка, прямо из окопов, ну, может, немного постарше, да еще на Нем ни пилотки, ни каски нет; стоит с непокрытой головой, тени по Нему бегают, а сам курит сигарету.

— Встать, солдат! — говорит.

— Не могу,— говорю.— Потому что чувствую — пока не двигаюсь, все в порядке. А только захочу двинуться, только подумаю или попробую, сразу станет ясно — не могу. А какого черта мне двигаться? Мне и так хорошо. Отвоевался. Отдал концы, и все. Пусть они, б.., делают что хотят со своей б...ской войной, но только уж без меня.

— Раз! — сказал Он.— Ты только три раза имеешь право отказываться. Как же это ты, правофланговый, говоришь «не могу»? Тебя, на-

верно, называли бы правофланговым при Шато-Тьерри и при Сен-Мигеле. А есть у вас теперь в гвадалканалских частях правофланговые?

— Есть,— говорю.

— Ладно, правофланговый,— говорит Он.— Становись в строй.— И тут я встал.— Вольно,— говорит Он.— Видал? — говорит.

— Да я думал — не смогу,— говорю.— Не верил, что встану.

— Правильно,— говорит Он.— А чего же нам от вас нужно? У нас полным-полно людей, которые знают, что могут, но ничего не делают, потому что, раз они знают, что могут, им ничего и делать не надо. А нам такие люди нужны, которые думают, что ничего не могут, и все равно делают. Тем, другим, и мы не нужны, и они нам без надобности. Я даже больше скажу: они нам и вообще ни к чему. Мы их в рай не примем, пусть у нас под ногами не болтаются. И если они для рая не годятся, так куда же они вообще годятся? Правильно?

— Правильно, сэр! — говорю.

— Можешь говорить «сэр», где хочешь — и тут, и наверху. Это свободная страна. Всем на всех плевать. Ну как, пришел в себя?

— Да, сэр,— говорю.

— Смирно! — говорит Он. У меня даже глаза на лоб полезли от натуги, хоть я и стоял весь в грязи.— Налево кругом! — говорит Он. Наверно, Он ни разу и не видел, чтоб лучше выполняли команду.— Шагом марш! — говорит. Я уже шагнул было вперед, а тут Он опять командует: — Стой! — и я остановился.— Что же, ты его так и оставишь тут? — сказал Он. По правде говоря, я совсем забыл про него, а он лежит себе тут тихо и смирно — этот гаденыш, который сдрейфил в самую неподходящую минуту, они всегда так, выпустил штурвал, хотел было нырнуть в трюм, из-за него-то вся эта каша и заварилась, нам еще повезло, что у него, у б..., не было этих б...ских погон, иначе он бы давно про...л всю нашу команду, всех бы сгубил.

— Не могу я его тащить,— говорю.

— Два! — сказал Он.— Ты уже один раз сказал «не могу», тебе осталось еще только один раз отказаться — и все. Ну и откажись, сразу разделаешься, и все.

— Не могу я его нести,— говорю.

— Отлично! — говорит.— Три раза отказался — и конец. Больше тебе не придется говорить «не могу». Ты — особый случай, тебе было разрешено три раза отказаться. А теперь вышел новый приказ, чтоб больше одного раза никто отказываться не смел. Ну-ка, неси его! — Я и понес.— Вольно,— говорит. Ну и все. Я же вам сказал, что этого не расскажешь. Было, и все. Этого не расскажешь.— И он, Минк, смотрел на них на всех отчужденно, не только непримиренный, но и непримиримый: без презрения, потому что он только ждал, без нетерпения, потому что даже если бы он очутился в Мемфисе сейчас, сию же минуту, в воскресенье утром в десять или одиннадцать — словом, который там был час,— ему все равно пришлось бы дожидаться почти сутки, пока можно будет предпринять следующий шаг. Он просто смотрел на этих людей: вон сидят две пожилые пары, явно мужья с женами, как видно, фермеры, арендаторы, приехали они с хлопковых плантаций, заложенных-перезаложенных в банках или синдикатах, и с этих плантаций сына их три или четыре года назад призвали, и он далеко от дома отдал жизнь за них, а теперь они сидят тут, старые, слишком отчужденные, слишком старые для всего на свете, и нет примирения в их скудных, скупых слезах, похожих больше не на слезы, а на следы ожога; и никто из белых людей почти не обратил внимания, когда одиноко сидевшая негритянка встала с задней скамьи и пошла по проходу туда, где молодая

женщина в грязной шляпке уткнулась головой в согнутую руку, как ребенок в припадке детского горя и отчаяния, и белые люди на скамье подвинулись, чтобы негритянка смогла сесть рядом с молодой белой женщиной и обнять ее; а Гудихэй все еще стоял, упершись сжатыми кулаками в доску, даже не закрывая холодных клокочущих глаз, и сказал точно так же, как говорил три дня назад в кухне, где они втроем стояли на коленях:— Спаси нас Христос, бедных сукиных детей.— И тут Гудихэй посмотрел на него: — Слушайте, вы! — сказал Гудихэй.— Встаньте-ка! — Минк встал.— Вот он хочет попасть домой. Работал всего один полный день, но ему нужны десять долларов, чтобы попасть домой. Он тридцать восемь лет не был дома. Ему нужно еще девять монет. Как быть?

— Я ему дам,— сказал мужчина в офицерской фуражке.— Вчера выиграл тридцать восемь долларов в карты, пусть возьмет из них десятку.

— Я сказал девять, один доллар ему причитается,— сказал Гудихэй.— Дайте ему десять, я дам доллар сдачи. Но ему сначала надо попасть в Мемфис. Кто-нибудь туда едет вечером?

— Я еду,— сказал второй человек.

— Хорошо,— сказал Гудихэй.— Кто будет петь?

Вот почему он снова увидел Мемфис в самых лучших, самых благоприятных условиях, особенно для человека, который там не был — сколько же это?.. Он тут же подсчитал. Женился он двадцати лет. До того он три раза выжимал, выдирал немного денег у родственника, подобравшего его, когда он осиротел, и ничего не платившего за работу на ферме, и на эти деньги ездил в мемфисский бордель. Последний раз он там был в год женитьбы. Ему исполнилось двадцать шесть лет, когда его посадили в Парчмен. Вычесть двадцать долларов из двадцати шести — останется шесть долларов. Он пробыл в Парчмене тридцать восемь лет. Шесть долларов плюс тридцать восемь долларов получится сорок четыре доллара, значит, он увидел Мемфис через сорок четыре года и в самых изумительных условиях: вечером, когда темная земля бежала рядом с обеих сторон, а впереди — уже шальные вспышки и россыпь неоновых огней, никогда не виденных доселе, а дальше — свет в низине, предвестник города, и он сидел на самом краю сиденья, как сидят дети, маленький, как подросток, уставившись на дорогу, по которой мчались машины, вливались в сплошной сверкающий поток, и этот поток несся все быстрее, словно город издали уже притягивал, присасывал его; внезапно справа пролетел поезд, мелькнула длинная вереница освещенных окон, мимолетная и призрачная, как сон; вдали показался перекресток, множество дорог скрещивалось, словно спицы гигантского темного колеса, лежащего на втулке, и по ним густо и неуклонно, как муравьи, шли автомобили и то, что, как ему объяснили потом, называлось автобусами, словно сама земля заторопилась, сдвинулась, помчалась вся в зеленых и рубиновых огнях в низкий отсвет на небе, в какое-то чудовищное, невообразимое наслаждение или счастье.

Уже сходившиеся дороги украсились большими круглыми фонарями, они сидели высоко в деревьях, как тетерева на току.

— Скажите, когда подъедем,— попросил он.

— Куда подъедем? — спросил водитель.

— Подъедем к Мемфису.

— Да мы уже в Мемфисе,— сказал водитель.— Уже милю едем по городу.

И тут он понял, что если бы он все еще шел пешком, один, и не у кого было бы спросить, некому указать дорогу, то все затруднения

начались бы именно тут, в самом Мемфисе. Тот Мемфис, который он видел сорок лет назад, уже не существовал, и он думал: *Слишком долго меня тут не было; а когда у человека такое дело, как у меня, и справляться надо одному, и у него ни черта нету, как вот у меня, а тут осталось пройти еще восемьдесят миль, такому человеку никак нельзя отсутствовать столько, сколько мне пришлось.* В прежние времена его непременно подвез бы кто-нибудь с Французовой Балки, а то вдвоем или втроем они поехали бы верхами на пахотных мулах до Джефферсона, с мешком кукурузы, притороченным ко взятому на время седлу, а там привязали бы мулов во дворе, за Коммерческой гостиницей, заплатили тамошнему негру по никелю с брата, чтобы кормил мулов, пока хозяева не вернутся, потом сели бы в поезд на товарной станции, а на пассажирском вокзале пересели бы на пассажирский поезд, который шел прямо в Мемфис,— там вокзал находился почти что в самом центре города.

А теперь все изменилось. Четыре дня назад ему объяснили, что теперь поезда почти не ходят, и, даже если бы у него оказались лишние деньги на билет, он бы никуда не попал. Ему рассказали, что теперь повсюду пустили автобусы, но за все четыре дня он не видел ничего похожего на станцию, где можно было бы купить билет на автобус. Сорок четыре года назад от окраины Мемфиса можно было пешком дойти до центра за час, а теперь, по словам водителя, они уже с милю едут по городу и, однако, видят только слепящие отсветы в небе. И хотя он уже попал в Мемфис, но до того места, которое он помнил и разыскивал, ему, очевидно, еще так же далеко, как от лавки Уорнера до Джефферсона; хорошо, что его хоть подвезли на машине, и водитель в общем знал, куда ему нужно, не то ему пришлось бы все десять долларов истратить на еду, бродя по Мемфису, пока он не дошел бы до места, где можно купить револьвер.

Теперь машина крепко вклинилась в мчащийся поток других машин, мигающих, мелькающих, вспыхивающих разноцветными огнями; теперь все вокруг уже вспыхивало и ярко горело мириадами огней, звенело мириадами звуков. Вдруг стена мерцающих зеленых, красных и белых огней поднялась, прорезала ночь, он знал, чувствовал, что это такое, но из осторожности не стал спрашивать, внушая себе, шипя на себя: *Помни. Помни. Тебе никакого вреда не будет, лишь бы не проведали, что ты ничего не знаешь.*

Значит, это и был город. Сначала он только встал ему навстречу, сверкающий, сплошной, выше звезд. Потом он поглотил его; налетел, наклонился, налег на него, как горячее дыхание, огромной бетонной громадой, страшной тяжестью, так что ему стало трудно дышать, ловить губами воздух. И тут он понял почему: *Тут сна не знают,*— подумал он,— *так давно без сна живут, что и совсем разучились спать, а теперь никак не остановятся, не могут снова приучить себя ко сну.* Машина, зажатая крутыми громадами, ползла, останавливалась, снова ползла, подчиняясь равномерной смене и миганию разноцветных огней, похожих на светофоры железной дороги; наконец машина выехала из потока и остановилась.

— Вот автобусная станция,— сказал водитель.— Вам сюда надо, так?

— Спасибо,— сказал он.

— Отсюда автобусы идут во всех направлениях. Хотите, зайду с вами, наведу справки.

— Премного благодарен,— сказал он.— Все будет хорошо.

— Ну, тогда прощайте! — сказал водитель.

— Премного благодарен,— сказал он.— Прощайте.

Наконец-то он действительно попал на автобусную станцию. А вдруг стоит ему войти в помещение станции, и по ихним новым законам — он слыхал еще в Парчмене, что теперь, по новым законам, человек не может даже напилить досок и сбить их гвоздями, если не заплатит деньги и не получит разрешения, не может даже хлопок выращивать на своей земле, если ему государство не разрешит,— вдруг его тут же заставят сесть на первый попавшийся автобус, куда бы он ни шел. Но надо было переждать, просидеть почти всю ночь, сейчас было совсем еще рано. На эти двенадцать часов он может стать еще одним безымянным прохожим среди тех смутных, безымянных лиц, которые теснились вокруг него, без конца, без счета, торопясь под разноцветными огнями, возбужденные, веселые, бессонные. И вдруг что-то произошло. Внезапно город завертелся, закрутился, стремительно, неуловимо, головокружительно, и так же внезапно затормозил, остановился,— и он сразу понял, где и как он проведет оставшиеся двенадцать часов. Надо было только перейти улицу по сигналу светофора, подчиняясь толпе, утонуть, исчезнуть в ней, а когда перейдешь, выбраться из толпы и снова остаться одному. Вот и то место — оно называлось «Парк Конфедерации» — прорезанная дорожками и газонами площадь, точно такая, какой он помнил ее, ряд скамеек вдоль каменного парапета, где в пролетах приютились приземистые пушки времен Гражданской войны, а за парапетом — ощущение, запах реки; сюда сорок четыре, сорок пять и сорок шесть лет назад, истратив накануне половину денег в борделе и оставив вторую половину на последнюю ночь, после которой, кроме обратного билета в Джефферсон, в кармане ничего не оставалось, сюда он приходил смотреть на пароходы.

Тогда у дамбы стояли суда с названиями вроде «Стэкэр Ли», или «Красавица Озарка», или «Королева Полумесяца», прибывшие из самого Каира или Нового Орлеана; они приходили и уходили у него на глазах, а по набережной стучали запряженные мулами и лошадьми повозки, орали грузчики, а кипы хлопка, машины, обшитые досками, и всякие мешки и ящики двигались вниз и вверх по трапу, и на скамьях у парапета теснились такие же зеваки, как он. А теперь скамьи пустовали, и, даже когда он подошел поближе к каменному парапету, где стояли старые пушки, он ничего не увидел на реке, только широкую водную пустыню, только мокрый, темный холод, который шел оттуда, дышал на него с огромной пустой реки, так что пришлось сразу застегнуть бумажную куртку, надетую поверх бумажной рубахи; вокруг — ни звука, лишь неумолчный бессонный ропот города за спиной, ни движения, кроме крохотных машин, снующих вдали на мосту, ниже по реке, они спешат, их тянет в этот нестихающий гул страстей и веселья, в эту пену прилива, куда его, Минка, тоже когда-то занесло, закружило, а потом выбросило оттуда, потому что его предали, вынудили надолго уйти от всего этого. А теперь он мерз даже тут, за старой пушкой, пахнущей старым холодным железом, корчился в своей жесткой бумажной одежде, слишком новой и потому плохо прилегающей к телу, не греющей его. Скоро станет еще холоднее, хотя тут можно тихо и спокойно пересидеть оставшиеся двенадцать часов. Но он уже вспомнил другое место, оно называлось Корт-сквер, там его защитят от речной сырости высокие здания, только надо переждать немного, пускай те, что, наверно, сидят там на скамейках, захотят спать и разойдутся по домам.

Но когда он вернулся к свету и шуму, гуденье бетона, все еще не стихавшее, уже стало спадать, расплываться, как расплывается, подымаясь, дым или пар, и только где-то вверху, меж карнизов и выступов, остаются следы; случайные машины, пробегавшие мимо, еще сверка-

ли разноцветными огнями, но казалось, они убегают в ужасе, в одиночестве, от одиночества. Тут было теплее. И вскоре он пристроился: кроме него — ни души; он выбрал удобную скамейку, лег, подтянув колени под застегнутую куртку, с виду не больше ребенка, такой же заброшенный, сиротливый, как вдруг что-то твердое застучало по его подошвам, а время — много времени уже прошло, и ночь стала холодной и пустой. Рядом стоял полисмен; он узнал его даже через сорок четыре года, несмотря на все перемены и превращения.

— Опять небось из Миссисипи, черт подери,— сказал полисмен.— Слушай, где остановился? Что? Спать негде? Вокзал знаешь? Иди туда, там за пятьдесят центов дают койку. Ну, ступай! — Но он не пошевелился, сиротливый, заброшенный, это верно, но жалости он вызывал не больше, чем скорпион.— О черт, да у тебя, видно, ни гроша нет. Держи! — Полисмен вынул полдоллара.— Ну, марш! Вали отсюда! Смотри мне, я тут буду стоять, пока ты не уберешься!

— Премного благодарен,— сказал он. Полдоллара. Видно, у них теперь еще и такой закон появился. Он вспомнил, что и об этом слышал в Парчмене; называется не то пособие, не то как-то еще: то же самое правительство, которое не позволяет тебе сажать хлопок на твоей собственной земле, вдруг берется тебе помочь и выдает то тюфяк, то продукты, а то и наличными деньгами, только ты сначала должен присягнуть, что у тебя никакой собственности нет, а чтобы это доказать, надо перевести свой дом, или землю, или даже повозку с упряжкой на имя жены, или детей, или каких-нибудь родственников, которым можно доверять. И кто знает? Даже если подержанные револьверы и подорожали, как подорожало все, может, этих лишних пятидесяти центов за глаза хватит, не надо будет искать еще одного полисмена.

Однако второй полисмен сам нашелся. Вокзал был недалеко. По крайней мере он-то ничуть не изменился: та же гулкая пустота перрона, через которую он проходил, когда приезжал из Джефферсона те три раза в Мемфис — в тот первый, незабываемый приезд (он уже высчитал: в последний раз он тут был сорок четыре года назад, а в первый — еще на три доллара больше, то есть сорок семь лет назад), когда он сжимал в кулаке жалкую кучку выпрошенных горьких монет, а с ним приехал его наставник и проводник — от него он и узнал про те специальные дома в Мемфисе, где полно белых женщин и каждую можно заполучить, если у тебя есть деньги; до тех пор он только и знал бурные, случайные встречи, неукротимые, как рвота, когда он едва успевал с треском отстегнуть пуговицы, перед тем как опуститься в пыльную придорожную траву или на хлопковую стерню, где пряталась, поджидая его, немытая негритянская девчонка. Но в Мемфисе все было иначе: он и его проводник вышли на улицу, и весь город распростерся перед ними, чтобы принять их в себя, как в объятия, как в руки, и карман ему жег жалкий комок денег, которые он выжал, вымучил из случайных заработков на передвижных лесопилках, из многомесячного хождения за плугом по неумолимой чужой земле, да еще свою долю из этих денег ему каждый раз приходилось силой отнимать у отца, драться с ним за каждый никель.

На вокзале было тоже тепло и почти пусто, но на этот раз полисмен растолкал его прежде, чем он успел уснуть. Полисмен был без формы, но он и таких знавал.

— Я тебя спрашиваю, какого поезда ждешь? — спросил полисмен.

— Никакого поезда я не жду,— сказал он.

— Вот как,— сказал полисмен.— Тогда уходи отсюда. Ступай домой.— И тут же, как и тот, первый:— Тебе спать негде, что ли? Ладно, тогда иди, откуда пришел, хоть там и спать не на чем. Ступай, слышишь?

Уходи! — И когда он не двинулся с места:— Я сказал — уходи! Чего ты ждешь?

— Чтобы дали полдоллара,— сказал он.

— Чего, чего? — сказал полисмен.— Дать пол... ах ты...— И тут он отскочил, пригнувшись, чтобы его не ударили, маленький, не больше мальчишки, так что человеку такого громадного роста, как полисмен, трудно было его сразу поймать в огромном зале... Он даже не бежал, он просто пошел так быстро, что полисмен не мог его схватить, но вместе с тем не имел и никаких оснований заорать «стой», вышел с платформы на улицу, не оглядываясь, а полисмен остановился в дверях и крикнул ему вслед:— Чтоб я тебя тут больше не видал!

Теперь он ориентировался все лучше и лучше. За перекрестком был еще один вокзал, но там могло случиться то же самое; очевидно, полисмены, которые ходят в штатском, как все люди, не имеют никакого отношения к тем самым пособиям, что раздавали по новому закону. Да и ночь уже была на исходе; он это чувствовал. И он просто стал ходить тут же поблизости, потому что места были знакомые; иногда в пустынных переулках он останавливался, садился отдохнуть в парадном или за составленными у стен мусорными урнами и помойными ведрами и просыпался каждый раз, когда сон начинал одолевать его. И снова он шел, и тихий пустой город — по крайней мере этот район — принадлежал ему, и он думал с таким же изумлением, острым и отчетливым, как прежде, несмотря на столько прошедших лет: *Человек все может вытерпеть, только нельзя ему останавливаться.*

Уже настал день, но город не проснулся, город никогда не засыпал; просто не заново, а снова стали видны лица, бледные, тусклые, бессонные; веселые, возбужденные люди торопились к невероятным, к невообразимым наслаждениям. Теперь он точно знал, где он находится: на этой мостовой могли бы сохраниться следы его шагов — он тут прошел сорок четыре года назад. Впервые, с тех пор как он вышел за ворота Парчмена пять дней назад, он почувствовал себя уверенным, неуязвимым, неприкосновенным. *Теперь я хоть целый доллар могу истратить на это самое, мне ничего не будет,*— подумал он, заходя в маленькую грязную лавчонку, где несколько негров уже что-то покупали. Хозяин лавчонки тоже был негр, впрочем, может, он только обслуживал покупателей. А может, лавочка и принадлежала ему, может, по новым законам даже негры могли держать лавку, и тут он вспомнил через тридцать восемь лет еще одну вещь:

— Дайте мне печенье «Зверинец»,— сказал он. Теперь он уже был в безопасности, неуязвимый, неприступный.— Небось оно тоже подскочило центов на десять-пятнадцать, а? — сказал он, глядя на картонную коробку, пеструю, как цирковой балаган, и разрисованную зверями, как герб.

— Десять центов,— сказал негр.

— На десять центов дороже? — спросил он.

— Просто десять центов,— сказал негр.— Берете или нет?

— Дайте мне пару,— сказал он. И снова он пошел по улицам, и уже по-настоящему светило солнце, и он влился в торопливую толпу, грызя пахнущих ванилью мелких зверушек; времени было достаточно, потому что ему не только ничего не грозило, но он точно знал, где он находится; ему достаточно было обернуться (но он не обернулся) — и он увидал бы ту самую улицу, тот самый дом (он, конечно, не знал, да и не узнал бы, если бы увидел свою младшую дочку, которая теперь содержала этот дом), куда он вошел со своим наставником в ту ночь сорок семь лет назад и где ждали сияющие плечи женщин, не только сложенных,

как Елена, и Ева, и Лилит, не только делавших то же, что и Елена, Ева и Лилит, но и белокожих, как они,— тот дом, где он в постели продажной женщины сказал «нет» не только всем тяжким, диким годам своей тяжкой, пустой жизни, но и самой смерти.

Окошко осталось таким же: то же немытое стекло за проволочной решеткой, где лежали те же потрепанные банджо, вычурные часы и лотки со стеклянными украшениями.

— Мне надо купить револьвер,— сказал он стоявшим за прилавком мужчинам с синеватыми, как у пиратов, подбородками.

— А разрешение есть? — спросил первый.

— Разрешение? — сказал он.— Да мне только надо купить револьвер. Мне еще раньше говорили, что тут продаются револьверы. Деньги у меня есть.

— Кто вам сказал, что тут продаются револьверы? — спросил первый.

— Да, может, он вовсе не хочет покупать, может, он из заклада выкупить хочет,— сказал второй.

— А-а,— сказал первый,— это дело другое. Какой револьвер хотите выкупить, папаша?

— Как это? — спросил он.

— Сколько при вас денег? — спросил первый. Минк достал газетный сверток из нагрудного кармана, вынул бумажку в десять долларов, развернул ее.— И это все, что у вас есть?

— Вы мне сначала револьвер покажите,— сказал он.

— За десять долларов вам его не купить, дедушка,— сказал первый.— Поройтесь-ка в других карманах.

— Погоди,— сказал второй.— Может, тот, что он хочет выкупить, лежит в моем личном запасе...— Он нагнулся и пошарил под прилавком.

— Это мысль,— сказал первый.— Ежели для него что найдется в твоем личном запасе, ему и разрешение не понадобится.— Второй вынул из-под прилавка и положил перед собой какой-то предмет.

Минк спокойно посмотрел на этот предмет.

— Похоже на ящерку,— сказал он. И верно: курносый, со срезанным дулом, раздутым барабаном, весь заржавленный, с кривой рукояткой и плоским, как рыльце, курком, он действительно был похож на окаменелые останки какой-то мелкой допотопной ящерицы.

— Какие глупости! — сказал первый.— Да это же настоящий специальный бульдог для сыщиков, сорок первого калибра, лучшей самозащиты вам и не найти. Вам же он нужен для самозащиты, верно? Потому что если он вам для чего другого нужен, если вы хотите взять его с собой в Арканзас и там из него стрелять людей, грабить, так закон этого не потерпит. За это даже в Арканзасе в тюрьму сажают. Даже там у вас, в Миссисипи, это не разрешается.

— Вот именно,—сказал Минк.— Мне для самозащиты.— Он положил десятку на прилавок, взял револьвер, взвел курок и посмотрел дуло на свет.— А грязи в нем сколько! — сказал он.

— А как же вы тогда насквозь видите? — сказал первый.— Что, по-вашему, пуля сорок первого калибра не пройдет через дырку, когда в нее насквозь видать? — Минк опустил револьвер. И уже стал его закрывать, когда вдруг увидел, что десятка исчезла.

— Погодите! — сказал он.

— Пожалуйста, пожалуйста! — сказал первый, кладя десятку обратно на прилавок.— Отдайте револьвер. Даже такой мы вам за какую-то десятку отдать не можем.

— А сколько вам надо?

— А сколько у вас есть?

— У меня три доллара осталось. А мне еще надо домой попасть, в Джефферсон.

— Ясно, ему надо домой,— сказал второй.— Отдай ему за одиннадцать. Разве мы грабители?

— Он не заряжен,— сказал Минк.

— За углом на главной улице есть лавка, там вам продадут сколько угодно патронов сорок первого калибра, по четыре доллара коробка,— сказал первый.

— Нет у меня четырех долларов,— сказал он.— У меня всего два и останется. А мне еще надо домой...

— А зачем ему полная коробка для самозащиты? — сказал второй.— Ну, так и быть. Уступлю вам пару патронов из своего личного запаса, всего за доллар.

— Мне нужен хоть один лишний патрон для проверки,— сказал он.— Разве что дадите гарантию.

— А разве мы вас просим дать гарантию, что вы никого не ограбите, не пристрелите? — сказал первый.

— Ну, ладно, ладно, надо же ему проверить,— сказал второй.— Дай ему еще патрон за... Дадите еще четверть доллара? Патроны для сорок первого калибра вообще достать невозможно, сами понимаете.

— Может, уступите за десять центов? — сказал он.— Мне домой надо попасть.

— Ладно, ладно,— сказал второй.— Отдай ему револьвер и три патрона за двенадцать долларов и десять центов. Надо же ему попасть домой. Мерзавец тот, кто хочет ограбить человека, которому надо попасть домой.

Теперь все было в порядке, он вышел на улицу, разморенную ярким солнцем ранней осени, в неспящий, распаленный страстью город. Теперь все было в порядке. Ему оставалось только добраться до Джефферсона, всего каких-нибудь восемьдесят миль.

13

Когда Чарльз Маллисон вернулся домой в сентябре 1945 года, в Джефферсоне уже сидел новый Сноупс. Их самолет сбили («Чего и надо было ожидать»,— всегда добавлял Чарльз, рассказывая, как это случилось), но никакой катастрофы не произошло. Пилотом был Плексиглас. Плекс. На самом деле его звали Гарольд Баддрингтон, но он был помешан на целлофане, который называл плексигласом, у него это доходило до мании; при одной мысли, даже при одном виде новой пачки сигарет, новой рубашки, которые теперь продавались запечатанные в невидимую, непроницаемую оболочку, он впадал в такое же безудержное, истерическое неистовство, в какое, Чарльз сам это видел, впадали при одном упоминании о немцах или японцах многие штатские, особенно те, кому было за пятьдесят. Он, Плекс, придумал свою систему — как победить в этой войне при помощи целлофана: вместо бомб самолеты 17 и 24, а также британские «бленхеймы» и «ланкастеры» должны были сбрасывать запечатанные в целлофан пачки табаку, пакеты нового белья и одежды, и пока немцы будут строиться в очередь, их можно будет безнаказанно бомбить, а еще лучше скопом брать в плен при помощи парашютных десантов.

Выбрасываться с парашютами их экипажу не пришлось: Плекс блестя-

ще посадил машину на одном моторе. Беда была в том, что для посадки он выбрал деревушку, которую немецкий патруль уже наметил в это утро для освоения на практике нового способа оккупации, для каковой операции они только что получили соответствующие директивы, так что, не успев опомниться, весь экипаж самолета очутился в лагере для военнопленных в Лимбурге, причем тут же выяснилось, что это самое опасное место из всех мест, где им пришлось воевать: лагерь находился рядом с той самой узловой станцией железной дороги, которую англичане регулярно бомбили каждую среду вечером с высоты не более тридцати-сорока футов. Шесть дней они следили, как дни на календаре неуклонно подползали к среде, когда с хронометрической точностью начинался рев моторов, грохот взрывов и воздух пронизывали лучи прожекторов, пулеметные очереди и визжащие осколки зенитных снарядов; весь барак прятался под койки, подо что угодно, лишь бы отгородить себя хоть дюймом чего-нибудь твердого, и у всех было бешеное желание, потребность, необходимость выскочить наружу и, дико размахивая руками, орать прямо в пекло, бушевавшее над головой: «Эй, ребята! Побойтесь бога! Это мы! Мы!» Если бы это была кинокартина или роман, а не просто война, говорил Чарльз, они обязательно удрали бы из лагеря. Но сам он никогда не встречал ни одного человека, который действительно убежал бы из настоящего, подлинного сталага, так что ему пришлось дожидаться обычного стандартного освобождения, после чего он вернулся домой и застал там, в Джефферсоне, еще одного, нового Сноупса.

Но все же они, джефферсонцы, не сдавались. Именно в то лето 1945 года, когда Джефферсон заполучил нового Сноупса, Рэтлиф изничтожил Кларенса. Нет, Рэтлиф его не подстрелил, ничего подобного: он просто изничтожил Кларенса, зачеркнул его как действующий фактор в том, что дядя Чарльза, Гэвин, называл «наш постоянный сноупсихоз и сноупсобоязнь». Случилось это во время предвыборной кампании, перед августовским выдвижением кандидатов. Чарльз только через месяц вернулся домой, и его дядя Гэвин, собственно говоря, тоже не присутствовал на пикнике, где все это фактически произошло, где Кларенс Сноупс фактически провалился на выборах в конгресс, хотя эти выборы, в которых принимала участие вся страна, должны были состояться только в будущем году. Чарльз имел в виду именно этот случай, говоря, что Рэтлиф изничтожил Кларенса. Он сидел в кабинете своего дяди, и на этот раз сам Гэвин припер Рэтлифа к стенке и стал его допрашивать:

— Ну, хорошо. Теперь расскажите точно, что именно произошло в тот день?

Сенатора Кларенса Эгглстоуна Сноупса называл просто «Клансом» каждый свободный белый йокнапатофский американец, чьим правом и обязанностью было пойти на выборы и поставить крестик там, где ему велит старик Билл Уорнер; он звался просто сенатор Кларенс Сноупс те первые несколько лет, когда старик Уорнер назначил или откомандировал — словом, каким-то образом перевел его в верхнюю палату конгресса штата в городе Джексоне; там сенатор уже стал обрастать жирком (был он высокий, неуклюжий мальчишка, потом юнец, в меру решительный и даже подвижный, несмотря на некоторую неуклюжесть, а потом от сидячей умственной жизни, которую пришлось вести в качестве избранного народом отца, наставника и защитника интересов Йокнапатофского округа, у него побагровел нос, отвисли щеки и раздулся живот), как вдруг в июльский день, в середине двадцатых годов, когда ни на одном жителе Джефферсона и всего йокнапатофского округа моложе шестидесяти лет не было пиджака, Кларенс появился на площади в белоснеж-

ном полотняном костюме при черном галстуке бабочкой, и в те же дни. может быть, до или сразу после этого появления, люди с изумлением заметили, что он подписывается «сенатор К. Э. Сноупс», и дядя Чарльза, Гэвин, спросил:

— А откуда у него взялось еще и «Э» оборотное? — и Рэтлиф объяснил:

— Может, он его подобрал вместе с этим самым белым свадебным костюмчиком, когда проезжал Мемфис по дороге на службу в Джексон. А почему бы и нет? Разве даже у выборного законного сенатора нет тех же личных прав, какие есть у любого свободного избирателя?

Но Чарльз считал, что уже тогда Кларенс всех их несколько сбил с толку, как боксер, который измотал противника, но еще ни разу не ударил как следует. Так что все избиратели кротко и покорно приняли известие, что их собственный личный Цинциннат уже зовется сенатор Эгглстоун Сноупс; дядя Гэвин только спросил:

— Эгглстоун? Почему именно Эгглстоун? — а Рэтлиф только ответил:

— А почему бы и нет? — и тогда дядя Гэвин тоже сказал:

— Верно, почему бы и нет? — Так что, в сущности, никто и не заметил, когда инициал «К» вернулся — теперь он стал сенатор К. Эгглстоун Сноупс, и у него определенно вырос животик, набрякли мешки под глазами, и нижняя губа отвисла от речей, от ораторского искусства. Потому что Кларенс теперь произносил речи когда угодно, где угодно, на собраниях акционеров, в женских клубах, в любом месте, по любому случаю, лишь бы публика не могла разойтись; Чарльз все еще был в немецком лагере для военнопленных, когда его дядя Гэвин и Рэтлиф уже поняли, что Кларенс собирается выставить свою кандидатуру в конгресс в Вашингтон и что старый Билл Уорнер, вполне возможно, добьется, чтобы выбрали именно его — того самого Кларенса Сноупса, который медленно, но верно делал карьеру — сначала занимал пост полисмена, лично и тайно охранявшего Уорнера на его личном собственном втором участке, затем стал старшим констеблем района, потом был выбран представителем округа в Джексоне, благодаря умению старого Билла применять в самых широких масштабах ростовщический шантаж, и наконец теперь, в 1945 году, при поддержке и взаимном сговоре всех Уорнеров избирательного округа, при помощи подтасовки голосов был выдвинут в самую палату представителей в Вашингтоне, где, попав в лапы не какого-нибудь Билла Уорнера местного или окружного значения, а в лапы Билла Уорнера общенационального или даже интернационального масштаба, он мог бы наделать бог знает что, если только кто-нибудь, как-нибудь заранее не примет какие-то меры. Так было до того знаменательного дня в июле, во время ежегодного пикника на мельнице Уорнера, когда по обычаю и традиции в предвыборную кампанию включались не только местные кандидаты на городские и окружные должности, но и кандидаты на должности в административных учреждениях штата или даже всей страны, например, такие люди, как Кларенс, хотя сами выборы должны были состояться только в будущем году. И вот тут Кларенс даже не выступил с ораторской трибуны, чтобы объявить о своей кандидатуре, словом, исчез с глаз еще до того, как был подан обед. И на следующий день по всей округе пошел слух, что Кларенс не только решил не выставлять свою кандидатуру в конгресс, но и вообще собрался навсегда удалиться с политической арены, как только его срок в местном сенате истечет.

Но дядя Гэвин больше всего интересовался не тем, что случилось с Кларенсом, а тем, что же стряслось со стариком Биллом Уорнером.

Ведь для того чтобы вышибить Кларенса из состязания за место в конгрессе, надо было ударить не по Кларенсу, а по старому Биллу; в сущности, Кларенса даже не стоило трогать. Никто по-настоящему и не обращал внимания на Кларенса, так же как не обращаешь внимания на динамитную шашку, пока к ней не прилажен запал; а без запала Кларенс вообще был просто кучкой опилок и грязной бумаги, которая и гореть-то как следует не станет, даже если ее поджечь. Конечно, он и сам был достаточно лишен совести и всяких моральных устоев, но без той руки, без того мозга, которые его направляли, вели и отпускали ему грехи, Кларенс мог бы стать чьей угодно игрушкой, потому что сам он обладал только слепым инстинктом садизма и мошенничества и был опасен только тому, над кем у него было моральное и умственное превосходство, а из всего населения земного шара таким человеком мог быть только другой Сноупс, да и во всей сноупсовской породе нашелся только один такой. В данном случае таким оказался младший брат Кларенса — Дорис, оболтус лет семнадцати, похожий на Кларенса не только ростом и видом, но и умственной отсталостью, при моральных устоях гиены, с той единственной разницей, что Дориса пока еще не выбрали в законодательные органы штата. Давно, в конце двадцатых годов, Байрон Сноупс, который ограбил банк полковника Сарториса и удрал в Техас, прислал наложенным платежом четырех ребят полусноупсов, полуиндейцев — апашей,— и Кларенс, проводивший лето дома меж двух сессий, избрал их мишенью для всяких шуток и издевательств. Но, занимая пост сенатора штата, Кларенс должен был поддерживать свой престиж не ради своих избирателей, конечно, а потому, что он отлично знал, что со стариком Уорнером шутки плохи, и не дай бог никому задеть его amour-propre *. Так что Кларенс только придумывал шутки, а выполнял их его брат Дорис, пока четверо маленьких индейцев не подкараулили Дориса на нейтральной почве: они поймали его, связали, положили на кучу хвороста в лесу и даже успели зажечь костер, когда кто-то услыхал вопли Дориса и спас его в последнюю минуту.

Но самому Кларенсу тогда было под тридцать, и он уже занимал место сенатора штата; его карьера началась задолго до того — когда ему было 18—19,— в лавке Уорнера, где он командовал (он был высокий, сильный и, по словам Рэтлифа, любил драться, если только противник уступал ему в росте) бандой родственников и подхалимов, и все они дрались, резались в карты, пьянствовали, избивали негров, наводили ужас на женщин и молодых девушек во всей Французовой Балке, а потом (как рассказывал Рэтлиф) старого Уорнера это стало так раздражать и сердить, что он прекратил общественную деятельность Кларенса, приказав мировому судье назначить его своим личным констеблем. Вот тогда вся жизнь Кларенса, все его существование, его судьба наконец определились, как определяется судьба фейерверка, когда к нему подносят спичку.

Однако его продвижение пошло вовсе не так быстро, во всяком случае не сразу. А может быть, он сам не сразу вник, не сразу понял, какая его ждет карьера. Сначала он только осматривался, ориентировался, разбирался — где же это он очутился; и только потом с некоторым недоверчивым изумлением разглядел открывшуюся перед ним дорогу. Сначала он только удивился, а потом пришел в восторг от безграничных перспектив, о которых ему никто раньше не говорил. И сперва он даже повел себя вполне пристойно. Сперва все думали, что если он раньше

---

* Самолюбие *(франц.)*

держался так нагло, опираясь только на свою беззаконную банду, то уже теперь, при поддержке неоспоримого величия закона в лице самого Билла Уорнера, он совсем распоясается. Но он всех обманул. Вместо этого он стал оплотом и защитником гражданских прав и общественного спокойствия во Французовой Балке. Но, разумеется, первые же негры, с которыми он столкнулся при исполнении служебных обязанностей, жестоко поплатились. Хотя теперь даже в жестоком обращении с неграми чувствовалось какое-то равнодушие. Раньше, до его вознесения, до его канонизации он и его шайка избивали негров из принципа. Не в наказание за какой-нибудь проступок и даже, по словам дяди Гэвина, не за то, что они принадлежали к чуждой им расе, не похожей на них и поэтому враждебной им per se* (причем дядя Гэвин говорил, что и сам Кларенс и вся его шайка не знали этого, потому что не смели себе в этом сознаться), но из страха перед этой расой. Они боялись ее не потому, что она была черная, а потому что они сами, белые люди, превратили этих черных людей в угрозу своему расточительному, неразумному способу хозяйствовать; сами белые заставили черных научиться, как использовать лучше и умнее всякую малость, все худшее, если черный хотел выжить в окружении белых,— научиться лучше обрабатывать землю самыми несовершенными орудиями, которых к тому же не хватало, обходиться и довольствоваться самыми примитивными жизненными удобствами, беречь и не растрачивать ничего, что помогает выжить. Но теперь Кларенс относился к неграм иначе. Теперь, когда он избивал негра дубинкой или рукояткой пистолета, который был ему официально положен, он делал это с каким-то хладнокровием, будто перед ним была не черная кожа и даже не живое человеческое тело; просто власть закона над этим человеком Кларенс использовал для проверки, для подтверждения, для того, чтобы еще и еще раз доказать себе, может быть даже поддержать в себе уверенность в том, насколько велики его официальные права и его законная неприкосновенность и насколько он все еще силен физически, несмотря на неизбежный ход времени.

Да и не всегда это были негры. Собственно говоря, первой жертвой новой власти Кларенса был его адъютант, вместе с ним командовавший той старой шайкой; пожалуй, Кларенс даже проявил на этот раз еще большую жестокость, потому что тот пытался сыграть на их прежних взаимоотношениях, на прошлом; казалось, Кларенс потому затратил столько усилий, что хотел придать проявлениям своей прежней, естественной, инстинктивной жестокости и трусости вид неподкупности и честности и заплатил он за эту маску неподкупности и честности такой дорогой ценой, что теперь должен был охранять ее изо всех сил, во что бы то ни стало. Словом, он очень изменился, и дядя Чарльза говорил: так же как прежде, до того как на Кларенса снизошла благодать, все считали, что он неисправим, так и теперь все сразу поверили, что его новый облик останется неизменным навсегда, до конца его жизни. Они все еще верили, даже узнав (и это были не пустые слухи — Кларенс бахвалился, хвастался этим сам). что Кларенс стал членом ку-клукс-клана, когда эта организация появилась в наших местах (у нас она не привилась и просуществовала недолго, да и вообще все считали, что если бы не Кларенс, ее бы и вовсе не было), но клан принял его, потому что нуждался в нем, или во всяком случае мог его использовать, или, как говорил дядя Гэвин, потому что не было таких сил на земле, которые могли бы удержать его от вступления в клан, потому что он был

---

* Сама по себе *(лат.)*.

создан для клана, как клан был создан для него. Он вступил туда прежде, чем стал констеблем во Французовой Балке; это было, так сказать, его первым девственным дебютом в общественной жизни, первым рыцарским посвящением и общественным признанием, пока еще сравнительно безобидным, потому что даже такая организация, как ку-клукс-клан, понимала, что очень рассчитывать на Кларенса все же не стоит; он оставался для них просто послушным орудием, мускульной силой, тем, что потом стали называть вышибалой,— до тех пор, пока старик Уорнер в приступе раздражения или недовольства не сделал его старшим констеблем, после чего примерно через год пошли слухи, что он стал одним из членов их совета, «клаверна», или как они его там называли, а еще через два года стал самым главным местным «драконом» или «орлом» клана *: старый Уорнер назначил его стражем общественного спокойствия, а он сам провозгласил себя также арбитром общественной морали.

Очевидно, тогда же он по-настоящему увидел те широкие и блестящие перспективы, какие открыла ему судьба, и с удивлением и недоверием смотрел он на эти, казалось, неограниченные возможности и — кто знает? — может быть, робел при мысли, что он признан достойным, избран для того, чтобы неограниченно проявлять на этом поприще свои способности и таланты, свое умение не только избивать людей до бесчувствия, до полного подчинения, но и заставлять их работать на себя; не только расходовать этих людей, как патроны, или пожирать их, как свиней или овец, но использовать их для работы, как мулов или быков, непрестанно, из года в год, прокладывая с их помощью все новые борозды; использовать не только их умение поставить в избирательном бюллетене свою подпись-крестик — там, где велит старый Билл Уорнер,— но и воспользоваться их скупостью, их жадностью, их вечной боязнью, использовать все это так умело, словно сам Кларенс всю жизнь был политиканом, а не просто сельским констеблем, да и то лишь в последние годы. И, как говорил дядя Чарльза, руководил им простейший безошибочный инстинкт, а не какой-нибудь наставник или чей-то пример. Ведь все это происходило задолго до того, как Хью Лонг поднялся на ту высоту, когда смог показать их земляку Бильбо, сенатору от штата Миссисипи, что может натворить человек с малой толикой денег и дерзости и без всяких сдерживающих центров.

Так что когда Кларенс выставил свою кандидатуру в законодательные органы штата, они — то есть весь округ — знали, что политической платформой ему будет служить имя дядюшки Билла Уорнера. В сущности, все сразу решили, что мысль о кандидатуре пришла в голову не Кларенсу, а дядюшке Биллу, что раздражение дядюшки Билла дошло до той степени, когда надо было бы вообще убрать Кларенса с глаз долой. Но оказалось, что все ошиблись. У Кларенса была своя политическая платформа. И тут наступил момент, когда некоторые люди, как, например, Рэтлиф, и дядя Чарльза, и некоторые мальчишки вроде самого Чарльза (ему тогда было всего лет восемь-девять), которые их слушались (или, как Чарльз, должны были слушаться), поняли, что надо остерегаться Кларенса — бойся и трепещи! Платформа у него была своя собственная. На такую платформу мог встать только человек аморальный и предельно наглый, потому что этим он изменял своим избирателям; то ничтожное количество голосов, которое решило исход выборов в его пользу, он набрал среди людей, не только не подчиненных самодержавной власти Билла Уорнера, но тех, кто при других условиях охот-

---

* Руководители местной организации ку-клукс-клана.

нее голосовали бы за любого жителя земного шара, чем за него; но он выступил против ку-клукс-клана. Он сам был их главным местным «орлом», «драконом» — словом, как у них там называлось их начальство,— до той минуты, как выставил свою кандидатуру, во всяком случае так все считали. И вдруг он стал смертельным врагом ку-клукс-клана и вообще занимался предвыборной кампанией как бы мимоходом, ибо его главной миссией было уничтожить эту гидру; и он победил на выборах благодаря тем немногим избирателям в Джефферсоне, которые вдруг подали голос за него — это были учителя, молодые врачи и адвокаты, женщины — словом, те начитанные и наивные либералы, которые верили, что порядочность и честность и личная свобода победят, потому что сами они были людьми порядочными и честными; но у них не было никакого единодушия в политических убеждениях, пока Кларенс их не объединил, они даже не всегда голосовали; и вдруг у них появился защитник от того, чего они боялись, что ненавидели. И Кларенс явился в Джексон не просто удачливым кандидатом, избранным на политическую должность, но как признанный паладин и защитник добра, и вошел он под сень законодательных органов (как говорил дядя Чарльза) в ореоле Белого Рыцаря чистоты и невинности, провожаемый растерянными и перепуганными взглядами своих бывших соратников, от которых он явно откололся и отрекся. И он действительно уничтожил ку-клукс-клан в Йокнапатофском округе, и один из ветеранов клана высказался так: «Раз мы не смогли побить на выборах какую-то жалкую кучку дрянных учителей, редакторов и всяких директоров воскресных школ, какого же черта теперь надеяться, что мы сможем одолеть целые нации — всяких там негров, католиков и евреев?»

В общем, Кларенса выбрали. Попал в яблочко, как говорили сверстники Чарльза. Два года до следующих выборов он мог спокойно осматриваться, выискивать, куда ступить дальше, как альпинист, повисший на выступе скалы. Это дядя Чарльза так определил: как высокогорный альпинист. Но альпинист поднимается на гору не только для того, чтобы добраться до вершины. Он будет упорно лезть, даже зная, что туда не добраться. Он карабкается в гору ради единственной тихой радости, ради удовлетворения сознавать, что единственное, что стоит между ним и гибелью — это его личная выдержка, воля и мужество. А Кларенс даже не сознавал, что лезет в гору, потому что ему некуда было падать, его можно было только спихнуть оттуда; и неизвестно, хватит ли у кого-нибудь силы и ловкости спихнуть Кларенса Сноупса откуда бы то ни было.

Так что сначала у всех в округе создалось впечатление, что Кларенс просто притих, изучая и запоминая правила новой игры. Никто не знал, что он главным образом учился использовать каждый удобный случай, как только он подвернется. И он все выжидал такого случая, даже когда начал выступать, говорить речи на заседаниях, все еще в роли Белого Рыцаря, истребившего фанатизм и нетерпимость в Йокнапатофском округе, как считали те наивные идеалисты, чьи голоса, хоть и в малом количестве, перевесили на выборах и помогли пройти Кларенсу, несмотря на то, что весь остальной округ уже давно понял, что Кларенс всегда исповедовал ненависть к неграм, католикам и евреям — то есть доктрину той самой организации, на изничтожении которой он сделал себе карьеру: когда появились Серебряные Рубашки, Кларенс один из первых в штате Миссисипи вступил туда, и вступил не потому, как говорил дядя Чарльза, что разделял установки этих Серебряных Рубашек, а, должно быть, потому, что просто решил: эта организация будет куда прочнее, чем чисто местный клан, уничтоженный с его по-

мощью. Вообще к этому времени его курс стал ясен: вступать куда угодно, в любое общество, в любую организацию, которой он может помыкать, командовать, управлять, разжигая религиозные или патриотические чувства или обыкновенную жадность, алчное желание урвать кусок политического пирога; с самого рождения он принадлежал к баптистской церкви во Французовой Балке; теперь он ходил в ту же церковь в Джексоне, где его дважды переизбирали, преподавал в церковной школе; в то же лето по округу пошел слух, что он решил на время отказаться от своего поста в законодательных органах штата, чтобы прослужить в армии или на флоте ровно столько, сколько необходимо, чтобы быть потом принятым в Американский Легион.

Кларенс попал в яблочко. Он сделал карьеру. Чарльз чуть не сказал про него, что он «разделил» весь округ, но слово «разделил» подразумевает хоть какое-то равновесие, хотя бы неустойчивое, даже если одна чаша весов безусловно легче и неуклонно лезет кверху. Но если уж говорить о Кларенсе и нашем округе, то более легкая чаша весов не то что поднималась кверху, она просто взлетела куда-то в безвоздушное пространство, и оттуда кто-то пытался воззвать гласом вопиющего в пустыне. Кларенс просто-напросто заглотал весь наш округ целиком, с потрохами, как глотают пищу сычи и киты, а потом выплюнул туда, на эту верхнюю чашу весов, все непереваренные остатки, кожу и кости — то есть ту кучку обреченных неудачников, начитанных, либеральных, плохо оплачиваемых работников умственного труда, которые голосовали за него, потому что считали, что это он уничтожил ку-клукс-клан; к ним надо добавить еще меньшую кучку таких идеалистов, как дядя Гэвин и Рэтлиф, которые тоже голосовали в тот раз за Кларенса, как за меньшее зло, так как он выступил против ку-клукс-клана; они-то и были обречены на еще большую неудачу: если школьные учителя, и преподаватели музыки, и все другие наивные интеллигенты, учившие наизусть речи президента Рузвельта, каждый раз заново верили, что честность, справедливость и порядочность возьмут верх, потому что сами они — люди честные, справедливые и порядочные, то ни дядя Гэвин, ни Рэтлиф никогда в это не верили и верить не могли.

Но Кларенс их не тронул. Их было слишком мало. Их было настолько мало, что он мог из года в год посылать им всем поздравительные открытки массового производства — по слухам, открытки ему подносила фирма, которой он ежегодно помогал получать контракт на поставку жестянок для автомобильных номеров. Что же касается остальных избирателей, то они только дожидались, чтобы Кларенс им указал, где поставить крестик и тем самым избрать его на любой пост, какой ему будет угодно, вплоть до самого высокого поста в штате, к которому, по мнению всего округа (включая и кучку идеалистов типа дяди Гевина), он стремился: поста губернатора штата. Хью Лонг уже маячил на горизонте, как образец для каждого политикана штата Миссисипи, и всему округу казалось вполне естественным, что их собственный кандидат тоже может последовать его примеру; и даже когда Кларенс подхватил боевой лозунг Хью Лонга: «Жми деньгу из богачей», как будто он сам, Кларенс, это придумал, даже тогда дядя Гэвин и Рэтлиф еще верили, что Кларенс целит не выше, чем в губернаторский особняк. И хотя в те годы — 1930 — 1935 — в Миссисипи «жать деньгу» было, в сущности, не из кого, ввиду отсутствия настоящих богачей — так как ни сколько-нибудь значительной промышленности, ни нефти, ни природного газа там еще не добывали,— но одна мысль, что можно у кого-то отнять то, чего у тебя нет, а у него есть, причем он этого явно не заслуживает, потому что он ничуть не умнее, не трудолюбивее, чем ты, а просто ему больше

повезло,— эта мысль доходила до глубины избирательского сознания каждого издольщика, каждого арендатора не только в Йокнапатофском округе, но и во всем штате Миссисипи; Кларенса могли избрать губернатором Миссисипи, даже если бы он выдвинул лозунг — жать деньгу из богачей где-нибудь в Луизиане, Алабаме, Мейне или Орегоне.

Так что эту крошечную ячейку неисправимых пуристов, состоявшую из дяди Гэвина и Рэтлифа, не так поразил слух, будто Кларенс одно время собирался стать во главе Американского Легиона в Миссисипи, как то, что они узнали три года назад (сам Чарльз в это время отсутствовал: он уже отбыл из нашего округа и проходил предварительное обучение для последующего десятимесячного стажа в немецком лагере для военнопленных), будто бы самая мощная политическая фракция штата, та фракция, которая с уверенностью могла провести своего кандидата в губернаторы, предложила Кларенсу выставить свою кандидатуру на пост вице-губернатора и что Кларенс отказался. Никаких объяснений он не дал, но это и не было нужно, так как теперь уже весь округ — не только маленькая группка дяди Гэвина, но и все избиратели — понял, какую цель наметил себе Кларенс: Вашингтон, конгресс. Это потрясло только тех, кто был в положении обитателей катакомб, расположенных около бестиария *,— для всех остальных это был триумф и восторг: тот, кто, цепляясь за фалды Кларенса, подъехал к правительственной кормушке в Джексоне (сравнительно небольшой), уже видел ясный путь к огромной, неисчерпаемой кормушке в Вашингтоне.

Но дядю Гэвина и Рэтлифа это не просто потрясло и поразило, это их напугало, привело в ужас перед тем человеком, который использовал ку-клукс-клан для своих целей, а потом использовал их собственную наивность, чтобы изничтожить ку-клукс-клан, когда он ему стал не нужен, перед человеком, который использует баптистскую церковь, пока она ему служит, использовал и ВПА, и НРА, и ААА, и ССС **, и все другие организации, созданные теми, кто мечтал или надеялся избавить людей от страданий, а если уж во время потрясений и катастроф страдания неизбежны, то пусть по крайней мере все страдают одинаково; перед человеком, который то был за организацию, то против нее, смотря по тому, куда дул политический ветер,— так, он в конце тридцатых годов выступал против партии, породившей его, а теперь под сводами, еще сохранившими отзвук выступлений знаменитых государственных деятелей и гуманистов, гремел его голос, полный расовой, экономической и религиозной нетерпимости (раньше самым сильным пунктом в его политическом кредо было нападение на богачей, теперь громче всего звучал страх перед организованными рабочими массами), и ничто не могло стать поперек его пути в конгресс, кроме этой ничтожной горсточки наивных людей, все еще веривших, что зло может быть уничтожено просто потому, что оно — зло, людей, которых Кларенс настолько не боялся, что до сих пор посылал им дешевые поздравительные открытки к рождеству.

— Но этих людей слишком мало,— сказал дядя Чарльза,— они всегда играют слишком малую роль в жизни страны. Даже если бы их стало в десять тысяч раз больше, все равно он бы их опять одурачил.

— Возможно,— сказал Рэтлиф (это передал Чарльзу его дядя Гэвин, рассказывая ему обо всем, что произошло до его возвращения домой в сентябре, когда все уже было кончено и Кларенс, так или ина-

---

* Помещение, где держали диких зверей, натравливаемых на христиан — жителей катакомб.

** Сокращенные названия американских учреждений.

че, был побит и вынужден снять свою кандидатуру после того случая на пикнике у старого Билла Уорнера, в июле, а разговор между дядей Гэвином и Рэтлифом происходил до того, еще в апреле).— Нам нужно было бы вернуть сюда нашу молодежь, хотя бы на два-три дня, лишь бы это было до семнадцатого августа будущего года*. Безобразие, что люди затеяли эту войну и призвали всех молодых избирателей, не подумав, что нам нужно их задержать хотя бы для того, чтобы не допустить Кларенса Сноупса в конгресс.

— Вам нужно? — переспросил дядя Гэвин.— Кому это вам?

— Вы как будто сейчас сказали, что старикам вроде нас с вами никак не справиться с Кларенсом, мол, нам только и остается сидеть сложа руки и сокрушаться.

— Да, не справиться,— сказал дядя Гэвин.— Нас, конечно, не так мало. Люди нашего с вами возраста и поколения проделали немалую работу — добивались того хорошего, что у нас есть сейчас. Но теперь наше время ушло, теперь мы уже ничего не можем, а то и побаиваемся снова во все вмешиваться. Вернее, не боимся, а стесняемся. Нет, ничего мы не боимся: просто мы слишком постарели. Видно, мы устали, настолько устали, что уже не боимся ничего, даже проигрыша. Только ненавидеть зло сейчас мало. Вы — а может, кто-то другой — должны с этим злом бороться. Видно, теперь это придется делать кому-то другому, но даже если японцы сдадутся до августовских выборов, домой вернется слишком мало этих «других». А мы уже ничего поделать не можем.

— Пожалуй,— сказал Рэтлиф. И дядя Гэвин был прав. А может быть, и Рэтлиф тоже был прав. Первым бросил вызов Кларенсу и выступил против него на выборах один из тех «других», про которых говорил дядя Гэвин,— человек с дальней окраины штата, немногим старше Чарльза, только, как сказал сам Чарльз, много храбрее. Его кандидатура в конгресс была выставлена еще раньше, чем кандидатура Кларенса. Выборы были назначены на будущий, 1946, год, и времени оставалось достаточно. Но Кларенс так поступал всегда: он дожидался, пока другой кандидат или другие кандидаты заявят, или сообщат, или хотя бы намекнут, какая у них политическая платформа. И Кларенс показал Йокнапатофскому округу, почему он так делал: выступая самым последним, он и не должен был выдумывать для себя политическую платформу, потому что к тому времени его главный и самый опасный конкурент уже снабдил его такой платформой. А теперь вышло так, что Кларенс воспользовался положением этого человека, использовал его мужество как оружие против него самого.

Звали этого человека Деврис, в нашем округе о нем ничего не знали до 1941 года. Но с тех пор слыхали много. В 1940 году он был первым в Резервном офицерском корпусе своего университетского выпуска, окончил университет, получил офицерский чин и в новом, 1942, году уже был за океаном; в 1943, когда его вернули в Соединенные Штаты, чтобы он «создавал атмосферу» в кампании по подписке на заем, он уже был майор, и (так говорил Чарльз) орденских ленточек на нем было столько, что из них можно было бы сделать длинный галстук; он получил эти ленточки, командуя негритянской пехотой: назначен он был в части, сформированные из негров, по решению какого-то меднолобого теоретика в отделе личного состава, решившего, что раз он южанин, значит, он несомненно «понимает» негров; и (как предполагал Чарльз) он несомненно блестяще командовал своим полком по той же причине: будучи южанином, он отлично знал, что ни один белый никогда не понимал

---

* День выборов.

негров и не будет их понимать, если он, белый, будет видеть в негре сначала негра и только потом — человека, потому что непроницаемая стена, разделяющая их,— это единственная защита черного человека, за которой он прячется, чтобы выжить. Возможно, что распространять заем Деврис не умел; во всяком случае, он, очевидно, никаких усилий к этому не прилагал. И, по словам окружающих, не успела семья обрадоваться его приезду, как он снова уехал на фронт, и в третий раз он вернулся домой заслуженным полковником, чуть ли не кавалером всех орденов и с протезом вместо ноги; и пока он ехал в Вашингтон, где его должны были наградить самым последним, самым высшим орденом, дома узнали, что в тот день, когда он во второй раз отвоевался и уже был назначен к отправке домой, генерал прикрепил к его груди предпоследний орден. Но вместо того чтобы ехать домой, он положил орден в вещевой мешок, снова надел фронтовую форму и до тех пор изводил штаб, пока его опять в третий раз не послали на фронт, где однажды ночью он передал командование остатками полка своему помощнику и вместе с сержантом-негром и связным пополз туда, где остатки соседнего батальона были отрезаны ураганным огнем, и отправив этих солдат со связным в качестве проводника, они вдвоем с сержантом отбили противника, а потом выбрались из ловушки, причем он, Деврис, нес на себе раненого сержанта, пока его тоже не стукнуло, и тут неуклюжий великан-негр, хлопковод из Арканзаса, подполз к ним и, подхватив обоих, вынес к своим. И когда он, Деврис, после наркоза очнулся с одной ногой, он до тех пор изводил всех кругом, пока они не прислали к нему того негра-хлопковода, и он, Деврис, заставил санитарку вынуть орден из его мешка, сказал негру: «Подыми-ка меня, орясина ты этакая!» — и приколол орден ему на грудь.

Он-то и был соперником Кларенса на выборах в конгресс. Ведь даже если в армии никого другого не было, кто, по мнению специалистов, умел бы «понимать» негров, то Деврис (как рассказывал Чарльз) все равно никак не мог уговорить начальство послать его, одноногого, на фронт. И теперь ему только и оставалось уговаривать штатских послать его куда-нибудь, а кроме конгресса он ничего придумать не мог. И конечно (это все рассказывал Чарльз), может быть, только такой человек, который по недомыслию дважды добровольно отправлялся на фронт, мог набраться смелости и бросить вызов столь давнишнему капиталовложению, как Кларенс Сноупс. И даже, если бы все пошло более правильным путем: скажем, если бы события 1944 года произошли в 1943, или если бы выборы перенесли на год позже, или наконец если бы японцы сдались до 1945 года и все искалеченные ребята вернулись бы домой вовремя, их все-таки было бы маловато, и в конце концов Деврису пришлось бы опереться на наследников все тех же неорганизованных политических идеалистов, достаточно наивных, чтобы верить, будто демагогия, ханжество и нетерпимость не должны, не могут и не станут существовать только потому, что это демагогия, ханжество и нетерпимость,— тех идеалистов, которых Кларенс уже использовал и вышвырнул вон двадцать с лишним лет назад; и дядя Гэвин сказал Рэтлифу:

— Они всегда будут неправы. Они думают, что борются против Кларенса Сноупса. Вовсе нет. Перед ними совсем не отдельная личность и даже не определенная политическая ситуация: они разбивают себе голову о незыблемую скалу — основу нашего национального характера. Заключается она в предпосылке, что политика и политические институты не являются и никогда не являлись тем способом и средством, которым мы можем управлять своей страной мирно, достойно, честно и безопасно, но, наоборот, представляют собой национальное прибежище

для тех бездарностей, которые провалились на всех других поприщах и нашли в политике занятие, обеспечивающее их и их семьи, в результате чего мы обязаны кормить, одевать и содержать этих политиканов из своих собственных карманов и кошельков. Самый верный путь для того, чтобы попасть на выборную должность в Америке,— это завести человек семь-восемь детей и потом потерять руку или ногу в аварии на лесопилке; а ведь такой беспардонный оптимист, который завел семь-восемь ребят, когда их нечем прокормить, кроме как работой на лесопилке, такой безмозглый растяпа, который подставляет руку или ногу прямо под движущуюся пилу,— такого человека уже в силу его характера надо было бы на веки веков лишить даже тени общественного доверия. Нет, Кларенса им не побить. Его выберут в конгресс по той простой причине, что, если он провалится, он не сможет делать ничего такого, за что бы хоть один человек в мире платил ему жалованье по субботам; а старый Билл Уорнер и вся сноупсовская семейка вкупе с их дружками никак не намерены всю жизнь кормить и содержать Кларенса. Вот увидите сами, что произойдет.

Было похоже, что дядя Гэвин окажется прав. Наступил май, наступило время начинать политическую кампанию, она обещала стать успешной, после того как немцы окончательно капитулировали. И все же Кларенс официально еще не выставлял свою кандидатуру. И, разумеется, все понимали — почему. Но никто не мог себе ясно представить, как именно Кларенс собирался использовать заслуги Девриса для своей, кларенсовой платформы; каким путем Кларенс намеревался воспользоваться военной славой Девриса, чтобы побить его на выборах в конгресс. И когда наконец его план стал проясняться, весь Йокнапатофский округ, по крайней мере, многие жители, еще кое-что узнали о том Кларенсе, с которым они, в счастливом неведении, прожили последние двадцать лет. А именно: до какой степени Кларенс был опасен своей способностью использовать нормальную, можно даже сказать, в общем безвредную человеческую подлость для получения голосов. И на этот раз он заставил тех, чьим защитником он собирался стать, чтобы они сами пришли умолять его быть их защитником, и не просто умолять стать их рыцарем, но они должны были сами придумать или, во всяком случае, указать ему то дело, для защиты которого он им понадобился.

Дядя Гэвин рассказал Чарльзу, как однажды в мае или в начале июня весь округ узнал, что Кларенс не только не собирается выставлять свою кандидатуру в конгресс, но и вообще хочет уйти от общественной деятельности; официально, вслух он об этом не заявлял, а просто нашептывал потихоньку на ухо то одной, то другой овечке из уорнеровского стада избирателей, которое вот уже двадцать пять лет покорно следовало за Кларенсом на избирательный участок; и говорил он об этом (по словам дяди Гэвина) тихо, даже немного грустно, словно недоумевая, как же они сами этого не понимают:

— Что ж, я уже человек старый,— говорил Кларенс (ему едва перевалило за сорок).— Пора мне и уступить место другому. Особенно раз у нас есть такой храбрый молодой человек, такой капитан Деврис...

— Полковник Деврис,— поправляли его.

— Полковник Деврис, он отлично может представлять ваши интересы, продолжать мою работу, я ведь всегда старался сделать как лучше для наших людей, для нашего округа.

— Значит, вы собираетесь выставить его кандидатуру? Вы будете его поддерживать?

— Конечно,— говорит Кларенс.— Мы, старики, сделали для вас все, что могли, пора нам и на покой. Нам в конгрессе теперь нужна моло-

дежь, особенно та, что храбро воевала. Конечно, этот генерал Деврис...

— Полковник Деврис,— поправляли его.

— ...полковник Деврис немного моложе, чем следует, я бы лично выбрал кого-либо постарше. Но время и это исправит. Конечно, есть у него взгляды, с которыми я лично никогда не соглашусь, да и другие стариканы, вроде меня, и в Миссисипи и на всем Юге тоже вряд ли их примут. Но, может быть, мы все устарели, отстали от века и то, во что мы верили, за что боролись, а если надо было — и страдали, все это уже отошло, никому не нужно, может, эти его новые взгляды как раз и необходимо провести в нашем округе, и в штате Миссисипи, и вообще на Юге...

И тут, разумеется, каждый спрашивал:

— А что это у него за новые взгляды?

И все. Дело было сделано. Кларенс каждому рассказывал: этот человек, полковник Деврис (теперь он уже не ошибался чином), так полюбил своих негров, командуя ими в боях, что дважды возвращался к ним на фронт добровольно, может быть, даже по протекции (ведь все знали, что он достаточно воевал за родину и демократию и мог бы, больше того, имел полное право дальше не воевать), и возвращался он на фронт исключительно для того, чтобы водиться с неграми; он даже рискнул жизнью, чтобы спасти какого-то черномазого, да и ему самому спас жизнь негр. Человек он храбрый (и правительство его родины закрепило и подтвердило это, наградив его всеми орденами, вплоть до самого высшего), человек он честный (ордена и это доказывают, их дают только за честную службу), но неизвестно, какой курс он изберет, может избрать, осмелится избрать, если его выберут в тот самый конгресс, который уже проводит мероприятия, которые могут навсегда сломать, уничтожить естественные, законные (Законные? Да, сам господь бог установил и узаконил их!) границы между белыми и черными людьми. И так далее. И дело было сделано: как говорил дядя Гэвин, можно было считать, что Кларенс уже выбран, ни штату, ни округу не стоило даже тратить деньги на оборудование избирательных участков и подсчет голосов; почетный орден, полученный Деврисом от государства в награду за то, что он, рискуя жизнью, защищал принципы, на которых и было построено это самое государство, благодаря чему оно существовало, этот орден навеки подорвал все шансы Девриса работать в том самом конгрессе, который провозгласил его героем.

— Понятно вам? — сказал дядя Гэвин Рэтлифу.— Кларенса ничем не побьешь.

— По-вашему, тут и придумать ничего нельзя? — сказал Рэтлиф.

— Нет, можно,— сказал дядя Гэвин.— Надо поддержать его.

— Его? — сказал Рэтлиф.

— Это самый надежный, самый старый — о да! — и безусловно первый,— самый первый из всех политических принципов еще с тех темных времен, когда два пещерных человека объединились против третьего.

— Поддержать его? — сказал Рэтлиф.

— Ну не надо,— сказал дядя Гэвин.— Тогда вы мне скажите, что делать. Я вас поддержу.

Дядя рассказывал Чарльзу, как Рэтлиф посмотрел, поморгал:

— Нет, надо найти какой-то выход попроще. Задача тут простая и ясная, значит, и ответ надо найти простой и ясный. У Кларенса намерение тоже простое и ясное — попасть в конгресс, все равно, каким образом. Значит, тем, кто просто и ясно не желает его туда пускать, надо найти простой и ясный способ, все равно какой, сказать «нет».

Дядя Чарльза сказал:

— Отлично. Найдите способ, я к вам присоединюсь.— Но, очевидно, для Рэтлифа все было не так просто и ясно, как для Кларенса. Дядя рассказал Чарльзу, что Кларенсу даже не надо было проводить предвыборную кампанию, агитировать; что ему нужно только подняться на трибуну для ораторов во время пикника, устроенного старым Биллом Уорнером у себя на мельнице, ровно настолько, чтобы удостовериться, что все те, кому исполнился двадцать один год с тех пор, как Билл Уорнер стал им внушать, за кого подавать голос, что все они сумеют прочесть слово «Сноупс» на бюллетене. Собственно говоря, Деврис мог уже сдаться, и, по словам дяди Гэвина, нашлись люди, считавшие, что так он и должен сделать. Но разве он мог сдаться при всех своих орденах — а их было пять или шесть в чемодане на чердаке или где он их там держал, полученных именно за храбрость, за выдержку? Деврис даже приехал в Джефферсон, в собственную вотчину Кларенса, и произнес там речь как ни в чем не бывало. Но тут-то и была загвоздка. Мало еще вернулось солдат, которые могли бы понять, за что он получил свой главный орден. И хотя выборы были назначены только на будущий год, никто не мог предвидеть, что японцы сдадутся в этом же году. А для всех других родителей и четвероюродных кузенов, которым солдаты прислали доверенности на голосование. Деврис был только негритянским прихвостнем, которого янки, засевшие в правительстве, именно за это и наградили. Больше того, сейчас уже пошел слух, что Деврис получил высший орден за то, что, когда ему пришлось выбирать, кого спасти — негра или белого,— он выбрал негра и оставил белого парня погибать. Впрочем, дядя сказал Чарльзу, что этот слух был пущен не самим Кларенсом, надо было хоть в этом отдать ему справедливость. И не то чтобы Кларенсу совесть не позволила распускать такие слухи: ему просто не понадобилось тратить лишние боеприпасы; дело не в том, что он долго занимался политикой, он просто долго был Сноупсом и отлично знал, что только дурак платит за голос на выборах два доллара, когда его можно купить за пятьдесят центов.

Наверно, все это было как-то грустно: человек заранее уже был побит из-за того самого ордена за храбрость, который не позволял ему отступить и сейчас. Нет, это было больше чем грустно. Дядя Гэвин рассказал Чарльзу, как вскоре даже те, у кого никогда не было искусственной ноги и, по всей видимости, если повезет, никогда и не будет, начали понимать, что значит иметь протез, жить с ним, а тем более стоять и двигаться на нем. Деврис не сидел в машине на площади или даже у дороги, чтобы граждане его округа, его избиратели, толпились вокруг машины, подходили пожать ему руку, послушать его — таков был с незапамятных времен успешный способ предвыборной агитации самого Кларенса. Вместо этого Деврис выходил из машины, слегка волоча за собой этот мертвый механический придаток, или, опираясь на него, целый час стоял на трибуне и выступал, пытаясь завоевать голоса и заранее зная, что он их уже потерял; при этом он изо всех сил старался, чтобы по его лицу не догадались, как натертая, наболевшая культя все время напоминает о себе. И в конце концов даже тем, кто хотел отдать ему свой голос, как говорил дядя Чарльза, становилось трудно на него смотреть, не показывая виду, что и они помнят о его культе; и потому все только и ждали, чтобы это наконец кончилось, поражение завершилось, только и думали (по словам дяди Гэвина), как бы помочь ему, отпустить его, отправить поскорее домой, чтобы он выкинул протез, разломал его на куски и спокойно привыкал к своему калечеству.

И тут подошел день ежегодного пикника, который устраивал старый Билл Уорнер в предвыборную кампанию, где по традиции все кандидаты

на выборные должности в управлении округом, штатом или государством выступали перед избирателями; Кларенс тоже должен был официально объявить о своей кандидатуре, и дядя Гэвин рассказывал, что они схватились и за эту соломинку; как только Кларенс официально выставит свою кандидатуру в конгресс, Деврису, быть может, станет ясно, что ему лучше ретироваться и тем самым избежать позорного провала.

Но ретироваться ему не пришлось. После обеда, когда ораторы собрались на трибуне, оказалось, что Кларенса между ними нет; вскоре разнесся слух, что он совсем уехал с пикника, а на следующее утро весь округ узнал, что он не только снял свою кандидатуру в конгресс, но и вообще сообщил о своем окончательном уходе от общественной жизни. И на этот раз так оно и было, потому что не Кларенс, а сам старик Уорнер во всеуслышание объявил, что с Кларенсом покончено. Случилось это в июле 1945 года, а ко времени выборов японцы давно сдались и Чарльз, а с ним и многие из тех, кто понимал, что значат ордена Девриса, уже вернулись домой, чтобы голосовать лично. Но они просто добавили свои голоса к тем, кто голосовал за Девриса; ордена ему теперь и не понадобились, потому что Рэтлиф уже изничтожил Кларенса Сноупса. Настал сентябрь, Чарльз уже давно был дома, и на следующий день после выборов дядя Гэвин поймал Рэтлифа на площади, привел к себе в кабинет и сказал:

— А теперь расскажите подробно, что именно случилось там в тот день?

— В какой день и где — там? — спросил Рэтлиф.

— Да вы отлично понимаете, о чем я. На пикнике дядюшки Билла Уорнера, когда Кларенс снял свою кандидатуру в конгресс.

— Ах, тогда,— сказал Рэтлиф.— Ну, это, можно сказать, была рука провидения, хотя ей чуточку помогли близнецы, племянники полковника Девриса, дети его сестры.

— Интересно,— сказал дядя Гэвин,— а почему Деврис вдруг привез сестру со всем семейством из самого Камберленда, неужели только для того, чтобы они услыхали, как он выставляет свою кандидатуру, заранее зная, что провалится?

— Да и это рука провидения, я же вам говорю,— сказал Рэтлиф.— Иначе каким же образом полковник Деврис мог там, у себя в Камберленде, услыхать, что за мельницей дядюшки Билла есть такой заброшенный, запущенный участок, заросли такие, кустарник, что ли.

— Ну, хватит, хватит,— сказал дядя Гэвин.— Кустарник. Близнецы. Вы лучше расскажите все как было.

— Близнецы близнецами, а в кустах была собачья станция,— сказал Рэтлиф.— Вы с Чиком сами знаете, что такое близнецы-мальчишки, я чуть не сказал — знаете, что такое собачья станция. А потом подумал: нет, наверно, не знаете, потому что я сам не знал, что это такое, пока не увидел эти заросли — там рос молодняк, эвкалипты, дубки, клены,— на берегу, как раз за уорнеровским прудом, для удобства клиентов — ну, знаете, как в городских отелях стоит бутыль с чернилами для самописок рядом со столом для писем, чтоб каждый мог пользоваться, когда надо...

— Погодите,— сказал дядя Гэвин.— Собачья станция. Говорите толком. Если у вас никаких дел нет, так у меня их достаточно.

— Да я же вам и хочу все рассказать,— говорит Рэтлиф.— Там была собачья станция. Вроде собачьей почты, что ли. Каждый пес со Второго участка хоть раз в день побывал там, в этих зарослях, да и каждая собака со всего избирательного округа, не только из Йокнапатофского, хоть раз в жизни подымала там лапу и оставляла визитную карточку. Ну, вы же знаете: бегут себе два пса, принюхиваются, и Первый говорит:

«Легавый я буду, если старый куцый овчар с Вайот-Кроссинга тут не побывал. Как ты думаешь, что ему понадобилось?» — «Да это не он,— говорит Второй,— тут шлялся тот, муругий, которого Рес Грир выменял у Солона Квика на полдня работы, когда они церковную крышу крыли, неужто не помнишь?» — а Первый ему говорит: «Нет, тот муругий позже приходил, а вот тут пробежал старый овчар с Вайот-Кроссинга. Я-то думал, он побоится сюда бегать после того, что с ним сделал тот пес миссис Литтлджон, знаешь, помесь дворняги с эрдель-терьером?» В общем, понимаете, как это бывает.

— Понимаем,— сказал дядя Гэвин.— Дальше что?

— Ничего,— говорит Рэтлиф.— Начался этот самый, так сказать, выпускной бал дядюшки Билла Уорнера для всех кандидатов, и собрались избиратели и кандидаты на сорок миль в округе; у кого был пикап, кто выпросил, чтоб его подвезли в машине, а кто приехал и на упряжке мулов, если другого ничего не было, и все эти независимые избиратели гуляли по роще, и сам сенатор Кларенс Эгглстоун Сноупс циркулировал между ними, пока не подошло время ему выступить с речью и объяснить, за кого ставить крестик. Представляете себе: все чинно, мирно, прилично, все законно, как всегда, пока какой-то неизвестный хитрюга, не скажу подлец, может, это и был сам полковник Деврис, кто же еще мог знать про этих двух мальчишек, про близнецов, и зачем они сюда приехали из самого Камберленда, уж не говорю, кто мог знать и про этих близнецов и про те кусты тоже; так вот этот неизвестный хитрюга, кто бы он там ни был, подговорил мальчишек попробовать — а что выйдет, если двум таким мальцам выгнать псов из ихних кустиков, нарезать прутьев, около которых всякий пес останавливался, да с этими прутьями пробраться за спиной у сенатора К. Эгглстоуна Сноупса, когда он начнет речь держать, и этак легонько, чтобы ему не мешать, провести сырыми прутьями по его брюкам. Легонько, тихонько, чтобы никого не потревожить. Потому и вышло, что ни Кларенс, ни остальные даже не заметили первых шесть-семь собак, а потом Кларенс вдруг почувствовал, что у него сзади брюки намокают, что-то ему свежо становится, он покосился одним глазом через плечо и увидал, что за ним выстроилась собачья очередь, стоит, решает его политическую судьбу; тут он как побежит к первому попавшемуся автомобилю, где можно бы укрыться, а сам косится назад и видит, что за ним, как хвост за змеем, несется эта собачья очередь; он как вскочит в машину, стекло поднял, а вокруг машины все псы кружат, как лебеди и лошадки на карусели,— помешали им, понимаете, они так и бегают на трех ногах, четвертую задрали, нацелились, взвели, так сказать, курки. Наконец кто-то поймал владельца машины, взял у него ключ и отвез Кларенса домой, последний пес только и отстал мили через две; доехали до двора бывшего сенатора, где его никто не встретил — видно, его, Кларенса, пес тоже был на пикнике,— и кто-то пошел в дом и вынес пару сухих брюк: переодеться бывшему сенатору. Вот именно — бывшему. Потому что он и в сухих штанах на пикник не вернулся, видно, сообразил, что это малость рискованно, напряжение чересчур большое. Я про то, что ему пришлось бы слишком напрягаться — тут надо свою кандидатуру снимать, а здесь еще оглядывайся все время через плечо — вдруг какой-нибудь пес вспомнит твою физиономию, хоть брюки у тебя свежие и ничем интересным не пахнут.

— Черт меня побери! — сказал дядя Чарльза.— Нет, это слишком просто, даже не верится.

— Видно, он сообразил, что убеждать народ голосовать за него и при этом то и дело брыкаться одной ногой, отгонять собак — такого даже избиратели Миссисипи не потерпят,— сказал Рэтлиф.

— А я вам все равно не верю,— говорит дядя Гэвин.— Даже если бы все, кто был на пикнике, это видели и знали, не такой он человек, чтобы из-за этого снять свою кандидатуру. Вы же сами только что мне сказали, что его кто-то сразу посадил в машину и тут же увез домой.— И вдруг дядя Гэвин замолчал. Он посмотрел на Рэтлифа. Тот стоял, глядя на него, как ни в чем не бывало. Гэвин сказал:

— А, может быть, это...

— Правильно,— сказал Рэтлиф.— Такое было условие.

— Какое условие? — спросил дядя Гэвин.

— Видно, тут тоже был замешан тот же самый хитрец, неизвестный мошенник,— сказал Рэтлиф.— Словом, кто-то поставил условие, что если сенатор Сноупс снимет свою кандидатуру на этих самых выборах в конгресс, то все, кто видел, как собаки агитировали за Девриса, забудут об этом, а кто не видел, тот никогда и не узнает.

— Он и это обошел бы,— сказал дядя Гэвин.— Неужто Кларенса Сноупса может остановить или на секунду удержать то, что какие-то собаки подняли на него ногу? Черт, да это кончилось бы тем, что он все собачьи номера посчитал бы за поданные заочно бюллетени.

— Ах, вы про Кларенса,— сказал Рэтлиф,— а я думал, вы про дядю Билла Уорнера.

— Про Уорнера? — спросил дядя Гэвин.

— Вот именно,— сказал Рэтлиф.— Тот бессовестный тип, как видно, договорился с самим дядюшкой Биллом. Во всяком случае, именно он, дядюшка Билл, в тот же день объявил всем, что сенатор Кларенс Эгглстоун Сноупс снял свою кандидатуру в конгресс; и как будто он даже не потрудился сообщить об этом самому бывшему сенатору. Да, припоминаю, люди говорили дяде Биллу то же самое, что вы сейчас сказали: что, мол, Кларенс все обойдет, что ему все нипочем; они даже насчет собак говорили вашими словами, только выражались чуть покрепче... Но дядя Билл сказал:

— Нет, на Втором участке никакой Кларенс Сноупс никуда баллотироваться не будет.

— Но разве он только на Втором участке баллотируется? — говорят,— он же теперь даже не в нашем Йокнапатофском округе баллотируется. Он выставляет свою кандидатуру на одной восьмой всего штата Миссисипи.— А дядюшка Билл им отвечает:

— К чертовой матери все сто восьмых штата Миссисипи и весь Йокнапатофский округ. Не разрешу я, чтобы наш поселок представлял человек, которого всякая дворняга принимает за столб от забора.

Дядя Гэвин посмотрел на Рэтлифа. Он посмотрел на него очень пристально: — Значит, этот неизвестный интриган, про которого вы рассказывали, знал не только про близнецов-племянников Девриса и про собачьи кустики, он и про старого Билла Уорнера все знал.

— Похоже, что так,— сказал Рэтлиф.

— Значит, сработало,— сказал дядя Гэвин.

— Похоже, что так,— сказал Рэтлиф.

Чарльз и его дядя посмотрели на Рэтлифа, который сидел спокойный, аккуратный, чуть помаргивая, очень мягкий и сдержанный, в своей чистенькой голубой рубашке — он шил их сам и всегда носил без галстука, хотя Чарльз знал, что у него дома их было два, он заплатил за них Аллановне по семьдесят пять долларов за штуку, когда они с дядей Гэвином десять лет назад ездили в Нью-Йорк на Линдину свадьбу, но Рэтлиф их никогда не носил.

— О Цинциннат! — сказал дядя Гэвин.

— Что? — сказал Рэтлиф.

— Ничего,— сказал дядя Чарльза.— Интересно, кто же это мог сказать близнецам про собачьи кустики?

— Да, наверно, сам полковник Деврис,— сказал Рэтлиф.— Он на войне воевал, столько орденов получил, три года практиковался на немцах, на итальянцах, на япошках, что же ему стоило придумать такой пустячный стратегический ход в политике?

— Да то были просто обыкновенные убийцы или врожденные садисты, им заранее отпущены все грехи,— сказал дядя Гэвин.— А Кларенс прирожденный, натасканный, мелкотравчатый американский политикан.

— Может, эти политиканы и не такие вредные, надо только смотреть за ними в оба да делать все, что в твоих силах, и как можно лучше,— сказал Рэтлиф. Потом он сказал: — Значит, так,— и поднялся, сухощавый, спокойный, абсолютно вежливый, абсолютно непроницаемый, и, обращаясь к Чарльзу, сказал: — Помнишь, майор, то большое поле, где овес посеян, в излучине, за пастбищем дядюшки Билла? Говорят, там всю зиму дикие гуси водились. Почему бы нам не съездить туда поохотиться? Полагаю, что дядя Билл нам охотно разрешит.

— Большое спасибо,— сказал Чарльз.

— Значит, договорились,— сказал Рэтлиф.— Всего доброго, джентльмены.— И Рэтлиф ушел. Чарльз посмотрел на своего дядю, а тот пододвинул к себе лист бумаги и стал писать, не торопясь, но с чрезвычайно занятым видом.

— Итак, открыть кавычки,— сказал Чарльз.— «Придется поработать вам, молодежи», кавычки закрыть. Наверно, так говорили и тогда, летом тридцать седьмого года, когда мы, моралисты, даже пытались провалить самого Рузвельта, лишь бы добраться до Кларенса Сноупса?

— До свиданья, Чарльз,— сказал его дядя.

— Потому что, открыть кавычки: «Не нам за это дело браться,— сказал Чарльз.— Мы слишком стары, мы устали, потеряли веру в себя...»

— О, черт! — сказал его дядя.— Я же тебе говорю — до свидания!

— Сейчас, сэр,— сказал Чарльз.— Можно еще минутку? Потому что, открыть кавычки, «Соединенные Штаты, Америка — величайшая страна в мире, если только мы сможем все время держаться», закрыть кавычки. Только давай вместо «держаться» читать «надеяться на бога». Потому что на этот раз именно господь бог спас всех нас, хотя своим орудием он, безусловно, избрал В. К. Рэтлифа. Но ведь в следующий раз Рэтлифа может тут не оказаться, может, он будет разъезжать, продавать швейные машины или радиоприемники (да, действительно, Рэтлиф теперь представлял фирму по продаже радиоприемников, и приемник теперь стоял в том самом игрушечном домике, в его пикапе, где раньше стоял образец швейной машины; а через два года на миниатюрном домике появится миниатюрная антенна телевизора), и сам господь бог его не сможет вовремя найти. В сущности, надо нам все наладить, чтобы бог хоть немного мог на нас положиться. Тогда ему не придется тратить время и все делать за нас.— И тут его дядя посмотрел на него, и Чарльз вдруг подумал: *Конечно, я и отца всегда любил, но отец только разговаривал со мной, а дядя Гэвин умел слушать, даже если я болтал такие глупости, что сам в конце концов начинал понимать, как это глупо, а он все-таки выслушивал меня до конца, а потом говорил: «Право, не знаю, выйдет оно или не выйдет, но я знаю отличный способ, как проверить. Давай мы с тобой попробуем». Именно не т ы попробуй, а м ы попробуем.*

— Да,— сказал его дядя.— Я тоже так думаю.

(Окончание следует)

Тома Джордже Майореску

Разговор космонавта с богом

Юрию Гагарину, Герману Титову

Перевод с румынского Вл. Бурича

Текут потоки черные, сверкая,
потоки света без конца и края,
скользят,
бушуют
в вихрях волны света,
космические бездны
озаряя.

Природы черная орбита,
как будто черная гортань,
открыта.
Лицом к лицу стоят
во мраке
двое,
готовые к решительному бою.

Б о г:

Кто ты?
И по какому праву смел ты
вступить на мой порог?
Ты, видно, не боишься смерти,
когда дерзнул
проникнуть в мой чертог
и бросить вызов мне?

К о с м о н а в т:

Я вырос в страхе
множества веков,
боялся молний,
грома
и ветров,
теней,
ночей
и самого себя...
И так была сильна моя тревога,
что сам себе
я создал бога.
Тебя хранил я
в тайниках вселенной,
куда проникнуть сам не мог,
и силой необыкновенной
я наделил тебя из страха,
бог,
ища защиты
от греха и скверны,
тебе вложил я в руки скипетр,
чтобы навек остаться в страхе
суеверном,
в извечном страхе пред тобой.

Б о г:

Боишься, значит?
Да, избранник мой?

К о с м о н а в т:

Старик, не понял ты:
я говорил
о прошлых днях,
что превратились в прах,
но не забудь,
с тех пор прошли столетья,
хоть и осталось на моей планете
немало предрассудков.

Б о г:

Погоди.
Все то, что ты сказал,— правдоподобно:
боясь природы непонятных сил,
меня — отца —
по своему подобью
ты выдумал.
И я тебе служил
довольно бескорыстно
и с доверьем:
рассудок твой решил освободить,
извлечь из тьмы,
в тебе убил я зверя,
зло укротил
и научил любить.

Я удержал тебя от преступлений
и обещал, что в рай ты попадешь,
не продавая знанья и уменья
за серебро и золото...

Космонавт:

Ты лжешь!
Ты наказал жестоко Прометея,
ты не пустил Икара в солнечный
простор —
расплавил крылья,
обесчестил Галилея,
повел Джордано Бруно
на костер.
Столетьями
ярмо и плеть
встречали люди с умиленьем,
смиреньем,
покаянием,
терпеньем...

Бог:

Быть может, ты и прав, тогда ответь:
Зачем я здесь?

Космонавт:

Но ты забыл,
что ты не существуешь!
Ты только лишь орудие для тех,
кто задушить старался мысль
живую,
внушая, что дерзать и мыслить —
грех.
Ведь все, чего достигла мысль
людская,—
все вырвано
у пытки и костра.
О, сила страшная, слепая,
под маской лживою добра!

Бог:

Помиримся.
Все старое забудем —
в бесплодных спорах правды не
найти,—
и буду душу врачевать я людям,
а ты —
к благополучью их вести.

Космонавт:

Нет!
Разве можно счастье сотворить
из лжи и правды,
света и рутины?
Ведь счастье означает — честно
жить,
достойно подниматься на вершины.

Бог:

Но в бога верят всё еще.

Космонавт:

Ну что ж?
Не радуйся,
наивности химеры
развеются как дым,
всю эту ложь
сметет живая правда
новой эры.
Мы вырвем наши знанья
у небес!
А ты исчезнешь, как туман болотный
в лучах зари...
Мы проникаем в мир Чудес.
Уж в космос человек открыл ворота!

Бог:

Я погублю тебя!
Ведь ты не так непобедим,
как кажешься!

Космонавт:

Но я ведь не один,
придут за мною поколения другие!

Бог:

Ты сам не знаешь, что ты натворил!
Ты изменил
своей извечной человеческой
природе!

Космонавт:

Божище,
продолжаешь в том же роде!
По-твоему,
суть человеческой природы
в том,
чтоб мы по-прежнему здесь ползали,
как змеи,
во мгле,
бессильные,
не разумея,
что слепы мы?!
Итак, старик,
готовься к выселенью:
отныне

мы
хозяева Вселенной!

Б о г:

Не понял я...

К о с м о н а в т:

Когда Слепую Силу
мы обуздаем, наконец,
откуда силы для сопротивленья
ты будешь черпать,
ну, скажи, отец?
Сегодня у тебя мы отвоюем
дорогу к звездам,
ну а завтра
в иных галактиках
увидишь космонавта!

Б о г:

Пугаешь... Не боюсь я. Но откуда
берешь ты силы, юноша, скажи?
Ты, кажется, способен сделать чудо,
преодолеть любые рубежи!

К о с м о н а в т:

Старик!
Ведь царство на земле
одно —
рабочих и крестьян.
Настал их век,
не царь, не господин и не тиран —
там есть один владыка —
Человек.
Ему принадлежат
леса, моря, поля,
свобода —
вот его девиз!
Ему подвластны
небо и земля.
И сил его источник —
коммунизм!
Тебя прогоним скоро мы, пойми,
из нашего сознания,
одни
хозяевами будем
мы лишь
впредь,
нам суждено
Вселенной всей
владеть!
Текут потоки черные, сверкая,
потоки света без конца и края,
скользят,
бушуют
в вихрях волны света,
космические бездны
озаряя!

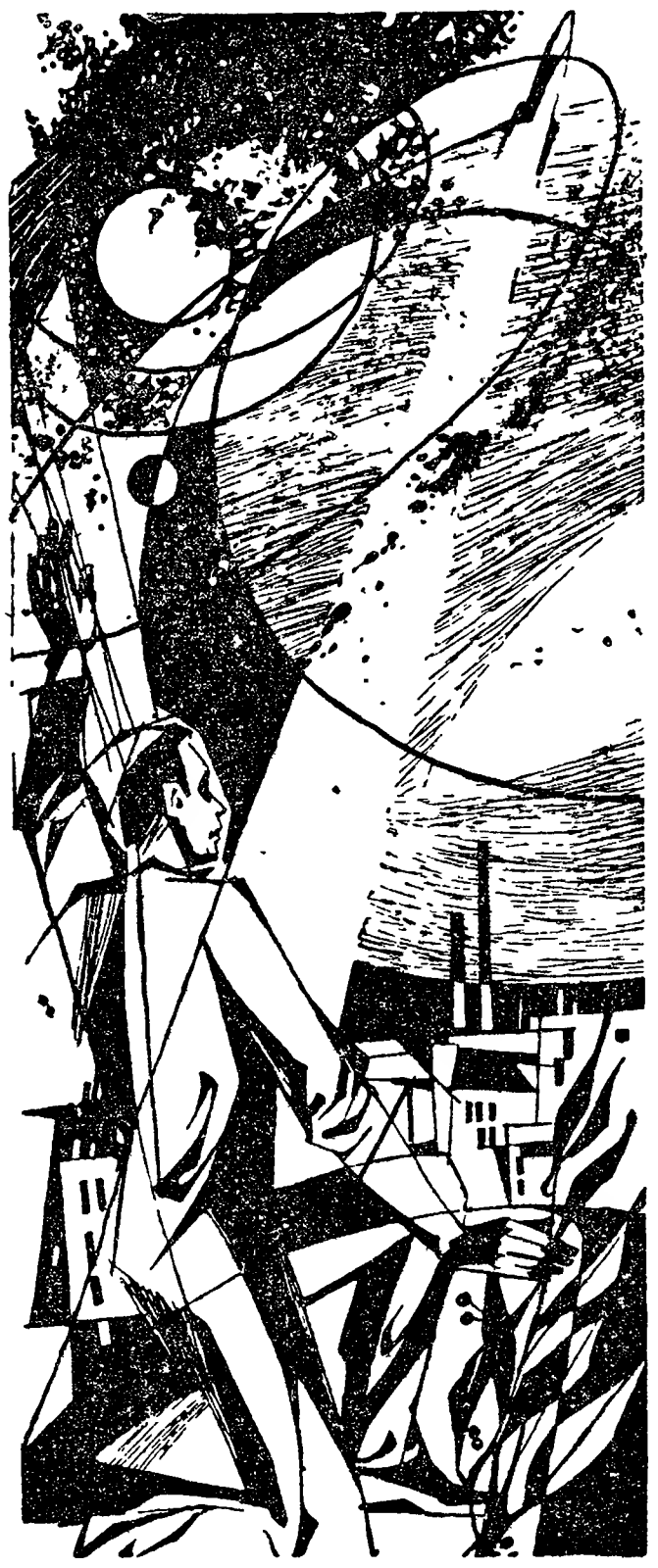


Рисунок чехословацкого художника В. ПЕПИХА

Иозеф Рединг

Рассказы

Перевод с немецкого С. Фридлянд

Устаревшие перспективы

Молодой человек с узкими бачками открыл папку, достал оттуда одну-единственную фотографию большого формата и сказал:

— Вот.

— Тысяча чертей! — воскликнул редактор. Он любил к месту и не к месту уснащать свою речь старомодными оборотами. Потом добавил: — Это я называю высокий класс!

Молодой человек с гордостью взглянул на свою работу.

— По-моему, здесь даже подписи не надо. Перспектива говорит сама за себя. Мне просто повезло. Когда солдаты строевым шагом проходили мимо министра, одноногий стоял у края тротуара. И я щелкнул солдат как раз между его ногой и костылем. Я снимал против солнца. На фоне марширующих солдат — мрачный силуэт калеки.

— Дорогой мой, только не говорите «калека». Это режет слух. Инвалид, а не калека. Зачем обижать человека? Да я и сам не знал о том, что я поэт! — сказал он вдруг по-английски.— Ха-ха-ха, калека-человека! В рифму.

Редактор отодвинул фотоснимок подальше от яркого света настольной лампы.

— Чистая работа,— одобрительно кивнул он.— Превосходная идея. Убежден, что мы сможем тиснуть ее в воскресном приложении. На видном месте. Гвоздь номера. Из всего, что вы подстрелили для нас за последние два года, это самая крупная дичь. Правда, мне надо еще распихать материал для юбилейного номера. Но вы не беспокойтесь: ваше фото мы подадим эффектно. На той неделе вы получите оттиск. Ариведерчи.

Молодой человек не стал дожидаться следующей недели. Он был слишком взволнован тем, что газета — впервые за все время — хочет дать его снимок на видном месте. Теперь-то он выдвинется и по праву займет место в ряду своих прославленных маститых коллег, чьи работы украшают страницы новаторских художественных журналов, просвечивающих наше время, словно рентгеновскими лучами. Еще когда он

вынимал мокрый, поблескивающий снимок из ванночки с закрепителем, он знал, что это удача, что он многого достиг.

В четверг пришла верстка номера. В пятницу фотограф явился к редактору.

— А, это вы, доблестный витязь! Чудесно! — сказал редактор, раскрывая ему свои объятия.— Вот ваш шедевр. Любуйтесь.

Редактор с довольным видом развернул приложение. Плотная бумага лоснилась.

— Вот — на полполосы и в три столбца. Вы довольны?

— Что за черт! — тихо сказал молодой человек.— Что вы сделали с моим снимком?

Он медленно скомкал плотный лист. Бумага сердито скрипела.

— Ну-ну-ну! — пробормотал редактор.— Сперва выслушайте. Присядем? Не желаете? Сигаретку? Тоже не желаете? Итак, босс вообще уперся — и ни в какую. Старье, говорит. Ну, само собой, сразу после поражения такие штуки можно было печатать. Но теперь — когда мы возвысились до уровня семейного чтения! Вряд ли нашим подписчикам придется по душе, если мы омрачим заслуженный ими вечерний отдых столь грустными вещами. Вы меня поняли?

— Нет,— сказал фотограф.

— Учтите, это слова шефа, а не мои. Вы чувствуете, что я все время изъясняюсь в кавычках? И потом, вы же знаете, как я к вам расположен. Честное слово! Если бы инвалид не стоял на переднем плане — это еще куда ни шло. Ведь, с точки зрения технической, снимок безупречен. Вот как шеф вас похвалил. Ну, а поскольку я знаю, как вы нуждаетесь в презренном металле,— тут редактор потер большой палец об указательный,— я и предложил внести одну маленькую поправочку. Рыцаря печального образа на переднем плане — вон, а вместо него эту смазливенькую девушку. Тем самым композиция снимка не нарушена, а кроме того, к нему теперь и подпись вполне подходит: «Когда маршируют солдаты...» Все равно оба снимка созданы вашей рукой, маэстро! Хорошенькую девушку, которая машет платком, вы принесли нам, помнится, в прошлом году. Под названием «Деревенская красотка на мосту» или еще как-то в том же духе. А наши ретушеры не ударили лицом в грязь. Поработали на совесть. Ни одна живая душа и не заметит, что в снимке кое-что изменено. Взгляните-ка получше!

Редактор даже вспотел. Он протянул молодому человеку еще один экземпляр газеты.

— Вы правы,— прошептал молодой человек, разглядывая эту ретушированную идиллию.— Ни одна живая душа не заметит.— Он смахнул газету со стола.— Тираж уже отпечатан? — спросил он.

— Да,— поспешно ответил редактор.— Сегодня ночью отпечатано пятьсот тысяч экземпляров. Тиснули, и готово. Лавочка работает.

— Работает,— сказал молодой человек.— Работать-то она работает.

— Только, милорд, не делайте такое скорбное лицо,— сказал редактор.— В конце концов я совсем не обязан был возиться с вашими снимками. Мог просто взять другой. И, кстати, пара стройных девичьих ножек на фоне колонны марширующих солдат производит куда большее эстетическое впечатление, чем наводящие тоску костыли. Разве нет?

Молодой человек не ответил.

И тогда редактор с чувством сказал:

— Зато я припас целительный бальзам для ваших — ах, каких глубоких! — душевных ран. Я уже выписал вам гонорар. Взгляните-ка. Видите, трехзначная цифра? Все хорошо, прекрасная маркиза?

Перестройка производства

Уккерс решительным движением собрал бумаги, разбросанные по зеленому сукну.

— Нет,— сказал он.— Нет и нет! Ничего такого я в своем производстве не допущу. Хватит! Мы уже не раз были на волосок от краха, и я два года проторчал в тюрьмах союзников за изготовление 88-миллиметровых орудий.

— Но, господин директор, именно союзники, наши *теперешние* союзники, прямо-таки навязывают нам лицензию на производство ракетного хвостового оперения. Нам ни с какой стороны ничего не грозит,— заметил главный инженер.

— Ни с какой? — переспросил Уккерс.— Существует четыре страны света, господа, и с одной из них дует такой ветер, похлеще, можно сказать, жандармского дерьма!

Главный инженер усмехнулся про себя: раз Уккерс пополняет свой словарь уличным жаргоном — значит, он в нерешительности и пытается перекричать самого себя. Да и кто поверит, что эта старая лиса откажется от такого выгодного дела. Ведь за оперением наверняка последуют корпуса, затем целые установки, а через два-три годика и боеголовки, притом с надлежащей начинкой. Ни один уважающий себя делец не станет упускать такой случай, не станет упускать его и Уккерс.

— Нам ведь не на что жаловаться, господа,— сказал директор с ноткой отеческой укоризны.— Изготовление протезов из легких сплавов — это гуманное производство. Я и по сей час благодарен вам, доктор Реммерсберг, за то, что вы во время моего... моего вынужденного отсутствия переключили наше производство именно на такую продукцию.— Уккерс удостоил доктора легким кивком.— С тех пор кривая нашего баланса непрерывно идет вверх.

— Но уже не так круто, господин директор,— вставил главный инженер.

— Идет вверх,— повторил Уккерс, с трудом подавляя досаду.

— Пока что,— сказал главный инженер.

— В этом году наша прибыль увеличилась на восемь процентов. Можно ли считать это катастрофой? — кисло улыбнулся Уккерс.— В тридцать втором году мы запрыгали бы от радости, если бы могли заприходовать хотя бы треть этой суммы.

— С тридцать второго года прошло ровно тысяча лет плюс еще двадцать восемь,— сказал главный инженер.— Всему свое время.

— Это верно,— сказал Уккерс.— Конъюнктура меняется. Нам всем еще предстоит приспосабливаться к ней.

— То-то и оно,— ухмыльнулся главный инженер, и Уккерс понял, что попался на собственную удочку. Он хотел было встать, но тут заговорил его сын:

— К сожалению, это правда, папа. Мы останемся за бортом, если упустим такой случай. Во всем городе наши конкуренты только и мечтают об этих лицензиях. Того и гляди, их перехватит Рамье, этот невесть

откуда взявшийся француз. И сколько бы мы ни прилагали усилий, упущенного нам не наверстать.

Присутствующие — солидные пожилые люди — с явным удовлетворением глядели на Уккерса-младшего. Директор слегка втянул голову в плечи и посмотрел на сына.

— И это говоришь ты, хотя у тебя в черепе серебряная заплата на память о Севастополе?

— Какое это в данном случае имеет значение? — ответил сын вопросом на вопрос.

Старики одобрительно кивнули.

Почувствовав поддержку, Уккерс-младший продолжал уже смелее:

— К тому же речь идет пока лишь о постепенной — и весьма незначительной — перестройке производства. Наладить выпуск хвостового оперения вместо протезов можно в несколько недель.

— А через десять лет благодаря твоей «незначительной перестройке» мы опять сможем переключиться на массовое изготовление протезов из легких сплавов,— сухо возразил Уккерс.

— Я нахожу твой цинизм неуместным,— отпарировал сын.

— Да и то, если нам вообще когда-нибудь еще позволят что-либо производить. Пойми ты, дурень, ведь мы сами в петлю лезем. Как ты думаешь, очень мне хочется, чтобы меня опять судили как военного преступника?

Сын поудобнее уселся в кресле. Устремив на отца сияющий юношеским простодушием взор, он проговорил:

— Не тебя, папа. Теперь моя очередь.

Репетиция

— Воды,— попросил Нотшнейдер и постучал цанговым карандашом по пустому графину. Потом без всякого перехода продолжал: — Остус, почему ты так переигрываешь? Надрывный тон не годится для радио. Во всяком случае, для этой пьесы. Нотшнейдер с озабоченной полуулыбкой посмотрел на молодого актера, которому едва сравнялось двадцать лет. Остус не любил, когда к нему обращались на «ты». Нотшнейдер, со своей стороны, никогда не говорил актерам «вы». Остус бросил серые рыхлые листки рукописи на низкий изогнутый столик, в выемке которого сидел Нотшнейдер. Нотшнейдер добавил:

— Вас это тоже касается.

Двое мужчин и одна женщина подняли глаза, оторвавшись от своих ролей.

— В вашем представлении эсэсовцы всегда орали. Отнюдь нет. Иногда они говорили тихо. Очень тихо. Чем выше был чин эсэсовца из дивизии «Мертвая голова», тем приглушеннее становился голос и изысканнее манеры.

Режиссер выпил воды, принесенной тем временем в студию. Он много пил во время репетиций. И все воду, без примесей, стакан за стаканом. Но поскольку он почти не двигался, поскольку он не стоял,

как актеры, а сидел в кресле, положив негнущуюся ногу на маленький столик, он совсем не потел. Его тучное тело с несоразмерно маленькой головой поглощало воду, как губка. «Я гидроман,— любил он повторять, когда после войны вернулся к режиссерской деятельности.— Мне подпортили внутренний водомер». Это звучало как извинение.

Остус деловито спросил:

— Как же я должен говорить?

— Пиано,— ответил Нотшнейдер.— Даже не пиано, а пианиссимо, если можно. Резкость тона не лежит на поверхности, она должна звучать как бы изнутри. Ты адъютант эсэсовского штандартенфюрера. Адъютанты обязаны быть умнее и тоньше своих начальников. Штандартенфюрер, роль которого исполняет Нимборг, может рявкать сколько ему вздумается. Он старый служака и за свои заслуги облечен властью. Но ты, Остус, ты берешь не криком. Штандартенфюрер — это тот же командир полка в вермахте. А известно тебе, Остус, сколько солдат в полку?

— Нет,— ответил Остус.

— Ах да, я и забыл. Ты еще тогда пешком под стол ходил. Тебе только в этом году призываться. Откуда тебе знать?

— А меня это не особенно интересует,— сказал Остус.

Нотшнейдер отставил стакан, который уже поднес было к губам. С видимым усилием он перевел взгляд на исчерканные листы режиссерского экземпляра. Не поднимая глаз от печатных строчек и красных карандашных пометок, он произнес нарочито спокойно:

— Во время войны полк насчитывал около двух тысяч человек. Командиром полка назначался, как правило, полковник. Полковник — важная птица. А штандартенфюрер — еще более важная, потому что у него была непосредственная связь с Главным управлением безопасности. В подборе адъютантов они все были очень осмотрительны. Предпочтение отдавалось хорошо воспитанным молоденьким офицерам, окончившим гимназию, и, по возможности, дворянских кровей. Эти адъютанты могли многое сделать — облегчить или усугубить, могли интриговать, могли подсидеть, могли спасти или убить. Все могли, прикрываясь именем своего начальника.

Нотшнейдер быстро встал. Как это у него получается с его-то ногой?..— подумал Остус и заковылял взад-вперед по темно-красным резиновым коврам студии. Когда его заостренную лысую голову озаряли лампы дневного света, казалось, будто она залита известкой.

— Я надеялся, что ты уже предварительно подумал над своей ролью, что-нибудь почитал, поспрашивал. Мне бы хотелось, чтобы у нас именно из этой пьесы получилась хорошо отработанная передача, а не дешевка под маской злободневности. Иначе, Остус, можно принести больше вреда, чем пользы.

Нотшнейдер сердился. Невольно он повысил голос.

— Я бы не сказал, что это уж такой шедевр,— заметил Остус и снова взялся за рукопись.

— Нет,— ответил Нотшнейдер.— Не-е-ет,— протянул он и энергично замотал головой.— Это не изящная словесность, не гениальное произведение. Здесь нет фраз, которые бы таяли на языке. Одни лишь сухие, тысячу раз повторенные, затертые слова. Что, вероятно, не особенно тебя привлекает, ведь так, Остус? И вас, вероятно, тоже? — бросил он через плечо. Двое артистов вяло попытались возражать, Нотшнейдер остановил их движением руки.— Это голый, неприкрашенный документ,— продолжал режиссер Нотшнейдер.— Тревожный и даже отталкивающий, не правда ли?

Нотшнейдер, хромая, подошел к столику, взял рукопись, свернул ее в трубку. Остус подумал, что Нотшнейдер напоминает старого римского мима с неизменным свитком в руках.

— Но если мы не сумеем воспроизвести кусок вчерашней действительности, каким бы кровавым и отвратительным он ни был, завтра другим придется *пережить* эту действительность. Разве этого не достаточно, чтобы тщательно подготовить и серьезно сыграть — звучит парадоксально, не правда ли?— серьезно сыграть нашу пьесу?

Нотшнейдер кряхтя опустился на стул.

— Простите,— досадливо сказал он.— Простите. Я вовсе не собираюсь поучать вас. Пошли дальше! Итак, Остус, ты, пожалуйста, говори тише, язвительнее. Напоминаю содержание эпизода. Раввин из гетто послан к твоему штандартенфюреру, чтобы предложить ему сделку: драгоценности в обмен на продукты, драгоценности в обмен на разрешение выехать. Штандартенфюрер проявляет интерес к картинам. Разговор касается изобразительного искусства. Участие во многих конфискациях и личное чутье позволили штандартенфюреру понабраться кое-каких сведений в этой области. А раввин происходит из семьи известного торговца картинами. Штандартенфюреру разговор доставляет удовольствие, заодно он получает у раввина консультацию по поводу своего нового «приобретения», относящегося к XVII веку. И вдруг спохватывается: как это он, важный эсэсовец, на глазах у подчиненных запросто разговорился с евреем? Он сразу же обрывает беседу грязным ругательством и, уходя, велит тебе, своему адъютанту, выпроводить раввина Теперь ты должен в одной реплике выразить, на каком огромном расстоянии находится представитель расы господ от презренной твари. Произнеси эту фразу так, как она дана в рукописи. Злобно, но тихо. Давай, Остус.

Остус почувствовал, что его захлестывает волна слепой, безудержной ярости. Рука, державшая текст роли, опустилась.

— Пошел вон! — процедил он, не заглядывая в текст.— Пошел вон, еврейская свинья!

— Да,— сказал Моисей Нотшнейдер, подперев голову рукой, и кивнул, не отнимая ладони ото лба.— Вот это правильная интонация. Именно так оно и было. Теперь можно записывать.

ОДНОГО ЦВЕТА

Аарон Камбер попытался еще раз.

— Я и не думал, что Рейн такой элегантный,— сказал он.— Такой гибкий. Такой стройный. Настоящий юный сердцеед. Не то что Миссисипи у нас в Джимбли... Она такая неповоротливая, неуклюжая, совсем без изгибов. Как толстая миссис.— Камбер выждал, не засмеется ли Джек Дроус. «Все-таки приятнее, чтобы Джек засмеялся первым,— подумал он,— а я тогда подхвачу». Но Дроус не засмеялся.

«Попробуем еще»,— решил Камбер.

— Как толстая миссис, которую все домашние называют Сиппи и которая слишком увлекается жирными сливками.

Дроус и тут не засмеялся. И тогда Камбер решил смеяться, не

дожидаясь. Он удивился, как громко это у него получается. Несколько человек засмеялись вслед за ним.

Дроус даже не улыбнулся. Он достал пакет с сухим пайком, развернул коричневый пергамент, вытащил оттуда галету и сердито надкусил ее.

«Нет, к Дроусу не подступишься,— с грустью подумал Камбер.— Мог бы хоть сейчас, перед атакой, поговорить со мной. В конце концов оба мы из Джимбли. И если с одним из нас стрясется что-нибудь на этом европейском стрельбище, другой сможет зайти к родным и сказать им обычные слова утешения, которых они так ждут: «Я как раз был при этом. Он бежал впереди всех и первый атаковал предмостное укрепление. Его пример увлек за собой всю роту. Пуля сразила его наповал, прямо в сердце. Он совсем не мучился...» Нет, не пойдет Дроус к моим родителям и не станет им ничего рассказывать. Для него негры хуже чумы. С первого дня он и словом не перекинулся ни со мной, ни с другими неграми в нашей роте. Может быть, белые в Джимбли какие-нибудь особенные? Я сам слышал, как Дроус сказал другому белому: «От негров воняет». Тот только постучал себя пальцем по лбу. Но Дроус по-прежнему просто не замечает меня. А может, я сегодня совершу что-нибудь необыкновенное? Например, возьму в плен двадцать немцев да еще генерала в придачу. До сих пор мы были в резерве. Теперь мы на передовой. Позиции фрицев напротив развороченных виноградников. Мы должны отбросить врага на противоположный берег Рейна. Простой и доходчивый приказ, выполняй — и все тут. Что это, лейтенант уже подает сигнал? Нет, он просто засовывает себе в рот жевательную резинку. А станиолевую обертку он скатал в шарик и щелчком послал его прямо в каску Дроуса. И Дроус рассмеялся. Теперь он смеется,— подумал Камбер.— Еще бы, когда шутит лейтенант, он смеется».

Камбер пригнулся. Штурмовики пронеслись над исходными позициями. Смертоносные орудия с ревом обрушились на окопы фрицев. Серые птицы спикировали несколько раз, уверенно и злобно, прежде чем скрыться за жмущимися друг к другу холмами.

Камбер увидел, как первая волна атакующих хлынула на светло-зеленые виноградники. С берега донеслось яростное тявканье. Недружное, захлебывающееся. Несколько солдат споткнулись и остались лежать на земле. Будто какие-то насекомые оливкового цвета напали на виноградник.

— Вперед! — выкрикнул лейтенант. Его взвод пошел в атаку. Арон Камбер высоко вскидывал ноги, чтобы не запутаться в цепких усиках лоз. Время от времени раздавался пронзительный свист. Когда свист становился громче, Камбер бросался в сторону, падал, снова вскакивал и продолжал свою дикую пляску вниз по склону. «Обхохочешься,— подумалось ему.— Мы вышагиваем, словно испуганные аисты».

Джек Дроус бежал рядом с Камбером. Негр обрадовался.

— Кто первым добежит, тому леденец!

— Заткнись! — крикнул Дроус.— Заткнись, образина!

Спуск стал более пологим. Они достигли подножья холма. У изгороди лейтенант собрал свой взвод. Все оказались налицо. Ответный огонь был очень слабым. Штурмовики, судя по всему, основательно прочесали местность. И тут все увидели танки. Два «тигра»... «Они похожи на два кулака, которые прут вперед, зажав пистолеты,— подумал Камбер.— Кадр из ковбойского фильма — крупным планом».

Лейтенант послал трех своих солдат с базуками занять позицию. Но танки были слишком далеко. Они находились вне пределов

досягаемости единственного противотанкового средства, которым располагал взвод. Правда, оставались еще магнитные мины. Камбер увидел, как Дроус вразвалочку подошел к лейтенанту и после недолгого разговора получил взрывчатку.

— Подбить один — мало толку. Кто возьмет на себя второй?

Вызвался Камбер. Он больше не испытывал желания совершать громкие подвиги и все же вызвался и взял вторую мину.

— Насколько удастся, мы прикроем вас пулеметным огнем. Ну, валяйте!

— Лейтенант, а нельзя послать со мной кого-нибудь другого? — спросил Дроус и в упор посмотрел на Камбера.

— Большого выбора у нас нет,— ухмыльнулся лейтенант.— На Камбера можно положиться. Ну, давайте, давайте!

Оба солдата отложили винтовки, передвинули кобуру на живот, закрепили мины на спине. Когда послышался кашель пулемета и карабины поддержали его недружным огнем, Камбер и Дроус поползли к танкам по песчаному берегу. Оросительная канавка служила им прикрытием. Канавка кончилась метров за пять до стальных зверей с торчащими хоботами.

«Какая идиотская морда у танка,— подумал Камбер. И еще: — Какой здесь на Рейне красивый, чистый песок. Тут бы часами валяться. Почему это я одновременно думаю о таких разных вещах?» — спросил себя Камбер.

— Пошел! — прошипел Дроус.

Камбер побежал. «Какой танк я должен подорвать — первый или второй? — подумал он.— Может, Дроус дал мне указания, а я их прослушал? Или он опять не захотел разговаривать со мной?»

Оба солдата бросились ко второму, дальнему танку. Негр первым добежал до гудящей брони, заученным движением отстегнул мину и прижал ее к пятнистому боку танка.

— Поганый идиот! — заорал Дроус и бросился вместе с негром назад. Прежде чем они добежали до канавки, на их лица, спины, ноги обрушилось чадное и жирное пламя — сочетающее, овладевающее, всепроникающее.

Потом огнемет первого танка погас. В ту же минуту взорвался второй танк. Остов вращался на одной гусенице, словно пляшущий слон.

Еще до захода солнца раненный в плечо лейтенант вернулся с двумя санитарами на позиции, чтобы опознать убитых из своего взвода и заняться транспортировкой трупов на уже приготовленное — и отмеренное щедрой рукой — кладбище героев. Возле подбитого танка он остановился: разве дети принимали участие в бою? Два трупа, два крохотных трупа серовато-зеленого цвета лежали друг на друге.

— Это Дроус и Камбер,— сказал лейтенант. Каску он снял, еще когда отыскивал убитых в винограднике, и с тех пор держал ее в руках.

— Кто из них Дроус и кто Камбер? — спросил санитар постарше чином.

— Вы же видите! — хмуро ответил лейтенант.— По мне, выберите любую из обугленных головешек и окрестите близнецов заново. Одного веса, одного цвета, одной сохранности — что Дроус, что Камбер. Покойной ночи.

Лейтенант проглотил застрявший в горле комок. Потом его снова охватило радостное возбуждение от того, что он — в числе уцелевших. Он решил сегодня вечером выпить побольше трофейного рейнвейна.

По эту сторону цензуры

Дорогой Джоффри! Прошу извинить за то, что сегодня я предлагаю вашему вниманию один только нескончаемый текст и никаких снимков. Причем использовать эту мазню у нас в газете будет еще труднее, чем мои подписи к снимкам, а ведь их вы тоже очень редко давали в неисправленном виде. И с полным основанием, дорогой босс: ведь писатель из меня никакой. Острый глаз, но беспомощное перо. Всякий раз, когда вы превращали мое «ясное небо» в «сияющий небосвод» или в нечто подобное, я сознавал, как неумело я обращаюсь со словами. Но это не статья, а просто письмо, предназначенное для одного-единственного читателя — для вас, Джоффри. Вас удивляет, что оно такое длинное? Увы, у меня очень много времени. Я сижу в тюрьме.

Только не падайте так уж сразу со стула. Ваш ведущий фоторепортер не замешан ни в убийстве, ни в преступлении против нравственности. Предъявленное мне вчера обвинение гласит: «Попытка подорвать силы нации». Что касается «нанесения увечий при исполнении служебных обязанностей», то это обвинение было снято, поскольку мне разодрали мочку уха и вывихнули руку. Власти сочли это, надо полагать, достаточной компенсацией. Следовательно, я предстану перед высоким судом лишь по делу о подрыве сил нации. (Я замечаю, что начал изъясняться, как наш репортер из отдела судебной хроники.)

Не спешите выражать сожаление. Могу сообщить вам, Джоффри, что мне здесь хорошо. Ей-богу. Не сносно и не так себе, а именно хорошо. В моей «клетке» сидит еще один человек. Белый, разумеется. Вообще, в этом смысле деление клеток соблюдается здесь очень тщательно. (Деление клеток, сдается мне, это термин из биологии? Впрочем, вы меня понимаете.) Так или иначе, но остальные ютятся в общей камере, в подвале, а у нас — комната на двоих, и притом недурно обставленная. Здесь нет ни переполненной параши, ни тому подобных аксессуаров, известных читающей публике из романов с продолжением (которые, кстати, печатаются и в нашей газете). Зато есть кровать с пружинным матрацем, вместительный шкаф, большой стол, маленький столик, книжная полка, радионаушники, исправный ватерклозет за ширмочкой и множество всевозможных игр, в том числе шахматы, причем всем черным фигурам с большим вкусом приданы негроидные черты. Как только меня водворили в камеру, мой костюм был вычищен, отутюжен и заштукован (особенно пострадал мой пиджак — пятна крови, разорванный рукав). Постельное белье — ослепительной белизны, рацион — самый изысканный. Одним словом, с нами обращаются, как с юными принцессами, которые приехали погостить к холостому монарху. (Припоминаете мою фотосерию под общим названием «Король, король, пора жениться!»?) Тюремный надзиратель — веселый симпатичный человек — заявил мне, что здесь никогда не допустят, чтобы белый выглядел непрезентабельно, что это вопрос престижа белой расы. Вот почему в этой стране над белыми рабочими не могут поставить черного начальника. И вот почему лучше быть белым и глупым, чем

черным и умным. Впрочем, Джоффри, довольно об этом. Вы, конечно, хотите узнать, что же случилось со мной.

Итак, три дня назад мы, то есть я и еще четверо коллег, сидели в вестибюле отеля «Орел». Под вечер, когда сама жара выбилась из сил. Кусочки льда в наших бокалах таяли, словно в скоротечной чахотке. Я уже собрался заглянуть к нашему придурковатому послу и состряпать о нем фоторепортаж, как вдруг Томпсону подкинули по телефону роскошную идею. Томпсон превосходно играет в поло и много раз неофициально выступал в составе офицерской команды Хайлэндских казарм. У него там полно друзей, которые его информируют. Надо думать, он и денег побольше получает от своей редакции на представительство и на подарки. Чувствуете?

Томпсон сказал:

— Могут разыграться события перед резиденцией губернатора. Вызван смешанный отряд полицейских и солдат. Будет выставлен заградительный кордон против демонстрантов, которые хлынули в центр города из трущоб. Бронетанковым частям тоже приказано находиться в состоянии боевой готовности.

Метров за пятьдесят до губернаторского дворца нам пришлось вылезать из такси: заградительная цепь была плотная и далеко выдвинута. Нас, однако, сразу же пропустили, как только увидели наши физиономии. Не потому, что наш вид внушал такое доверие, а потому, что наша кожа была подходящего цвета.

Я рассовал по карманам сменные объективы, чтоб были под рукой, проверил камеру, навел на цепь солдат и сделал несколько пробных снимков. Такие снимки всегда производят впечатление: молодые парни застыли в ожидании, подбородный ремень опущен, пистолет на бедре. В эти минуты они все на одно лицо, с судорожно сжатыми челюстями и подрагивающими щеками. Черная толпа текла, как вязкое и тягучее машинное масло. Если не считать (вернее, если не слушать) вполне явственного гудения, было тихо. Люди не скандировали, не пели, не кричали. Доносилось только шлепанье тысячи босых ног. Когда темное человеческое море находилось уже в десяти шагах от живой дамбы, над площадью прозвучала команда: «Изготовсь!»

Демонстранты пошли медленнее и наконец остановились на расстоянии вытянутой руки от стосковавшихся по работе пистолетных дул.

Мои коллеги и я подняли фотоаппараты и начали снимать. Я заснял несколько плакатов, поднятых над толпой: обыкновенные простыни, неумело расписанные дешевой краской, несколько лозунгов с множеством восклицательных и вопросительных знаков. Из-за орфографических ошибок торжественные слова походили на криво застегнутые пиджаки.

Запечатлев плакатные насаждения, я снял крупным планом несколько лиц из толпы. В отличие от квадратов застывшего мяса под стальными касками заградительного отряда, здесь на лицах отражались человеческие чувства: смирение, скорбь, энтузиазм, самоотверженность, любопытство. Потом в мой видоискатель попала женщина, смотревшая на меня с холодной ненавистью.

Я опустил аппарат. Теперь, когда линза не разделяла нас, лицо демонстрантки меня испугало. Оно выражало больше, чем ненависть. Оно выражало безграничное презрение лично ко мне. Нужно было защищаться. Я спросил:

— Почему вы на меня так смотрите? Я здесь ни при чем.

Плечо солдата, через которое я бросил эти слова, не шелохнулось. Женщина, еле сдерживая своим тщедушным телом натиск толпы, ответила:

— Люди вашей породы с одинаковой равнодушной добросовестностью снимают и церкви, и публичные дома.

Эти тихие почти шепотом сказанные слова поразили меня, как удар хлыста. У нашего брата, в сущности, только и есть что его профессия. И если кто-нибудь охаивает работу, с которой ты связан, это тебя по меньшей мере злит. Но уже через несколько секунд злость сменилась гневом.

— Шлюха! — крикнул я. Я решил, что только сутенер или проститутка способны поставить рядом церковь и публичный дом. Вероятно, у этой девки были свои счеты с фоторепортерами, может быть, они засняли, как она охотится на мужчин, и тиснули снимок. Это казалось мне достаточным объяснением, и гнев мой уже было улегся, но вдруг толпа поднаперла еще сильнее, и женщину швырнуло прямо на стоявшего передо мной солдата. Каменный истукан в форме вдруг ожил и стволом своего автомата ткнул эту женщину в ключицу. Она упала. И тут между широко расставленными ногами солдата я увидел то, чего не мог видеть раньше: женщина была на сносях.

Мне пришлось на несколько минут прервать свое письмо, Джоффри. У меня только что побывал начальник тюрьмы с неким господином, которого он представил мне как «значительное лицо в юридической жизни страны». Мне растолковали, что я задержан по прискорбному недоразумению; можно не сомневаться, что я хотел напасть не на солдата, а на бунтующих демонстрантов. И, значит, я с полным правом защищал находящееся в опасности меньшинство. Я сказал, что имел в виду именно солдата, а вовсе не демонстрантов. Сказал правду, босс! После чего начальник и значительное лицо удалились.

Знаете, Джоффри, когда женщина лежала на мостовой, я понял, что все время пытался обмануть самого себя. Со мной говорила не шлюха, со мной говорил человек, который опознал меня. Своими снимками я хотел просто информировать, сохраняя объективность, хотел не принимать никакого участия в событиях. Но разве этого достаточно? Разве не надо занимать позицию, определенную позицию? Почему я находился позади цепи, а не в рядах демонстрантов? Окровавленная женщина, распростертая на мостовой, была куда сильнее меня. Тот, кто хочет лишь разгуливать между фронтами, неизбежно становится трусом. Даже если на груди у него болтается фотокамера.

Извините, Джоффри, я слегка расфилософствовался. Зато перед губернаторским дворцом я не философствовал. Парню в хаки, сбившему с ног женщину, я своротил челюсть кулаком, в котором был еще зажат объектив. И тотчас боль, словно рыкающий зверь, впилась мне в левое ухо и проникла до самого мозга: на меня обрушился ружейный приклад.

Только в санитарной машине я обнаружил, что у меня конфисковали камеру и отснятую пленку. Что случилось после моего вмешательства, я не знаю. Вы, вероятно, осведомлены лучше, чем я, ибо нам доставляют по желанию пиво и папиросы, но не газеты. Да и вообще может статься, что, когда я выйду отсюда, мои снимки больше не подойдут для вашей газеты.

Ну, босс, будьте здоровы. Я виновен, и это меня радует. И никто не уговорит меня до суда отказаться от признания своей вины. А если вы хотите что-либо предпринять, пошлите сюда Дика Копперса из отдела происшествий. Этот молодой сорвиголова найдет здесь для себя много материала.

Я еще раз перечитываю письмо. Как-то слишком сжато оно написано. Многое следовало бы изложить гораздо подробнее. Но именно это «многое» я и не умею высказать. Зато вы, босс, обладаете живым вооб-

ражением, а воображение помогает восполнить пробел. Так что наиболее существенное додумайте сами. Кстати, я совсем не уверен, что вы вообще получите мое убогое послание: письмо находится пока по эту сторону цензуры. Привет всем, кто будет обо мне спрашивать.

Ваш Эрнест Трентон.

Объединение в Миссисипи

Веревка врезалась в запястья. Особенно острую боль человек в пижаме испытывал, когда машина с пронзительным визгом делала поворот и его прижимало к стальной стенке багажника.

Дышать было трудно. Воздух, который прорывался в щели старого автомобиля, с трудом просачивался сквозь льняную ткань мешка, куда человек был запрятан, и, в конце концов, жалкие его остатки пополам с отработанным газом попадали через ноздри в легкие. Во рту торчал кляп. Из-за этой тряпки связанный человек уже долгие часы находился в том состоянии, когда все тело покрывается испариной, а подступающая к горлу тошнота вот-вот грозит перейти в рвоту. В детстве он дрожал при одной мысли о том, что доктор узкой деревянной ложечкой прижмет его язык и обследует горло.

Вытолкнуть кляп ему мешал плотный сетчатый чулок, которым были обмотаны рот и подбородок. Он старался напустить в тряпку как можно больше слюны. Ему казалось, что таким способом он превратит ее в часть самого себя и тогда это инородное тело будет меньше его мучить. К тому же такое занятие отвлекало.

Машина круто затормозила. Проржавленный замок уныло заскулил, и багажник открылся.

Человека в мешке подбросило вверх, и он упал на кучу песка. Чья-то рука коснулась его головы, потрепала по щеке и, нащупав сквозь полотно кляп, вытащила его изо рта.

Топот ног. Громкий смех. Потом взревел мотор. Рев нарастал крещендо, но вскоре заглох вдали.

Человек в мешке не делал попытки высвободиться. Он жадно вдыхал воздух, освежающий, словно вода со льдом. «Удивительно,— думал он,— как мало логики в поступках людей, привезших его сюда. Кто мог бы сквозь шум мотора услышать его крики из багажника? А раз это так, то для чего понадобилось совать ему в рот мерзкий нейлоновый шарф? Позвать на помощь, что ли? Становится холодно. Даже в Миссисипи чувствуешь, что близится ночь, особенно если ты в одной пижаме».

— Вам доставляет удовольствие торчать в мешке?

— Нет,— ответил связанный человек.

— И долго вы намерены оставаться в нем?

— Пока вы меня не вытащите.

— Вот оно что,— сказал незнакомец. У него был тонкий высокий голос.— Зажимы. Простыни скреплены зажимами.

— Разрежьте мешок!

— Жалко. Хорошее полотно.

— Неважно. Это имущество объединения. Разрежьте, пожалуйста.

Незнакомец сделал перочинным ножом надрез и разорвал мешок.

— Что это вы такой красный? — спросил он, посмотрев на связанного.

Тот ответил:

— Мне очень стыдно, что вы меня видите в ночной пижаме. Только и всего.

— Острите,— сказал незнакомец и развязал веревки.— Вас ограбили? — спросил он.— Гангстеры напали?

— Совсем не так увлекательно, как вам кажется,— ответил, потягиваясь, человек, освобожденный от веревок.— Всего лишь студенческая шалость. Испытание перед принятием в члены объединения.

— Понятно,— сказал незнакомец.— Похищение в одной пижаме. И увоз в неизвестном направлении. Желательно — куда-нибудь подальше. Затем высадка в безлюдном месте. После чего бедняга вынужден без гроша в кармане добираться до того города, где находится его университет.

— Правильно,— подтвердил студент.— Вы в курсе дела. Может быть, испытали нечто подобное на собственной шкуре?

— Я не учился в университете. Для нашего брата это было нелегко.

Только тут студент увидел, что незнакомец — старик, и притом негр.

— Но дети мои учатся в университете,— продолжал он.— Фрэнк — химик, а Дороти сдает экзамены на учительницу. Кстати, меня зовут Хэмфри, Хэмфри Уоллет.

— Извините,— сказал студент.— Я — Герберт Пийч. Называйте меня просто Герберт.

— Если вы будете называть меня Хэмфри.

— Идет, Хэмфри.

— Скажи-ка, Герберт, ты не приезжий? Выговор у тебя какой-то не такой. Да и староват ты для студента.

— Я из Германии,— ответил Пийч.— А что староват—так это верно. У себя дома я уже окончил медицинский. И даже проработал два года ассистентом в клинике. Сюда меня послали усовершенствоваться. Изучать новейшую аппаратуру для операций на сердце.

— Ну, старый знахарь, что это мы здесь стоим? Давай в берлогу к Хэмфри, пока ты не схватил насморка. Моя телега ждет нас там, перед входом на стройку.

Негр сделал несколько шагов, остановился в нерешительности.

— Если только... если только ты согласен быть моим гостем.

— Очень тебе благодарен,— ответил Пийч.— И не болтай вздора.— Он взял негра под руку. Они стали осторожно пробираться между кучами желтого песка, еле видимыми в темноте.

— Вот и экипаж,— сказал негр, когда они дошли до ворот, и показал на ветхий допотопный фордик.— Я каменщик. И кое-что смыслю в машинах. Сегодня засорился насос. Доллар-другой перепадет. А то бы до утра сюда никто не заглянул.

— Мне повезло,— сказал Пийч.

Негр забрался в машину и открыл дверцу. Когда студент уселся, негр спросил:

— Как, ты сказал, твоя фамилия? Пийч?

— Да,— ответил Пийч.

— Смешно,— сказал негр и включил мотор.

— В первые месяцы после приезда я часто называл себя Пейч, чтобы меня не принимали за персик. А теперь мне все равно — что Пийч, что Пейч.

— Имя — дым и звук пустой...— сказал Хэмфри.

— Ты читаешь Гете?— удивился Пийч.

— Я — нет. Дочка читает, и притом вслух,— усмехнулся Хэмфри.— А я с удовольствием слушаю. Если как следует вдуматься, Гете может оказаться занятней, чем иной боевик Альфреда Хичкока. Как, по-твоему?

Пийч с сомнением помотал головой и скорчил гримасу. Негр сказал сочувственно:

— Все понятно. Ты Гете проходил в школе. По программе. Нехорошо. Если бы меня заставили о каждом съеденном обеде писать сочинения, я предпочел бы умереть с голоду.

— Ну-ну!— сказал Пийч.

Негр засмеялся, смеялся он долго и весело.

Пийча клонило ко сну. Как ни удивительно, в старой машине работало отопление, и приятное тепло окутывало его словно одеялом.

— Приехали,— сказал Хэмфри.— В столовой еще свет. Дороти опять сидит над книгами. Ты не стесняйся, Герберт. В прихожей висит мой плащ. Можешь накинуть его на себя. Идем.

Только теперь Пийч вспомнил, что он все еще в пижаме. Идя бок о бок с негром, он торопливо миновал лужайки и посыпанные гравием дорожки. Потом он очутился в прихожей, такой нарядной, что ей впору бы красоваться на обложке великосветского журнала.

— Смотри, пожалуйста,— сказал Пийч, оглядывая выложенные кафелем стены.— Совсем как вестибюль шикарного отеля. Может, ты миллиардер какой-нибудь?

— Неплохо бы,— сказал Хэмфри и помог Пийчу надеть коричневый плащ.— Но этот домик выстроен сообща. Мы, каменщики, сговорились между собой и ежегодно в мертвый сезон строили такие вот лачужки. Хижины сыновей дяди Тома.

— А я думал...— начал Пийч.

— Ты думал, что такие, как я, живут в трущобах с ржавыми пожарными лестницами по фасаду, с разбухшим от сырости гофрированным картоном вместо оконных стекол. Пять лет назад мы так и жили. А теперь...— Хэмфри неопределенно повел рукой, словно хотел разом охватить свое новое жилье.— Кстати, проект этого дома принадлежит Дороти. Архитектору почти ничего не пришлось исправлять.

— Отец любит похвастаться своей дочерью. Советую вам принимать на веру только четверть того, что он обо мне рассказывает. Но даже в этом случае знайте, что он преувеличивает,— сказала девушка в толстом свитере пронзительного зеленого цвета, который настолько контрастировал с ее очень черным лицом, что в первую минуту было даже больно глазам. Но стоило получше присмотреться, и обнаруживалось удивительное свойство этого сочетания: цвета поглощали друг друга.

— Это Дороти,— сказал Хэмфри.— Дочка, я привел гостя: Герберт Пийч, врач из Германии.

— Вы уж извините,— сказала девушка.— Отец большой шутник.

— А это вовсе не шутка. Хэмфри правильно представил меня.

Дороти недоверчиво глядела то на одного, то на другого.

— Вы коллекционируете сетчатые чулки?— спросила она Пийча.

Тот растерянно посмотрел на свою правую руку, в которой он все еще сжимал кляп и чулок.

— Это из добычи студенческого объединения «Каппа Альфа Чи»,— сказал он.— Там у них стоит целый сундук, доверху набитый женским бельем. Все это постепенно натаскали из общежития студенток.

— Прелестный вид спорта!— насмешливо сказала девушка.— Ну, и как? Нравится вам?

— Я в таких налетах пока не участвовал,— ответил Пийч.— Ведь я новичок. Мне еще нужно пройти испытание.

— Понятно.— Девушка с наигранной серьезностью кивнула головой.— И ваше появление здесь в пижаме, очевидно, составляет часть этого испытания?

— Да,— сказал Пийч.— Завтра еще до захода солнца я обязан явиться в университет.

— И тогда что?

— Тогда я стану полноправным членом объединения.

— Какая высокая цель!— сказала девушка.— Но пока что отец вас проводит в ванную. Товарищи ваши не слишком деликатно обошлись с вами. А я тем временем приготовлю вам поесть. Если вы не потребуете ваше национальное блюдо — свинину с кислой капустой, я надеюсь вам угодить.

— Не сомневаюсь,— сказал Пийч, смущенно теребя обшлага слишком широкого плаща.

— Ну конечно Дороти снова права,— сказал Хэмфри.— А я-то, неряха, и не подумал о том, что тебе надо помыться. Идем, Герберт, под душ!

Пийч смотрел на девушку. Он чувствовал, что должен еще что-то сказать. Что-нибудь забавное. Или значительное. Но ничего не приходило в голову. Он молча последовал за негром в ванную.

Пока Пийч стоял под душем, Хэмфри мыл руки и продолжал расхваливать свою дочь.

— Знаешь, Герберт, дом-то обошелся недорого. Не дороже, чем какой-нибудь стандартный домишко серийного производства. Но благодаря выдумкам Дороти он получился такой красивый — просто загляденье. Скошенная крыша из толстого стекла, круглая столовая, прихожая с раздвижной стеной, выходящая прямо в сад. Сейчас я тебе все это покажу. Ты ведь ночуешь у нас?

— Да,— ответил Пийч. Ответил сразу, без малейших колебаний.

— Когда мы въехали сюда, я хотел поставить фикусы в столовой, где стены без обоев. Но Дороти не позволила. Дешевка, говорит. Каждая семья, говорит, проживающая свыше пятидесяти долларов в неделю, изводит фикусами и себя, и своих гостей, и сами фикусы. Что ты станешь делать? С тех пор как умерла моя жена, в этих стенах неограниченная власть принадлежит Дороти. Но это нас всех устраивает.

Дверь в ванную приоткрылась.

— Фрак для господина доктора,— сказала Дороти.— С плеча моего брата Фрэнка.— Она просунула в приоткрытую дверь светло-серый тренировочный костюм, пару теннисных туфель и купальный халат.

После того как Пийч с надлежащими возгласами изумления осмотрел дом во всех подробностях, они с Хэмфри накинулись на груду сандвичей, весьма аппетитно приготовленных Дороти. Крепкий кофе, выпитый без молока и без сахара, освежил Пийча. Какая досада, что при первом разговоре с Дороти он держался так нерешительно. Ему все сильнее хотелось побеседовать с этой умной, находчивой девушкой.

Хэмфри усердно потчевал своего гостя, принес в графине джин, подкрашенный фруктовым соком, поддерживал легкий, непринужденный разговор. Потом он потушил почти докуренную сигару и сказал:

— Ты займешь комнату Фрэнка. Он приезжает только на воскресенье. А я иду спать. Завтра утром доставлю тебя в лоно... в лоно...

— «Каппа Альфа Чи»,— подсказала девушка.

Хэмфри похлопал студента по плечу и вышел. Оставшись наедине с девушкой, Пийч почувствовал себя неловко. А ведь он никогда не был

застенчив. В клинике ему приходилось иметь дело с тысячами людей. Что с ним такое? Может, его смущает цвет кожи? Чепуха. Нужно дать ей понять, что ему чужды такого рода предрассудки.

— Чудесный человек ваш отец,— сказал он.

— Да, он возится с вами, как с грудным младенцем,— резко ответила девушка.— Еще бы, такая честь для нас — белый гость в нашем доме.

— Прошу вас, отнеситесь ко всей этой истории с юмором,— сказал Пийч.— Я за дружеские отношения между белыми и цветными.

— А в «Каппа Альфа Чи» принимают и негров? — спросила девушка.

— Об этом я как-то не думал. Вы же знаете, что каждое объединение имеет свои традиции.

— Почему же вы туда вступаете? — спросила девушка.

— Как все, так и я. Если ты гость в чужой стране, самое лучшее — участвовать во всем, что тебе предлагают.

Девушка ничего не ответила. Брови ее поползли вверх.

— Но я ненавижу всякое угнетение,— с жаром сказал Пийч.— По-моему, просто чудовищно, что три недели назад здесь в Миссисипи линчевали пятьсот тридцать четвертую жертву.

— Цифра, во всяком случае, точная,— сказала девушка.— И относительно невысокая.

— Ну, знаете...— начал Пийч с возмущением.— Такая цифра...

— Разве у вас на родине не спорят о том, сколько именно людей было убито некоторыми вашими соотечественниками — семь миллионов или *всего лишь* четыре? — тихо спросила девушка.

Пийч долго молчал. Потом посмотрел девушке в глаза.

— Зачем вы это говорите? — спросил он.— Мне было шестнадцать лет, когда война кончилась.

— А теперь вы вдвое старше и забавы ради делаете первый шаг в том самом направлении, которое снова ведет к вашему пресловутому господству высшей расы.

— Вы, видимо, лучше осведомлены, чем я,— хмуро сказал Пийч.

— Через несколько месяцев я стану обучать людей. Почему бы мне не начать это сегодня же, раз уж представился такой редкий, можно сказать, неповторимый случай?

— Пожалуйста, если вы не можете иначе,— холодно ответил Пийч.

— Обиделись?— с улыбкой спросила девушка.— А когда вы ужинали с моим отцом, вы чувствовали себя совсем по-домашнему, не правда ли?

Пийч слегка оттаял.

— Я тоже лягу спать,— сказал он.

— У негра в комнате? Вряд ли это соответствует традициям вашего объединения.

— Чего вы от меня хотите?— крикнул Пийч.

— Ничего такого, чего вы не могли бы понять,— ответила девушка.— Ну, всех благ. Комната Фрэнка направо от ванной.

Зеленое пятно свитера исчезло в дверях. Пийч медленно встал.

В комнате Фрэнка он снял тренировочный костюм и теннисные туфли. Потом вышел, тихо притворив за собой дверь, и зашагал босиком по мокрым лужайкам и холодному шуршащему гравию. Очутившись на улице, он еще раз оглянулся. Освещенный квадрат окна выхватывал кусок ночи. Но в то же мгновение черная мгла сомкнулась над ним.

КИТАЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

ТАО ЮАНЬ-МИН

Перевод с китайского Л. Эйдлина

Тао Юань-мин (365—427) — великий китайский поэт. Его творчество во многом определило дальнейший путь китайской лирической поэзии. В представленных нами переводах его стихов отчетливо видно стремление поэта уйти от опостылевшей ему службы феодального чиновника, покинуть среду карьеризма и стяжательства. Тао Юань-мин осуществил свою мечту и стал жить в деревне среди милых его сердцу простых людей.

Вся поэзия Тао Юань-мина посвящена воспеванию человеческой свободы, которую он понимал как свободу от пут, налагаемых чиновничьей карьерой. Эту свободу искал он в жизни деревенского пахаря. Глубокая искренность и смелость мысли, любовь к человеку, благородство чувств сделали бессмертной прекрасную поэзию Тао Юань-мина.

В ПЯТЫЙ МЕСЯЦ ГОДА ГЭНЦЗЫ * НА ПУТИ ИЗ СТОЛИЦЫ ДОМОЙ ЗАДЕРЖАН ВЕТРОМ В ГУЙЛИНЕ.

1

Еду-еду, плыву
Вдоль дороги в родные края,

И считаю я дни,
Когда старый завидится дом

С первой радостью мне
Вновь приветить тот ласковый лик,

И второю за ней —
Снова братьев моих повстречать.

Так за весла и в путь —
Неспокойный, извилистый путь.

На светило взгляну —
Скрылось в западном дальнем углу.

То река, то гора —
Не таятся ль опасности в них?

Странник, к дому спеша,
В мыслях видит, что́ ждет впереди.

Южный ветер подул
На помеху стремленьям моим.

---

* Год гэнцзы — 400 г.

Весла в лодку кладем,
Недвижимы в озерной глуши

За высокой травой,
Что заполнила даль без границ,

За стволами дерев,
Что раскинули летний убор.

И не скажет никто,
Будто путник от дома далек:

Чуть поближе всмотрюсь —
Сто каких-нибудь ли до него.

Неотрывно гляжу —
Вот и Южные горы узнал.

Не поможет мой вздох.
Как отсюда бы вырваться нам!

2

С самых древних времен
Мы вздыхаем о посланных в путь,

Что сегодня и я
В первый раз на себе испытал.

Пики гор, воды рек
На широких просторах земли!

Волн и ветров игру
Разве можешь ты предугадать.

Все сметающий вал,
Споря с небом высоким, гремит.

Долгий яростный вихрь
Позабыл, что бывает покой.

Я, скитаясь давно,
Тосковал по родившей меня,

Каково же теперь,
Не доехав, томиться мне здесь!

Я в раздумье над тем,
Как сады и леса хороши,

И от мира людей
Как легко отрешиться навек!

Годы зрелой поры
К нам приходят на долгий ли срок?

Сердцу волю я дам
Без боязни раскаяться в том!

В СЕДЬМОЙ МЕСЯЦ ГОДА СИНЬЧОУ *, ВОЗВРАЩАЯСЬ ПОСЛЕ ОТПУСКА В ЦЗЯНЛИН, НОЧЬЮ ПРОЕЗЖАЮ ТУКОУ

Без хлопот, не служа,
Тридцать лет я на свете провел,

И не смела тогда
Пыль мирская коснуться меня.

Все сильнее к стихам
Возрастала давнишняя страсть —

Я в лесах и садах
Не испытывал суетных чувств...

Как же было не жаль
Этим всем пренебречь и уйти,

Далеко-далеко
Мне отправиться в Западный Цзин!

Я ударил веслом,—
Только месяц осенний настал,—

У бегущей воды
Покидая любимых друзей.

Свежий ветер подул,
И спускается вечер за ним.

Вид природы ночной
Так прозрачен, так чисто омыт.

И блестят, и горят
Надо мною просторы небес.

И бела, и светла
Предо мною равнина реки.

* Год синьчоу — 401 г.

Погруженный в дела,
Не урву и минуты для сна.

Даже ночью глухой
Я один продолжаю свой путь.

Но мелодия «шан» *
Не прельщала меня никогда.

Я мечтаю с тоской
О земле, что пахать нам вдвоем.**

Эту шапку сорву
И в родное селенье вернусь.

Вам меня не обвить,
Путы выгодных мест и чинов!

Правду в сердце взращу
Под соломенной крышей простой,

Так чтоб мог я себя
Человеком достойным назвать.

ИЗ ЦИКЛА «РАЗНЫЕ СТИХИ»

* * *

Далеко от семьи
Я в скитаньях по службе опять.

Мое сердце, одно,
В двух местах этих разных живет.

Слезы скрыл рукавом —
На восток убегает ладья.

По теченью плыву,
Поспешая за временем вслед.

Все же солнце зашло,
И созвездия Мао и Син

Тоже прячут себя
За вершинами западных гор.

Здесь унынье во всем,
Здесь сливается небо с землей.

Я в тяжелой тоске
Вспоминаю покинутый дом.

Рвусь душою к нему.
Я мечтаю вернуться на юг,

Но дорога длинна,
И надежда не тешит меня.

Цепь застав и мостов
Все равно не убрать мне с пути!

Даже весть не дойдет,
И себя я вверяю стихам...

* * *

Я, пока не служил,
Буйство помыслов дерзких смирял.

Мчалось время стремглав,
Я держать себя больше не мог.

Так я ринулся в путь,
Где привалов и отдыха нет.

Снарядился и сел
И погнал до восточных вершин.

Туч нависших туман
Словно мускус пахучий принес

И холодной волной
Под одежду ударил мне в грудь.

Смена лун и годов
Проходила своей чередой,

Я ж, однажды прибыв,
Задержался на долгие дни.

Мне с волненьем теперь
Вспоминаются нити семьи,

Эти чувства, каких
Так давно уже был я лишен.

---

* Здесь «шан» символ чиновничьей карьеры: в VII в. до н. э. Нин Ци, человек из страны Вэй, возвысился благодаря тому, что государю страны Ци понравилась спетая им мелодия «шан».

** То есть спокойно, как двум пахарям, встреча Конфуция с которыми описана в книге «Луньюй».

Тихим шагом грядя,
Десять минуло лет наконец,

Не на всю же я жизнь
Был опутан чужими людьми.

Двор закрыла и дом
Тень дерев, что остались в живых.

Не заметишь, как вдруг
Солнце тоже исчезнет с луной.

* * *

Я в скитаньях моих
Не сказать, чтоб ушел далеко.

Но назад оглянусь —
Как был ветер холодный суров!

Снова ласточка в срок
Поднимается в воздух весной

И высòко летит,
Пыль со стрех обметает крылом.

Гуси с дальних границ
О потере приюта скорбят —

Жили здесь, и назад
Возвращаться им в северный край.

В одиночестве кунь
Прокричит среди чистой воды:

Птица в ней и в жару,
И в осеннего инея дни.

Человек загрустил,
Трудно в слово облечь эту грусть,

И от дома вдали
Бесконечна весенняя ночь!

*
* *

Тонка и бессильна
Сосна на высоком обрыве,

Прелестный и нежный,
Еще не окрепший ребенок.

И лет ей, наверно,
Три раза по пять миновало;

Ствол тянется в выси.
Но можно ль к нему прислониться?

А облик прекрасный
Таит в себе влажную свежесть.

Мы в ясности этой
И душу провидим и разум.

ВОСХВАЛЯЮ ЦЗИН КЭ *

Дань — наследник престола —
Привечал при дворе достойных,

Потому что мечтал он
Об отмщении Ину злому.

Приходил к нему лучший
Каждой сотни мужей отважных.

Так он к вечеру года
И обрел могучего Цзина.

Человек благородный
Не колеблясь умрет за друга.

Взял свой меч драгоценный
И покинул столицу Яня.

---

* Цзин Кэ (III в. до н э.) — один из тех героев китайской истории, которых Тао Юань-мин считал образцом для себя. Цзин Кэ по поручению наследника престола княжества Янь совершил покушение на тирана Ина, правителя страны Цинь, будущего Цинь Ши-хуана. Он ударил его кинжалом в то время, как они развернули привезенную Цзин Кэ карту страны Янь. Цзин Кэ промахнулся и был убит окружавшими Ина сановниками.

Кони траурно-белы
На широкой дороге ржали.

Это в гордом волненье
Не меня ль они провожают?

Встали волосы дыбом,
Высоко поднимая шапки,

Тою грозною силой
Разрывая шнуры завязок.

Пьют прощальную чашу,
Где Ишуй-река протекает.

И куда ни посмотришь —
Восседают толпой герои.

Там Цзе-ли среди храбрых
Ударял по печальным струнам.

Там Сун И, ему вторя,
Пел высоким голосом песню.

В ней порыв за порывом
Уносился плачущий ветер.

В ней размах за размахом
Покатились хладные волны.

Шан — мелодия грусти —
Вызывала ручьями слезы.

Юй — напев величавый —
Заставлял трепетать бесстрашных.

Знал Цзин Кэ в своем сердце,
Что уйдет и вновь не вернется,

Но теперь неизбежно
Навсегда он себя прославит.

Поднялся на сиденье —
Он назад ни за что не глянет,—

И, летя, колесница
Ворвалась во владенья Циня,

На дорогах отбросив
Десять тысяч ли за собою,

На извилистых тропах
Тысяч стен миновав изгибы...

И развернута карта,
И само уже дело просит,

И свирепый владыка
Задрожал и бежит от Цзина.

Ах, печаль меня мучит:
Был он слаб в искусстве кинжала,

Удивительный подвиг
Не сумел увенчать успехом.

Но того человека
Пусть и нет уж на белом свете,

Будет в тысячелетьях
Он тревожить сердца потомков!

ЮАНЬ ЧЖЭНЬ

Перевод с китайского Александра Гитовича

Юань Чжэнь (779—831) — прославленный поэт и новеллист Танской эпохи. До сих пор большой известностью и признанием пользуются его стихи и знаменитая новелла «Повесть об Ин-ин», сюжет которой в XIII в. лег в основу драмы Ван Ши-фу «Западный флигель».

Творчество Юань Чжэня проникнуто гуманистическими идеями. Поэт с большой теплотой и участием пишет о простом народе, возмущается алчностью и честолюбием чиновников, бессмысленными междоусобицами. Юань Чжэнь выступал за общественную

значимость литературы и своими произведениями заставлял задумываться над многими несправедливостями окружающей жизни.

Юань Чжэня связывала большая дружба с великим поэтом Бо Цзюй-и. Вместе с ним он принимал живое участие в прогрессивной общественной группировке поэтов и новеллистов. Юань Чжэнь отважился написать обращение к императору, в котором неодобрительно говорил о том, как наместники императора управляют народом. За свободомыслие и дерзость Юань Чжэнь, как и Бо Цзюй-и, впал в немилость и был сослан в глухую провинцию. В произведениях Юань Чжэня позднего периода преобладают мягкая грусть и раздумье. Эти стихи еще в большей степени проникнуты состраданием к обездоленным, спокойной верой в дружбу, любовью к природе и людям.

СТИХИ ОБ УСАДЬБЕ ЯНЬ ЦЗЯНЯ В ЭЧЖОУ, ГДЕ Я ПОСЕЛИЛСЯ ПРОЕЗДОМ *

Есть у феникса
Древний платан для гнезда,

И у аистов есть
Недоступные сосны.

После дальней дороги
Забрел я сюда,

Где сумею прожить
Относительно сносно.

За окном
Пламенеют под солнцем цветы,

И на тополе
Птичье царит беззаконье.

Но гляжу я на шелк
Запыленной тахты,

Вспоминая весь день
О «Лежащем драконе».

Вот бы здесь мне прилечь
В ожидании сна

И увидеть во сне
Своего полководца.

Знаю я, что навеки
Уходит весна,

Что она никогда
Для меня не вернется.

Как же действовать
Мысль моя в мире должна?

Может быть, полководец
Мне скажет об этом —

В час, когда над кумирней
Заходит луна

И тревожится колокол
Перед рассветом.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПОЛЯ

Сорока еще лет
Тао Цянь ** не достиг,

Но уж бросил он службу
И бросил столицу.

Так и я поступил —
Хоть совсем не старик,—

Чтобы в дальней деревне
Навек поселиться.

Тут зимой
Привожу я в порядок жилье,

Огородом своим
Занимаюсь весною.

Ни о чем не тревожится
Сердце мое,

Все дворцы — далеко,
У меня за спиною.

---

* Это стихотворение посвящено знаменитому полководцу III в. Чжугэ Ляну. «Лежащий дракон» — его прозвище.

** Другое имя Тао Юань-мина.

ЦВЕТЫ ОПАДАЮТ В РЕКУ

Река Цзялин
Течет невдалеке,

Рой лепестков
Воздушен, чист и светел.

Кого жалеть?
Тех, что плывут в реке,

Иль тех, кого
Уносит легкий ветер?

ОПЛАКИВАЮ СЫНА

У ласточки было восемь птенцов,
Сейчас — семерых уж нет.

Под тихой луной обезьяны кричат,
И воплям их нет конца.

Занавеску отдернув, увижу я —
Когда наступит рассвет,—

Как пара ласточек учит летать
Единственного птенца.

УСЛЫШАЛ О ТОМ, ЧТО МОЙ ДРУГ БО ЦЗЮЙ-И ПРИГОВОРЕН К ССЫЛКЕ В ЦЗЮЦЗЯН

От жалкого светильника
В смятенье

На потолке дрожат
Ночные тени.

Я только что
Узнал, мой верный друг,

Что вы в опале
Оказались вдруг.

Я сам склоняюсь
В старческом недуге,

Но, содрогаясь,
Думаю о друге,

И до зари
Мне слушать суждено,

Как хмурый дождь
Стучит в мое окно.

ПРОГРАММА КОММУНИЗМА, ПРОГРАММА МИРА

Болгария

Эмиль Манов

Гимн жизни

Программа строительства коммунистического общества! Каждая ее строка, каждое слово звучит как гимн жизни и человеческому счастью! Благодаря ей самые далекие и смелые мечты лучших сынов человечества превращаются в близкую и осязаемую цель, которая озаряет борьбу и дела нашего замечательного времени. Это поистине великая хартия прав и свободы человека, научный прогноз будущего народов.

Я не люблю высокопарных речей и не хотел бы, чтобы эти слова прозвучали обыкновенной тирадой: они лишь приблизительно выражают то, что чувствует все мое поколение, воспитанное в духе коммунизма. У нас в Болгарии это поколение всего лишь двадцать лет назад партизанило в горах, погибало в фашистских тюрьмах и концлагерях. Тогда коммунизм казался нам сокрытым за девятью горами... Сейчас мы верим, что сами дождемся дней коммунизма, что наши дети будут жить в обществе, свободном от заботы о куске хлеба и крыше над головой, как люди свободного духа — счастливые и сильные. А разве это не является самой величайшей радостью и надеждой!

После XX съезда КПСС, который положил начало новому развитию жизни в социалистических странах, я не читал ни одного партийного документа с более глубоким интересом и вниманием. Самое сильное впечатление в новой Программе Коммунистической партии Советского Союза произвели на меня высокий гуманизм и последовательный демократизм, пронизывающий каждую ее строку: «Все во имя человека, для блага человека...» Нет сомнения, что осуществление этой Программы расширит еще больше социалистическую демократию, ликвидирует последние следы культа личности в сознании людей, откроет более широкие пути дружеским и братским отношениям между людьми нашего общества.

Как писатель, я уверен, что такое развитие обеспечит еще более могучий расцвет социалистической культуры, а литература создаст новое богатство идей и образов, которые будут помогать формированию нового человека — члена коммунистического общества.

Программа КПСС — программа мира и коммунизма — указывает всем народам путь к свободе и счастью.

Куба

Хуан Маринельо

Знамя народов всей земли

Программа Коммунистической партии Советского Союза несомненно является историческим документом в самом строгом и точном смысле этого слова. Этот великий документ имеет огромное значение для всех тех, кто стремится построить жизнь на коллективных началах. В нем отображена картина коммунистического общества, наиболее справедливого и счастливого общества, основанного на подлинном равенстве людей, и намечен прямой и наиболее короткий путь к нему.

В нападках на Программу КПСС со стороны тех, кто заинтересован, чтобы всегда существовало угнетение народов и неравенство между людьми, можно встретить такое утверждение: эта Программа — мечта о рае, привлекательное, но обманчивое сооружение.

Есть люди, которые не понимают слов Ленина о том, что революционер должен уметь мечтать. Да, действительно, находятся еще представители царства пресмыкающихся, которые хотели бы воздвигнуть глухую стену на пути человечества, неустанно стремящегося к прогрессу.

Стремление к лучшему, к свободному и счастливому развитию всех человеческих способностей не отделимо от самой жизни. История учит нас (особенно история нашего века), что мечты могут претворяться в действительность, что стремление к идеалу нашло свое выражение в великих победах, одержанных Советским Союзом и миром социализма.

Угнетателям не дает покоя то, что человечество на протяжении последних десятилетий обрело оружие, при помощи которого самые сокровенные мечты превращаются в действительность. Это оружие — теория марксизма-ленинизма; только она могла вдохновить на создание такого документа, как новая Программа КПСС, и вооружить советский народ всем необходимым для ее осуществления.

Рабочие и крестьяне, лучшие представители интеллигенции, свободолюбивая молодежь — все те, кто является неразрывной частью народа,— с радостью приветствовали появление проекта Программы КПСС, ибо в нем говорится о создании нового общества, которое они увидят своими глазами. Народы всего мира знают, что ни одно из обещаний, данных Коммунистической партией Советского Союза, не оставалось невыполненным, и поэтому они не сомневаются в том, что увидят свободное общество, о котором говорится в Программе КПСС. Марксизм-ленинизм вдохновлял, направлял и определял титаническую борьбу, которую вел Советский Союз в течение четырех десятилетий. На базе марксизма-ленинизма будет обеспечено выполнение того, что намечено в Программе. Решая задачи, поставленные предыдущей Программой Коммунистической партии, Советский Союз достиг наивысших в наше время темпов социального, экономического и культурного развития. Ни в какой другой стране человек не имеет таких возможностей для применения своих талантов и способностей, ни в какой другой стране мира культура и наука не добились таких замечательных успехов.

На реальной базе этих успехов ее основывается Программа КПСС, которая сегодня потрясает весь мир. Этот документ имеет поистине всемирно-историческое значение, ибо в нем намечаются и решаются основные проблемы, которые стоят не только перед великой страной, в которой он создан, но и перед народами любого континента и любой национальности. Эта Программа с помощью несокрушимых доводов разоблачает главных врагов человечества: империализм, колониализм, расизм и милитаризм.

Все народы черпают в Программе КПСС решимость трудиться не покладая рук, чтобы освободиться от угнетателей как своих, так и иностранных. Эта Программа действительно является великим знаменем народных масс всей земли. Мы, кубинцы, видим в ней могучую силу, поддерживающую нашу демократию и независимость, нашу социалистическую революцию и борьбу против американского империализма.

Советский Союз и страны социалистического лагеря оказали нам братскую помощь, поддержав движение, возглавляемое Фиделем Кастро, и нашу упорную борьбу против империалистической агрессии. Без каких бы то ни было кабальных условий и корыстных целей Советский Союз оказал нам также поддержку в освобождении нашей экономики от американской зависимости.

Эта политика братской помощи народам, политика пролетарского интернационализма и борьбы за мир, которую последовательно и неуклонно проводят Коммунистическая партия и Советское правительство, нашла свое яркое отражение в новой Программе КПСС.

Вот почему кубинский народ с огромным энтузиазмом приветствует эту Программу. Осуществление ее отвечает нашим национальным интересам и желанию кубинского

народа строить свою жизнь на основе справедливых и равноправных международных отношений. И Куба открыто и сердечно протягивает свою руку великому советскому народу, его партии и правительству на вечную и нерушимую дружбу.

Монголия

Профессор **Ц. Дамдинсурэн**

Товарищ, друг, брат

В руке у меня перо, а передо мною несколько листков бумаги. И на этих листках мне хотелось бы написать о нашем восхищении грандиозной Программой построения коммунизма, о восторге, который вызвали у нас замечательные подвиги Гагарина и Титова, о вечной дружбе, связывающей монгольский народ с народами Советского Союза.

Очень трудно писать о таких вещах обычными словами. Утешает одно: раз этими обычными словами на нескольких газетных страницах можно было изложить изумительную Программу, которая освещает путь всему человечеству, значит, не в словах дело.

Новая Программа КПСС глубоко волнует не только советских людей. Мы относимся к ее великим предначертаниям, как к своему кровному делу.

В наше время сказочно сократились расстояния и сроки. Близкими стали Луна и другие планеты, а коммунизм, который многие из нас считали лишь уделом потомков, наступит еще при нашей жизни. И все это достигается благодаря усилиям советских людей, под руководством славной Коммунистической партии Советского Союза. Мы понимаем, что коммунизм не построится сам собой, нужно проделать гигантскую работу и преодолеть массу трудностей, но слово Коммунистической партии Советского Союза никогда не расходится с делом, и поэтому мы уверены в том, что эта Программа будет полностью выполнена.

И монгольский народ, как и все народы социалистических стран, не останется праздным наблюдателем: построение социализма в нашей стране будет нашим вкладом в общее дело. Мы, монголы, живем рядом с Советским Союзом и вот уже 40 лет плечом к плечу с советскими людьми строим новую жизнь. Монголия живет ныне бурно и счастливо, подобно природе, проснувшейся весной после долгой зимней спячки, подобно цветам, которые распустились и зацвели после засухи.

Озеро, находящееся рядом с морем и имеющее с ним связь, никогда не высохнет. Так и Монголия, неразрывно связанная с великим лагерем социализма, никогда не остановится в своем развитии. Монгольский народ всегда помнит о той огромной помощи в ликвидации многовековой отсталости и в создании новой счастливой жизни, которую оказал нам советский народ. В тяжелые военные годы советские люди помогли нам создать университет. Теперь в Монголии, в которой 40 лет назад грамотный человек считался ученым, несколько тысяч человек получили высшее образование, а больше ста имеют степень кандидата наук. Очень показательны биографии этих людей. Сейчас молодой кандидат наук Бат-Эрдэнэ читает лекции по зоологии. А в 1942 году он приехал в Улан-Батор, имея лишь начальное образование, и поступил в университет... возчиком. И таких людей сотни. Мы благодарны советским специалистам не только за их самоотверженный труд, но и за то, что они помогли нам создать новые кадры.

Ныне Монголия стала аграрно-промышленной страной с развитой культурой и экономикой. Монгольские степи прорезаны шоссейными и железными дорогами. Нетронутые раньше ископаемые богатства теперь широко разрабатываются; плодородные земли Монголии, которые были некогда целиной, дают урожаи, и страна сейчас уже обеспечивает себя хлебом. Все это достигнуто при дружеской помощи Советского Союза.

Дружба наших двух народов все больше и больше крепнет. Среди современной интеллигенции нет человека, который не знал бы русский язык, и все монголы без

исключения знают русское слово — товарищ. С этим словом монголы всегда обращаются к русским. А в Советском Союзе нам, монголам, часто приходится слышать от наших советских друзей теплые слова «сайн байну» (здравствуйте) и «нехер» (товарищ). Это означает, что русские люди, побывавшие в Монголии, навсегда сохранили добрые воспоминания о нашей стране.

Находясь в Советском Союзе, мы много раз убеждались в высоких душевных качествах русских людей. Вспоминается, например, такой случай. В июне 1955 года я проезжал по Сибири. Вдруг поезд остановился: выяснилось, что горел маленький домик железнодорожного сторожа. Хозяин и хозяйка вытаскивали домашние вещи, трое маленьких детей, держа обгорелые игрушки, громко плакали. Пассажиры нашего поезда немедленно организовали денежную помощь погорельцам. Тут же собрали несколько тысяч рублей и вручили их пострадавшей семье. В этом выразилась большая душевная доброта и гуманность советских людей. Случай, конечно, незначительный, но он говорит о многом. И хотя примеров такого отношения друг к другу я видел в Советском Союзе множество, они неизменно меня восхищают.

Я хочу также сказать об имеющих большую историю дружественных культурных связях наших двух народов. Приведу небольшой пример: в июле 1961 г. я находился в командировке в степях на востоке Монголии и зашел в одну юрту к своему другу детства, скотоводу Долчику. Я интересуюсь старинными рукописями и, зная, что у него сохранилось много рукописных книг, попросил показать их. И вдруг среди этих книг я обнаружил одно из моралистических произведений Л. Н. Толстого, переведенное, вероятно, еще при жизни писателя. Сейчас на монгольский язык переведены «Война и мир», «Кавказский пленник» и многие другие произведения Толстого. Но, оказывается, еще до установления народной власти среди простых монгольских скотоводов в рукописях распространялись его книги, переведенные энтузиастами.

40 лет для истории народа — небольшой период. Но для развития нашей страны они имели колоссальное значение.

Мы добились больших успехов, и всем нашим успехам в немалой степени способствовали помощь и дружба Советского Союза. Я уверен, что дальнейшее экономическое и культурное развитие моей родины будет идти все быстрее, ибо нерушимая дружба народов социалистических стран лучшая гарантия этому. И нас не может не вдохновлять и не радовать великая Программа коммунистического строительства, которую принял XXII съезд КПСС, ибо эта программа освещает всем нам путь к лучшему будущему, к всеобщему человеческому счастью.

Польша

Игнаци Виц

Осуществление мечты

Извечная мечта художника о том, чтобы искусство заняло достойное место в истории человечества, по-видимому, уже близка к воплощению. Человек, освобожденный от тяжкого труда, от повседневных забот о хлебе насущном, работающий лишь несколько часов в день, образованный и культурный, в результате сложившихся условий сможет заняться тем, что больше всего его будет волновать. А что иное сможет его так волновать, как искусство? Следовательно, он обратится к художественному творчеству, и искусство, став поистине всенародным, будет не только удовлетворять эстетические потребности человека, но и в большей мере, чем когда бы то ни было, формировать его воображение и ум.

Именно об этом говорится в Программе Коммунистической партии Советского Союза, и, конечно, не только в тех строках, которые посвящены вопросам культуры. Это вытекает из самого существа Программы, в результате осуществления которой произойдут самые революционные из всех перемен и обновится вся жизнь на земле.

Сейчас очень часто ученые, писатели, художники — независимо от социальных систем, в условиях которых они творят,— выражают свои опасения по поводу дегуманизации современной культуры. Широкое внедрение техники в жизнь и свойственное молодежи преклонение перед техникой, развитие которой якобы всецело определяет судьбы мира, создает у многих людей туманное представление о таком будущем, когда человек утратит духовные потребности, а культура приобретет чисто потребительский характер.

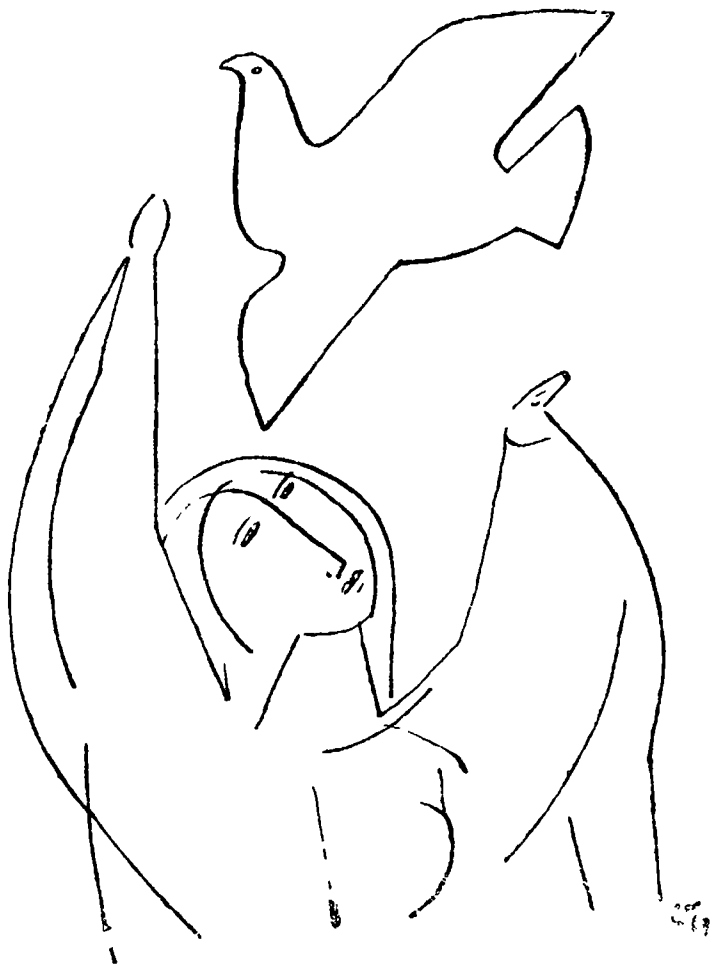


Рисунок автора

Не подлежит сомнению, что будущее не окажется таким, что наряду с мощным развитием техники, человечество увидит расцвет самой гуманной культуры. И уверенность в этом дает нам Программа КПСС.

Разумеется, мои мысли о будущем, каким оно рисуется в свете Программы КПСС, отрывочны, фрагментарны и касаются лишь «частного» вопроса. Но это частное тесно связано с целым и является необычайно важным для того, кто по-новому осмыслил устремления всей своей жизни.

Чехословакия

Ян Пиларж

Ради человеческого счастья

Вспоминаю, как однажды Витезслав Незвал в пылу полемики с несколькими старыми товарищами, со всей страстью заявил, что в отличие от них его поколение пришло к коммунистическому мировоззрению после первой мировой войны благодаря огромным, ясным, вдохновляющим перспективам, которые открывало учение Маркса и Ленина. При изучении Программы Коммунистической партии Советского Союза меня захватил этот пафос будущего, который Незвал так осязаемо почувствовал в творческой силе партии, написав об этом уже в тридцатых годах незабываемые стихи:

Я знаю страну недалеко от полюса,
Знаю удивительную страну.
Иди, не плачь, время летит,
Пусть сгинет старый мир.
Дети той великой страны
Ведут человечество вперед.

И завершающее двустишие:

Только счастье миллионов,
Радость, красота, рай.

Даром поэтического прозрения он увидел в Советской стране то, что выражено с головокружительной простотой в одной фразе, облетевшей мир, когда был опубликован проект Программы:

«Коммунизм выполняет историческую миссию избавления всех людей от социального неравенства, от всех форм угнетения и эксплуатации, от ужасов войны и утверждает на земле Мир, Труд, Свободу, Равенство и Счастье всех народов».

Огромна и захватывающе прекрасна эта цель, к достижению которой мы так невероятно приблизились. Ведь речь идет не о теоретических предпосылках, а о практических делах нашего поколения. В эти дни все мы причисляем грядущее двадцатилетие

к своей жизни и верим, что доживем до построения основ коммунистического общества не только в Советском Союзе, но и у нас. Ведь мы в Чехословакии знаем, что это и наша программа, что она является мобилизующим фактором для развития и нашего общества.

Это не программа мечтателей и утопистов. Нас воодушевляет сама действительность. Пропахивая первые борозды на звездном небе, советские космонавты подтверждают перед всем миром реальность коммунистических планов. Здесь теория развивает практику, а практика обогащает теорию, и программа человеческого счастья является самым мощным двигателем всей деятельности.

Для писателя имеют особое значение главы о моральном кодексе строителя коммунизма, о демократических принципах, которые исключают злоупотребление властью, о единой общечеловеческой культуре, о задачах искусства в обществе, свободном от противоречий между личностью и коллективом, в обществе, где открывается широкий простор для удовлетворения духовных потребностей человека.

Думаю, что эта окрыляющая Программа будет стимулировать фантазию художников, которая явно отстает,— мы особенно чувствуем это сейчас, в дни необычайных успехов науки и подлинного человеческого героизма.

Осмыслить эти импульсы, воплотить их в новые литературные произведения — на это вдохновляет нас Программа Коммунистической партии Советского Союза. Мы знаем, что XXII съезд будет исторической гранью новой эпохи, необычайно важной для всей земли, для всей нашей жизни, для всего человечества. Дни, которые мы переживаем, насыщены, как конденсатор энергии высокого напряжения. Но это не напряжение разрушительных молний, которыми освещается безнадежный мир капитализма, осужденный историей на гибель. Это высокое напряжение творческого труда во имя жизни, достойной человечества, во имя его славы, величия, красоты.

Уругвай

Альфредо Гравина

Восхищение и благодарность

Читая новую Программу Коммунистической партии Советского Союза, я думаю о нынешнем поколении советских людей, которое будет жить при коммунизме, но прежде всего — о Ленине, о Марксе и Энгельсе, гигантах научной мысли и революционного действия. Никогда еще я не испытывал к ним столь глубокого чувства восхищения, уважения, благодарности. Читая Программу КПСС, я не говорю про себя: «Если бы они это видели!» — напротив, я в изумлении восклицаю: «Как они сумели это увидеть, как они предвидели, с каким совершенством они сочетали теорию и практику, завещав человечеству чудесное орудие освобождения и завоевания счастья — марксистско-ленинскую теорию!»

Я думаю о советском народе, первым на земле построившем социализм, я думаю о героической эпопее Октябрьской революции, о гражданской войне, о Великой Отечественной войне. Какой героизм, какое самопожертвование, какая неиссякаемая энергия в служении будущему!

Ныне КПСС намечает программу построения коммунистического общества. Еще два десятилетия, и советские люди вплотную подойдут к осуществлению принципа: «От каждого — по способностям, каждому — по потребностям». Я с воодушевлением объясняю моим детям, друзьям, всем окружающим, что это можно правильно понять, лишь приняв в расчет следующее. Когда говорится о способностях, следует иметь в виду не средние способности трудящихся в капиталистическом обществе, а способности человека, всесторонне развитые и умноженные его социальной средой; точно так же, когда

говорится о потребностях, надо помнить, что речь идет о совокупности неизмеримо более высоких материальных и духовных запросов, чем те, которые характерны для капиталистических стран, где человек нередко вынужден отказывать себе в самом необходимом и где широкие массы живут в нищете и темноте. Никита Сергеевич Хрущев указал, что для осуществления коммунистического принципа распределения по потребностям, необходимо не только создать изобилие материальных благ, но и добиться того, чтобы труд для членов общества стал первой жизненной потребностью. Какие удивительные качества, с точки зрения гражданской и человеческой, приобретут тогда миллионы и миллионы людей!

Осуществление грандиозных планов построения коммунизма — международная задача советского народа, то есть задача всемирного масштаба под углом зрения социальной революции во всей капиталистической системе и победоносной борьбы за сохранение мира на земле. Эти планы открывают для всего человечества самые прекрасные перспективы.

Построение коммунизма в СССР без всякого сомнения явится неопровержимым практическим доказательством торжества научного социализма и тем самым огромной помощью народам, борющимся за свободное, назависимое и счастливое существование. Социалистическая революция на Кубе, в самой пасти империалистической Америки, показывает нам с полной очевидностью, что необходимые для революции условия имеются во всех латиноамериканских странах. Но, конечно, если бы не существовало социалистической системы, с ее огромной, все увеличивающейся материальной и моральной мощью, как бы ни были благоприятны внутренние условия для социальной революции в любой из наших стран, революция была бы подавлена империализмом, как это и случалось в прошлом.

В Программе КПСС вновь утверждается тезис о реальной возможности избежать третью мировую войну на основе борьбы за мир, которую ведут СССР, остальные социалистические страны и все миролюбивые народы. А нет ничего более важного, чем это, для человечества, которое имеет право на жизнь, свободную от призрака массового уничтожения, от угрозы термоядерной смерти.

Что касается моей страны, то у нас только оголтелые фашисты и наемники аплодируют воинственным жестам Кеннеди или Аденауэра... Уругвайский народ любит мир и отстаивает его, горячо защищает кубинскую революцию, борется за демократические свободы и национальную независимость. Он видит новых героев конечно не в генералах Пентагона и не в кровожадных президентах, а в руководителях рабочего класса, в бесстрашных коммунистах, в покорителях космоса, подобных Гагарину и Титову.

О. Егоров

ВО ИМЯ СВОБОДЫ И БРАТСТВА

Советский человек вступил в пору новых радостных свершений. Мечта становится явью. Программа Коммунистической партии, принятая недавно XXII съездом КПСС, наметила реальные и конкретные сроки, в которые осуществится дерзновенная мечта человечества — коммунизм.

...На заре века В. И. Ленин мечтал о свободной литературе. Она должна служить не страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу и будущность.

Ленин выдвинул и со всей присущей ему страстностью отстаивал принцип партийности искусства, ибо не существовало тогда и нет сегодня иного пути для подлинно свободного творчества, кроме приобщения к животворному источнику коммунистической идейности.

Литература, о которой мечтал Ленин, создана в нашей стране усилиями писателей нескольких поколений. В наши дни советская литература — одна из многих свободных литератур социалистического лагеря; крепкие нити связывают ее с прогрессивным искусством всего мира.

На протяжении всей истории советской литературы ее жизнь направлялась коммунистической партией. «Благотворное влияние партийного руководства...— отмечает Н. С. Хрущев,— подтверждено историей литературы и искусства всех братских народов нашей страны».

Подлинная свобода творчества — одна из решающих причин расцвета советского искусства. Социализм принес неограниченную свободу для раскрытия дарований советского человека во всех сферах труда. Выступление Н. С. Хрущева «К новым успехам литературы и искусства» содержит предельно ясное и выверенное практикой определение свободы творчества, каким оно сложилось в марксистско-ленинской эстетике. «Свобода творчества в ленинском понимании,— говорит Н. С. Хрущев,— состоит в том, чтобы идти вместе с народом, создавать духовные богатства для народа, в интересах народа».*

Верное понимание свободы творчества объединяет сегодня советских писателей с деятелями литературы многих стран. Известные слова М. Шолохова, произнесенные им на XX съезде КПСС, о том, что для советских художников писать по-партийному — это значит писать по велению сердца, перекликаются с высказываниями передовых зарубежных художников самых разных стран.

Арнольд Цвейг убедительно ответил от имени писателей социалистического лагеря адвокатам так называемого «неконтролируемого искусства»: «Да, мы получаем приказы, но от нас самих! Мы получаем приказы по поручению передовой части человечества, но получаем их через нашу совесть, через наши убеждения, от нашего свободного мышления... Мы всегда готовы выступить всем своим существом на защиту дела, которое направлено к подъему пролетариата, к подъему нового человечества».

Эта же мысль звучит у Джека Линдсея как призыв к художникам научиться глубоко понимать конфликты времени и делать из них решительные выводы. «Правильно разобраться в конфликтах эпохи империализма,— заявляет Линдсей,— значит увидеть,

* «Коммунист», 1961, № 7, стр. 10.

как эти конфликты разрешает социализм. Убеждения писателя должны быть высказаны со всей прямотой, не стесненные более никакими помехами, которые были неизбежны в те времена, когда социализм не стал еще реально возможен».

Советская литература — наследница русской классической литературы. Зарубежные художники-гуманисты чутко улавливают идейную преемственность, существующую между ними. Перу Генриха Манна принадлежит удивительное по своей проницательности суждение: «Социалистическая революция могла удасться, а ее результат — Советский Союз может существовать потому, что оба были идейно подготовлены... Сто лет великой литературы — это русская революция перед революцией... От Пушкина до Горького, звено к звену, в непрерывном ряду стоят романы, которые обучают глубокому познанию человека, знакомят с его слабостями, с его опасениями, его призванием,— и они воспринимаются как учение о самой жизни...»

Великие события в жизни советского общества облегчают проникновение советской литературы за рубеж, приковывая внимание ко всему советскому, а советская литература, в свою очередь, способствует пониманию зарубежным читателем советской жизни.

«Мне известно множество объективных изложений хода Октябрьской революции и описаний Советского Союза,— говорит Л. Фейхтвангер,— но подлинные предпосылки революции я постиг после прочтения рассказов и романов Горького, а Советский Союз я узнал из произведений советских писателей, в особенности Маяковского и Шолохова».

Научные достижения наших дней, продемонстрированные перед всем миром спутниками Земли, межпланетными кораблями и полетом советских людей в космос, повышают интерес к советской культуре во всем мире. «Что касается спутников, лунников и развития науки вообще, ясно, что новые научные открытия неизбежно изменяют мышление людей, оказывают влияние на культуру, а, следовательно, также на поэтическое и художественное творчество,— говорит итальянский поэт Сальваторе Квазимодо.— Это влияние испытываю и я, перед всеми поэтами встают новые проблемы строгости, зрелости, высокой идейности, морали».

Назым Хикмет пишет о том, что открытие космоса окажет большое влияние на искусство. «Мне кажется,— замечает Хикмет,— что с прорывом в космос искусство вступит в эру оптимизма. Я имею в виду, главным образом, искусство капиталистических стран, ибо в социалистических странах искусство стало оптимистическим с первых же шагов по пути к открытию космоса, то есть с минуты взятия Зимнего дворца».

* * *

Всемирный литературный процесс протекает после Октября 1917 года под знаком все более растущего воздействия социалистической революции и ее культуры. Советская литература социалистического реализма, у истоков которой стоит М. Горький, приобретает возможность «с высоты победившей революции пересмотреть весь мир и поэтически открыть его вновь»,— так пишет Иоганнес Бехер о художественном новаторстве В. Маяковского.

Социалистическая революция способствовала расцвету пролетарской литературы за рубежом — во Франции, Германии, США, Чехословакии, Японии, Болгарии и т. д. Она углубила понимание исторической миссии пролетариата, повысила общественную активность таких пролетарских писателей старшего поколения, как Мартин Андерсен-Нексе, более тесно связала их с международной революционной борьбой. Она содействовала притоку в национальные литературы свежих творческих сил. Имена Анри Барбюса и Джона Рида, Ивана Ольбрахта и Эгона Эрвина Киша, Марии Майеровой и Поля Вайяна-Кутюрье, Майкла Голда и Леона Кручковского, Го Мо-жо и Бела Иллеша — эти имена ветеранов социалистической литературы XX века получили широкое признание уже в первое послеоктябрьское десятилетие.

В условиях обострившегося кризиса буржуазной культуры необходимость «поисков опоры» и «принятия решения» возникает перед каждым честным зарубежным художником. На сторону социалистического реализма переходят со временем многие признанные мастера — именно в этом направлении развивается творчество Р. Роллана, Т. Драйзера, Г. Манна, М. Садовяну, М. Пуймановой, А. Цвейга и других. Крупными художниками социалистического реализма становятся писатели разнообразных

творческих индивидуальностей: Луи Арагон, Иоганнес Р. Бехер, Пабло Неруда, Бертольт Брехт, Поль Элюар.

Совершается великая литературная революция. Заявляет о себе новая закономерность развития мирового искусства, закономерность сосредоточения передовых сил всемирной литературы на стороне социалистической революции.

Во всемирной литературе возникают два основных *полюса притяжения* художественных сил. Первый полюс — это советская литература, мировое искусство социалистического реализма, второй — космополитическое искусство модернистской реакции. Притяжение одного или другого полюса испытывают многочисленные художники слова.

За последние сорок лет в Европе и Америке значительно активизировалась деятельность различных модернистских групп и школ, откровенно враждебных социалистическому искусству. Некоторые писатели, отдававшие ранее дань реализму, постепенно переходят на позиции антиреалистической эстетики. Подобным образом развивалось, например, творчество Дж. Джойса, Д. Г. Лоуренса, О. Хаксли. Активными пропагандистами эстетики антиреализма становятся в 30—50-е годы ренегаты и ревизионисты от литературы А. Жид, А. Мальро, Т. Пливье.

С другой стороны, эволюция Б. Брехта и И. Бехера, Л. Арагона, П. Элюара и П. Неруды свидетельствует о том, что мировой литературный процесс протекает под могучим воздействием эстетики социалистического реализма.

Двум полюсам притяжения соответствуют два типа взаимодействия между национальными литературами. Космополитической направленности буржуазной философии и политики соответствует в искусстве тенденция ко все более расширяющемуся отказу от национальной самобытности и традиций народного искусства. Отчетливо проступает стремление разрушить реалистическую основу каждой национальной литературы. Реалистически изображенной человеческой индивидуальности все более противопоставляется отказ от основы искусства — от образности.

Модернистские направления стремятся, прикрываясь требованием новизны, к нивелировке искусства. В живописи уже достигнут в этом плане известный предел. Сегодня трудно уловить различие между «парижской школой» и абстрактным искусством США или Италии. «Представим себе ученого,— говорит в одном из своих интервью, известный мексиканский художник Д. А. Сикейрос,— утверждающего: «К черту все знания, добытые за всю историю. Начнем сначала физику, медицину, химию и т. п.».— Если внимательно изучить теорию и практику так называемого «нового искусства», то станет ясно, что это — наиболее реакционное движение, реакционное по своему жанру, реакционное по своей форме и стилю, реакционное в своей эстетической сущности... Оно потеряло все, достигнутое художниками за двадцать веков...»

Итальянский критик Антонио Гверчо, высмеивая погоню модернистов за «новизной ради новизны», заметил: «Ирония истории захотела, чтобы паладины «личности», «оригинальной формы», «индивидуальности художника» пришли бы к «абстрактивистскому коллективизму», где характерное, то, что отличает одного художника от другого, полностью терялось бы в океане маленьких механических формул, заранее установленных, неспособных развиваться ни в одном направлении».

Слова Д. Сикейроса и А. Гверчо справедливы и по отношению к литературе. В буржуазном литературоведении возник даже специальный термин «алитература». Произведения, к которым относится этот термин, принадлежат к одному из самых уродливых порождений в области реакционной культуры — они лишены национальной специфики. Взаимное влияние их авторов друг на друга только углубляет пропасть между ними и подлинным искусством, ведет к потере своего национального лица.

Между литературными течениями социалистической и демократической направленности складывается взаимодействие, которое способствует взаимному эстетическому обогащению, сохраняя национальные особенности каждой культуры. Выше говорилось уже о существенных сдвигах в творчестве таких критических реалистов, как Т. Драйзер, Р. Роллан, Г. Манн. Обогащая свой художественный метод завоеваниями социалистической эстетики, эти писатели оказали вместе с тем плодотворное воздействие на развитие социалистической литературы.

После образования мировой системы социализма изменились условия роста социа-

листических литератур в народно-демократических странах Европы и Азии. Из единения литератур социалистического лагеря вырастает коллективный эстетический опыт, в равной мере ценный и полезный как для друзей за рубежом, так и для советских мастеров пера.

В этих условиях опыт советской литературы приобретает особое значение. Об этом говорят сами писатели. «Что мне дает советская литература? — спрашивала Мария Пуйманова.— Героический взгляд на жизнь! Читаю ли я Островского, Фадеева или Полевого, меня всегда снова и снова укрепляет и восхищает моральная красота, которой отличается советская книга. Человек должен поклониться самопожертвованию, выносливости, храбрости и вере советского человека, который буквально сворачивает горы. Советская литература — это литература глубокого содержания и прямого пути».

Лондонская «Дейли уоркер» некогда справедливо назвала роман Н. Островского «Как закалялась сталь» «вехой в истории пролетарской литературы». Венгерский писатель Матэ Залка считал Островского, наряду с Горьким и Фурмановым, одним из своих главных наставников. Но тот же Островский указывает, что Залка дал ему много полезного для его работы. «Со многими писателями беседовал я,— говорил Островский,— со многими сошелся довольно близко, но, пожалуй, никто мне так не близок, как пламенный венгерец Матэ... Из бесед с ним я вынес много полезного для себя, для своей творческой работы». Залка вдохновил Островского на создание образа лейтенанта Шайно. Один из рассказов Залки о его прошлом Островский использовал в романе «Рожденные бурей». В «отчаянном парне, лейтенанте Шайно», который в 1917 году, находясь в русском плену, поднял военнопленных навстречу социалистической революции, нетрудно узнать облик будущего генерала Лукача. И Николая Островского, и Матэ Залку увлекало, прежде всего, раскрытие того,— говоря словами Залки,— «из каких психологических корней берет свое начало, какими путями приходит человек (герой) к большевистскому сознанию, к коммунистическим убеждениям».

У Арагона в «Коммунистах» есть запоминающаяся сцена. Тяжело раненный солдат Жигуа убеждается в том, что он — калека. Но Жигуа черпает бодрость и веру в будущее в воспоминаниях о Павле Корчагине, о котором он читал еще до войны. Складывается живая преемственность тем и образов, демонстрирующая тесную связь между литературами социалистического реализма, развивающимися в разных исторических условиях.

Несомненно, с другой стороны, что эстетическое новаторство Арагона, проявившееся в «Коммунистах», входит в общую сокровищницу метода социалистического реализма. Жизненный образ коммунистической партии, созданный Арагоном на широчайшем социальном, национальном, международном фоне, достоин самого пристального изучения со стороны советских литераторов.

Зарубежные художники часто обращаются к теме, которую именуют «Мировое значение советской литературы», как это делает Джек Линдсей, или же — «Великая литература», как назвал Ба Цзинь советскую литературу, оказавшую, по его выражению, «огромное благотворное влияние на весь мир».

В книге Луи Арагона «Советские литературы», в четырех книгах Иоганнеса Бехера, посвященных поэтике наших дней, в речах Пабло Неруды и статьях Шона О'Кейси содержится бережная и любовная, всесторонняя и объективная оценка советской литературы. Лучшие советские книги встречают с их стороны горячее признание. Эти произведения (если говорить словами Франтишека Гечко о М. Шолохове) возбуждают у зарубежных художников желание учиться мастерству, с которым они написаны.

* * *

Искусство каждого народа вносит неповторимый вклад в сокровищницу мировой культуры. Но в мире существует неравномерность идейно-эстетического развития. Национально-исторические условия способствовали тому, что именно советская литература открывала принципиально новое во всемирном развитии.

Советская литература обнажила великий разлом, совершившийся в России,— в этом одно из ее крупных художественных открытий. Она показала становление нового человека, который утверждает личное счастье, борясь за благо народа, за коммунизм. Этот

человек стал ее главным героем. Подобного героя не знала ни одна литература прошлого.

В наши дни все большее число людей понимает, что только при социализме могут быть претворены в жизнь идеалы гуманизма в их самом полном и подлинном содержании. Коммунизм воспринимается как реальный гуманизм — эта мысль К. Маркса становится ныне достоянием многих людей земного шара. В распространении идей коммунистического гуманизма огромную роль играет советская литература. Говоря словами чешского писателя Яна Дрды (о книгах Фадеева), «новый социалистический гуманизм советских людей составляет самую выразительную и самую высокую черту новой советской литературы».

Естественно, что на протяжении сорока четырех лет своего существования советская литература по-разному воспринималась зарубежным читателем.

Литература 20-х годов, так же как и предреволюционное творчество М. Горького, знакомила Европу с революцией в самом широком смысле этого слова. «Герои Горького несли в себе революцию...» — говорил Б. Шоу. В этом для зарубежных деятелей культуры заключалась ее основная притягательная сила. Томас Манн сказал о Горьком: «Он, безусловно, великое явление в мировой литературе, он первый познакомил меня, и даже всю Европу, с русской революцией».

Воспринимая «революцию Советов как своего рода героическую легенду» (У. Террачини), зарубежный читатель стремился найти в советской литературе повествование о новых людях, о легендарных героях. И он находил этих героев в произведениях В. Маяковского и А. Серафимовича, Д. Фурманова и Вс. Иванова.

Уже тогда вокруг советской литературы шло ожесточенное идейное сражение. Вокруг каждой советской книги разгораются страстные споры. Ее нередко переводят с целью извратить содержание, ибо за эстетическими проблемами и в самих эстетических категориях социалистического реализма скрываются животрепещущие вопросы современной политической и социальной жизни. Видные деятели культуры улавливали эстетическое новаторство и указывали на художественное воздействие, исходившее от советского искусства. В 1927 г. А. Барбюс в статье, посвященной повести Ю. Либединского «Неделя», отметил, что «вместе с произведениями советской литературы в литературу французскую проник новый тип — тип подлинного революционера, который своим умом, своими руками героически совершил революцию и теперь с еще большим героизмом отстаивает ее завоевания». В том же году Барбюс писал: «Советское искусство можно охарактеризовать несколькими словами: это искусство жизни. В нем нет ничего абстрактного, упадочного, условного — в нем отражается живая жизнь». В предисловии к книге о советских писателях (книга должна была выйти в аргентинском издательстве «Клариндад») Барбюс, характеризуя особенности советской литературы, писал:

«Ее драматический интерес не в обрисовке частных случаев или чисто индивидуальных реакций, но в появлении на сцене коллектива; масса, множество не есть теперь обширный резервуар, откуда вылавливают отдельные формы, сцены или изолированные острые события, которые в лучшем случае охватывают несколько персонажей; масса — это единая сила, играющая роль вся сразу, во всей своей значимости и во всем своем объеме. Это обстоятельство открывает новые пути и перспективы в истории искусства».

Имя Маяковского становится известным во многих странах мира. Еще далеко не все произведения великого поэта были в то время переведены на языки Европы и Америки. Поездки Маяковского за рубеж способствовали его популярности. Соединение поэзии и личности Маяковского оказалось неповторимым по силе своего влияния. «Всемирно революционное значение Маяковского заключается... в том,— писал Бехер,— что поэту блестящим образом удалось показать в своих произведениях себя как свободно развивающуюся социалистическую личность... Превосходство Маяковского над другими поэтами заключается в том, что он прежде всего превосходит их размахом своей личности».

Особенно плодотворным оказалось воздействие творчества Маяковского на лирику славянских народов. Не без влияния его поэзии порывают с символизмом и переходят в лагерь пролетарской литературы Христо Смирненский и Гео Милев. Новые поэтические принципы служат надежной

опорой в борьбе за прогресс и свободу польским патриотам Ю. Тувиму и В. Броневскому. Зажигающие строки Маяковского наполняют верой в торжество революционных идеалов певцов чешской свободы Ст. Неймана и И. Волькера.

Вскоре советская литература уже многими своими произведениями выходит за пределы Европы. В Китае Лу Синь и его соратники систематически и последовательно переводили все лучшее, что было в советской литературе. «В 30-е годы,— отмечает американская писательница Ширли Грэхем, — в домах американской интеллигенции появились произведения Горького и Шолохова, отдельные переводы стихов Маяковского (позднее — Симонова). В годы, когда президентом США был Франклин Рузвельт, влияние русской литературы на мировую признавалось открыто...»

Советская литература одерживает, говоря словами Лу Синя, «принципиальную победу над литературой мировой», то есть над буржуазным искусством. В самых разных странах она завоевывает внимание широких читательских масс, искавших в ней в годы нарастания фашистской угрозы духовную поддержку и уверенность в светлом будущем человечества.

Советская литература в те годы впервые начинает восприниматься за рубежом как многоязычная, созданная усилиями писателей и поэтов братских народов Советского Союза. Драматургия А. Корнейчука, поэзия Я. Коласа, П. Тычины и Е. Чаренца, переводы произведений народных акынов Джамбула и Сулеймана Стальского свидетельствовали перед всем миром о глубоком интернационализме советской культуры. Советская литература предстает во всем богатстве жанров и форм: исторический роман, драма, публицистика, очерк, книги для детей — все привлекает к себе внимание зарубежного читателя.

Советское художественное слово повествует в 30-е годы о формировании социалистической личности. В советском человеке демократы Запада видят надежный «залог того, что в истерзанной Европе сохраняется мир и культура» (А. Цвейг). Советское государство и советский человек рассматриваются европейской интеллигенцией как «единственная надежда» (Г. Манн). Особенно заметно стало воздействие Горького-публициста, Горького — организатора антифашистских сил. Пламенное обращение Горького «С кем вы, «мастера культуры»?» (1932) услышал весь мир; и отклики на этот призыв, как эхо, звучат поныне. Для многих зарубежных писателей слова Горького оказались стимулом в решении собственной судьбы. В их творчестве громче, чем ранее, стал звучать призыв к объединению национальных и международных прогрессивных сил под знаменем активного и действенного гуманизма.

Обращение Горького отвечало потребностям национальных культур. Оно содействовало сосредоточению писательских сил на стороне социалистической революции и тем самым укреплению единства мирового литературного процесса.

Зарубежные читатели особо отметили в эти годы книгу Н. Островского «Как закалялась сталь», в которой воплощены лучшие традиции советской литературы, герой которой отмечен единством мечты и дела. Немецкий исследователь Ганс Майер отмечает, что образ Павла Корчагина, наряду с Григорием Мелеховым и героями Горького, способствовал развитию в немецкой литературе качеств, которые не проявили бы себя с такой силой, не будь влияния советской литературы.

Герой советской литературы, как справедливо говорит Ганс Майер, находится в становлении и развитии. Нередко он проходит через *идеологический поворот.* Не все герои приходят к принятию нового социального мира, как это случилось, например, с Дашей и Телегиным в трилогии Ал. Толстого «Хождение по мукам». Однако умение показать человека, который, подобно Корчагину, смело и целеустремленно шагает по жизни, который изменяет ее, изменяясь сам, составляет одно из самых ценных эстетических качеств советской литературы. Велик диапазон героев: Булычев, Мелехов, Корчагин. Но все они показаны в процессе роста и становления их самосознания.

«Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, написанная еще в 1932 году и получившая международное признание после Отечественной войны, служит для Ганса Майера примером другого важнейшего качества советской литературы, который стал достоянием мировой и, в частности, немецкой литературы. Он имеет ввиду оптимизм, который противостоит «happy end» — столь

широко распространенной в американской литературе слащавой концовке. Трагедия личности перестает быть трагедией в старом смысле этого слова. Она наполняется новым содержанием, раскрывая непобедимость субъективных устремлений личности, если эти устремления совпадают с объективным ходом истории. В бессмертии народа и непобедимости идей коммунизма таится неиссякаемый источник оптимизма, который открыла советская литература для мирового искусства.

Художественное мастерство Шолохова и правда его книг — вот что привлекает к нему взоры многих зарубежных писателей. «Главным моим учителем был Михаил Шолохов,— говорит словацкий писатель Франтишек Гечко.— Я провел над ним много достаточно горьких часов учебы. Это был строгий мастер — он очаровывал меня... Отвага Шолохова говорить правду словно заворожила меня».

М. Шолохов по-новому повернул — благодаря «Тихому Дону» и «Поднятой целине» — изображение крестьянства, показав его в момент подготовки и осуществления глубочайшего революционного поворота. Он первым в мировой литературе сумел показать, что человеческое достоинство и благородство, присущие труженику земли, только и могли проявляться в решительном преодолении мелкособственнического прозябания. Анна Зегерс справедливо указывает, что Шолохов подает пример для художников социалистического реализма, когда изображает развитие общества во всех его проявлениях, в жестоких столкновениях, но не утрачивает при этом конечной цели развития. В словах А. Зегерс о природе конфликта у Шолохова легко уловить те размышления, которые владели писательницей, когда она приступала к написанию романа «Решение» — романа с острыми, по-шолоховски крупными и непримиримыми конфликтами, через которые пробивает себе дорогу история.

Победа Советского Союза в смертельной схватке с фашизмом и образование мировой системы социализма еще выше подняли авторитет социалистической культуры.

Советский человек — герой поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин» и лирический герой поэмы «За далью — даль», герои «Молодой гвардии» А. Фадеева и романа В. Гроссмана «За правое дело», «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого, рассказа «Судьба человека» М. Шолохова, романа Л. Леонова «Русский лес», «Битвы в пути» Г. Николаевой — вызывает огромный интерес и приобретает большой авторитет за рубежом.

В 50-х годах советская литература широко осознается как литература всемирного распространения и воздействия. «Советский писатель создает произведения не только для людей своей могущественной страны, он пишет для всех нас, для всего мира...— заявил австрийский писатель Эрнст Фишер с трибуны II съезда советских писателей — Ваша литература дала нам неизмеримо много для борьбы с декадентством, варварством империализма, для борьбы за мир, гуманность, социализм. Нельзя представить себе нашу жизнь без произведений Алексея Толстого, Шолохова, Федина, Фадеева, Эренбурга, Симонова, если назвать лишь некоторые имена».

Человек Революции и эпохи социализма, человек, строящий светлое здание коммунизма и сам постоянно изменяющийся в процессе преобразования общества,— таковы наиболее важные и существенные аспекты восприятия советской литературы и ее героя за рубежами нашей страны.

Если сегодня на Западе раздаются скорбные голоса о том, что никогда литературное творчество не имело так мало влияния на жизнь и поступки людей, как в сегодняшней Америке, если писатели с мировым именем — такие, как Дж. Стейнбек,— вынуждены констатировать, что в Америке писателя ценят «чуть меньше, чем клоуна, и чуть больше, чем мех котика», то спор о том, где созданы благоприятные условия для развития литературы, можно считать полностью и окончательно решенным. Социализм заявил о себе, как о самой благодатной почве для развития искусства.

* * *

Анализ изданий советских книг за рубежом в 1956—1960 гг. показывает, что круг переводимых авторов значительно расширяется за счет новых имен. Только за период от II до III съезда писателей зарубежный читатель узнал 380 новых имен советских авторов — прежде всего представите-

лей национальных республик. Понятие «советские литературы» прочно утвердилось в зарубежном литературоведении. Произведения З. Бядули (Белоруссия), К. Гамсахурдия (Грузия), А. Кутуя (Татарская АССР), Г. Севунца (Армения), М. Ауэзова (Казахстан), Ю. Рытхэу (Чукотский национальный округ) и многих других далеко перешагнули границы Советского Союза. Накануне III съезда писателей число советских художников слова, представленных своими произведениями за границей, достигает весьма внушительной цифры: 1226 авторов. Индийский литератор Саджад Захир, рассказывая о повсеместном распространении советской литературы, говорит, что большинство писателей, с которыми он встречался и которых он знает, ценят советскую литературу. «Некоторые относятся к ней критически,— продолжает Захир,— а кое-кто предубежденно или враждебно. Но характерно одно — все они с интересом следят за советской литературой. Она превратилась в явление международного значения, чего не смеют отрицать даже враги Советского Союза. Ее действие можно сравнить с межконтинентальной баллистической ракетой — в мире нет уголка, который был бы вне пределов ее досягаемости».

Почетное место среди переводов последних лет занимают: Горький — около 600 изданий; Маяковский, А. Толстой, Шолохов, Эренбург — около 100 изданий каждый; Островский, Макаренко, Серафимович, Федин, Лацис, Горбатов, Каверин — от 30 до 50 изданий.

Размышляя над дилогией К. Федина, Пьер Дэкс отметил, что «история Кирилла Извекова читается с таким же увлечением, какое можно испытывать, читая, например, историю Фабрицио дель Донго». Однако если в «Пармской обители» рушились мечты революции, и это придало высоким чувствам и помыслам героя трагический колорит, то у Федина грозное потрясение мира наступает благодаря торжеству надежды и вызывает радость свободы.

Возрастает интерес к книгам с ярким народным колоритом. Не случайно, конечно, Пришвин, Бажов, Бианки, Чарушин по количеству изданий за рубежом не уступают Н. Островскому, Федину и Серафимовичу. У основоположников советской литературы оспаривают тиражи и прославившиеся на весь мир советские книги для детей. Издательства разных стран охотно переводят Гайдара (100 изданий), Маршака (80 изданий), Чуковского (30 изданий), Кассиля (30 изданий), Носова (70 изданий), Ильина (50 изданий).

Судьба советской книги за рубежом часто определяется особенностями исторического развития той страны, где она переводится. В 1954—1959 гг. «Русский вопрос» Симонова увидел свет в странах, боровшихся против иностранного ига (языки тамильский, телугу, урду, японский). За те же годы «Барсуки» и «Соть» Леонова, «Донбасс» Горбатова, «Хуторок в степи» Катаева, «Страна Муравия» Твардовского многократно издавались в странах лагеря социализма. В Германской Демократической Республике одним из популярнейших советских авторов оказался А. Макаренко, что, конечно, связано с особым значением для Германии вопроса о воспитании молодого поколения.

«Повесть о директоре МТС и главном агрономе» Г. Николаевой за короткий срок вышла на разных языках 13 раз, и именно в странах, занятых организацией коллективного труда в деревне.

«Трудная весна» В. Овечкина принесла автору особую популярность, которая распространяется прежде всего на страны лагеря социализма. Немецкий литератор Марианна Ланге назвала свою рецензию на эту книгу «Главная тема нашей литературы», желая тем самым подчеркнуть, что умение Овечкина изобразить жизнь может служить образцом для искусства ГДР. «То обстоятельство, что Овечкин делает партийную работу предметом художественного изображения, придает его книге чрезвычайное значение»,— пишет она. «Трудная весна» наталкивает на мысль,— утверждал еще ранее немецкий журнал «Библиотекар»,— как насущно необходим литературный очерк и для нас, для ГДР... чтобы дать миллионным массам нашего народа тот «хлеб насущный», в котором они нуждаются».

Англичане увлеклись романом Каверина «Два капитана», с его романтикой морских путешествий и полярных экспедиций; норвежской литературе оказался близок роман Лациса «Сын рыбака»; «Малахитовая шкатулка» Бажова пользуется особой любовью там, где сильны связи литературы с фольк-

лором, с традицией саги и сказки (издания преимущественно китайские и исландские), и т. д.

Особое место среди произведений советских писателей, выходящих сегодня за рубежами нашей страны, занимают произведения философски углубленные, зовущие к серьезным раздумьям, такие, как «Судьба человека» Шолохова, «Битва в пути» Николаевой. Эти книги помогают понять перемены, происходящие в советском обществе после XX съезда КПСС.

Последние годы знаменовали важный этап в установлении контактов советской литературы с литературами Южной Америки, Азии и Африки, чье искусство в лице своих лучших представителей освобождается от модернистских влияний Запада, сближаясь в эстетическом плане с реалистической литературой и искусством социалистических стран. Об этом говорили Мартин Викрамасингхе (Цейлон), Рамон Амайя Амадор (Гондурас) и другие.

Советская литература спаяна нерушимой дружбой различных наций, едина в своей социалистической устремленности и различна по национальным темам, средствам и формам художественного выражения. Особенно привлекательна она для молодого искусства Азии и Африки, которое обращено к реальной действительности и исполнено пафоса освободительной борьбы против колониализма и расовой дискриминации.

Андре Стиль выделяет в «Юманите», говоря о вышедших во Франции романах М. Ауэзова «Юность Абая» и «Абай», одну из ведущих тем обеих книг — тему народа, многострадального, подавленного, но таящего в себе огромные силы, способного сбросить с себя ярмо угнетения. А. Стиль проводит мысль о духовной близости этих романов к книгам о борцах алжирского народа за свою независимость.

Выступая на III съезде советских писателей, цейлонский литератор Мартин Викрамасингхе с горечью упомянул, что на Цейлоне длительное время шел процесс подчинения культуры западным влияниям. В Азии и Африке, говорил Викрамасингхе, «пропагандируется ошибочный взгляд, будто западная культура применима повсеместно и стоит выше всякой другой культуры». И сегодня буржуазные государства «по-прежнему навязывают народам Азии и Африки свою культуру и свою литературу». Викрамангхе говорил об опасности этого и о необходимости «черпать у народов Индии, Китая, России...»

В интернациональном характере советского искусства кроется глубокий источник его широкого воздействия.

* * *

За последние годы советская литература нередко становилась объектом особенно острых атак со стороны буржуазных литераторов и примыкающих к ним ревизионистов от эстетики. В этом «крике озлобления» — вольно или невольно — выражено признание могущества влияния социалистической культуры. Извращая сущность ее воздействия и лживо истолковывая его результаты, некоторые буржуазные литераторы стремятся и здесь увидеть «руку Москвы» и «идеологическую экспансию». Они стремятся доказать, что советская литература имеет якобы узкорегиональное значение и что она хотя, может быть, и не лишена веса в глазах советских людей, но далека, чужда и враждебна зарубежному читателю.

Буржуазные литературоведы выводят, ничтоже сумняшеся, за пределы эстетических категорий принцип партийности. С рвением, достойным лучшего применения, они пытаются делить советскую литературу на «реалистическую» и «политическую», относя к «реалистам» и Горького, и Маяковского, и Федина, и Овечкина, и многих других художников, творчество которых — яркое проявление политического, партийного взгляда на жизнь.

Отвергая эту лживую точку зрения, прогрессивный французский журнал «Эроп» по праву отметил нераздельность идейного и эстетического богатства советской литературы. «Неверно было бы утверждать,— читаем мы в журнале,— что советские книги хороши, вопреки своей политической заостренности. Эстетическое богатство, открывающееся нам в советской литературе,— как в темах, так и в способах их воплощения,— рождено и питается именно той великой страстью, которая подняла весь народ, вселив в него надежду на общую справедливость. И если советская литература достигла сегодня всемирной известности... то именно благодаря своему собственному пути, благодаря свое-

му активному и конкретному участию в удивительном процессе, который начался сорок лет назад, на краю Европы, в осеннем тумане октября».

Советское искусство порождено движением советского народа к социализму и коммунизму. Именно поэтому оно имеет возможность оказывать на мировой эстетический процесс воздействие, какого не знала еще ни одна литература мира. «Роль советской литературы можно отождествить с ролью самого социализма» — эта афористическая формула греческого писателя Маркоса Авгериса заставляет вспомнить слова, давно уже сказанные Теодором Драйзером: «Только та литература, мастером которой был Горький, которая видит великие горести и радости нашей реальной жизни, только такая литература пробуждает и направляет человеческую мысль. Человек благодаря такой литературе может найти пути для своего экономического освобождения и построения счастливой жизни».

Литература, которая видит великие горести и радости жизни,— такова советская литература для многих миллионов читателей всего мира, которые тянутся к свету социализма.

Микола Бажан,
вице-президент Европейского
сообщества писателей

РИСОРДЖИМЕНТО И ЛИТЕРАТУРА

Под именем Рисорджименто (Возрождение) в историю Европы вошло время объединительной и освободительной борьбы в Италии XIX века. Эти годы, выдвинувшие Мадзини и Гарибальди, при всей противоречивости и незавершенности социальных процессов Рисорджименто оказали огромное и благотворное воздействие на итальянскую литературу; это было время широких дружественных связей деятелей итальянской культуры с передовыми людьми других стран. Борьба итальянского народа за свою свободу и национальное объединение находила живой отклик в русской, польской, украинской, грузинской революционной и демократической среде.

Рисорджименто и его влиянию на литературу было посвящено выступление М. Бажана на очередном конгрессе Европейского сообщества писателей (Турин, 1961). Публикуемая ниже статья основывается на этом выступлении.

Какое сплетение борющихся сил, какие подвиги, дерзновенные атаки и благородные стремления! И в то же время — какие низкие проявления деспотизма и угодливости, какая змеиная изворотливость и лакейское предательство, какая жестокость и тупость правителей! Редко ландшафты истории представляют такую вздыбленную, заостренную, контрастную панораму скал и расщелин, света и тени, вершин и бездн, как годы Рисорджименто, ставшие знаменательным этапом в истории человечества. Время не могло двигаться вперед, не сломив имперские шлагбаумы в предместьях Милана, не распахнув ворота бурбонской Низиды *, не разогнав таможенную стражу на дорогах между Флоренцией и Луккой, не преодолев той феодальной закоснелости, которая мешала итальянскому народу стать народом, а Европе — Европой.

Я вовсе не хочу сказать, что из кипений и вихрей Рисорджименто вышел спокойный, уравновешенный, гармонический во всех своих пропорциях молодой титан-народ, что смягчились противоречия и сгладились конфликты. Такого чуда не свершило «чудо Рисорджименто», ибо, делая историю, оно не сделало всего, что могло сделать. Оно не развязало многих важнейших социальных и национальных узлов, не убрало с дороги нации многих укоренившихся препятствий. Два десятилетия назад, когда итальянский народ свергнул фашизм, миру казалось, что недоделки старого Рисорджименто завершатся новым Рисорджименто, что гарибальдийцы в пиджаках и серо-зеленых куртках продолжат то, что не завершили гарибальдийцы в красных блузах. Этого не случилось. Живым, актуальным содержанием наполнены мысли современного человечества о бурных подъемах и спадах освободительной и объединительной борьбы итальянского народа, завершенной сто лет назад победой — неполной, но такой важной и нужной.

Эта победа была важна и нужна не только для Италии. Народы, задыхавшиеся в тисках феодально-крепостнической реакции, с величайшей надеждой и сочувствием следили за событиями, разыгравшимися на итальянской земле. Имена деятелей этой

---

* Тюрьма в Неаполе.

освободительной эпопеи — не все они могут быть названы эпическими героями — так гремели по всей Европе, что и до сих пор звук имени Гарибальди и его соратников вызывает восторг в каждом народе Европы. Да и не только Европы! Бенедетто Кроче писал, что «эти имена звучат в далекой Индии, и у этих людей там существуют свои ученики».

Максим Горький повествует о том, как он тринадцатилетним мальчишкой был потрясен мемуарами Гарибальди. Кто из моего поколения с детства не помнит затрепанных, захватанных сотнями рук тетрадок в ужасающе пестрых обложках, где рыжий гигант в пуньцовой рубахе сражался то с бурями, то с дикими зверями, то один против десятка бурбонских пушек? Николай Островский в своих воспоминаниях рассказывает, какое значение имели для него эти дешевые, аляповато изданные книжки об «удивительной жизни, необычайных подвигах и приключениях славного и храброго итальянца Иосифа Гарибальди». Через тридцать лет после смерти Гарибальди где-то в городках среди украинских степей или русских лесов мальчишки зачитывались пересказами его легендарных подвигов во имя свободы и вспоминали о нем, когда шли, как это сделал Николай Островский, сражаться за свободу своего народа. Имя Гарибальди и поныне окружено в Советском Союзе восхищением.

Жизнь Гарибальди связана с нашей родиной. Его первым морским путешествием было путешествие из Ниццы в Одессу (потом не раз повторенное), а первое, имевшее в биографии Гарибальди переломное значение, знакомство с идеями Мадзини произошло во время встречи с молодым мадзинистом Кунео в 1833 году в Таганроге. Гарибальди в своих стихах (его победы в этой области не стоит сравнивать с его военными победами) вспоминает, как «в скованных льдами водах Понта» он поклялся умереть за отечество. Советские люди не забыли об этом; в дни столетнего юбилея Рисорджименто в Одессе и Таганроге были установлены мемориальные доски и улицам в этих городах, как и в столице нашей Родины Москве, было присвоено имя итальянского героя.

До нынешнего времени непрерывно слышен в русской литературе тот мотив восхищения героями Рисорджименто, который возник еще в книге Александра Герцена «Былое и думы».

Огромный интерес представляет все, что говорит нам о непосредственном общении с деятелями Рисорджименто Александра Герцена и других русских деятелей, таких, как славные русские ученые — Николай Пирогов, Дмитрий Менделеев, Владимир Ковалевский, географ и мемуарист Лев Мечников, русские писатели — Николай Берг, Андрей Ершов, Александра Толиверова-Якоби.

Глубочайшей симпатией и сочувствием к борьбе итальянского народа было проникнуто каждое слово русских писателей о Рисорджименто. Революционные демократы глубоко понимали не только славное прошлое, но и героическую современность Италии, не только ее бронзовых и мраморных титанов, но и ее живых, из плоти и крови, людей Герцен, Чернышевский, Добролюбов видели правду истории, но какой странной близорукостью бывал охвачен Достоевский! Его мысли о борющейся Италии, разбросанные по страницам «Дневника писателя», «Зимних заметок» и в других местах,— это мысли воинствующего ревнителя русской православной церкви, торжествующего по поводу неудач ватиканского конкурента.

Но даже его не оставила равнодушным дерзновенность таких людей, как Гарибальди, о котором он писал: «Гарибальди — человек до того всем не в уровень, что у него, пожалуй, и выйдет благоразумно даже и то, что, по обыкновенным соображениям, выходит слишком рискованным». Начинания и намерения Рисорджименто, «по обыкновенным соображениям», как писал Достоевский, «слишком рискованные» — по соображениям революционных писателей России, выходили, наоборот, слишком нерешительными и несмелыми. Но все же эти процессы были накалены тем огнем стремления к свободе, которым жили и революционные демократы России, и бунтари Украины, и борцы за свободную Польшу, и восставшие горцы Кавказа, и свободолюбивые поэты Грузии. Поэтому тема борющейся за освобождение и объединение Италии так выразительно звучит не только в истории русской общественной мысли, но и в истории общественной мысли Украины, Грузии, Армении, Литвы, Латвии.

Писатели украинского народа внимательно следили за борьбой итальянского народа

против австрийских оккупантов. И это внимание было тем более острым, что тысячи украинских крестьян, натянув на себя белые мундиры, должны были во имя интересов чуждой и враждебной им австрийской империи убивать и умирать на полях под Вероной и Венецией, под Маджентой и Сольферино. Один из крупнейших украинских писателей Иван Франко гневно писал об империи Франца-Иосифа, как о «гнилом болоте между странами Европы», «рассаднице тупоумия и застоя», ничем не лучшей, чем крепостническая империя Романовых. «Ты не сечешь,— восклицал Франко, обращаясь к Австрии,— не бьешь, в Сибирь не шлешь, но, как упырь, из сердца соки сосешь, а твое болото — сердце и душу давит».

В своих исследованиях итальянской литературы украинский поэт-ученый был движим тем же стремлением, которое заставляло украинских юношей ехать в Геную к Гарибальди за советом и помощью. Из недавно обнаруженных украинским советским историком Г. Мараховым архивных материалов мы узнаем новые и новые имена революционных борцов России, Украины, Польши, искавших поддержки у передовых деятелей Рисорджименто. Слова, сказанные Герценом о том, что «Гарибальди ждали в Польше и на Украине», были сказаны неспроста.

Русский ученый Мечников, украинский революционер Андрей Красовский, польские революционные эмигранты летом 1859 года собирались у Гарибальди, строя дерзкие планы высадки во главе с Гарибальди освободительного десанта на украинскую землю возле знакомой Гарибальди Одессы. И по западным, и по восточным областям Украины в 1860—1861 гг. распространились призывы Гарибальди к борьбе за освобождение народов. В полицейских донесениях, найденных в киевских архивах, сообщалось, что в январе 1861 года в Звенигородском уезде (недалеко от Киева) «собираются деньги для Гарибальди на выполнение политических его замыслов о восстановлении национальностей». В это же время грузинская молодежь из далекого города Гори шлет простодушно куда-то в Италию на имя Гарибальди телеграмму о сочувствии и восхищении. Илья Чавчавадзе никогда не расставался с портретом Гарибальди и посвящал ему стихи. Переведенное на грузинский язык стихотворение гарибальдийца Ипполита Ньево стало народной революционной песней, с которой грузинские трудящиеся шли на баррикады 1905 года.

Передовые люди Италии также искали понимания и поддержки у передовых людей России, со стороны ее угнетенных народов. Тост, поднятый Гарибальди в 1864 году в лондонском доме Александра Герцена, был выражением этих взаимных связей и надежд. «Теперь выпьем,— сказал тогда Гарибальди,— за юную Россию, которая страдает и борется, как мы, и победит, как мы, за новый народ, который, освободившись и одолев Россию царскую, очевидно, призван играть великую роль в судьбах Европы». Мадзини еще в 1845 году выступил со своим «Обращением к русским» и писал о будущем России, о связях между Востоком и Западом Европы в «Славянских письмах» (опубликованных в 1857 году). В этих письмах сквозь некоторую, свойственную ему, туманную пышность фразы просвечивает ясность подтвержденного историей предвидения. Мадзини писал, что народ России несет в себе «неукротимое сознание силы, которая обрушится в один великий день на все тиранства природы или тиранства людей».

В фигурах Герцена и Мадзини, Мицкевича и Гюго, Гейне и Шелли, Петефи и Ивана Франко, Кардуччи и Бранко Радичевича, Христо Ботева и Ильи Чавчавадзе, в широте их деятельности и их кругозора, в социальной значимости их слова, в сочетании реалистического интереса к действительности с романтической устремленностью — в творчестве этих писателей воплощено для современности значительно больше, чем думают те изуверившиеся в человечестве скептики, для которых кругозор ограничен комнатой астматика (не важно, обитой пробкой или не обитой), для которых темперамент — это романтическое излишество, а призыв — лишь напыщенная фраза.

Что ж, напыщенные фразы всем надоели. Но разве слово должно перестать быть призывом? Бывает, что романтическая приподнятость мешает всматриваться в подробности человеческого характера, в тончайшие повороты человеческих судеб, в неповторимые черты человеческого лица, но это не значит, что ее надо просто отбросить, а не диалектически снять, вобрав ее порыв и бурную мощь.

Горечь, пришедшая в сознание итальянского интеллигента после подъемных лет Рисорджименто, долго питала, да и питает поныне его раздумья. Социальные причины этой горечи всем ясны. Они были заложены в самой противоречивости и незавершенности тех процессов, которые происходили сто лет назад. Об этом писала еще в 90-х годах прошлого столетия Леся Украинка. Она так охарактеризовала общественные настроения, охватившие Италию вслед за воссоединением: «После большого подъема в Италии наступил большой упадок сил. Большой подъем оставил после себя много разочарованных и много обманутых. Объединение Италии было великой политической реформой, но общественная неурядица и экономический гнет в Италии еще более обострились с усилением буржуазии и развитием капитализма».

Украинская поэтесса была свидетельницей первых лет воссоединения Италии, разочарования, охватившего тогда массы итальянского народа. Леопарди его предчувствовал. Может быть, одним из первых он, тревожный, мятущийся, не ослепленный ни вспышками пороха, ни вспышками речей, предугадал трагическую правду Рисорджименто, его горькие и тяжелые противоречия. И, видимо, Леопарди перед историей более прав, чем Мандзони, пытавшийся сгладить резкость противоречий и усладить горечь.

Исторические свидетельства литературы, свидетельства искусства — они правдивы вовсе не тогда, когда притворяются бесстрастными, стоящими над схваткой. Кипение страстей Рисорджименто донесла до нас, невзирая на жалкие ремесленные либретто, взволнованная музыка Верди, по-революционному взвихренная, бурная, как бурен и язык книг гарибальдийцев. Есть среди них одна, совсем не претенциозная, но будем благодарны ей, скромной книге Джузеппе Чезаре Абба «Заметки о Гарибальди», ибо она и до сих пор помогает смывать с лица истории фальшивые румяна. Конечно, Абба всей правды не увидел, а если и увидел, то не понял до конца страшной трагедии тех залпов, которыми волонтеры Биксио разгоняли толпы восставших сицилийских крестьян. Но в его книге — «книге революции», как ее назвал Кардуччи, все же отражены подлинные очертания судьбы многострадальной Сицилии, отражены те ее черты, которые затем Джованни Верга с беспощадной силой своего реализма сумел увидеть в суровом облике сицилийских рыбаков.

Сколько мужества потребовалось аристократу Джованни Верга, которому дорого было дело Гарибальди, дело объединенной Италии, чтобы написать такой горький и беспощадно жестокий в своей правдивости рассказ, как «Свобода», в котором изображен расстрел восставших крестьян!

Горькая правда Сицилии, горькая правда юга Италии — в ней Антонио Грамши открыл одну из основных причин кризиса Рисорджименто, вызванного тем, что объединение Италии произошло не на основе равенства, а в форме гегемонии Севера над Югом. Это внутреннее противоречие страны родило те драматические конфликты, которые насытили не только жесткое искусство Джованни Верга, но и роман Федерико де Роберти «Вице-короли» и злую гибкость Луиджи Пиранделло. Оно и до наших дней насыщает горечью задумчивые строфы Сальваторе Квазимодо, сдержанную страстность Карло Леви, печаль Элио Витторини, да и в последнем фильме Лукино Висконти «Рокко и его братья» снова возникает перед нами в рассказе о бедах и надеждах его героев-южан.

Далеко не случайно возрождение интереса к эстетическим принципам «веризма» в послевоенные годы, когда новая итальянская литература обратилась к поискам национальной реалистической традиции. Еще Луиджи Пиранделло резко противопоставил национальный реализм Верга бесчеловечному, националистическому мифу «сверхчеловека», сотворенному Д'Аннунцио по чужим образцам.

В прозе самого Луиджи Пиранделло мы не раз встречаем выражение глубокого разочарования тем, что не сбылись «надежды отцов», боровшихся под знаменем Рисорджименто. Эти мотивы особенно остро пронизывают его прозу первого десятилетия нашего века. Таков, например, рассказ Пиранделло «Медаль». Таков его роман «Старые и молодые», посвященный кризису Рисорджименто, который он воспринимал как «банкротство патриотизма».

Я позволил себе здесь обратиться к этим мотивам кризиса Рисорджименто не для того, чтобы в какой-либо степени преуменьшить значение побед итальянцев в их национальной борьбе за единство и независи-

мость. Напротив, мне хотелось подчеркнуть, что само Рисорджименто поставило перед литературой Италии высокую задачу, возложив и на нее моральную ответственность за судьбы своей родины.

Писателю не отойти в сторону. Этому нас учат и уроки Рисорджименто, и возникшая вслед за ним итальянская литература, где так четко видны два течения — течение живой жизни народа, вливающееся во всечеловеческий океан, и мутное, илистое течение, умирающее в застоявшихся лагунах индивидуализма. Было время, когда на дорогах Италии стояла фашистская стража. Тогда такие «герметические лагуны» предоставляли убежище живому духу поэзии. Но сейчас другое время, и в этих лагунах лишь муть, застой и гниение. Поэзия как вестница надежды идет сегодня широкими путями мира.

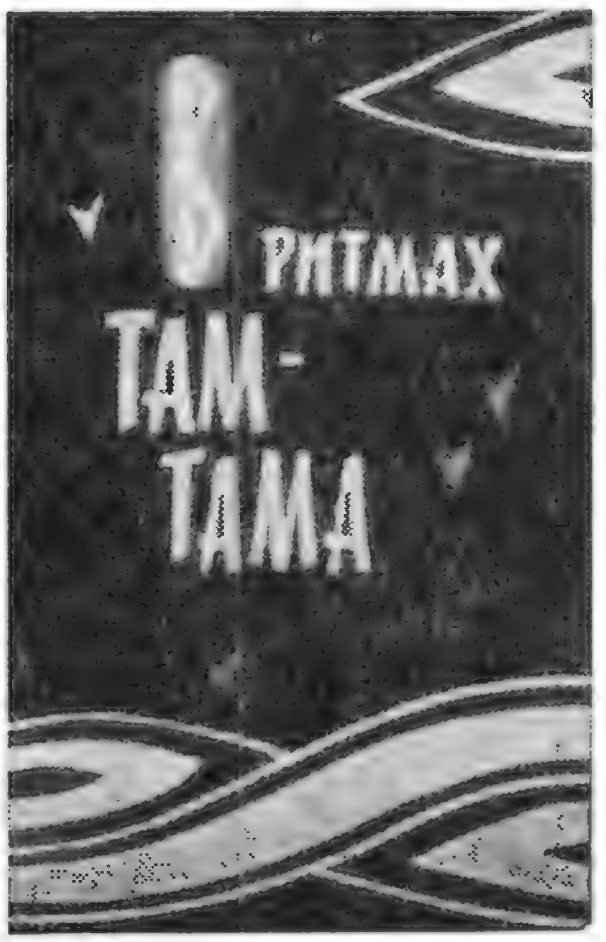
Говорить о Рисорджименто — значит говорить о надежде, о надежде народа, о надежде литературы на то взаимопонимание между нациями, между писателями различных стран, о котором мечтал Мадзини, но которое раньше было уделом лишь отдельных, наиболее человечно мыслящих людей и которое теперь должно стать законом литературы, законом ее деятельного служения народу, миру и человечеству.

«НЕТ!» КОЛОНИАЛИЗМУ, «НЕТ!» ВОЙНЕ

ДЕНЬ ПОБЕЖДАЕТ

Объемистый сборник... Более сорока поэтов, представляющих девять стран Африки... Страны разные. Поэты — тоже: по возрасту политическим убеждениям эстетическим пристрастиям личному стилю.

Советский читатель до сих пор мало знал поэзию африканских народов. Поэтому можно с уверенностью сказать, что выход в свет этой антологии будет встречен с особым интересом. Обстоятельно и четко рассказано во вступительной статье Е Гальпериной — составителя и прекрасного комментатора антологии — о различных социально-эстетических тенденциях в культурах современных африканских народов, обрисованы конкретно-исторические условия, определяющие пути развития культуры того или другого народа. А вместе с тем прослежены те одинаковые процессы, которые общи для литератур народов Африки, которые вызваны к жизни сходством исторических судеб и общей борьбой. «Африка — пестрый мир народов и племен, языков и диалектов. Передовые политические лидеры Африки рядом с лозунгом независимости ставят лозунг единства африканских народов, противопоставляя его попыткам раздробления Африки.. К единству призывает и образ великой родины, Африки, могучей и необъятной, все время возникающий у поэтов различных африканских стран».



В ритмах там-тама. Поэты Африки. Переводы с английского и французского. Редактор-составитель Е. Гальперина. Москва, Издательство восточной литературы, 1961. 278 стр.

Предисловия к сборникам антологического типа очень часто, к сожалению, сводятся к бескрыло-перечислительным «обзорам». Рецензируемая антология недаром выпущена под авторитетной маркой Института Африки Академии наук СССР. Статья Е. Гальпериной — подлинное историко-литературное исследование, проникнутое острым публицистическим пафосом и «осложненное» умением автора хорошо чувствовать и тонко анализировать художественную форму.

Итак, девять стран. Сорок один поэт

У многих африканских народов почти не было своей письменности. Интеллигенция этих стран, сложившаяся в результате национально-освободительной борьбы, обучалась на языке «белых господ». Поэты-африканцы в основном пишут по-английски, по-французски, по-португальски и т. д Многие поэты Африки учились и жили в Париже и Лондоне. В их творчестве ощутимо влияние разнообразных традиций французской и английской поэзии.

Во всяком случае, следует сразу же отметить, что сборник, о котором идет у нас речь, представляет русскому читателю поэтов, отнюдь не оторванных от мирового литературного процесса. И в то же время — поэтов глубочайшим образом самобытных.

Меня как читателя они обогащают прежде всего тем, что по образной ткани своих стихов, видению действительности они не «похожи» на поэтов, к которым я, читатель, «привык».

«В ритмах там-тама» — такое название сборник получил не ради красного словца Ритмы поэтов Африки действительно «странные», будоражащие. Какие параллели этим вот строкам припомните вы из поэзии стран Европы?

Широко раскрыты глаза,
Мои раскрыты глаза,
Они в исступленье, они в исступленье
Глядят на тебя.
Уши мои
Заполнены шумом там-тамов,
Тяжелых там-тамов,
Гулких там-тамов,
Звонких там-тамов,
И ксилофонов, и кастаньет,
И шумом шагов, шорохом ног,
Щелканьем пальцев,
Стуком ладоней по голой
Груди.
Там-тамы спешат,
Задыхаясь,
И рвутся там-тамы,
Там-тамы...

Это пишет Нене Кхали, поэт Гвинеи.

А образы и сравнения? Поэт-конголезец, не пожелавший открыть свое имя, чтобы не выдать себя, пишет о павшем борце за свободу:

Твои руки тяжелы, как эбен,
Эмманюэль,
И черны, как злоба наших врагов.
На багровые раны твои
так же трудно смотреть,
Как на жгучее солнце экватора.

За какой-то одной деталью, фразой, оборотом речи вы, читая сборник, ощутите вдруг необычайное своеобразие — своеобразие исторического прошлого, привычек, морального кодекса простых людей далекого африканского континента:

Малыш — совсем как европеец:
Он отвергает нашу пищу
И пьет лишь из своего стакана...
. . . . . .
Малыш — совсем как европеец:
Он так изнежен —
Пустячная царапина на нем
становится язвой.

(Израэл Кафу Хо, Гана)

Впрочем, не буду множить цитаты-примеры, свидетельствующие о своеобразии и необычности произведений африканских поэтов, с особенной остротой передающие специфический их аромат, краски, ритмы.

Разумеется, при этом мальгашские поэты отличаются от поэтов Ганы, а поэзия Южно-Африканской Республики обладает своими особыми чертами, которые не свойственны, скажем, конголезцам.

Как поэзия каждого из этих народов должна звучать по-русски — тема для специального исследования. И все же нельзя здесь не сказать об огромном труде переводчиков и редактора-составителя антологии, сделавших так много для того, чтобы донести до читателя поэтические особенности подлинников. Некоторые работы переводчиков — такие, например, как переводы А. Сергеева (особенно из южно-африканских поэтов), М. Ваксмахера (переводы Дадье, Диопа, поэмы «Нью-Йорк» Сенгора), Д. Самойлова («Чака» Сенгора), С. Болотина («Я Африку такую не люблю» П. Нигера),— можно назвать мастерскими. Хочется выделить и перевод поэмы «Афрам» ганского поэта Опоку, сделанный молодой переводчицей Ольгой Берг.

Непохожесть красок и ритмов удовлетворяет любопытство только первого впечатления, впечатления читателя, «впервые прикоснувшегося» к незнакомой прежде поэзии. Но когда вы немного обживетесь в мире этой поэзии, тогда для вас гораздо важнее всех «экзотических» красок (воспринимаемых как экзотические без внутренней дифференциации, в целом) окажутся те особенности африканских поэтов, которые рождены великим, общим для многих и многих колониальных и зависимых стран процессом — процессом борьбы против колониализма, преодоления его политического и морального наследства.

Люди почувствовали себя людьми; их руки сотрясают и ломают решетки рабства; их сердца пылают жаждой свободы и самостоятельности; разум с гордостью ищет в прошлом славные, вдохновляющие примеры победоносного мужества; глаза смело заглядывают в будущее.

Проснулось и развивается самосознание народов Африки. Не случайно почти все представленные поэты — или политические деятели (причем некоторые — крупные), или ученые-просветители, или публицисты, или педагоги, а подчас — и ученые, и публицисты, и государственные деятели одновременно. Это поэты-трибуны, учителя, несущие людям огонь своих душ.

Они говорят о себе, о задаче своей жизни примерно такими же словами, как Томас Рахандраха — поэт Мальгашской республики:

Из потаенных глубин души,
из закипающей крови твоей,
из светозарной твоей мечты,
из урагана твоих страстей,
из колдовства твоих вещих слов
вспыхнет могущество веры твоей,
кличем свободы для тысяч сердец
станут твои слова.

Или как Деннис Осадебей, поэт и политический деятель Нигерии. Он говорит о «душе молодой Африки» — «душе миллионов голодных, раздетых и нищих, стремящихся, жаждущих, ждущих». Эту душу хочет он выразить своими стихами:

Кто покупает мои книги,
Тот покупает не кликушество
Оракулов и жестяных богов —
Он покупает думы,
Родившиеся в сотнях тысяч
Пытливых юношей, возросших
На стыке двух культур враждебных,
Где надо бодрствовать, искать, решать.

Кто покупает мои книги,
Тот покупает дух эпохи,
Огонь неугасимый,

Пылающий в сердцах,
Познавших доблесть и страданье,
Огонь, пылающий по всей земле,
Карая, разрушая, очищая.

Контрастны образы-символы в поэзии народов Африки — эго расцвет и умирание, непокорство и смирение, утро и ночь, огонь и тьма. Ведь и мир контрастен, линии поведения разных людей противоположны: одни идут к свету, бьют в там-тамы, сзывая и других на борьбу, а иные — насаждают смирение, свыкаются с прозябаньем во тьме. Идейно-политический смысл этих образов чаще всего проповедуется прямо и напористо. Вот Патрис Лумумба, герой-мученик, народный трибун, восклицает:

Плачь, мой любимый черный брат,
в тысячелетьях скотской ночи!

Ночь — это колониальное рабство, это «бессрочная каторга» смирения и темноты. Народ встал на борьбу — и поэт провозглашает:

Пусть берега широких рек, несущих
В грядущее свои живые волны,
Твоими будут,
Пусть вся земля и все ее богатства
Твоими будут!
Пусть жаркое полуденное солнце
Сожжет твою печаль!

Здесь очень характерно это прямое сопоставление образов света и тьмы!

Вглядываясь в страшное прошлое Африки, вдумываясь в попытки ее героев вырваться к новой жизни, к небу, к солнцу и ветру, Поль Нигер пишет:

Но встретили они глухую ночь,
Ночь,
Неумолимую глухую стену — людей,
событий, цифр
И стали ощупывать ее большими
тревожными руками слепцов.

Прекрасная поэтическая расшифровка символа «ночи», глубокое объяснение причин прежде неудачных попыток сбросить ее иго!

Жак Рабемананд зара (Мальгашская республика)... Ночная тишина для него — «скребок пулемета» и смерть, слоняющаяся «по лугам, залитым луной». И в эту ночь врезается «слово-молния, слово-копье, древнее, как сотворение мира, и молодое, как день». Это слово — свобода!

«Свет зари», упрямо преодолевающий «ужасы» ночи, преодолевающий «жалобы... слезы и песни» старой Африки, воспевает конголезец Марсиаль Синда.

Общее контрастное ви́дение мира проявляется не только в прямых, без подтекста, лирических монологах-призывах. Оно пронизывает стихи, казалось бы совсем о другом написанные. Бернар Дадье, поэт Берега Слоновой Кости, восклицает: «Нет, чернота моей кожи — это не знак беды»,— и передать эту весть он поручает ласточке, многозначительно названной «солнечным скакуном».

Вильям Плумер (Южно-Африканская Республика) в одном из стихотворений элегически рисует развалины фермы; некогда там кипела жизнь, звенели голоса людей, ныне — запустенье и безлюдье. И вот опять поэт не может не обратиться к образной светотени; он вдруг представляет себе, как здесь «во тьме змея над каждым нежным и светлым утром издевалась».

Да, у самых разных поэтов постоянно противоборствуют солнце и тьма. Это — непременная, общая черта их сегодняшнего мирочувствия. Это — проявление их ненависти к колониализму.

И все же поэты-политики, поэты-ученые, они — идеологически разные политики и разные ученые. А потому — идеологически разные поэты

Художники берут на себя задачу выразить самосознание проснувшихся к участию в современной мировой истории народов. Художники ставят перед собой очень непростой для ответа вопрос: что мы несем миру, какое новое слово ему скажем?

Не сразу ясен ответ. Стихотворение Майкла Дэй-Ананга (Гана) «Куда ты идешь, Африка?» словно запечатлело собой то духовное перепутье, где остановился на какое-то время разум, страстно ищущий истину.

...Африка, ты подняла паруса,
Но куда же твой путь?
Назад?
К временам там-тамов
И плясок в тени
Солнцем целованных пальм?
. . . . . .
Назад, к временам Суеверья?

Очевидно, это — не выход.

Или вперед?
Вперед, но куда?

Капиталистическая «цивилизация» с ее конкурентным неистовством, национальной и расовой ненавистью, с ее «мельницей фабрик», где «в нескончаемой смене размалывают» рабочие люди свою жизнь,— нет, это не будущее, достойное человека и человечества. Стихотворение кончается тем же вопросом: куда же твой путь, Африка?

Что ж, не каждое стихотворение должно ответить на вопрос, столь сложный и огромный; важно и многозначительно уже то, что поэт хочет найти правильный ответ.

А найти его можно, если несколько конкретизировать, уточнить вопрос о новом слове Африки в современном мире. Будет ли это слово отгороженным от тех, что сказали и говорят другие народы, или оно найдет свое место в общем строю (свое, но в общем)?

Вот здесь-то и проявляются разные идеологические тенденции, здесь и начинается спор поэтов друг с другом.

Судьба современной личности зависит от того, что происходит во всем великом и сложном человеческом мире. Идеи, страсти, противоречия всего этого мира, а не эмоционально-психологический комплекс «негри-

тюда» (то есть одного лишь «чисто» негритянского) должен составить содержание души современного конголезца, сенегальца, гвинейца или ганца. Комплекс «негритюда» — так, как его представлял себе, например, Леопольд Седар Сенгор, очень сильный поэт, но социолог и философ, со многими воззрениями которого трудно согласиться,— это трагическое переживание бед, выпавших на долю негров в далеком и недалеком прошлом и мистическое упование на то, что близость к земле и к природе, «естественность» и неразвитость якобы вольют в мир новую, свежую, не отравленную рассудочностью кровь, скажут новое, омолаживающее жизнь слово. «Обретение братства», счастливое будущее человечества виделось Сенгору в иллюзорно-туманных очертаниях, как «времена примирения Дерева, Льва и Быка». Ритмы там-тама у Сенгора — это крик души, не приемлющей не только «испорченности» Запада, но и рационалистичности его мысли, его технического прогресса. Держись этой своей отчужденности, негр, советовал поэт, и мало того, что ты тем самым пробудишь «сирот и погибших к новой заре», но облагородишь и Запад, мучающий себя. Так возникла у Сенгора противоречивая поэма «Нью-Йорк», поэма, потрясающая силой неприятия и обличения бездушия капиталистического города:

Две недели я видел пустыню, только
пустыню.
Ни колодца со свежей водой, ни зеленой
травы.
И замертво падали птицы на серые
камни домов.
Ни детского смеха, ни детской ручонки,
Доверчиво вложенной в большую
мужскую ладонь.
Ни материнской груди. Только царство
нейлоновых ног.
Ни единого нежного слова. Только стук
механизмов в груди —
Стук фальшивых сердец, оплаченных
звонкой монетой...

И одновременно она удивляет читателя своей наивной верой в то, что Нью-Йорк возродится, если приобщится к ритмам там-тама, к «черной крови» Гарлема:

Пусть она, как мягкое масло, омоет
твои стальные суставы,
Пусть вернет твоим старым мостам
крутизну молодого бедра и гибкость
лианы.

«И не надо выдумывать новых чудес!» — восклицал поэт, увлеченный своей иллюзией, ибо разве не иллюзия *так* призывать к «единенью»?

С Леопольдом Сенгором спорят поэты, которые по-иному представляют себе будущее африканских народов, в ином видят их счастье и пути к нему. Они не соглашаются с мотивами примиренчества (явственными, скажем, в оригинальной драматической поэме Сенгора «Чака»). Когда «...цепи рабства сковали мне сердце,— пишет Давид Диоп, безвременно погибший революционный поэт Сенегала,— ...ты замолчал, мой там-там», и чтобы разбудить тебя, надо бросить «вызов насилию».

И у Сенгора, и у Диопа говорится о «солнце нового мира», которое «светит всем народам земли». Но если Сенгор апеллирует к старым добродетелям старой Африки («И не надо выдумывать новых чудес!»), если он, как философ, публицист, да и поэт тоже, убеждал себя в непреодолимой психо-эмоциональной замкнутости «негритюда», отъединяющей негра от человека другой расы, то взгляд Диопа куда социальнее, он охватывает землю «от шахт Свазиленда до заводов Европы», от африканского Димбокро, где в 1950 году колониалисты учинили одну из своих зверских «акций», расстреляв мирное население, до индо-китайского острова Пуло-Кондор, места, куда ссылали и где расстреливали революционеров Вьетнама. Это, понимает и подчеркивает поэт, звенья *одной* трагедии, участки *одного* великого фронта борьбы.

Рабы распрямились, стали борцами!
Грузчик суэцкий и кули ханойский —
Все, кто был ядом смиренья отравлен,—
Дружно поют великую песню...

Мотив единства народов, сражающихся за свою свободу, за торжество гуманизма в современном мире, пронизывает стихи Бернара Дадье.

Глубоко поэтично его стихотворение «Линии наших рук»:

. . . . . .
Линии наших ладоней,
Линии наших рук —
Это не змеи траншей,
Не паутина тропинок
В зарослях диких колючек,
Не угрюмые щели окопов,
И не рваные раны рвов...

Линии наших рук —
Желтых, черных и белых —
Это не ленты границ,
Не межи на полях
И не цепкие пальцы пеньки,
Обвившие сноп раздоров.

Линии наших рук —
Это линии Жизни,
Дружбы и светлой Судьбы,
Линии Сердца и Счастья.

Линии наших рук —
Это нежные цепи,
Они связали навечно
Живых и погибших —
Друзей со всех континентов.
Линии наших рук
Не черны,
Не белы,
Не желты.
Линии наших рук
Связали наши мечты
В большую охапку цветов.

Не мифы, не иллюзии, а социально-историческая правда обновит культуры народов; не пафос любования своей психологической «необычностью», а пафос общей борьбы есть и будет стимулом их развития.

Участник Конгресса негритянских деятелей культуры в Риме Рене Мениль интересно говорил о двух видах экзотики. Первая, естественная: вот я нахожусь в чужой стране, незнакомый с нею, я воспринимаю нравы, обычаи и привычки ее обитателей как нечто красочное и отмеченное печатью необычайности. И раз такое восприятие бывает взаимным, то местный уроженец видит и во мне такое же необычайное явление. Другое дело «экзотика», которую культивирует колониализм; это его идеологи стали внушать населению и метрополий, и колоний (последнее очень важно заметить!) «идею» духовной неполноценности чернокожего человека. Эти представления своеобразно преломились среди части африканской интеллигенции. Речь идет не просто об отступниках, а о других, о тех, чей «взгляд на себя,— как говорит о таких людях Р. Мениль,— это взгляд белого, ставший моим после трех столетий колониального строя». Это явление ученые справедливо относят «к области психопатологии колониальной жизни».

Первая экзотика, экзотика первого знакомства всего лишь поверхностна. Вторая, «психопатологическая», колониальная — фальшива и вредна

Преодоление такой «экзотики», освобождение от представлений, навязываемых идеологическими гипнотизерами колониализма, не в том, чтобы поставить знак плюс перед теми психологическими качествами, перед которыми белые колониалисты ставят знак минус. Рене Мениль резонно возражает против того, чтобы «использовать то изображение нас самих, которое создала культура колонизаторов, лишь для того, чтобы представить затем это же изображение, только в прямо противоположных красках».

Об общей борьбе против колониализма как стимуле развития культур африканских народов точные слова сказаны в «Обращении конференции писателей стран Азии и Африки к писателям мира»: «Самые значительные произведения литературы наших стран за последние 200 лет родились в борьбе народов Азии и Африки против иностранного господства и колониального угнетения; они проникнуты глубоким чувством протеста против этих зол, глубокой верой в права человека определять свою судьбу и право наших народов — жить в условиях свободы. Литературные произведения наших дней с гордостью утверждают достоинство каждого человека и достоинство каждой нации в целом. Многие лучшие книги наших дней, лучшие стихи и песни отражают боевой дух наших народов и их решимость сопротивляться иностранному господству... Мы призываем вас идти вместе с нами вперед в поисках правды, красоты и свободы, которые позволят нам создать литературу, связанную с жизнью народа и способную помочь ему в борьбе за победу разума и торжество справедливости на земле...»

Радостно читать сборник поэтов Африки, радостно чувствовать, что все сильнее и сильнее звучит в их творчестве голос действительности, голос исторической правды.

Ю. Суровцев

ЗАСТЫВШАЯ СКОРБЬ

На моем письменном столе стоит необычная для русского жилья статуэтка Нет, нельзя назвать статуэткой этот воплощенный в цветной — темно-зеленой и коричневой — бронзе образ живого человеческого страдания. Старая женщина в широкой национальной одежде, с распущенными волосами, обрамляющими трагически-безнадежное лицо... Ох, это лицо! Полузакрытые глаза, сведенные скорбью губы... Левой рукой она вцепилась в волосы. Она сейчас вырвет прядь жестом последнего отчаяния... Один из моих товарищей, сидя у меня, попросил повернуть скульптуру к нему спиной. «Слишком страшна,— сказал он,— эта застывшая скорбь». Мой друг имел право так сказать — он потерял в годы войны всю свою семью от мала до велика...

Эту скульптуру я привез в 1949 году с острова Кунашири, откуда перед тем эвакуировали на родину последние семьи японских военнослужащих.

Литая бронза стоит перед настольной лампой, освещающей страницы книги Тацудзо Исикавы «Тростник под ветром». Темная тень ложится на них; она то сгущается, то светлеет — в зависимости от того, придвину я или отодвину лампу или бронзу. Но, собственно говоря, не я их отодвигаю или придвигаю. За моими плечами стоит беспощадный указчик — время. То, что стоит у меня на столе, я определяю для себя как образ и символ страданий народа Японии, обманутого и преданного фашистскими правителями. Отчаявшаяся во всех своих надеждах — не просто мать, но матерь, вот она какова! Миллионы ее детей погибли на бескрайних равнинах Китая, в джунглях Бирмы, в пучинах южных морей, на сопках Маньчжурии.

Тень, то выходя, то исчезая, ложится из-под руки бронзовой женщины на книгу Тацудзо Исикавы.

Подробно, страница за страницей, развертывает писатель трагедию японской семьи, рушащейся под ударами бронированных кулаков военщины. Издатель-журналист Асидзава и профессор Кодама связаны между собой не только родственными узами (Иоко — дочь профессора — была замужем за сыном Асидзавы, забитым насмерть во время военных учений). Оба они принадлежат к верхушке буржуазной интеллигенции, когда она уже почти слилась со своими хозяевами. Ведь профессор Кодама — не только профессор, но и владелец частной клиники, а журналист Асидзава не только журналист, но и владелец частного издательства.

Тацудзо Исикава. Тростник под ветром. Перевод с японского и предисловие И. Львовой. Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. 638 стр.

Это не рядовые представители японской интеллигенции, а наиболее обеспеченный ее слой, это уже капитализированная верхушка. Связаны они между собой и сходством взглядов и идей. Оба они убеждены с самого начала, что война ошибка и без нее «можно было бы обойтись», однако лишь под давлением неумолимых обстоятельств они приходят к выводу, что война — не только ошибка, но и преступление. Лично оба они — честные и порядочные люди, по мере своих сил пытающиеся отстаивать то немногое человеческое, чего еще не смогла коснуться страшная рука японского фашизма. Очень ограничен круг их надежд и устремлений, политические идеалы робки и неопределенны. Даже Коноэ, глава довоенного кабинета министров, кажется им воплощением мирной политики.

И все же не это наиболее примечательно в мировоззрении двух старых японцев. Ведь, как говорится, на то они и пацифисты, а не социалисты, и тем более не коммунисты. Знаменательно то, что профессор Кодама даже после поражения Японии еще не хочет расстаться с философией, выработанной годами «Первое, с чем человек сталкивается в жизни,— это несправедливость, которой ему приходится покоряться. Я жду, чтобы улегся гнев и на смену ему пришло просветление мудростью..» Однако смерть Юмико (младшей дочери) все же поколебала эту философию и «гнев взял верх над смирением». Несправедливость, царящая в обществе, перевернула даже его. После случившегося с ним удара немеющим языком говорит он с негодованием о японской действительности. А когда он слышит о проекте новой конституции, где говорится об отказе Японии от войны, «рукой, еще сохранившей подвижность, он в клочья рвет газету. На что ему теперь отказ от войны, когда погибли все его дети?!

— Дурачье! — прохрипел профессор».

В этих цитатах ключ к пониманию образов старшего поколения японской интеллигенции. Пассивность и смирение облегчили путь милитаризму, желание оградить свой небольшой мирок помогло разрушить Мир с большой буквы, а «отказ от войны», когда все уже рухнуло, когда погибли «все дети», действительно может вызвать лишь беспомощно-горькую реакцию: «Дурачье!» Но только ли «дурачье»? К этому слову надо было добавить определение «преступное». Видимо, и это стало ясно перед смертью старому профессору.

К столь же безрадостным выводам приходит и Асидзава. Его, «внутреннего оппозиционера», американские оккупационные власти причислили к людям, поддерживающим императорско-фашистский режим. Писатель говорит о страшной драме людей, косвенно участвовавших в войне за неправое дело. Фактического диктатора Японии в 1945 г.— генерала Макартура трудно, конечно, заподозрить в «левизне», и тем не менее все-таки его приказ коснулся и «внутреннего оппозиционера», поскольку тот занимал ответственный пост. Асидзаву отстранили от общественной деятельности. Какая ирония жизни! Ведь Кунио-младший, его сын, из которого милитаристская пропаганда сделала фанатика, перед началом войны пишет донос в жандармерию о нелояльном поведении своего отца. Жандармский офицер грубо орет на старика, требуя изменения «духа журнала», показывает ему донос сына. Промежуточная позиция Асидзавы приводит к тому, что вместо японского жандарма на него орет американский генерал

Судьба младшего поколения не менее, а, быть может, еще более трагична. Юная девушка Юмико — сестра Иоко и невеста Кунио,— умирает от чахотки.

Война все отняла у этой чудесной девушки — юность и свободу, любовь и жизнь. «Юмико,— пишет Исикава,— была, пожалуй, слишком слаба душой, чтобы жить в этом полном потрясений жестоком мире». Отдав все силы непосильному труду, которого требовали от нее именем родины правители государства, Юмико сходит в могилу.

Горько и грустно... Девушка, родившаяся

для любви и счастья, раздавлена колесами военной машины. Она лишь беспомощная ласточка, попавшаяся в силки. Ее жених — человек, донесший на родного отца, доброволец императорской армии, летчик-смертник. Не возьмусь угадать его будущность. Пока что крах системы — это его внутренний крах.

Тацудзо Исикава создает блестящий образ преуспевающего дельца — бывшего унтер-офицера императорской армии Хиросэ-сан. Он никогда не испытывает угрызений совести по поводу совершенных дел. И это не какой-то оперный злодей, это заурядный человек. «Но ведь то, что я делал, делали все...— подумал Хиросэ. На фронте в Китае и потом в странах южных морей он собственноручно зарубил не больше четырех-пяти пленных». Это он вспоминает лишь тогда, когда его везет полицейская машина в тюрьму. Без полицейского автомобиля он о такой «мелочи» и не подумал бы, как не думают более высокопоставленные чиновники Западной Германии и Японии о сотнях тысяч людей, загубленных ими. О сотнях тысяч, а не о четырех-пяти! По сравнению с ними Дзюдзиро Хиросэ кажется мелкой пешкой, «лоцманом» империалистических кругов Японии, «прилипалой» к большой акуле капиталистического бизнеса. Сам он акулой хотел бы стать, да не может — ни размаха, ни силы для этого нет. Хиросэ ни на миг не приходит на ум, что он искалечил жизнь сотням людей. Трагическая коллизия книги заключается и в том, что он, забивший сапогами насмерть солдата, встретил Иоко — жену этого солдата... Нет, об этом трудно говорить... Жаждущая отомстить за смерть мужа его бессмысленному убийце, Иоко вдруг находит в Хиросэ при встрече человеческие черты. И — что страшно — убеждается в том, что он даже и не помнит того, кого он топтал ногами. Он исполнитель, а не руководитель. В этом была система японского фашизма. Что же делать несчастной и мудрой Иоко?! И вот вместо того, чтобы убить палача своего мужа, она лишь надавала ему пощечин (а тот искренне не понимал, в чем дело), и потом... отдалась ему. Она никогда после не простила этого себе.

По-настоящему светлая фигура в романе наряду с Иоко — это ее второй муж, за которого она выходит после долгих колебаний и разочарований. Это молодой журналист Такэо Уруки. Шестерни милитаризма захватили и его. Он попадает на фронт и сдается советским войскам. К сожалению, этот образ слишком бегло обрисован в романе.

Общественная жизнь Японии охарактеризована в «Тростнике под ветром» далеко не полно. Тем не менее антиимпериалистическое, антивоенное звучание книги Тацудзо Исикавы очень сильно.

Литая бронза — фигура старой женщины, рвущей на себе волосы,— долгое время представлялась мне образом Японии. Но я знаю, что великим японским живописцам она рисовалась в облике юной девушки с цветущей веткой вишни в руках. Такой бы и я хотел ее видеть.

Думаю, что Тацудзо Исикава еще снова посетит в качестве гостя Советский Союз. Мы с ним обязательно встретимся. И ему, как посланцу доброй воли, я с чувством облегчения верну эту мрачную бронзу с тем, чтобы ее место заняла на моем столе праздничная и легкая девушка в цветном кимоно.

Сергей Наровчатов

ОТ ИМЕНИ ДВУХ КОНТИНЕНТОВ

Пять сильных рук, соединившихся в дружеском пожатии на фоне земного шара... Кто не помнит эту эмблему Ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки — символ единства деятелей мировой культуры, сплоченных общей целью, борьбой за счастливое будущее народов!

Среди участников Конференции, состоявшейся в октябре 1958 года, были представители тридцати семи стран Азии и Африки, а также гости из тринадцати стран Европы и Америки. Писатели обменялись мыслями о путях дальнейшего укрепления взаимопонимания и культурных связей народов их стран, обсудили насущные задачи, поставленные сегодня жизнью перед литераторами. Впервые на таком широком международном форуме прозвучал страстный голос писателей борющейся Африки.

И вот перед нами сборник материалов Ташкентской конференции. Сюда вошли не только сообщения, сделанные на пленарных заседаниях, но и материалы работы комиссий, решения Конференции и т. п.

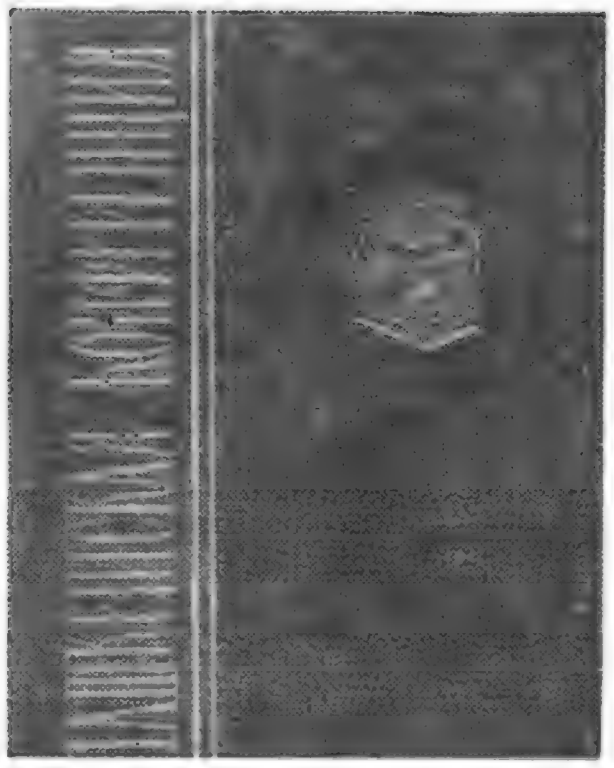
Книгу открывает послание главы советского государства Н. С. Хрущева, в котором он отмечает большое политическое значение встречи в Ташкенте и желает «...успешной работы участникам Конференции, призванной послужить великому делу борьбы против колониализма и империализма, за свободу и независимость афро-азиатских народов, за мир на земле». Подлинный расцвет культуры Азии и Африки может быть достигнут только в условиях свободы, независимости и суверенитета. Борьба народов против колониального рабства неразрывно связана с борьбой за самобытную национальную культуру. Эта мысль выражена в обращении участников Ташкентской конференции к писателям мира.

С незапамятных времен существовала

традиция культурных связей между народами Азии и Африки. Караванными тропами и в морских просторах пролегал путь дружбы людей двух материков. Однако два столетия назад империализм Запада, стремясь упрочить свое господство, разделил народы Азии и Африки искусственными барьерами. Колонизаторы смели с лица земли центры древней африканской цивилизации, а затем поспешили заявить, будто бы у народов Африки вообще не было ни литературы, ни искусства. С презрением игнорировали империалисты и огромные культурные ценности азиатского материка. Творческие достижения африканских и азиатских народов оказались надолго выброшенными из сокровищницы мировой культуры. Пытаясь найти оправдание колониальной политике, империалисты выдвинули тезис о так называемой «расовой и культурной неполноценности» порабощенных ими народов.

Но времена изменились. Колониальные империи рушатся одна за другой. И Азия, а вслед за ней Африка пробудились и стремятся к независимости. Они вносят свой достойный вклад в мировую цивилизацию. Своими успехами современные литературы стран Азии и Африки обязаны прежде всего тому поистине всемирно-историческому процессу, свидетелями которого мы являемся,— размаху национально-освободительного движения.

Все большую роль в формировании национального самосознания народов Азии и Африки начинает играть литература. Естественно поэтому, что присутствующих на Конференции волновал вопрос о долге писателя, вопрос о роли художников слова в борьбе за свободную мирную жизнь своих народов. Участники Конференции указывали на опасность, которая таится в попытках идеологов империализма отвлечь писателей Азии и Африки от животрепещущих тем современности, от общенародной борьбы за мир и свободу под предлогом, что они являются художниками, а не политиками. В своих выступлениях литераторы подчеркивали, что писатели не должны прятаться в «башне из слоновой кости», а призваны идти со своими произведениями на улицы, к простым людям, бороться рядом с ними, плечом к плечу, за великие идеалы человечества. По единодушному признанию делегатов, творчество писателя должно быть неразрывно связано с жизнью народа, рисовать перспективу прекрасного будущего.



Ташкентская конференция писателей стран Азии и Африки. Ташкент, Государственное издательство художественной литературы Узбекской ССР, 1960. 543 стр.

Очень выразительно сформулировал в своем выступлении эту задачу современного писателя Назым Хикмет: «В середине нашего столетия ученые подошли вплотную к открытию двух бесконечностей — атома и космоса... Открытием третьего чуда, своей бесконечностью, своей силой, своей созидательной мощью и своими возможностями не уступающего первым двум, заняты сейчас мы, писатели Азии и Африки, действующие от имени всего человечества. Мы открываем свои народы, их жизнь, их души».

Писатели решительно отвергли идеологию империализма, утверждающую разобщенность народов и исключительное право «сильных стран»... «Деятели литературы и искусства всех времен и народов всегда стремились... стать друзьями каждого человека на земле,— заявил на Конференции индийский деятель культуры Прободх Кумар Саньял.— Конечно, Запад есть Запад, Восток есть Восток, но эти братья всегда встречаются в мире радости и красоты».

Своей работой участники Ташкентской конференции содействовали благородной задаче укрепления мира на земле, прогрессу человечества. Ведь, как сказал нигерийский писатель Абдель Хафиз Абу, «...в деле сохранения мира во всем мире искусство и культура играют не меньшую роль, чем сила любого оружия».

Стазу

СКВОЗЬ ТЮРЬМЫ И ПЫТКИ

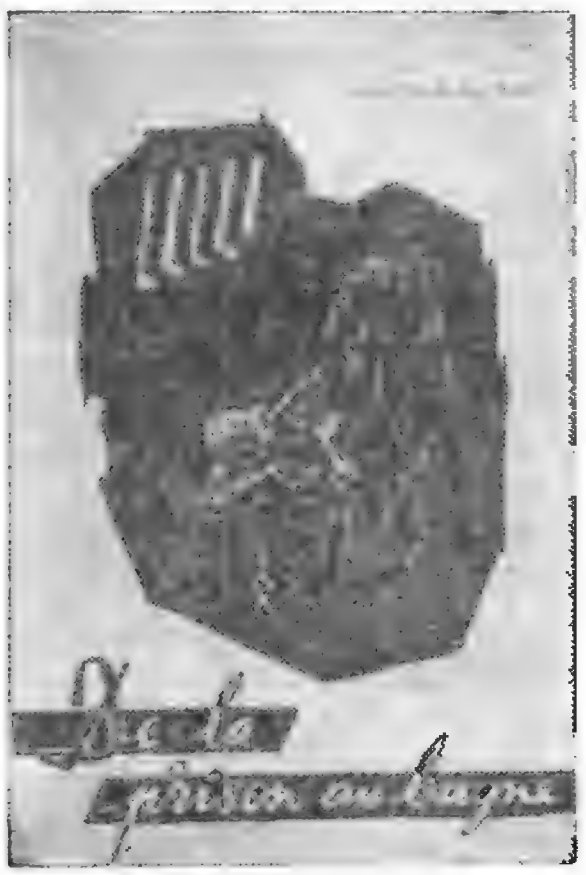
Книга писателя демократического Вьетнама Нгуен Ксюан Трама «Из тюрьмы на каторгу» — потрясающее по силе свидетельство того, что происходит сегодня в Южном Вьетнаме.

Это кусок жизни. Это та капля воды, в которой как в зеркале отразилась трагедия целого народа. Книга построена на подлинных фактах. В ней нет ничего вымышленного.

Женщины, бежавшие из южновьетнамского ада, поведали о своих мытарствах, о своем горе писателю, и он от имени одной из этих женщин — Данг Тхи Кан — ведет рассказ. «Правда достаточно красно-

речива, — пишет Нгуен Ксюан Трам в предисловии к книге,— чтобы говорить сама за себя. Я предоставляю ей слово. Я знаю, читатель, что заставлю тебя страдать. И, однако, я написал эту книгу для тебя... Потому что есть действительность, которую нельзя заставить молчать, потому что есть преступления, на которые нельзя закрывать глаза».

Душной сентябрьской ночью 1955 года полицейские Нго Дин Дьема ворвались в соломенную хижину, где спала Данг Тхи Кан. Девушку вытащили из постели. На нее обрушился град ударов. За что? Все «преступление» Данг Тхи Кан состояло в том, что в годы войны вьетнамского народа за независимость она находилась в освобожденных от французского господства зонах.



Nguyen Xuan Tram. De la prison au bagne. Hanoi, Edition en langues étrangères, 1961.

С этой ночи начинается страшный путь Данг Тхи Кан. Он длился три года и два месяца. О нем красноречиво говорят названия частей книги: «Три месяца под пытками», «В тюрьме Куанг-Три», «На каторге Пуло-Кондор».

Скупыми словами, но достигая предельной выразительности, рассказывает писатель о пытках в застенках Нго Дин Дьема. Каждая фраза — предел человеческих страданий. Каждая глава — документ, достаточный для созыва нового Нюрнбергского трибунала.

Данг Тхи Кан отправляют в уездную тюрьму Обвинение, которое ей предъявляют, в сегодняшнем Южном Вьетнаме равносильно смертному приговору. «Ты участвовала в Сопротивлении... Почему ты не ходила на беседы, где разоблачали коммунистов? Почему не дала свидетельских показаний и никого не выдала?» — спрашивает ее начальник службы безопасности.

«Я была только неопытной девушкой Враг грабил и насиловал, я спряталась в лесу... С наступлением мира я возвратилась домой».

Достаточно было произнести эти простые человеческие слова, чтобы началось нечеловеческое избиение. Три месяца пыток. Утром, днем, вечером, ночью.

Далее следует почти хроникальное описание жизни узников. Большинство заключенных даже не знает причин ареста. Вот женщина, которую пытают только за то, что она хотела навестить мужа, живущего в Северном Вьетнаме. Вот католичка, случайно перепутавшая бюллетени и проголосовавшая за императора Бао Дая вместо Нго Дин Дьема. Люди разных общественных положений и различных идейных взглядов, мужчины и женщины, дети и старики.

К физическим мучениям палачи добавляли мучения нравственные. Зная, как ценят вьетнамские женщины длинные волосы, бреют школьниц наголо. Заставляют заключенных смотреть, как мучают их товарищей.

Но палачам не сломить тех, кого они подвергают бесчеловечным пыткам. Истерзанные истекающие кровью, узники поддерживают друг друга. Они никого не выдают.

Эта книга не только о страданиях. Эта книга о стойкости и солидарности.

Однажды в следственном бюро, где производились пытки, появился холеный американский офицер, сопровождаемый вьетнамским священником. Директор следственного бюро и агенты «безопасности» смотрели на него с подобострастием, смешанным с боязнью.

Директор принялся расхваливать орудия пыток. «Превосходно, отлично! — не переставал повторять он...— сразу видно, что инструменты привезены из Соединенных Штатов».

Затем, указывая на Данг Тхи Кан, он произнес: «Заправила коммунистов, господин советник.— Американец... холодно посмотрел на меня, затем бросил взгляд на других узников, которые истекали кровью и стонали под пыткой... Впоследствии я узнала, что этот американский офицер был военным советником. Я узнала также, что священник, который его сопровождал, был... братом Нго Дин Дьема».

Данг Тхи Кан стоически выдержала пытки. Восемь раз она прошла через инсценировку расстрела. Убедившись в том, что она никого не выдаст, ее отправили в тюрьму Куанг-Три.

Опять тюрьма. Опять камера-одиночка. «Моя новая камера была очень тесной. Я должна была подгибать ноги, чтобы лечь, и наклонять голову, чтобы встать». Единственное маленькое зарешеченное окошечко — отдушина, через которую не проходит воздух. Два месяца провела Данг Тхи Кан в полном одиночестве. Затем в камеру бросили еще трех обнаженных женщин.

Жара, голод, жажда вызывали многочисленные смерти. Но и этого палачам показалось мало. Данг Тхи Кан вместе с другими заключенными отправили на каторгу.

Пуло-Кондор. Эти два слова вызывают ужас у вьетнамцев. В двухстах километрах от Сайгона в Китайском море находится маленький остров. Покрытый лесами и горами, разделенный широкими долинами, он

мог бы стать райским уголком на земле. А его сделали адом.

Убежать с этого маленького клочка земли, затерянного среди пустынных волн, практически невозможно. Администрация Нго Дин Дьема «реконструировала» и расширила старую французскую каторгу, лицемерно назвав ее «лагерем по политическому перевоспитанию».

«Вы в Пуло-Кондоре, вы это знаете? — заявил заключенным начальник каторги.— Вы в том месте, где заставляют сознаваться... и здесь вы оставите свои скелеты».

Ужасны дни и ночи в Пуло-Кондоре. Втиснутые по 14 человек в камеру, куда даже при французских колонизаторах сажали лишь одного (но ведь известно, что холуй всегда подлее хозяина), не имея возможности ни сесть, ни лечь, медленной смертью умирают заключенные. У некоторых женщин — дети. На детей не выдают ни воды, ни пищи. Даже малыши страшат Нго Дин Дьема! Его администрация превратила Пуло-Кондор в голгофу для вьетнамских патриотов и сторонников мира.

Нгуен Ксюан Трам рассказывает историю некоторых узников.

Потрясает смерть товарища Нама. За то, что он объявил голодовку, его распяли на дереве и приказали узникам избивать распятого. Все отказались. Его забили насмерть надзиратели.

Кровь леденеет в жилах, когда читаешь историю одной молоденькой девушки. Подозревая ее в связи с коммунистами, наемники Нго Дин Дьема связали ей на щиколотках брюки и пустили туда змею.

Приближалась годовщина захвата власти Нго Дин Дьемом. Чтобы выслужиться перед ним, тюремщики пытались заставить заключенных подписать петицию с выражением доверия Нго Дин Дьему, обещая за это освобождение. Угрозы, избиения не помогли. Восемь дней в адскую жару стояли в карцере женщины и девочки почти без воды. «Подпишите петицию, и я вас выпущу»,— говорил полицейский капитан. Но пятнадцатилетняя девочка отвечала: «Я не унижусь до этого. Скорее умру».

«Из тюрьмы на каторгу» — не роман и не повесть, а скорее хроникальный репортаж о страшной судьбе вьетнамских патриотов, попадающих в лапы нгодиндьемовских палачей. Каждая часть книги состоит из отдельных, иногда почти не связанных между собою глав, изображающих кровавый режим, застенки, тюрьмы и каторги, рассказывающих историю их обитателей. Гневные авторские отступления лишь дополняют картину произвола в сегодняшнем Южном Вьетнаме. Пером писательницы движут любовь к Вьетнаму и его народу, ненависть к колониализму.

Л. Харламова

ПОЭТЫ СРАЖАЮЩЕГОСЯ АЛЖИРА

Алжирский поэт Анри Креа такими словами определяет значение поэзии в жизни своей страны: «У нас нет разрыва между поэзией и народом. В Алжире берберы складывают поэмы, поднимаясь в горы, повстанцы — в тюрьмах. Прекрасное принадлежит всем, как воздух и свет...»

Мысль о единстве поэзии и народа на свой лад высказана каждым современным алжирским поэтом. Так, Жан Сенак пишет: «Поэзия и Сопротивление являются нам как две стороны одного клинка, которым человек неустанно оттачивает свое достоинство».

Рождение современной алжирской поэзии связано с началом организованных выступлений алжирского народа за независимость. Хронологически это конец второй мировой войны. Борьба народов против фашизма закономерно привела к развитию массового движения против колониализма. Алжирская поэзия этих лет — это поэзия Сопротивления, поэзия борьбы с колониализмом. Она создается одновременно на арабском языке — в традициях поэзии арабской — и на французском языке — в традициях поэзии французской. У истоков этой поэзии — народное творчество: песни борьбы и надежды, сложенные в партизанских отрядах, в тюрьмах, устные стихи и поэмы, которые, по народной традиции передаются из дома в дом. В них воспевается героизм борцов, оплакиваются павшие, выражается вера рождающейся нации в правоту своей борьбы, в неизбежность победы, находит свой выход ненависть к колониалистам. Алжирская поэзия и на арабском и на французском языке опирается также на давние революционные традиции алжирской антиколониалистской подпольной литературы на арабском языке, литературы, пока еще почти не собранной и не изученной. Известны

Mohammed Dib. Ombre gardienne. Paris, Gallimard, 1961. Henri Krea. La révolution et la poésie sont une seule et même chose. Paris, Oswald, 1960. Bachir Hadj Ali. Chants pour le onze décembre. Ed. de revue «La nouvelle critique», 1961. Hocine Bouhazer. Des voix dans la Casbah. Paris, 1960. Jean Sénac Matinale de mon peuple. Paris, Oswald, 1961.

и напечатаны далеко не все поэтические произведения и современных алжирских поэтов.

Здесь пойдет речь о наиболее известных поэтах алжирского Сопротивления, пишущих по-французски Самый факт создания значительных художественных произведений, направленных против угнетателей-колонизаторов, на языке этих же угнетателей, на первый взгляд, представляется парадоксальным. Во французской колонии образование можно получить только на французском языке. Кроме того, власти препятствуют распространению литературы на арабском языке. Существенную роль сыграла близость прогрессивных идеалов демократической Франции и борющегося за свою независимость Алжира. Поэзия алжирского Сопротивления во многом созвучна поэзии французского Сопротивления периода фашистской оккупации во Франции. Ее высокий гуманизм, ее воинствующая поэтика, нацеленная на борьбу с фашизмом, непримиримая ненависть к врагам человечества и несгибаемая вера в Человека, в его победу над темными силами человеконенавистнического расизма — все эти черты французской поэзии Сопротивления, воплощенные в произведениях Элюара, Арагона, Жува, Эмманюэля, Марсенака и других поэтов Сопротивления, находят своеобразное выражение в патриотической алжирской поэзии наших дней — в стихотворных произведениях Мухаммеда Диба, Осина Бухазера, Анри Креа, Жана Сенака, Бахира Хадж Али и других.

«О Мухаммед, откуда между нами это доверие?» — спрашивает Арагон в своем предисловии к сборнику стихов Мухаммеда Диба «Тень-хранительница». И сам отвечает на этот вопрос: «Я представляю себе Мухаммеда Диба таким, каким был я... В тот час, когда все, что было жизнью, гармонией, музыкой сердца и души, не принимается больше в расчет, когда человеческие отношения подавляются рабством военных дней, подчиняя человека безжалостной машине войны, когда убийство — закон... тогда поэт спрашивает себя, во что превратится его песня? Будет ли он молчать?.. Мне было сорок два года в 1939 году, и свой ответ на этот вопрос я озаглавил «Нож в сердце». Может быть, поэтому я и могу понять автора «Тени-хранительницы»...

Закономерно, что Арагон называет здесь именно «Нож в сердце» — первый сборник стихов, с которым он вошел в поэзию Сопротивления. Темы и настроения этого сборника близки стихам Мухаммеда Диба, в которых интонации тоски, горечи, боли за родину сменяются еще неясными и смутными, но страстными мотивами надежды. И эта близость, рожденная общностью судьбы поэта и страны, глубока и органична.

«Мухаммед Диб пользуется самыми простыми и обыденными словами,— пишет о сборнике «Тень-хранительница» французский поэт Христиан Одежан.— Они похожи на те тысячу раз встречавшиеся лица, которых неожиданное освещение вдруг показывает нам с новой стороны. Новый контекст наполняет их новым смыслом». Характерно, что аналогичные суждения не раз высказывались и по поводу поэтического языка Арагона и Элюара: само содержание поэзии Сопротивления обновляет ее звучание.

В «Тени-хранительнице» собраны стихотворения различных лет. Тоска по родине, туманные предчувствия будущей победы соседствуют с мужественными строками, исполненными гнева, ненависти к врагу, твердой уверенности в том, что «тиран-кровопиец будет сокрушен» («Поэма об Алжире»). В таких стихотворениях, как «Безумный час», «Считалка», любовь поэта к родине звучит в суровых строфах, близких по интонации к «Французской заре» Арагона.

Поэзия алжирского Сопротивления воссоздает в своих кровоточащих образах нечеловеческие муки алжирского народа, казни, пытки, страдания людей, которые сходят с ума от пережитого, которых, как скот, перегоняют с места на место, обрекая на медленную смерть от голода и нищеты. Она раскрывает трагедию и героизм истерзанной страны, которая только потому и может продолжать эту неравную борьбу, что опирается на несгибаемую стойкость духа своих сынов, на волю народа.

Славу своему народу поют алжирские поэты, победу пророчат ему:

Народ неисчислимый,
неиссякаемый народ,
Народ неразрушимый,
непримиримый народ.
Течет твоя кровь,
справедливая кровь,
красная кровь,
Течет твоя горячая кровь
невинная кровь,
Ночь полнится утром.
*(Осин Бухазер, «Голоса Касбы»)**

Кровь и муки народа, «лавины прожекторов, собак и колючей проволоки» (Жан Сенак) не убивают надежду у поэтов алжирского Сопротивления.

Я несу вам с гор —
Вместе с усталостью и горем
Я несу вам надежду,—

говорит Жан Сенак в поэме «Мир в Алжире».

Как прекрасны вестники новостей!
Они скажут: «Мир в Алжире!»
Мы узнаем, что Анри Аллег свободен
и жива Джамиля Бухиред!
О, свет, что сильнее,
чем электроды палачей,
чем блеск ножа гильотины на заре!
Они скажут: «Твоя мать улыбается..»

---

* Здесь и далее цитаты даны в подстрочном переводе автора статьи.

Мать в поэме Жана Сенака — символ родины, Алжира.

Страдания народа и его героизм, вера в справедливость народной борьбы и победу над колониализмом — вот неразрывно связанные одна с другой центральные темы поэзии алжирского Сопротивления. Поэзия как оружие в борьбе — так понимают смысл своей деятельности ее творцы.

«Моя жизнь принадлежит народу, из которого я вышел, народу, который убивают,— говорит ведущий в драматических сценах Осина Бухазера «Голоса Касбы».— Народ, который восстал, его убивают. Народ, вставший навстречу буре... Ночь черна, и горизонт не краснеет. Жестокая мясорубка войны. Война эшафотов. Эшафот для справедливых... Поверженный праведник кровоточит. Угнетенный праведник. Долг и ответственность. Свет и свобода. Африка и ее алжирский костер... Во имя народа, во имя тех, смерть которых я разделил,— я говорю». И его же стихотворение «Я забыл» как бы подводит неизбежный для поэта итог:

Я разучился играть
в игру
печатной литературы.
Моя мысль — это листовка,
Листовка — моя мысль.

Как листовка звучат заключительные строки «Песен одиннадцатого декабря» Бахира Хадж Али:

Я слушаю хор
Приговоренных к смерти,
Когда восходит заря,
Рыдания заключенных
В утро гильотины.
Я слушаю песню.
С наших гор
Поднимается голос
Свободных людей.
Он зовет нас
В битву за независимость.
Да здравствует ФНО *,
долой колониализм!

Воспевая борьбу против колониализма, проклиная зло, которое он несет алжирскому народу, поэты Сопротивления пишут в то же время о своей любви к Франции революций и баррикад, к Франции Сопротивления. Тема ненависти к колониализму звучит в поэзии алжирского Сопротивления рядом с мотивами солидарности с французским народом, верой в его демократические идеалы, в его гуманизм.

Это единство двух тем ясно выражено в поэме «Клятва» Бахира Хадж Али. Поэт начинает ее словами, в которых говорится о страшном, но обыденном для сегодняшнего Алжира — о ребенке, сошедшем с ума после бомбежки.

Клянусь разумом дочери
моей связанной —
Она кричит, когда слышит
рев самолетов,
Клянусь терпением матери моей —
Она ждет возвращения ребенка,
потерянного при бегстве.
Клянусь тишиной деревень
моих разгромленных,
Погребенных на заре без слез и
без молитв,
Клянусь гневом, который делает
прекрасными наших женщин,
Клянусь испытанной дружбой
и любовью разлученных,
Клянусь ненавистью и верой,
что поддерживают горение.
Что у нас нет ненависти к
французскому народу.
(Бахир Хадж Али, «Клятва»)

Французские товарищи,
Товарищи, верные истинному
лицу Франции,
Если среди ваших празднеств
я поднимаю голос,
То это потому, что мы вместе страдаем
От великой несправедливости,
И боли,
И несчастья.
Если я осмеливаюсь возвысить голос
в то время, как мои братья гибнут,
То это для того, чтобы передать вам
отзвуки их Надежды...
(Жан Сенак, «Мир в Алжире»)

Несмотря на мою ненависть,
я приветствую тебя, Париж,
Твою весну, которая пахнет
старыми баррикадами.
(Анри Креа)

Вера алжирских поэтов в «истинное лицо Франции» поддерживается непрекращающейся ни на один день борьбой, которую ведет передовая Франция против войны в Алжире. Алжирское Сопротивление в этом смысле объединяется с тем сопротивлением колониалистам в самой Франции, о котором Пьер Дэкс писал: «Никогда еще со времени Сопротивления движение французской интеллигенции не принимало такого размаха».

* * *

В алжирской поэзии Сопротивления значительное место занимает творчество Анри Креа, поэмы и стихотворения которого объединены в сборнике «Революция и поэзия — это единое целое». Название сборника имеет для Анри Креа принципиальное значение.

«По своей сущности Революция — это самая прекрасная поэма, какая только может быть,— говорит Креа.— Это коллективная песня, рожденная законным желанием свергнуть ложных богов, навязанных идолов и то положение, которое человек не хочет больше признавать. Ибо это примета нашего века — то, что человек осознал свое достоинство, свою логику творца. Он стремится к ответственности».

Смысл поэзии для Креа — в воплощении революционного духа эпохи, формирующего новое сознание народов. Он с презрением отзывается о тех, кто «пользуется Поэзией, как гавайской гитарой», и призывает «смести стены башен из слоновой кости».

Эпиграфом для своей книги Анри Креа взял слова современного французского поэта Андре Бретона, в которых разоблачается нищета колониального народа, постыдная эксплуатация его горсточкой паразитов, которым «безразлично все, вплоть до законов страны, к которой они принадлежат и

---

* Фронт национального освобождения

не испытывают при этом ни малейшего смущения от того, что являются ее бесчестием».

Протест против колониализма, против преступлений, совершенных французами в Алжире,— ведущая тема в поэзии Креа. Колониализм и его следствие — геноцид — предстают у Креа как преступления против всего рода человеческого, так как они направлены против всего высокого, что есть в человеке. Именно с этих позиций разоблачали звериное лицо фашизма поэты французского Сопротивления.

Они пьют кровь человека,
Как если бы никогда
Они не видели
В самих себе образа человека

«Они продолжают свой обман, продолжают убивать, заключать в тюрьмы, извращать человеческое в человеке...» — пишет Креа.

И теперь я вижу вампиров,
Которые терпеливо вдохновляются
истреблением человека.
Они приняли образ геноцида,
Их прославленные мундиры
оттеснили мораль,
А их близкие смакуют
несказанный комфорт...

С сокрушительным сарказмом поэт обрушивается на проповедников буржуазных «свобод», на благопристойную фальшь, прикрывающую преступления. В нарочито бесстрастной манере он перечисляет пропагандистские лозунги буржуазной демократии, обнажая их чудовищный цинизм.

С ненавистью пишет поэт о «зачинщиках геноцида:

Страна дымилась рваным пожаром
Под их господством,
Которое возможно
Лишь в образе сапога,
В образе пыток...

С жестокой правдивостью воссоздает он страшную реальность трагедии алжирского народа. Поэт прямо смотрит в глаза суровой истине. Лаконичность, простота формы, смысловая значительность, обнаженное, прямое выражение безграничной, торжествующей веры в Человека, в Народ, в конечную победу сближают Креа с поэзией Элюара периода Сопротивления.

Анри Креа молодой поэт. По собственному признанию, он ищет «полной свободы, абсолютного средства выражения». На этом пути его подстерегают опасности. Сказывается подчас влияние не только позднего Элюара или Жува, но и тех принципов сюрреалистической поэзии, которые порой уводят Креа к нарочитой усложненности образов и разорванности выражения. И, наоборот, иногда поэзия Креа грешит декларативностью. Трудности поисков своего собственного поэтического пути естественны для молодого поэта. Так или иначе, успехи, сделанные им на этом пути, его глубокий и чистый талант уже сейчас делают поэтический голос Анри Креа одним из ведущих в поэзии алжирского Сопротивления.

Алжирский поэт Жан Амруш в своем стихотворном вступлении к сборнику Креа пишет о принципиальном отказе молодого поэта от так называемой поэтичности, о презрении к музыке, к песне стиха. Разве это «поэма, очищенная от песни, поэма с презрением к песне?» — спрашивает Амруш. И отвечает таким определением поэзии Креа: «...поэма продвигается вперед фронтом образов, массивом пущенных, как из катапульты, мыслей и тщетно отказывается от песни». Тщетно потому, что в страстной, порой грубой, неотшлифованной поэзии боли, борьбы, ненависти и надежды слышится своя музыка и своя песня.

Жан Грожан, французский критик и поэт, анализируя сборник «Революция и поэзия — это единое целое», пишет об оригинальности поэзии Креа, называет его одним из самых примечательных поэтов современного Алжира.

Когда Анри Креа говорит о «неумолимой логике новых времен», когда он говорит: «Я знаю, заря ясна», или: «Я даю вам знак, что действительность — это братство», то это значит, что вместе с другими поэтами алжирского Сопротивления, вместе с прогрессивными поэтами сегодняшней Франции он продолжает и несет в будущее бессмертную традицию гуманизма, которая выражает чувства миллионов в их борьбе за лучшее будущее.

Поэзия борющегося Алжира на французском языке, воспринявшая своеобразные черты арабской народной поэзии и традиции прогрессивной французской поэзии, порождена новыми историческими условиями — эпохой падения колониализма.

Поэзия алжирского Сопротивления — одно из ярких явлений литературы нового времени.

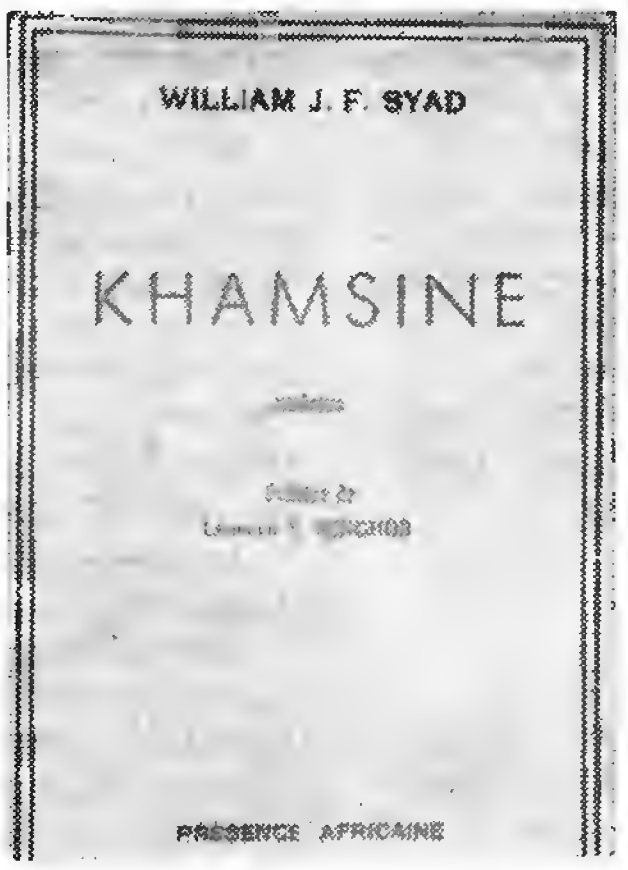
О. Тимофеева

ГОРЯЧИЙ ВЕТЕР ПУСТЫНИ

Эта небольшая книжка пришла в Москву из города Могадишо — столицы Республики Сомали, которая в нынешнем году отпраздновала первую годовщину своей независимости. Сборник стихов молодого сомалийского поэта Уильяма Сияда интересен вдвойне: и потому, что знаменует начало творческого пути талантливого писателя, и главное по-

тому, что это одно из первых произведений новой сомалийской литературы. До недавнего времени можно было познакомиться лишь с богатейшим фольклором сомалийского народа, привлекавшим внимание исследователей и собирателей. А сейчас перед нами книга писателя-профессионала.

Уильяму Сияду тридцать лет. Он родился в городе Джибути — административном центре французской колонии Сомали. В числе немногих сомалийцев ему удалось получить образование в Европе. Писать Сияд начал рано, будучи студентом парижского института экономических и общественных наук. Первые его произведения — это преимущественно интимная лирика, стихи грустные и нежные, большей частью мелодичные, наполненные ароматом восточной поэзии Известный сенегальский поэт Леопольд Сенгор, познакомившись с творчеством Сияда, назвал его стихи «истинными цветами поэзии, благоухающими орхидеями».



William J. F. Syad. Khamsine. Paèmes. Preface de Léopold S. Senghor. Présence Africaine, Paris, 1959.

Сияд писал свои первые стихи на французском языке. В них ощутимо влияние французской поэзии — Бодлера и Рембо, романтиков и современных поэтов.

Завершив учение в Париже, Сияд в 1958 году возвращается на родину. Дальнейшая его судьба — писателя и гражданина — неотделима от судеб его страны. Национально-освободительная борьба сомалийского народа привела большую часть страны, находившуюся под опекой Италии и протекторатом Англии, к освобождению, была провозглашена независимость Республики Сомали. В разгар этих событий Уильям Сияд покидает Джибути, чтобы, переехав в будущую столицу республики — Могадишо, стать в первые ряды активных участников общественной и политической жизни страны.

У Сияда-писателя трудное и сложное положение, в каком, впрочем, находятся писатели большинства африканских стран. Он вынужден писать на языке, чуждом его народу. Колониализм оставил страшный след и на культуре сомалийцев — у них до сих пор нет письменности. Если раньше Сияду приходилось писать на французском языке, то теперь он переходит на английский — наиболее распространенный из европейских языков на большей части территории, населенной сомалийскими племенами.

Но неизмеримо важнее другое: обращение к жизни своего народа, непосредственное участие в освободительном движении страны изменило тематику стихотворений Сияда. Пришли суровая мужественность, строгие и четкие ритмы. Некоторая претенциозность, в какой-то мере свойственная интимной лирике Сияда, теперь исчезла, уступив место простой и ясной форме, в которую облекаются глубокие раздумья поэта о судьбах народа и страны, радостные гимны заре новой жизни. Звучавшие прежде религиозные мотивы не слышны в жизнеутверждающей поэзии Сияда последних лет.

В сборнике «Хамсин» лирика Сияда представлена очень полно. Первая половина сборника включает стихи на французском языке, вторая содержит последние его произведения на английском.

Содержание первого цикла — тоска по возлюбленной, мотивы любви и страсти («Любовь», «Черный ангел», «Ты», «Твои глаза», «Звук твоего голоса»). Цикл стихов гражданской лирики, вошедшей в сборник под общим названием «Нерешенные вопросы», открывается торжественным гимном национальному флагу — символу свободной, независимой родины, гимном надежды на светлое и радостное будущее. Гражданский пафос этих стихотворений Сияда («Что есть правда», «Когда наступит рассвет», «Рождение нации») сочетается с проникновенным лиризмом, необычайной теплотой и сердечностью. Гневом и болью полны раздумья поэта о тяжелой доле черных братьев, скитающихся на чужбине. Скорбно звучит баллада об ослепшей от горя матери, чей сын погиб вдали от отчизны, посланный на смерть белыми колонизаторами. Интонации скорби сменяются призывом к объединению и сплочению сомалийцев под знаменем освобожденной от чужеземного ига страны, радостным чувством неразрывной связи поэта со своим народом, встречающим зарю новой жизни, зарю свободы. Торжественной символической картиной рождения нового африканского государства завершает поэт свой сборник. Он посвящает это стихотворение всем африканским государствам, провозгласившим свою независимость в 1960 году, вошедшем в историю как Год Африки.

Сияд назвал сборник «Хамсин». Хамсин — это горячий ветер пустыни, обжигающий своим палящим дыханием. Этот раскаленный ветер словно ворвался в сердце поэта и разжег пламя любви и ненависти, страдания и радости, надежды и веры в прекрасное будущее родной страны, вставшей на путь свободы и прогресса

С. Прожогина

ПУТЬ К РАССВЕТУ

Sembene Ousmane. Les bouts de bois de Dieu. Paris, Le Livre Contemporain. 1960.

Для сенегальского романиста Усмана Сембена писать — значит бороться. Его книги обращены к широким массам родного народа. В Сенегале пока еще нет национального литературного языка, и Сембен пишет свои романы по-французски, но их содержание хорошо известно простым неграмотным людям. Усман Сембен, тридцативосьмилетний писатель, бывший солдат второй мировой войны, а затем докер, прошедший суровую школу тяжелого труда и классовой борьбы, неутомимый пропагандист передовых идей.

Приехав в Советский Союз делегатом Ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки, Сембен рассказывал, что свою книгу «Страна моя, прекрасный мой народ» он читал по вечерам жителям рабочих кварталов Дакара, переводя попутно текст на местный язык — уолоф. Слушатели живо реагировали, иногда тут же завязывался спор. В итоге с произведением познакомилось множество людей, причем большинство не слышало самого автора, а узнало роман в пересказе, из третьих-четвертых уст.

Книги Сембена зовут на борьбу с несправедливостью, они крайне опасны колонизаторам, которые фактически до сего дня не ушли из Сенегала, несмотря на провозглашенную независимость.

Если роман Сембена «Страна моя, прекрасный мой народ» (переведенный на русский язык) посвящен жизни сенегальской деревни, то сегодня писатель обращается к не менее важной теме: героической борьбе западноафриканского пролетариата.

Сембен назвал свою книгу «Божьи палочки». Это — выражение, которое по старинной традиции употребляют в Сенегале, когда речь идет о людях, поэтому название романа можно было бы так и перевести — «Люди». Очевидно, писатель хотел уже заглавием подчеркнуть, что его роман — о простых безвестных соотечественниках, рядовых африканцах.

В книге Сембена описана забастовка железнодорожников Сенегала и Судана (теперь республика Мали), продолжавшаяся с октября 1947 по март 1948 года. События, воссозданные в романе, развиваются в городах Дакаре, Тиесе, Бамако. В забастовку вступают представители нескольких народностей, люди разных поколений. Они обременены тяжестью сомнений, колебаний, часто даже предрассудков, но логика борьбы неумолимо подсказывает им верные решения.

В ходе забастовки оказываются опровергнутыми национальные, расовые предубеждения; постоянная материальная поддержка рабочих других западноафриканских стран и рабочего класса Франции помогает стачечникам продержаться до победного конца; неоценимую помощь бастующим оказывают женщины, инициативу которых поначалу встречают с недоверием: согласно мусульманским обычаям, женское дело — молчать и повиноваться. Но главное завоевание бастующих — крепнущее сознание, что именно от них, а не от европейских хозяев, охваченных паникой при виде размаха народной борьбы, зависит судьба родного края. Показательно, что к пониманию этой решающей истины простые, необразованные люди приходят раньше, чем некоторые «просвещенные» африканцы, обучавшиеся во французских школах.

Изображение в романе простых людей — творческий успех Усмана Сембена. Рядовые участники забастовки получились у писателя более выразительными, чем ее профсоюзные руководители. Среди них, однако, выделяется образ Бакайоко — пролетарского трибуна, который порой напоминает горьковского Павла Власова.

Лучше всего удались Сембену портреты женщин. Любовно воссоздает автор разнообразные, не похожие один на другой женские типы: здесь и отчаянная, дерзкая на язык мам Софи, возглавившая настоящую войну женщин рабочих кварталов против дакарской полиции; здесь и непримиримая в своей ненависти к брату — верному псу французских хозяев — старая Раматулай; и слепая сказительница Маймуна, образ которой при всей своей жизненности как бы овеян героикой былого величия гордых, свободных племен — неуловимыми путями подводит он к мысли о связях прошлого и настоящего, о героичности сегодняшнего дня. Глубоко трогает история Панды — «женщины дурной жизни», с юных лет проявлявшей неслыханную для мусульманки независимость. При первом знакомстве Панда предстает в романе как человек резкий, даже жестокий, познавший так называемую изнанку жизни и подчеркнуто чуждый любым проявлениям сентиментальности. Затем в ряде несущественных, на первый взгляд, эпизодов обнаруживается внутренняя моральная чистота Панды, бескорыстно взявшей на себя заботу о семьях бастующих, сдержанно нежной с теми, кто, подобно Маймуне, сумел сохранить веру в лучшие свойства людей.

Крайне немногословен Сембен, когда рассказывает о зарождавшейся любви Панды и Бакайоко, описывает смерть Панды от пуль французских солдат. Сембен как будто предлагает читателю самому задуматься, какой ценой завоевывается сегодня счастье последующих поколений, счастье детей забастовщиков — таких, как маленькая Аджибиджи, приемная дочка Бакайоко, в которой уже угадываются черты нового человека.

И. Никифорова

АЛЖИР, СТРАНА ГОРЯ

Лучшие произведения писателей современного Алжира связаны с освободительной борьбой, которую ведет их родной народ. Об этом свидетельствует и книга Мулуда Маммери, переносящая нас в недавнее прошлое. Время действия романа — годы второй мировой войны и начало послевоенного периода, но она помогает читателю лучше понять и трагедию, переживаемую алжирским народом сегодня. Писатель рассказывает о его страданиях и бедах, покончить с которыми может только упорное и последовательное сопротивление угнетателям.

Мулуд Маммери. Когда спит справедливость. Перевод с французского М. Дмитриевой. Редактор О. Константинов. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 163 стр.

Три врага держали алжирцев в рабстве. Колониализм — главный враг, но не единственный. Ему помогали «свои», алжирские богатеи, безжалостные к бедноте и всегда готовые сотрудничать с французскими властями. Ему помогали отсталость и темнота бедняков, их приверженность старым, патриархальным традициям. Эти три врага делали несчастливыми и героев романа — полунищих кабилов из горной деревушки, принадлежащих к роду Айт-Вандлоу.

Три иллюзии должны были рассыпаться прахом для того, чтобы и для людей из этой деревни стало необходимым и неизбежным участие в освободительной борьбе.

Первая иллюзия — вера в справедливость тех, кто стоит у власти,— колониальных администраторов. «Те, кому бог поручил править людьми, должны сделать детей бедняков счастливыми. И сколь счастлив удел их! Как прекрасно заботиться о счастье всех людей на земле!» Так думал старик Айт-Вандлоу — воплощение духа патриархальности, пока жестокие издевательства французского комиссара не разрушили его наивную веру в справедливость власть имущих.

Вторая иллюзия — вера в солидарность членов одного рода. Трудно сохранить эту веру даже старому Айт-Вандлоу, когда его богатый кузен Тудер, покровительствуемый комиссаром, буквально сживает со свету своих бедствующих родичей.

Третья иллюзия — вера в то, что алжирцы, приобщась к французской культуре, входят как равные в одну большую семью Франции. Это то самое заблуждение, которое всячески стараются поддержать французские колонизаторы.

Мулуд Маммери рассказал о жизни Арезки — сына старика Айт-Вандлоу. Арезки получил среднее и высшее образование во французских учебных заведениях Алжира, стал педагогом, с жадностью впитал французскую культуру, преклоняется перед гуманизмом французских мыслителей прошлых веков. И не он один надеялся на то, что после разгрома расистов-гитлеровцев настанет новое время и бедняки станут счастливыми. Но вот Арезки мобилизован в армию, он стремится бороться против фашистских оккупантов Франции. И что же? Юнкер Арезки в «своей» — французской — армии сталкивается с расистским, высокомерным и оскорбительным отношением к алжирцам—солдатам первого сорта, когда им приходится проливать свою кровь, солдатам второго сорта в остальное время.

Арезки переживает мучительный идейный кризис, который кончается символической сценой. Молодой кабил в состоянии смятения, тоски, возмущения сжигает свои сокровища — «Мысли» Паскаля и другие произведения французских писателей, которым он так верил. Все фразы о гуманизме лживы, думает Арезки, зачеркивая вместе с иллюзиями и подлинные ценности.

По другому пути пошел Слиман, младший сын старика Айт-Вандлоу. Работая батраком, он познакомился с алжирским патриотом Лунасом. Благодаря ему Слиман начал задумываться над жизнью. Как и Лунас, он не может любить хозяев, даже если они алжирцы. Но он верит, что только единый национальный фронт Алжира в силах освободить страну от колонизаторов. И Слиман вступает в подпольную организацию борцов за независимость.

Темпераментно, нервно, а порой и лихорадочно-возбужденно рассказывает Мулуд Маммери о горестной жизни своих героев и сограждан. Тогда многие из них сталкиваясь с несправедливостью, еще не могли подняться до осознания необходимости непримиримо бороться против нее.

В конце книги иллюзии рушатся. И это крушение всех иллюзий совпадает с началом патриотической борьбы. Хотя Тудер, еще более разбогатевший и ставший амином (старостой села). предал подпольщиков ему не остановить этого движения.

Н. Миловидова

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

«Мы преградили путь волкам из Западного Берлина»

День 13 августа, когда правительство Германской Демократической Республики приняло меры к пресечению в Берлине подрывной деятельности против стран социалистического лагеря, ознаменовал новый важный этап в борьбе за мир в Европе и во всем мире. У Бранденбургских ворот народная власть опустила шлагбаум перед колесницей милитаризма и реваншизма, несущейся из Западной Германии. «Мы преградили путь волкам, воющим в Западном Берлине»,— заявил по этому поводу известный писатель-антифашист Бруно Апиц, автор романа «Голый среди волков».

Справедливые мероприятия правительства ГДР нашли сочувственный отклик у прогрессивной общественности всех стран. Однако крикливая буржуазная пресса делает все возможное, чтобы укрепление секторальных границ в Берлине представить как «вызов» Западу, как «свидетельство агрессивности» социалистического лагеря. Нашлись легковерные люди, которые поверили в эту лживую болтовню.

Западногерманские писатели Гюнтер Грасс и Вольфдитрих Шнурре обратились к ряду писателей ГДР с открытым письмом, в котором, не разобравшись в сути дела, призывают своих коллег «осудить» действия восточногерманских властей, «осознать возможные последствия военной (?!) акции 13 августа». Еженедельник **«Зоннтаг»** опубликовал на своих страницах ответы писателей **Стефана Хермлина** и **Пауля Винса** Грассу и Шнурре.

В своем письме Ст. Хермлин, обращаясь к Грассу и Шнурре, заявляет:

«Вы пишете: «Если западногерманские писатели считают своим долгом протестовать против пребывания на ответственных постах таких лиц, как Ганс Глобке, если западногерманские писатели называют проектируемый министром внутренних дел Герхардом Шредером закон о чрезвычайном положении недемократическим законом, если западногерманские писатели предостерегают от авторитарного клерикализма в Федеральной Республике — тогда вы также обязаны назвать своим именем беззаконие, совершенное 13 августа».

Ваш аргумент, который в сходной форме выдвигался и раньше,— результат ложного умозаключения. Если вы, Шнурре и Грасс, выступаете против Глобке и Шредера, которые правят вами, то я ни в коей мере не обязан выступать против моего правительства, которое борется против Глобке и Шредера несколько более действенно, чем вы оба,— я говорю это при всем уважении к вашей гражданской смелости... То, что вы называете «беззаконием 13 августа», является на самом деле государственной акцией против политики Глобке—Шредера. О каком беззаконии вы говорите?»

Ст. Хермлин напоминает своим корреспондентам некоторые уроки отечественной истории: январь 1933 года, когда геббельсовская пропаганда объявила установление гитлеровской диктатуры «национальным возрождением», пресловутый «Дранг нах Остен» и последовавшую затем национальную катастрофу, односторонние действия западных держав, которые привели к расколу Германии.

«...Я обладаю довольно хорошей памятью и вот уже четырнадцать лет как снова поселился в этом городе; я припоминаю, что живу с середины 1948 года в разделенном городе, с двумя валютами, двумя бургомистрами, двумя управ-

лениями. двумя полициями, двумя общественными системами, в городе, где господствуют два диаметрально противоположных взгляда на жизнь. Раскол Берлина начался в середине 1948 года с известной вам валютной реформы. То, что последовало 13 августа нынешнего года, было логическим шагом в процессе, начало которому было положено не в этой части города».

Касаясь «осуждения», к которому призывают писателей ГДР Г. Грасс и В Шнурре, Ст. Хермлин пишет:

«Я не послал своему правительству благодарственной телеграммы 13 августа, и я не назвал бы мое внутреннее состояние состоянием «воодушевленной поддержки»... Тот, кто знает меня, знает также, что я — сторонник сосуществования, свободных поездок, неограниченного обмена во всех областях человеческой жизни, особенно в области культуры. Но я выражаю мероприятиям правительства Германской Демократической Республики свое неограниченное сознательное одобрение. Оно, как уже ясно сейчас, укрепило этими мерами государство, в котором нет места Глобке, оно сделало важный шаг вперед к достижению мирного договора...»

В том же категорическом духе высказывается и Пауль Винс:

«Принимая во внимание положение в Германии и в мире, уроки истории и мой собственный опыт, в самых элементарных интересах ваших, моих и, очевидно, всего человечества, я считаю разумным, необходимым и потому добрым и человечным делом, используя всю демократическую власть, которая есть у нас в распоряжении, преградить дорогу политике (и ее представителям!), неуклонно ведущей к третьей мировой войне. Это мы и сделали в Берлине 13 августа 1961 года».

В своем письме Г. Грасс и В. Шнурре немало распространяются об ответственности художника перед обществом, о том, что писатель не должен молчать перед лицом событий — как не молчали лучшие немецкие писатели в годы фашизма.

«Вы явно недостаточно подумали о том кому вы это пишете,—возражает Грассу и Шнурре Ст. Хермлин.— Ваши адресаты, во всяком случае большинство из них, именно в годы между 1933 и 1945 не молчали, в отличие от столь многих патентованных защитников западной «свободы».

Развивая ту же мысль о сознательном определении писателем своей позиции, П. Винс убедительно показывает, что легковерие и политическая неустойчивость объективно приводят людей в лагерь врагов прогресса.

«Я согласен с вами,— говорит П. Винс,—когда вы пишете, что тот, кто выбирает профессию писателя, *не должен молчать*. Я надеюсь поэтому, что и вы согласитесь со мной — и я говорю это не в полемических целях: тот, кто выбирает профессию писателя, *должен думать*. Я верю, что вы являетесь убежденными противниками атомного вооружения. Вы предостерегаете от Глобке, Шредера, Штрауса. Но в разговоре с нами вы используете — в некоторых абзацах вашего письма дословно! — примитивнейшие демагогические лозунги, рассчитанную на оглупление народа клеветническую и насквозь лживую терминологию Брандта и ему подобных.. Неужели вы в самом деле попались на удочку громогласной «аргументации» антикоммунистов?».

За национальное искусство

Широкие слои канадской общественности не на шутку встревожены все растущей экономической, политической и культурной экспансией своего южного соседа — Соединенных Штатов Америки.

Не успела закончиться вторая мировая война, как американский монополистический капитал самовольно взял на себя роль «руководителя» западного мира. В Вашингтоне и Нью-Йорке стали рассматривать Канаду — увы, не без попустительства определенных кругов в самой стране — как свою колонию, всячески ущемляя национальную гордость народа. Особенно откровенные формы принял «культурный» экспансионизм янки, прикрываемый глубокомысленными рассуждениями об «универсальности искусства, не знающего национальных границ», и т. п. Низкопробные журнальчики и книги, легковесные голливудские картины, различные рекламные издания американского происхождения буквально захлестывают Канаду. Зловещим парадоксом кажется тот факт, что чем больше приближается Канада к столетию своей государственности, тем более усиливается угроза утраты канадского суверенитета в сфере национальной культуры. Демократическая ин-

теллигенция, прогрессивные силы, все истинные патриоты Канады ведут упорную борьбу за сохранение и возрождение национального искусства и литературы. Этой проблеме посвящена, в частности, опубликованная в еженедельнике **«Кэнэдиен трибюн»** статья **Маргарет Фэрли «При каких обстоятельствах писатель или живописец становится национальным канадским художником».**

«До последнего времени,— пишет Фэрли,— писатели и художники в нашей стране — и хорошие, и плохие, и средние — все были людьми, которых интересовал обычный мир вокруг них; они изображали этот мир, потому что жили в нем... Многие из них к тому же занимались помимо литературы каким-нибудь ремеслом, возделывали землю, вели хозяйство.

Как Диккенс не предпринимал ничего особенного для того, чтобы быть англичанином, а Бальзак — французом, так и наши писатели прежних поколений *органически* ощущали себя канадцами, ибо их глубоко интересовала жизнь родной страны. Многие из них не были местными уроженцами. С Британских островов, из многих частей Европы иммигранты волна за волной вливались в англоязычную Канаду. Они как бы заново открыли нашу страну, и в каждом поколении находились люди, первооткрыватели и исследователи, которые оставляли письменный след о своей судьбе. И теперь мы имеем великую сокровищницу литературы почти о каждом уголке Канады, множество книг, стоящих на полках библиотек и ожидающих переиздания».

Маргарет Фэрли — если ограничиться только литературой на английском языке — называет имена С. Хирна, Д. Томпсона, У. Л. Маккензи, Ф. Ф. Гроува и многих других литераторов прошлого, тех, кого следует читать, чтобы знать страну. Подлинно национальные традиции живут и в произведениях ряда современных писателей-реалистов Канады,

«...ибо наша литература, театр и искусство уходят корнями в повседневную действительность нашей страны, а не замыкаются в башне из слоновой кости — обители бесплодных мечтателей».

Автор статьи особо указывает, что наибольшее развитие в Канаде получила сатира. Примеры тому — рассказы С. Ликока, карикатуры Бенгафа и Эврома, стихи Дж. Уоллеса и У. Макдональда, политическая сатира Р. Уорда и И. Аллана.

«...Однако есть и такие писатели и художники,— продолжает М. Фэрли,— которые словно делают все от них зависящее, чтобы отделить себя от других людей, не дать оснований предположить, что они живут в определенной части земного шара. Это особенно заметно в живописи (автор приводит в этой связи меткое замечание Рокуэлла Кента: «Абстракционизм есть не что иное, как культурный спутник атомной бомбы».— *Ред.*). ...рука об руку с расчеловечиванием шествует, разумеется, равнодушие к обычной, нормальной среде, а отсюда — и к нашей стране. «Мы повсюду чужие, у нас нет дома, нас ничто не привлекает, кроме своих личных дел и настроений»,— так могли бы сказать о себе многие поэты Канады и других капиталистических стран... А ведь до того как пошла нынешняя мода казаться никем и ничем, что по каким-то таинственным причинам считается изысканным... мы имели массу примеров здоровой литературы и пылкой живописи, которые свидетельствуют, что нет лучшей почвы для творчества, чем родная почва.

Это — основное. Тут не нужно особых усилий. Материал, что называется, под рукой. У нас много такого, что можно описывать и исследовать, такого, что дает радость»

Маргарет Фэрли, заканчивая статью, призывает писателей и художников следовать традициям национального канадского искусства, осознать, что

«...отображение жизни — самая лучшая основа для украшения ее и переделки, что нормальная проза и по сей день, по-видимому, остается самой естественной формой художественного выражения. Если корни не поражены, дерево дает и цветы, и плоды».

Сартр говорит...

В двух выпусках английского еженедельника **«Обзёрвер»** печатается обстоятельное интервью, которое видный критик **Кеннет Тайнен** взял у **Жан-Поль Сартра.** Беседа велась по широкому кругу вопросов. Французский писатель и философ говорил о современном человеке и о событиях недавней истории, о политике и об эстетике, о фрейдизме и о природе власти. Но более всего обоих собеседников интересовал театр,

его прошлое и будущее, его принципы и общественное предначертание. Сартр дает лаконичные характеристики некоторых современных драматургов, полемизирует с такими авторами, как Беккет и Жене, обрисовывает некоторые тенденции в нынешней мировой драме.

— Вы склонны винить буржуазную драму в том кризисе, который переживает сейчас театр,— замечает в начале беседы Кеннет Тайнен.

> «Самый главный недостаток современной драмы как раз и коренится в ее буржуазности,— парирует Сартр.— Посмотрите на пьесы, которые теперь ставятся. Большинство из них представляют собой устарелые психологические опыты, трактующие избитые буржуазные ситуации: муж и любовница, жена и любовник, непонимание в семье...»

Кеннет Тайнен старается уточнить: значит ли это, что современный театр может обойтись без раскрытия психологии героя? Разве образу Франца, центральному персонажу последней драмы Сартра «Альтонские узники», не свойственна психологическая утонченность?

«Я хотел сказать,— разъясняет свою точку зрения Сартр,— что ту или иную ситуацию невозможно анализировать только в психологическом плане. Возьмем, к примеру, конфликт между мужем и женой. Если мы ничего не знаем об их работе и жизненном пути, об обществе, которое сформировало их характеры, то ситуация лишится театральной реальности. Проблема, перед которой оказался Франц, вбирает в себя множество противоречивых социальных обстоятельств: предприятие его отца, развитие немецкого капитализма, приход нацистов к власти, столкновение с ними его отца. Проблемы Франца, его внутренние противоречия обусловлены событиями истории».

Редкая дискуссия о театре обходится нынче без того, чтобы участники не завели речь о кинематографе, самом мощном «сопернике» театрального искусства на Западе. Не обошел эту тему и Сартр:

> «Театр не должен особенно заботиться о правдоподобии, его цель — правда Кинематограф же, напротив, стремится к правдоподобию, которое содержит элементы правды. Основное поле битвы театра — это трагедия, то есть драма, воплощающая миф... Постигая правду через миф, используя такие нереалистические формы, как трагедия, театр может выдержать схватку с кинематографом».

В другом месте Сартр так разъясняет смысл, который он вкладывает в понятие «миф»:

> «...возвышенные темы, которые доступны «узнаванию» каждым без помощи малозначащих психологических деталей».

Оговоримся, что мы решительно не согласны с Сартром, когда он выводит трагедию за пределы реалистического театра и считает ее единственной жизнеспособной формой драматического искусства. Мы не можем принять и термин «миф», но самая мысль о доступности драмы, ее демократичности в устах Сартра чрезвычайно симптоматична. Он с грустью констатировал, что парижский пролетариат отрезан по сути дела от театрального искусства, лишен возможности видеть в театре идейную трибуну. К. Тайнен поинтересовался, уверен ли Сартр в успехе «Альтонских узников» у советской публики, в случае если эта пьеса была бы поставлена на московской сцене.

> «Да,— категорически ответил Сартр.— Дело в том, что рабочий класс в России и, может быть, даже крестьяне больше причастны к искусству... Эти люди всерьез обсуждают у себя на заводах всякие вещи. Они сами решают, что делать, и настойчивы в своих целях. Кроме того, они очень заботятся о самообразовании. У нас нет ничего подобного».

Во время беседы произошел любопытный казус. К. Тайнен задал собеседнику вопрос о «правом» искусстве, но вместо слова «droite», означающего политический термин «правый», произнес «droit», что значит «право», «закон». Сартр, однако, не захотел заметить ошибки и воспользовался случаем, чтобы высказаться по поводу общественной роли театра, его права вершить суд над жизнью:

> «Театр — это то же судилище. Всеми своими корнями театр уходит не просто в ритуал, но и в красноречие. Посмотрите на персонажи Софокла, Еврипида, даже Эсхила — все они адвокаты, защитники какого-либо дела .. Они появляются на сцене, чтобы защитить идею. Другие персонажи берут иную сторону, полемизируя с ними. В конце драмы — катастрофа, каждому выносятся оценки, и события возвращаются к нормальному состоянию. Сцена — это зал судебного заседания, где слушается какое-нибудь дело».

Кеннет Тайнен — с характерной для него четкостью в постановке вопросов критик и публицист — все же решительно вернул разговор в его прежнее русло, чтобы узнать мнение Сартра о реакционном «правом» искусстве.

— Существует ли сейчас, по вашему мнению, такое явление, как «правое» искусство? — спросил он.

Сартр:

«Я не думаю, что драма возникает непосредственно из политических событий. Театр должен браться за них и преобразовывать их в форму мифа. Я считаю, что идейная позиция драматурга должна выражаться не просто в изложении его политических взглядов. Последнее можно делать на публичных собраниях, через газеты, посредством агитации и пропаганды. Драматург, который злоупотребляет этими средствами, может, разумеется, заинтересовать читающую публику, но он никогда не напишет хорошую пьесу».

Но Тайнена этот ответ, видимо, не удовлетворил. Он поставил вопрос в еще более обнаженной форме:

— Может ли писатель, придерживающийся крайне правых взглядов, создать подлинное произведение искусства?

Ответ Сартра весьма примечателен:

«По-моему, нет, и вот почему. Хотя «правые» силы все еще могут в пределах своего влияния определять ход событий, они утратили способность понимать их. Они растеряли большинство своих старых идеалов и не нашли новых. Они не понимают природу своего противника. Решился же генерал Шалль заявить на суде, что французскую армию в Алжире подстрекают коммунистические элементы Тот факт, что человек смог сделать подобное утверждение, показывает, до какой степени неразумности могут дойти «правые» из-за нежелания смотреть фактам в лицо.

Если учесть эту растущую неспособность разобраться в обстановке, как может человек правых взглядов создать подлинное произведение искусства? Ведь произведение искусства, даже никак не связанное с политикой, возникает из осознания автором своей эпохи, оно должно быть в гармонии с веком. Трудно представить себе современную пьесу, которая была бы одновременно и хорошей и «правой».

Тайнен поинтересовался творческими планами писателя, в частности осведомился, правильны ли сообщения о том, что Сартр не намерен заканчивать свой роман о Сопротивлении. Писатель подтвердил это сообщение, сказав:

«В те времена положение было слишком просто. Не хочу сказать, что просто быть мужественным и рисковать жизнью, нет, но был прост выбор пути. Симпатии каждого человека были очевидны. С тех пор все усложнилось, стало даже более романтичным в литературном смысле. Сейчас повсюду ощутимы глубинные сдвиги, конфликты, стычки».

Итак, Сартр, отдавая должное величию темы Сопротивления, все же счел эту тему для себя уже продуманной и решеной и поэтому отказался от нее в поисках новых, более сложных тем, новой, более современной «простоты».

— Но придет ли человечество к новой простоте? — спросил Тайнен в заключение беседы.

«Только в том случае, если наше общество прекратит холодную войну и оставит в покое колонии...» — ответил Сартр.

Поэзия новых нравственных отношений

На страницах румынской литературной прессы развернулась широкая дискуссия о современной поэзии, о ее месте в общественной жизни, о мастерстве поэта Дискуссия открылась статьей **Джордже Мунтяну «Политическая поэзия сегодня»**, опубликованной в журнале **«Контемпоранул»**.

Автор статьи указывает, что новый этап развития страны — завершение строительства социализма — ставит новые задачи не только перед прозаиками и драматургами, но и перед поэтами.

«До сих пор,—пишет он,—главная задача поэзии состояла в утверждении новых общественных отношений, а теперь она состоит в утверждении новых *нравственных* отношений, ибо мы ведем борьбу за формирование и преобразование человека в духе коммунистической этики. Поэтому неверно думать, будто сущность конфликта должна изменяться лишь в романе и драматургии. Разве поэты не должны усвоить условия новой, объективной обстановки, тем более если учитывать огромные возможности проникновения в духовный мир человека, которые открывает поэзия? Не пора ли

положить конец длительному периоду отсутствия конфликта в лирике, увлечению описательной поэзией и так называемым лирическим репортажем?.. Разве теперь вопрос воспитательного характера лирики не приобретает огромного политического значения, в силу чего следует пересмотреть свое ви́дение и творческие средства?

Теперь, когда между людьми восторжествовали социалистические отношения, дальнейшее развитие румынской поэзии немыслимо без углубления ее политического характера».

А для этого, продолжает Мунтяну, необходимо разрушить бытующие еще ложные представления об «извечных чувствах, о сугубо «личных» как будто бы переживаниях. Поэзия РНР имеет немалые достижения, свидетельство тому — овеянные боевым политическим духом новые поэмы М. Бануш, Т. Майореску, И. Константина, Н. Томозея, Т. Утана, Н. Кассиан и многих, многих других поэтов.

Д. Мунтяну особо подчеркивает, что недопустимо смешивать политическую глубину произведения с «событийностью», с голой риторикой. А между тем нередки случаи, когда важные политические события отражаются в поэзии натуралистическим описательством, без должного поэтического обобщения.

Одновременно автор статьи полемизирует с выступлением поэта Марчела Бреслашу, который, справедливо ополчаясь на дурные ремесленные стихи-однодневки, ставит, однако, под сомнение общий оптимистический тон румынской поэзии, ее социалистическую патетику. Д. Мунтяну поддержала в этой полемике **Вера Кэлин.** Отмечая в своей статье **«Лирическое и политическое»** в еженедельнике **«Контемпоранул»,** что «при оценке политической поэзии не следует применять какие-то особые критерии», Кэлин стремится сформулировать условия, при которых современная политическая поэзия может достигнуть подлинно лирического звучания. Прежде всего это

> «...восприятие фактов с социалистических позиций. Далее, умение проникнуть в мир чувств и настроений, благодаря чему политическое может стать поэтическим...»

И наоборот:

> «Поэзия остается «событийной», когда побуждающее событие не затрагивает глубочайших участков сознания...»

Кэлин делает вывод:

> «.. нельзя добиться современного звучания лирического стихотворения, если отсутствует одно главное условие — коммунистическое сознание поэта, остающегося коммунистом в общественной и личной жизни, при оценке политического события, когда он рассуждает, любит или дружит... Аполитичное стихотворение кажется нам неимоверным абсурдом теперь, когда печать обновления лежит на всех отношениях между людьми, на сознании каждого человека ..»

«Душа современной поэзии — ее коммунистическая партийность»,— подытожил эту мысль критик **Михай Новиков,** также принявший участие в обсуждении.

Критик **Ион Оаркэсу** с удовлетворением отметил, что дискуссия помогает выяснить ряд теоретических установок. Еще два года назад понятие «политическая поэзия» было очень узким, воспринималось догматически. Это была поэзия, лишенная чувственного содержания, изобилующая внешней декларативностью.

Теперь же, продолжает Оаркэсу, возобладал иной, более широкий и правильный взгляд на политическую поэзию.

Подчеркивая благотворное влияние коммунистического мировоззрения на творчество ведущих румынских поэтов, автор анализирует связь между поэтическим и политическим в стихах Бенюка, в частности, в последнем сборнике поэта «Материя и мечты».

Бенюк, по мнению рецензента, проникает в самые далекие уголки человеческой души, в его стихах грусть переплетается со светлой верой в жизнь. Умение соединить любое политическое или общественное событие с собственной творческой судьбой столь велико, что, изучая творчество поэта, наши потомки подробно узнают о современном нам мире, о его истории. Личная и общественная жизнь поэта органически связаны, и это типично для облика передового человека наших дней.

Продолжая дискуссию, **«Газета литерарэ»** обратилась с просьбой ответить на ряд вопросов, связанных с развитием современной румынской поэзии, к нескольким поэтам и литературоведам.

На вопрос, каким образом лучше выражать пафос современной эпохи, М. Новиков ответил:

> «Любое средство подходяще, если оно дает хорошие результаты и если его не пытаются превратить в «образец».

Некоторым, например, не нравится форма свободного стиха. Однако она бытует в народном творчестве. Другие видят всю беду в «декларативности». Известны, однако, многочисленные шедевры декларативной поэзии во всемирной литературе. Не следует считать пороком и поиски возвышенного в обыденной жизни. Вопрос выбора формы должен быть решен самой жизнью, а нам остается активно включиться в этот процесс и поддерживать соревнование между отдельными формами Объявим одновременно войну пассивности. Не будем мириться с манерничанием, игрой в новаторство которая маскирует отсутствие содержания».

Убедительно, на основании литературно-исторического материала М. Новиков показывает определенное соотношение между господствующим настроением общества и творчеством поэта как выразителя эпохи, и именно поэтому

«поэзия социалистического реализма не может не выражать радость и энтузиазм освобождения творческих сил человека... поэтов социалистического реализма не должна пугать ни мечтательность, ни идиллия и поклонение грусти, ни поэзия, говорящая только о любви. Главное. чтобы в каждом случае мы открыли отпечаток нашей эпохи».

Очень интересны суждения о некоторых тенденциях в современной румынской поэзии, высказанные Михаем Бенюком. Поэт не склонен делить стихи на «праздничные» и «будничные», скорее — «есть хорошая поэзия и плохая поэзия». По его мнению, бесплодны попытки, предпринимаемые поклонниками свободного стиха, искать «высшую» поэзию в обыденности.

«Прямой результат этих усилий — дым и песок, лишь заслоняющие темной завесой величие и героику наших дней... Не знаю, почему свободный стих считается наиболее оперативным. Я уверен, что его поклонники не стремятся найти новые источники, а просто катятся по наклонной плоскости».

Вместе с тем:

«Я не люблю поэзию, втиснутую и разукрашечную дешевыми рифмами. Истинная поэзия исходит из жизни и ищет слова, точнее всего выражающие правду».

С большой заботой о судьбах отечественной литературы говорит Бенюк о стихах молодых поэтов — Ч. Болтага, Н. Стэнеску, И Константина, Ф. Албу и других. В их стихах не только жизнелюбие, но и большое мастерство, смелые поиски нового, азарт в борьбе со старым. Но они не должны поддаваться соблазну авангардизма и модернизма — этих симптомов художественной дряхлости, столь же неудачных, как «декларативность и парадность», против которых ополчаются молодые поэты.

Бенюк неодобрительно отзывается о поэзии, «подкрашенной под социалистический реализм», поэзии поверхностной и легковесной, создаваемой теми поэтами, которые делают вид, что «владеют единой схемой отображения нашей социалистической действительности».

В известном смысле подводя итоги дискуссии, Бенюк следующим образом охарактеризовал то лучшее, чем отмечена современная поэзия Народной Румынии.

«Мы являемся свидетелями возрождения художественного слова, получающего новый смысл благодаря новому содержанию. Когда постоянно придерживаешься пути социалистического реализма и стремишься к глубокому и диалектическому познанию жизни, к непрерывному совершенствованию своих работ, то непременно освобождаешься от страшной болезни, имя которой — схематизм.

Социалистический реализм как творческое воззрение со своей антидогматичной концепцией обязывает быть новатором, идти только вперед вместе с творческими силами истории».

Пьер Энжес

ВЕЛИКИЙ ВЗЛЕТ

Однажды ранним весенним утром 1961 года человек, подвиг которого в недалеком будущем предстояло продолжить его соотечественнику, вырвался из плена земного тяготения и, освободившись от собственного веса, устремился в космическую даль.

Еще никогда в истории человечества не происходило события, которое вызывало бы столь оправданное восхищение и так будоражило бы мысль.

Живя в эпоху, ознаменованную самой радикальной революцией в мире, которая произошла сорок четыре года назад, немаловажно задуматься над тем, что первый космический путешественник, Юрий Гагарин, является гражданином Советского Союза. Казалось бы, правда, с 4 октября 1957 года отпала необходимость доказывать, что искусственные спутники не появляются по мановению волшебной палочки, что страна, поднявшаяся до таких высот в этой области, может, видимо, гордиться и кое-чем другим и что тем, кто этого еще не сделал, пора изменить свой взгляд на Советский Союз. Но поскольку в правительстве де Голля нашелся министр, который хвалился тем, что французы зато «стоят обеими ногами на земле», не лишне напомнить, что устремившись на штурм неба, советский человек может гордиться и победами, одержанными на своей родной земле.

Первые полеты человека в космос являются осуществлением *плана,* а именно семилетнего плана развития народного хозяйства (1959—1965). В тезисах XXI съезда КПСС, опубликованных перед его открытием 27 января 1959 года, говорится: «Проводится подготовка к полетам на небесные тела». Во время самого съезда заместитель Председателя Совета Министров СССР Д. Ф. Устинов, показав, что успехи в области развития металлургии, автоматики, электроники и химии имели решающее значение для создания спутников и первой космической ракеты (которая стала первой искусственной планетой солнечной системы), сказал: «Несомненно, что в наступившей семилетке ракетная техника будет развиваться еще быстрее и шире».

Читая материалы, опубликованные в Советском Союзе после подвигов Гагарина и Титова, поражаешься научным и техническим достижениям, без которых они были бы немыслимы, а также тому, какие многочисленные проблемы можно будет разрешить благодаря космическим полетам.

Лишь исследования тысяч ученых и труд миллионов рабочих, а в сущности всего народа, позволяют космическим кораблям уносить ввысь те тонкие и надежные механизмы, которые превращают ракеты в символы и модели завода будущего, каким его представляет академик Семенов: с одной стороны — цех (системы приземления, тормозное устройство, система ориентации корабля в пространстве, аппараты терморегуляции), а с другой — лаборатории (аппараты, регистрирующие физиологическое состояние человека, радиооборудование, измеряющее параметры орбиты и т. д.).

Во всем этом нет ничего тайного, потустороннего. Космический корабль не появляется из тьмы, как тать в нощи, и не похож на огненную колесницу Ильи-пророка. Он

движется по законам механики и геометрии, под действием силы, в которой воля человека, познавшего эти сложнейшие законы, сопрягается с притяжением и излучением небесных тел.

Все это — гордость и слава человеческого разума. Но «Восток-1» и «Восток-2», как, впрочем, и предшествовавшие им спутники, говорят о том, что существуют все условия для новых подвигов, что возможности человека в области освоения космоса далеко не исчерпаны. В конце 1958 года профессор Леонид Седов предсказал, что в течение следующих двадцати лет космические корабли вместе со своими экипажами унесутся на Марс и на Венеру, и теперь нам уже вовсе не кажется, что он грешит чрезмерным оптимизмом.

Если, как говорил Маркс, «вся соль буржуазного общества состоит как раз в том, что в нем a priori не существует никакого сознательного общественного регулирования производства», то можно сказать, что вся соль такого общества, которое основано на общественном владении средствами производства, напротив, состоит как раз в планировании. Условия, обеспечившие изобретение, усовершенствование и координирование машин, сделавших возможными полеты Гагарина и Титова, не отличаются от условий, явившихся предпосылкой семилетнего плана или той двадцатилетней программы, осуществление которой позволит Советскому Союзу намного обогнать США по производству на душу населения и построить материальную базу коммунистического общества.

Говоря о нынешних успехах Советского Союза, нельзя не вспомнить о пророческих словах Ленина, которые он произнес еще в 1920 году: «Я уверен, что Советская власть догонит и обгонит капиталистов и что выигрыш окажется у нас не только чисто экономический», или о задуманном им плане электрификации страны — ГОЭЛРО, плане, который побудил Уэллса назвать Ленина «кремлевским мечтателем».

Неразрывная связь между наукой и социализмом нашла выражение в первых же мерах, принятых советской властью. В документе, подписанном Лениным в 1918 году было сказано, что Высший совет народного хозяйства поручает Академии наук «образовать ряд комиссий из специалистов для возможно более быстрого составления плана реорганизации промышленности и экономического подъема России». И очень скоро образовалось много научно-исследовательских институтов, таких, как Государственный рентгенологический и радиологический институт, физико-технический отдел которого возглавлял академик Иоффе. Там в 1921 году — во время голода — была создана лаборатория явлений электроники, руководителем которой стал 26-летний ученый. 35 лет спустя этот ученый, Николай Семенов, получил Нобелевскую премию.

Пусть мне не говорят, что все это очень далеко от полетов Гагарина и Титова. Если бы Советский Союз не достиг вершин современной науки, если бы советские ученые не освоили всего богатства, оставленного им Лобачевским и Ляпуновым, то не было бы и всемирно известных трудов Боголюбова и Колмогорова по теории вибраций и турбулентности, трудов, практическое применение которых, надо думать, имеет место и в освоении космоса.

Победы, одержанные ныне Советским Союзом, становятся еще более понятными, когда мы читаем в «Биографии В. И. Ленина», что Владимир Ильич интересовался работами ученика Циолковского, инженера Фридриха Зандера. «В конце 1920 года,— писал Зандер,— на губернской конференции изобретателей в Москве... я много говорил про свой проект межпланетного корабля-аэроплана. Там мне Владимир Ильич Ленин обещал поддержку».

Кого отличает бóльшая дерзновенность? Ленина, который поддерживал проект, казавшийся фантастикой в эпоху, когда Советская Россия боролась против белых армий и интервентов, когда железные дороги были парализованы, домны потушены и бóльшинство заводов бездействовало, или ученых, которые, ощущая поддержку правительства и страны, писали: «Уже в самом ближайшем будущем следует ожидать использования космических аппаратов для решения ряда практических задач. Служба погоды и ледовой разведки, ретрансляция телевизионных и радиопередач, проведение самых широких научных исследований вне атмосферы земли явятся лишь первыми шага-

ми на этом пути. За ними последуют полеты человека к Луне и другим планетам солнечной системы, создание обитаемых межпланетных станций, постепенное освоение человеком жизни в космосе. А в далеком будущем — кажущаяся сейчас фантастической возможность установления связи с другими мирами».

Дерзновенность Ленина и советских ученых в действительности является порождением динамизма социалистического общества и прежде всего бурного развития производства средств производства. Именно этот динамизм, который является характерной чертой планового хозяйства, позволил Н. С. Хрущеву сказать: «Коренная проблема предстоящего семилетия — это проблема... максимального выигрыша времени в мирном экономическом соревновании социализма с капитализмом». Еще Маркс писал: «Экономия времени, равно как и планомерное распределение рабочего времени по различным отраслям производства, остается первым экономическим законом на основе коллективного производства». Социалистическое общество, пользуясь этим законом, с самого начала оказывается более приспособленным к одному из основных факторов нашей эпохи: к революции в науке и технике.

Когда страна обладает самым большим запасом природных богатств в мире, когда она имеет наибольшее число инженеров и техников, когда она близка к тому, чтобы превзойти США по количеству фабрично-заводских рабочих, когда бюджет ее народного хозяйства растет от года к году, когда она изо дня в день ставит новые рекорды в области промышленности и техники (атомный ледокол «Ленин», самая мощная домна и т. д.), когда она не знает и не может знать, что такое экономический кризис, а, напротив, черпает свою силу в активном и сознательном участии масс в выполнении плана, имеющего целью их счастье и повышение их культурного уровня, когда общество может предсказать на 15—20 лет вперед, как год за годом будет расти материальное богатство народа, тогда для этой страны коммунизм — а также и освоение космоса — не просто перспектива, а сама действительность, продолженная в будущее.

Некоторые дальновидные люди в США понимают, что отставание Америки в области освоения космоса не случайно, хотя они и не сознают, что сам капиталистический строй является главным препятствием для их страны в соревновании с СССР.

Когда в сентябре 1959 года «Лунник-2» достиг Луны, американо-германский специалист по проблемам космоса Вернер фон Браун заявил: «Нет таких денег, которые позволили бы нам сократить расстояние между русскими и нами... Я уверен, что когда наши молодые космонавты отправятся в космос, они там встретят советских таможенников».

29 января 1960 года Уолтер Липпман опубликовал в газете «Нью-Йорк геральд трибюн» статью, в которой он разбивал иллюзии тех, кто, сознавая отставание США в области освоения космоса, считал, что оно будет скоро ликвидировано: «Нет никаких причин думать,— писал он,— что это правда. Гораздо более вероятно, что, напротив, это отставание будет возрастать».

Касаясь помимо воли врожденных пороков буржуазного общества, Липпман замечает, что «если запереть гениальных людей в отдельных отсеках, ограничив работу каждого из них узкой задачей, что и имеет место сейчас, то они не смогут до конца использовать своих способностей. Таким людям надо знать, что они участвуют в грандиозном исследовании и грандиозном эксперименте, касающемся тайн мироздания. Воздух, которым дышат люди в эпоху великих открытий и изобретений, заставляет их устремлять взоры за пределы привычных горизонтов...»

Один из советников президента Кеннеди, Артур Шлезингер-младший, говорил во время предвыборной кампании о том, что его родная страна тратит огромные средства «на производство таких благ, как автомобили, предметы косметики и сигареты», а в то же время «те, кто были в России, пугаются, увидев, какую энергию может развить большая нация, когда она разумно использует свои таланты и природные богатства, решая в первую очередь наиболее важные задачи».

Можно было бы без конца приводить такого рода выступления, в которых звучит отходная обществу, чувствующему свою обреченность. Лично мне кажется, что я осязаю диалектику истории, когда читаю высказывания вице-адмирала Риковера: «Не ра-

кеты России представляют подлинную угрозу для США, а ее народное образование». Разве приходится беспокоиться за будущее науки в Советском Союзе, где молодым башкирам, студентам Уфимского университета, преподают математику по методу «Бурбаки» *, к величайшему удивлению выпускника французской Политехнической школы, который пишет: «Вот народ, не имевший даже своей письменности, когда господин Ситроен строил свои первые автомобили. А дети этого народа сегодня получают научную подготовку, ни в чем не уступающую самым высоким образцам Запада!»

Как бы ни были уместны цитаты, они всегда отличаются некоторой сухостью и мало помогают нам, когда приходится учиться мыслить новыми категориями. Но новые космические полеты позволят нам все яснее осознавать то, в чем сейчас мы только начинаем отдавать себе отчет. Мы осмыслим тот факт, что всего миллион лет назад на нашей планете не было ни одного человеческого существа, и поймем, что человечество, разбуженное коммунизмом, быть может, переживает еще свою первую молодость. Мы увидим в науке социалистических стран, и, в частности, Советского Союза, систему коллективного мышления, где миллионы мыслей, соединяясь, взаимно обогащаются. И человек, уничтожив все виды самоотчуждения, характерного для капиталистического мира, одушевленный страстью открывать и создавать, оценит по достоинству свои неотъемлемые завоевания и свои безграничные возможности.

Быть может, не следует давать волю своему воображению сейчас, когда в Совете НАТО говорят о готальном вооружении и об оснащении атомных подводных лодок ракетами «Поларис». Сейчас в мире борются два течения. Одно влечет мир к войне, которую готовят империалисты, наращивая темпы вооружения, множа военные пакты, восстанавливая пресловутый вермахт и оснащая его ядерным оружием. Нам угрожает столкновение, с которым не идут ни в какое сравнение все предшествующие войны в истории человечества, каких бы жертв и руин они ни стоили. Но другое течение, благодаря укреплению государств социалистического лагеря, их превосходству в техническом отношении, их роли в научной революции, влечет народы к миру в соответствии с их собственными стремлениями разбить цепи империализма и сбросить с себя бремя вооружений.

Полеты Гагарина и Титова глубоко знаменательны. Человечество, обратившее свои взоры в космические дали, видит, как рушатся империи и притязания на господство, относящиеся к предыстории. Во что обратилась мудрость западного философа **, называвшего европейцев «расой господ и солдат», призванной «справедливо» управлять азиатами, после того как майор Гагарин облетел вокруг земного шара за 80 минут? Кем выглядит теперь «строитель XX века»***, говоривший в эпоху владычества Англии над морями, что англичане — «первая раса в мире» и что «чем больше будет наша власть в мире, тем лучше это будет для всего человечества»? Не сбита ли спесь с тех стратегов бронеганковых войск, которые считали незыблемой догмой, что «только мобильность ведет к победе» ****?

И не смешно ли звучат теперь слова Поля Рейно, который приветствовал речь Трумена от 12 марта 1947 года как «всемирно-историческую дату», как «начало американской эры»? «Разве не правда, что атомные бомбы, которые производит Америка сегодня, в шестьсот раз мощнее, чем та, которая была сброшена на Хиросиму? — писал он и восторженно провозглашал: — Мы будем свидетелями нового вмешательства США в дела других стран. ООН нуждалась как раз в том, чего с самого начала не хватало Лиге Наций,— в жандарме. Теперь он нашелся». Правда, тому же Полю Рейно одиннадцать лет спустя пришлось призадуматься, чему служит доказательством его статья в «Фигаро» от 30 июля 1956 года, где он писал: «Убедительная победа русских над американцами в области освоения космоса является результатом успехов чистой науки. День, когда американцы узнали о запуске русскими второго спутника весом в 500 килограммов, стал для них днем национального траура». На сей раз Поль

---

* Коллективный псевдоним группы французских математиков, представляющих новое направление в математической науке.

** Имеется в виду Эрнест Ренан.

*** Сесил Родс, названный так своим биографом Бэзилом Уильямсом.

**** Гойнц Гудериан, «Записки солдата».

Рейно уже не курил фимиам атомной бомбе. Напротив, он поносил президента компании «Дженерал моторс», который, «став министром обороны, приостановил исследования в области чистой науки под тем предлогом, что они никогда не приносили ощутимых плодов, хотя именно эти исследования послужили триумфу противника». Любопытно знать, что он думает сегодня?

Однако, убедившись в прошлых заблуждениях идеологов и стратегов империализма, не следует забывать о их новых безумствах.

Для всех советских людей, как и для всех здравомыслящих людей вообще, вопрос ясен. В мире, где возможности науки стали поистине безграничными, в мире, ставшем маленьким из-за межконтинентальных ракет, международные вопросы могут решаться только путем переговоров. Нельзя найти более разумных отношений между капиталистическим и социалистическим лагерями, чем мирное сосуществование. Руководствуясь этой идеей, Советский Союз снова предложил 12 апреля — уже в который раз! — план полного разоружения.

Но если успехи науки создают в наше время благоприятные условия для укрепления мира, если мы приближаемся к предвиденному Лениным моменту такого развития военной техники, когда война станет настолько разрушительной, что она вообще станет невозможной, то тем более преступны правительства, отвергающие это замечательное предложение и продолжающие гонку вооружений, в которой они, без всякого сомнения, потерпят поражение, но которая тем не менее чревата грозной опасностью.

Советские люди, убежденные в том, что их бдительность всегда сможет обеспечить будущему чистое небо, отдаются целиком своим великим начинаниям как на земле, так и в космосе.

Уместно сравнить здесь оптимистические взгляды советских ученых с позицией их американских коллег. Перспектива знакомства с далекими мирами вселяет в американских ученых чувство, близкое к ужасу. Вот, например, что говорил недавно на конференции в Калифорнийском университете Эдуард Теллер, один из «отцов» атомной бомбы: «Весьма вероятно, что скоро мы будем в состоянии слышать по радио звуки, исходящие из центра нашей Галактики на расстоянии двадцати тысяч световых лет от нас, но если то, что мы услышим, соответствует моей гипотезе, я стану изоляционистом в вопросе об освоении космоса».

Как разительно отличается от этого язык пионеров освоения космоса, которые говорят нам, что мечта Циолковского стала явью: «Человечество не останется вечно на земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство».

В то время как на Западе раздается печальный хор голосов, отрицающих даже мысль о прогрессе, в нас вселяют бодрость общечеловеческие завоевания советских ученых. Именно они, руководствуясь ясной и верной философией, сказали на следующий день после полета Гагарина: «На протяжении многих тысячелетий пытливая мысль человека стремилась к проникновению в глубины Вселенной. В этом заключена неистребимая потребность человека к познанию, стремление разгадать свое место во Вселенной, научиться управлять законами природы... Передовая наука, вооруженная учением диалектического материализма, утверждает существование множественности миров, в которых возможно развитие высшей формы материи — жизни... Нельзя конкретно утверждать, где, наряду с нашей солнечной системой, в настоящее время существует жизнь и в какой форме, но она существует...» *

В этих оптимистических и глубоких мыслях нас укрепляет двойная уверенность: во-первых, в том, что человек будет совершать все новые и новые открытия, одно поразительнее другого, и, во-вторых, в том, что мы, двигаясь вперед, к свету, перейдем рубежи новых миров.

---

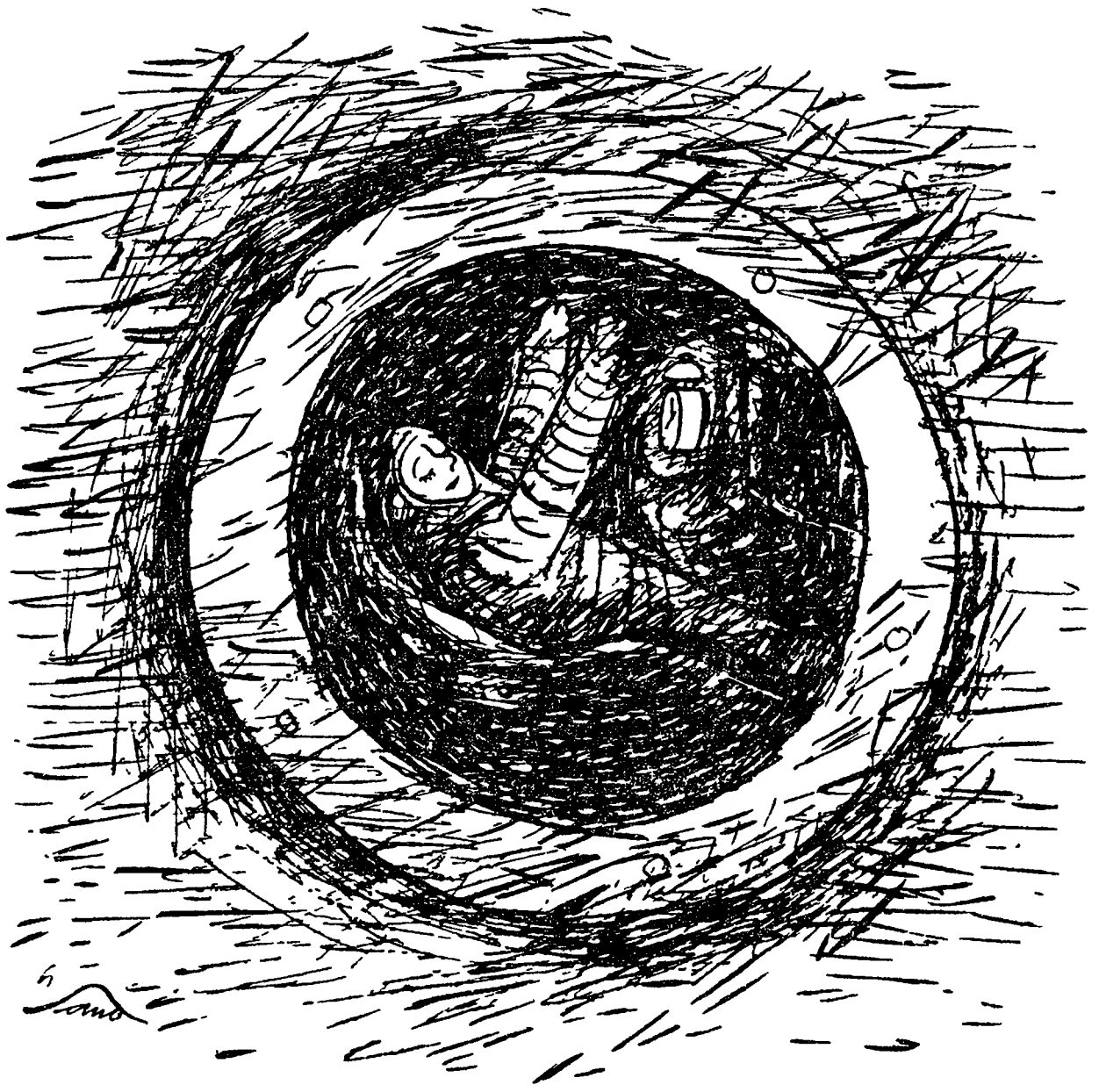
* «Первый полет человека в космос. Рассказ о корабле-спутнике «Восток», о подготовке космонавтов, о полете Юрия Гагарина, о научных исследованиях, поставленных во время первого космического рейса» («Правда», 25.4 61 г).

Герберт Зандберг

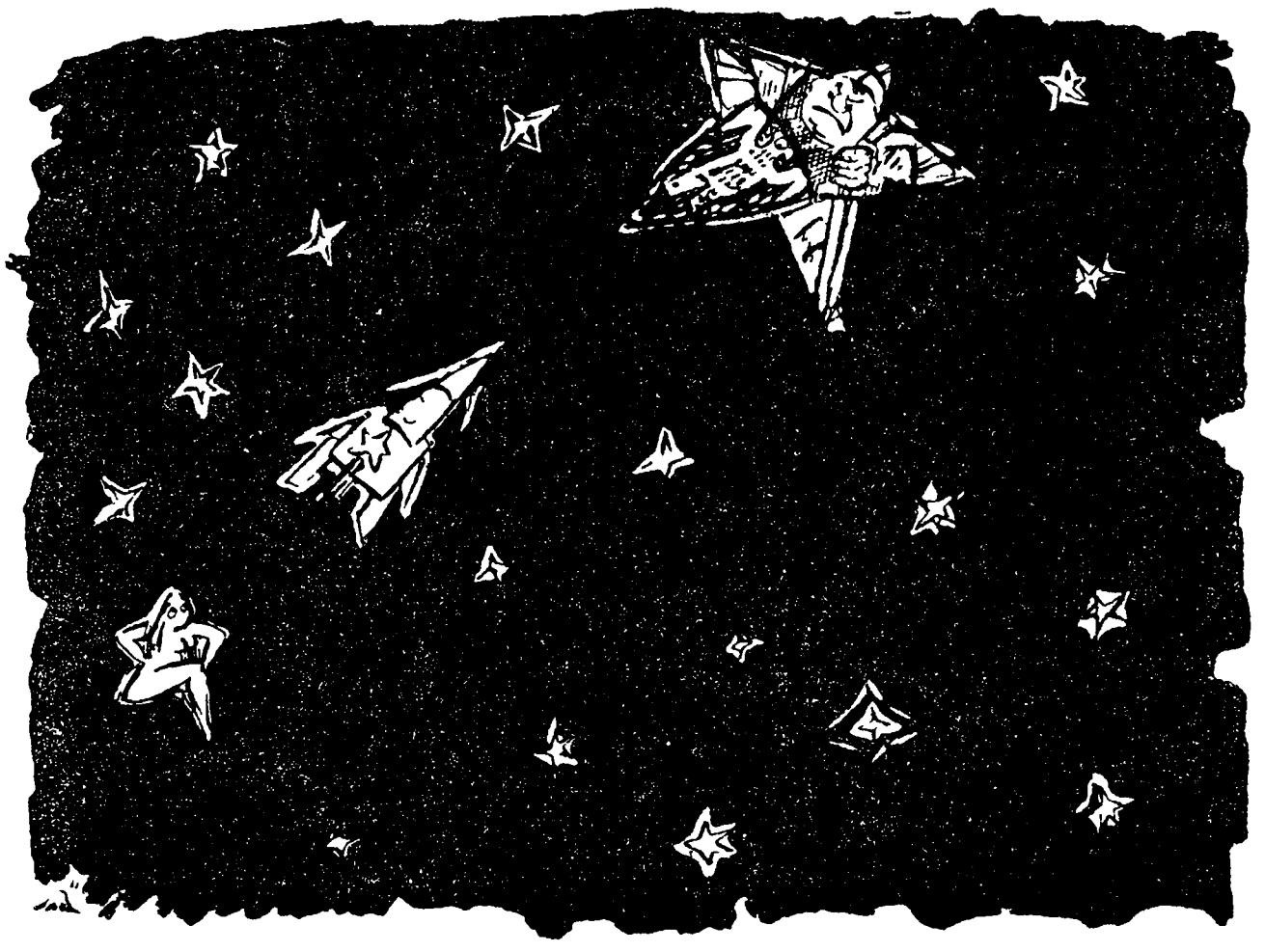
ВЧЕРА И ЗАВТРА

Известный немецкий художник Герберт Зандберг (ГДР), уже знакомый нашим читателям по шаржам из книги «Острым пером», откликнулся на пслеты советских космических кораблей «Восток» и «Восток-2» серией рисунков, сделанных специально для нашего журнала. Ниже мы публикуем рисунки Герберта Зандберга с текстами художника.

Гагарин: Каким мирным выглядит все отсюда, сверху! Надо, чтобы так было и внизу.



Титов: Вы как хотите, а я ложусь спать, ведь за меня бодрствуют миллионы строителей коммунизма.



Луна (обращаясь к Космонавту-три): Я всегда знала, что Советы претворяют в жизнь великие идеи Маркса и Ленина. Но, оказывается, при этом они делают явью даже фантазии **Жюля Верна.**

Айрин Полл

НА ОСТРОВКЕ МЕГАНО

Было чудесное утро, когда наша небольшая рыбачья лодка, попыхивая мотором, отвалила от пристани Мансанильо и вышла в аквамариновые воды Карибского моря.

— Мира!* — воскликнул Бьенвенито.— Ля гавиота!**

Имитируя грациозными движениями рук полет птицы, кубинец повернулся загорелым лицом к чайке, которая ныряла в воду и, покачиваясь, пролетала над нами. Голубоглазый Роберто, рослый и сильный портовый грузчик, управлявший нашей лодкой, повернулся, и лицо его осветилось улыбкой.

Люди почему-то носят на себе отпечаток особенностей той земли, которая их вскормила, и лицо Бьенвенито под широким сомбреро отражало плодородный, солнечный, красно-коричневый цвет земли, питающей сахарный тростник.

Я не слишком разбираюсь в испанском языке. Но я поняла Бьенвенито. Он объяснял мне значение революции. Когда он произносил слово «Либертад!»***, то оно сопровождалось каким-то особенным жестом и улыбкой. Его голос мягчал от сдерживаемого чувства счастья, а кисти рук взмывали вверх, как две чайки, срывающиеся в полет. Позже, когда день вступил в свои права и мы ближе узнали друг друга, я застала его врасплох, и вместе с ним повторила этот жест. Мы оба рассмеялись.

— Ирен,— сказал Фернандо Рока, молодой чиновник по проведению земельной реформы, который устроил для меня эту маленькую поездку.— Сейчас ты увидишь кое-что очень интересное.

Вздернутый нос придавал его юношескому лицу еще более мальчишеское выражение. Одетый в форму повстанцев, он сидел на дне лодки, вытянув ноги и небрежно облокотившись на винтовку.

— Мы свозим тебя на маленький остров Мегано. Это небольшой островок пескадорес де камаронес... ловцов креветок. Примерно полтора часа ходу от Мансанильо. Ты увидишь, как они живут посреди моря. Это очень плохая жизнь. Но через три месяца мы перевезем всех их в Мансанильо, где для них, как ты сама уже видела, строятся дома, хорошая школа и медицинский пункт. Там они вступят в рыболовецкий кооператив. Я думаю, они заживут очень счастливо.

Когда он откинулся назад, улыбаясь будущему людей с маленького острова Мегано, я вспомнила Хулио Ортиса, «морского крестьянина» из рыболовецкого кооператива Кайманера, Гуантанамо. «Запиши! — кричал он мне, тыкая длинным, тощим пальцем в записную книжку и сверкая глазами на высушенном, изъеденном морской солью лице.— Запиши, что рыбаки Кайманера умирали с голоду! Запиши, что, когда мы уходили в море, мы оставляли семьи с пустыми желудками! Запиши, что мы были неграмотными, для детей не было школ. Запиши, что, если приходила болезнь, нас

---

* Смотри *(исп.)*
** Чайка *(исп.)*
*** Свобода *(исп.)*

лечило кладбище. Запиши, что теперь у нас есть все, что нужно человеку... мы даже организуем АРУ*».

— Когда ты посмотришь остров,— сказал Фернандо,— мы проедем с тобой по небольшим деревенькам, расположенным по берегам реки Кауго.— Кауго — это наша Миссисипи. Это очень длинная река. До деревень можно добраться только на лодке. Ты встретишься там с учителями-добровольцами, которые приехали учить детей грамоте...

Мотор разметывал по сторонам сверкающую солнцем морскую пену.

— Мира! — закричал Бьенвенито.— Вон и маленький остров Мегано!

Приближаясь к острову, мы видели фигурки людей, сбегавшихся к берегу. Какой-то рыбак оттолкнул от причала лодку и направился к нам, чтобы доставить нас на берег. Мы пересели из своей моторки в лодку с веслами и двинулись на ней к берегу. Казалось, будто все население Мегано в 200 человек, состоящее в большинстве своем из детишек, иногда голых или полуодетых, вышло встречать нас. Девочки шести или семи лет держали на коленях малышей. Из огромных лоханей, в которых рыбаки кипятили какое-то сероватого цвета варево, используемое для приманки креветок, шел тошнотворный запах гниющей рыбы. Розовые панцири креветок просыхали на земле под лучами солнца. Тростниковые хижины имели самый жалкий вид, какой мне только пришлось встречать на Кубе за пределами болот Мансанильо. Весь остров был покрыт мелкими ракушками.

Казалось, что люди не могли дождаться, пока мы высадимся на берег. Затем они все сразу заговорили. Красивый молодой негр лет двадцати держал в руках тетрадку с длинным списком имен и возбужденно показывал ее Фернандо Рока.

Я могла разобрать только «Маэстра! Маэстра!» **. Они указывали на меня пальцем, а Фернандо отрицательно качал головой. Затем они пришли в еще большее возбуждение, и добродушный негр лет пятидесяти, видно один из старейшин острова (около четверти населения острова составляли негры), пытался мягко успокоить их.

Когда сам Рока настолько успокоился, чтобы объяснить мне, в чем дело, оказалось, что меня приняли за учительницу, которую они просили у правительства прислать на Мегано. Тетрадь была петицией с подписями всего взрослого населения острова, в которой они просили прислать учителя для своих детей.

— Но ведь через несколько месяцев все вы переедете в новый рыболовецкий кооператив в Мансанильо,— сказал Рока.— Дома для вас почти закончены, и ваши дети будут учиться в большой красивой школе!

— Мы знаем! Мы знаем! — кричали они.— Но пока-то наши дети без учителя!

Добродушный старик пояснил Рока:

— Год назад здесь был Фидель. Он рассказал нам о своих планах включить нас в кооператив и послать детей в хорошую школу. Он сказал, что мы должны подождать, так как все это произойдет, как только для нас построят дома, и мы сказали «да», но как же сейчас? Ведь сейчас у нас нет учителя! А Фидель сказал: «Я послал вам учителей, но они не хотят здесь оставаться. Условия для них здесь даже потруднее, чем в Сьерра-Маэстра. Революция не может заставлять насильно. Она может только предложить. Она не может заставить учителя приехать и остаться на Мегано. Обещаю вам, что сделаю все возможное». Нам так сказали, но ведь наши дети уже потеряли столько времени! Они никогда не учились!

В разговор вмешался молодой негр с петицией:

— Да, да. Это так. Возьмите меня. Я сам никогда не ходил в школу. У наших детей должно быть больше возможностей, чем было у меня. Ведь произошла революция!

Старик продолжал, как будто его никто не прерывал:

— И Фидель сказал, потерпите, я постараюсь прислать вам учителя. Конечно, он сдержал свое слово, компаньера. У нас уже было три учителя. И никто из них не

---

* Ассоциация родителей и учителей.
** Учительница *(исп.)*.

остался. Последняя учительница была глупой девчонкой. Она боялась моря. Она сказала, что боится, как бы море не поднялось и не затопило остров.

Возбуждение стало проходить, и молодой негр заулыбался. Об учительнице больше не говорили. Он взялся познакомить меня с островом. Пока он показывал мне остров, около семидесяти пяти ребятишек следовали за нами по пятам.

— Вы приехали из Северной Америки, чтобы узнать правду о нашей революции? — спросил мой проводник.

Я кивнула головой.

— Значит, ваше сердце на нашей стороне?

— Да, мое сердце с вами.

Он взглянул на меня.

— На свете много благородных людей,— сказал он.

Сбоку ко мне робко подошел ребенок и положил мне что-то в руку. Это была морская раковина. От радости я поцеловала его. И тогда началось! Морские раковины градом посыпались на меня, и скоро у меня от них ломились руки. Я не могла с достаточной быстротой раздавать свои поцелуи и перешла на улыбки. Бьенвенито смеялся:

— Ну вот, давайте я их понесу. Я буду вашим секретарио!

Дети отдавали мне свои самые бесценные сокровища. Раковины, раскрашенные цветными красками,— несомненно единственное украшение их хижин.

Пока я потягивала маленькими глотками кофе, сидя за свежесрубленным столом в одной из хижин, ко мне на цыпочках подошел ребенок, положил передо мной на стол маленькую розовую раковину и убежал в толпу, прежде чем я успела поблагодарить его за подарок. Когда я стала сгребать в кучу новые раковины, Бьенвенито закричал:

— Осторожно! Это не раковина! Это что-то особенное!

И в самом деле, это было что-то особенное. Миниатюрное изображение распятого Христа, выточенное из морской раковины. Оно лежало на моей ладони как многовековой символ человеческих мук..

Мужчины повернули улыбающиеся лица от кипящих лоханей с серым варевом, которое они помешивали.

— Вы выглядите счастливыми,— сказала я.

— А почему нет? Скоро мы уедем с этого несчастного острова.

На пороге хижины нас встретила женщина и с застенчивостью девочки снова предложила нам чашку сладкого кофе.

— Говорят, через каких-нибудь три месяца вы переезжаете в новый дом в Мансанильо,— сказала я.

— Да,— ответила женщина.— Я с ума схожу от радости.

— Я радуюсь вашей радости,— сказала я на своем путаном испанском языке

— Грасиас*,— произнесла она и с легким вскриком обняла меня.

Пора было уходить, но мой проводник, молодой негр, хотел сказать мне что-то чрезвычайно важное. Но как он мог это передать, если ему было известно, что мои познания в испанском языке были ограниченными? Отдельными словами и жестами, такими красивыми, что вся сцена осталась бы незабываемой, будь она сыграна актером на экране или на подмостках, он объяснил мне значение революции для людей с острова Мегано. Широким жестом, обнимающим всех людей вокруг него — взрослых и детей, негров и белых,— он сказал, указывая на меня пальцем:

— Устед (вы),— и, показав на себя: — Йо (я).— Указывая жестом на женщин: —Элья (она),—и на мужчин:—Эль (он).—Бланка (белая),—сказал он, снова показывая на меня, а затем на себя: — Негро (черный).— Затем широким жестом он привлек всех людей к себе: — Тодос игуалес (все равны).— Он приложил руку к сердцу. Потом, поднимая свой взгляд вместе с плывущей вверх рукой, сказал: — Диос (бог),— а поднимая

---

* Спасибо *(исп.)*.

другую:—Фидель,—и его руки упали вниз.—Грасиас,—пробормотал он, склонив голову,— мучас грасиас (большое спасибо).

Он стоял на берегу и смотрел на нас, пока наша лодка выходила в море. Его фигура виднелась там еще долго после того, как я уже не могла различать черты его лица.

С Карибского моря мы вошли в реку Кауто. На ее поросших лесом берегах цветет дикий хлопок и спят под солнцем крокодилы. Налетели стаи диких уток.

— Из Флориды! — засмеялся Бьенвенито, показывая на них.— Мы зовем их туристами из Соединенных Штатов.

Над нами пронеслась отвратительная тень орла-стервятника. На плавающих бревнах грелись на солнце аисты. И прелестные белые птицы — гарсас, уроженки Кубы, вытягивая свои длинные шеи, плавно перелетали через реку.

— Кауто выходит из берегов,— сказал Бьенвенито.— В этом году милиционеры пошли строить рвы, и один солдат проснулся рядом с крокодилом.— Он закатился веселым смехом.

Фернандо был погружен в свои мысли. Он снял шапку и положил винтовку.

— Придется сходить к директору просвещения в Мансанильо и выяснить, почему они не могут послать надежного маэстро на Мегано.

Наконец мы приехали в небольшую деревню. На открытом воздухе под тростниковым навесом стояли большая черная доска и столы. Это была школа, «эскуэла». Мы поставили лодку и вышли на берег, чтобы встретиться с маэстра, которая приехала в этот заброшенный уголок земли, чтобы учить сорок детей. Ее звали Ольга Родригес Бартелеми. Это была стройная молодая негритянка, рассудительная и умная. Она рассказала нам, что провела полтора месяца в Сьерра-Маэстра с отрядом учителей добровольцев, чтобы закалить себя в условиях суровой и трудной жизни, которая была для нее непривычной. Долгие переходы, карабканье по скалам, никаких удобств и строгая дисциплина. Вместе с ней такую жизнь в Сьерра-Маэстра делили тысячи молодых женщин, которые хотели посвятить себя делу ликвидации неграмотности на Кубе. Мы спросили, как она проводит свободное время в этой заброшенной деревушке. Она ответила, что днем учит детей, вечером учит взрослых, а в свободное время читает. В хижине, где живет Ольга у одной из здешних семей, нас вкусно и щедро накормили. Я обратила внимание на чудесные помидоры.

— Ешьте их вдоволь,— сказала хозяйка,— мы принесем еще. Когда-то мы ввозили их. Мы даже не знали вкуса помидоров. Теперь у нас их столько, что мы не знаем что с ними делать. А наши помидоры — самые вкусные в мире.

Сидя в кресле, я коснулась ногами влажной серой земли хижины и поняла, почему одна женщина в ответ на мой вопрос, что ей больше всего нравится в новом кооперативном доме, ответила: «Как что? Пол, конечно! Раньше у нас был только земляной пол!»

Когда мы уезжали, вся деревня вышла на берег, чтобы проводить нас. Пришла и Ольга. Как и юноша с Мегано, она также задумчиво стояла на берегу, помахивая рукой. Но что-то неуловимое в ее облике говорило, что она не испытывает к себе ни жалости, ни сострадания. Нынешний год — «Год просвещения», и она сделала свой выбор.

Мы подъехали к другой деревне. Здешняя учительница, еще одна чудесная девушка, обучала шестьдесят ребят. Она также прошла суровые курсы в Сьерра-Маэстра. Школа, в которой она учила, стояла на открытом месте, и к одному из столбов навеса была прикреплена написанная от руки табличка: «Категорически запрещается проезжать по школе на лошадях».

Рока покачал головой.

— У нас не хватает материалов, чтобы быстро строить крестьянам новые школы,— сказал он.— Но мы по крайней мере стараемся обеспечить их учителями, чего раньше никогда не делалось. Но очень скоро мы построим школы для всех.

Уже смеркалось, когда мы стали возвращаться по реке в Мансанильо. Рока все еще думал об острове Мегано, где нет учителя. Я лежала на спине на носу лодки,

уставившись в небо. Мужчины были на корме, и я чувствовала себя совершенно одинокой в целом мире. Лодка вышла из реки и теперь вспенивала воды открытого моря. Вместе с вечером опустилось кроваво-красное солнце и утонуло в Карибском море. Собирались черные штормовые тучи, сквозь которые пробивалась единственная яркая холодная звезда. На мгновение акула всплыла на поверхность, рассекая воду черной бритвой плавника.

— Ирен... ты знаешь, почему учительница боялась, что море затопит маленький остров Мегано?

Я подняла голову и увидела тень Фернандо в дверях моторного отделения.

— Однажды был ураган. Остров залило водой, и она доходила до колен

Я засмеялась:

— Что ж тут удивительного, что маэстра испугалась и убежала?

— Новая учительница не испугается. Мы пошлем им такую, которая, как Ольга, прошла подготовку в Сьерра-Маэстра. Это будет доброволец, который работает не за деньги. Только такая учительница будет близко принимать к сердцу дело революции и захочет жить на острове Мегано.

Я открыла рот, чтобы заговорить, но Фернандо исчез в каюте. Я снова легла, высматривая холодную звезду, которая скрылась на мгновение в собиравшихся тучах.

Гравюра на дереве кубинской художницы АНЫ РОСЫ ГУТЬЕРРЕС

Иштван Пинтер, Ласло Сабо

ИНТЕРВЬЮ С ПАЛАЧАМИ

Майор полиции удивляется

Мы не хотели беспокоить его на квартире и решили разыскать на месте работы — Шарлоттенбург, Кайзердаммштрассе, № 1, где помещается так называемое западное отделение полиции Западного Берлина. Курт Крумхольц не какая-нибудь мелкая сошка, а начальник этого отделения. Однако в Шарлоттенбурге мы его не нашли.

— Господина комиссара давно уже перевели отсюда,— сказал нам полицейский в бюро пропусков.— Попробуйте поискать его в каком-нибудь другом отделении полиции...

Мы отправились в Штеглиц, где помещается канцелярия сенатора Липшица, ведающего внутренними делами Западного Берлина.

— В следующем подъезде,— сказал нам полицейский у входа в дом № 60 по Шлосс-штрассе.— Вы увидите там табличку «Инспектор полиции».

Но и здесь нам не удалось найти Крумхольца — полицейский в справочном с сожалением развел руками:

— Господина майора совсем недавно перевели в другое место.

— Но вы можете нам сказать. где его найти?

— Конечно, я сейчас справлюсь.

Полицейский позвонил по внутреннему телефону, задал вопрос и тут же покраснел как рак. После этого он минут пять только повторял:

— Яволь... Яволь...

Наконец он положил трубку и с тяжелым вздохом, как человек, приступающий к выполнению трудного и неприятного задания, сказал нам весьма строго:

— Кто вы такие? И по какому делу пришли к господину майору? Предъявите документы!

Он долго рассматривал наши паспорта, потом заявил:

— В этом здании, к сожалению, никто вам не может сказать, где находится господин комиссар Крумхольц. Попробуйте справиться в отделении полиции Темпельхофа...

Но в Темпельхофе также не проявили склонности сказать нам что-нибудь определенное. Мы, очевидно, не внушали доверия. Да и вообще, журналисты. Разве не достаточно и того, что газеты Восточного Берлина нападали на этого добряка Крумхольца, когда в январе 1960 года он разгромил демонстрацию студентов Западного Берлина на Штейнплатце, у памятника жертвам фашизма? Они получили по заслугам, эти студенты, вздумавшие выступать против разжигания расовой ненависти. Сенатор Липшиц публично благодарил Крумхольца за его самоотверженность и жал ему руку. Такими или подобными соображениями руководствовались люди, отказывавшиеся сообщить местопребывание Крумхольца; к тому же они, видимо, не могли понять, зачем венгерским журналистам нужен господин комиссар. Кто теперь помнит, что Курт Крумхольц был начальником штаба у генерала Отто Винкельмана, главнокомандующего полицейскими и эсэсовскими войсками в Венгрии? (Вполне возможно, что и Адольф Эйхман, сидящий теперь в стеклянной клетке перед иерусалимскими судьями, получал от него распоряжения.) А ведь именно поэтому мы его и искали.

В нашем распоряжении огромное количество документов, подтверждающих, что штурмбаннфюрер СС Крумхольц играл руководящую роль среди командования СС в Венгрии, помог нилашистам захватить власть в свои руки и был одним из организаторов истребления всех «нежелательных элементов», еще находившихся на свободе. Сенатор Липшиц совсем недавно заявил, что в полиции Западного Берлина нет ни одного человека, который служил бы раньше в СС, но документы говорят о другом: господин Крумхольц был офицером СС и занимал высокое положение...

Убедившись, что в полиции нам ничего не добиться, мы решили попытать счастья на квартире Крумхольца. В телефонной книжке без всякого труда мы нашли имя Курта Крумхольца, проживающего на Госслер-штрассе, 14, телефон № 76-60-02.

Печатается с небольшими сокращениями.

— Алло, квартира Крумхольца,— отвечает нам мужской голос.

— Будьте любезны попросить к телефону господина майора...

— Кто его просит?

— Венгерские журналисты из Будапешта.

— Сейчас узнаю...

И тут же в трубке слышится другой голос, резкий, решительный голос человека, привыкшего командовать. Нелегко будет убедить его дать нам интервью. Что ж, попробуем поставить ему ловушку, нам это интервью необходимо.

— Крумхольц у телефона. Что вам угодно?

— Мы — венгерские журналисты, собирающие материал относительно событий второй мировой войны. Нам хотелось бы побеседовать с вами...

— Со мной? — удивляется Крумхольц.— Почему вы думаете, что я могу сообщить вам что-нибудь интересное?

Вот это здорово! Да ведь он все знает, одним из главарей был, из тех, кто руководил злодеяниями...

— Но вы были в Венгрии...

— Был, но в незначительной должности... Может быть, кто-нибудь другой сможет лучше...

Чувствуется, что он вот-вот положит трубку. Надо поскорее сказать ему что-нибудь такое, чтобы он заинтересовался, может быть, испугался...

— Но ваше имя упоминалось на процессе Эйхмана... Мы хотим выяснить с вами некоторые вопросы, прежде чем писать об этом в газете...

Удалось!.. Мы догадываемся по нервному покашливанию, что штурмбаннфюрер СС пытается скрыть от нас свое удивление. Он несомненно подумал о недавно опубликованном в западногерманских газетах заявлении государственного прокурора Франкфурта-на-Майне о том, что после окончания процесса над Эйхманом будут разобраны дела всех лиц, имена которых упоминались на процессе. Крумхольц понимает, что ему нечего слишком опасаться: сколько уже было сделано подобных заявлений с 1945 года!.. Но как знать... Его хозяевам приходится время от времени приносить кого-нибудь в жертву общественному мнению, как это случилось, например, с Крумейем и Отто Хуншем, заместителями Эйхмана, которых после разоблачений на процессе пришлось сместить с занимаемых должностей и арестовать. А в прошлом господина Крумхольца...

— В какой газете было опубликовано мое имя? Может быть, у вас в Венгрии?

Вот, он уже ищет лазейку. Если о нем пишет наша печать, то ничего серьезного нет... Железный занавес, коммунистическая пропаганда... Но и мы не лыком шиты...

— Мы прочли ваше имя в сообщении агентства ДПА, господин Крумхольц...

Уж если чье-нибудь имя упоминается вместе с именем Эйхмана официозным западногерманским агентством ДПА, то человеку с таким именем становится как-то неуютно. Значит, дело принимает скверный оборот: западногерманские власти в знак того, что «с прошлым окончательно покончено», могут предложить ему уйти на пенсию или каким-нибудь другим образом отделаться от него под благовидным предлогом.

— В сообщении агентства ДПА? — переспрашивает Крумхольц, и голос его дрожит от волнения, которое он и не пытается скрыть.

— Вот именно.

— Где, когда, что там сказано?

— Об этом неудобно говорить по телефону, господин Крумхольц. Давайте лучше встретимся. Например, сегодня вечером. Выберите место, где мы можем спокойно побеседовать.

Господин Крумхольц весьма вежливо предоставляет нам выбор места и времени для встречи.

— Сегодня в пять часов на Курфюрстендамм у Кранцлера. На нашем столике будет лежать венгерская книжка в желтой обложке. Вы подойдете к нам и представитесь...

Встреча у Кранцлера

За четверть часа до назначенного времени мы занимаем место у столика на террасе кафе Кранцлер и кладем на видном месте книгу в желтой обложке. Это не роман, о нет! Мы переплели в обложку «Дешевой библиотечки» копии важнейших документов, которые могут понадобиться нам во время работы. Но материал, касающийся Крумхольца, мы знаем наизусть. В нашей книжечке имеется, например, копия протокола допроса нилашистского министра Эмиля Коварча на процессе 1946 года, откуда явствует, что Крумхольц был связным между СС и нилашистами. Не кто иной, как он дал оружие нилашистам для захвата власти 15 октября 1944 года, о чем имелась предварительная договоренность, достигнутая на совещании, состоявшемся в ночь с 12 на 13 сентября того же года. Эмиль Коварч лично сообщал Крумхольцу о расстрелах, производимых нилашистами по ночам на берегу Дуная. А в конце ноября Крумхольц принимал участие в совещании, на котором был и Эйхман, где была решена судьба семнадцати тысяч венгров, отправленных якобы в рабочие лагеря, а в действительности — на смерть.

Наши размышления прерывает появление человека выше среднего роста, лысеющего блондина, одетого в спортивную коричневую куртку и серые брюки, с золотыми часами на массивном браслете. Со слащавой улыбкой подходит он к нашему столу и протягивает руку:

— Венгерские журналисты? Майор Курт Крумхольц...

За ним как тень следует второе издание эсэсовского палача, высокий, худой молодой человек.

— Мой сын,— знакомит нас Крумхольц и тут же приглашает пересесть за другой столик. Черт его знает, почему он не хочет разговаривать с нами за столом, где мы уже сидим. По каким тайным причинам выбрал он именно тот столик, а не этот? Ну что ж, нам все равно, за каким столиком разговаривать.

— Я всегда любил венгров,— заявляет штурмбаннфюрер СС с очаровательной улыбкой и так громко, что посетители за соседними столиками оборачиваются.— Я и теперь очень рад, что имею возможность встретиться с венграми...

Покончив с любезностями, Крумхольц переходит к делу:

— Скажите, где вы читали, что мое имя произносилось на процессе Эйхмана? Я очень внимательно слежу за процессом по газетам, радио и телевидению и никогда, нигде не слышал своего имени. Да это и немыслимо. Какое отношение имею я к Эйхману?

— Извините, господин майор, но вы были начальником штаба у генерала Винкельмана и штурмбаннфюрером СС. Эйхман тоже был подчиненным Винкельмана...

— Я даже не был знаком с Эйхманом!

В этот момент к нашему столику подходит пожилая дама из Армии спасения с копилкой в руках:

— Разрешите?

— Конечно,— отвечает Крумхольц, вынимает из кармана монетку в десять пфеников и с благочестивым видом опускает ее в копилку.

Добрый человек, охотно жертвующий на Армию спасения и даже не знакомый с Эйхманом, продолжает оправдываться:

— Меня уже допрашивали в мае 1960 года во франкфуртской прокуратуре. С тех пор меня не беспокоили. Очевидно, прокуратура убедилась в моей непричастности.

— А почему вас допрашивали?

— Я вовсе не считаю, что ко мне просто придирались,— оправдывает Крумхольц франкфуртскую прокуратуру.— Как-никак я был одним из офицеров СС, а многие из них переходили границы...

— Например, Винкельман?

— Что вы! Винкельман — чудесный человек, я его хорошо знаю, он был моим начальником еще в Берлине. Это он дал мне возможность побывать в Венгрии и заняться лечением ноги. Я буду ему за это век благодарен.

— Вы были в Венгрии в госпитале?

— Нет. Но условия жизни в Будапеште были таковы, что я смог серьезно заняться лечением больной ноги. Я приехал в Будапешт, когда Эйхмана там уже не было... Генерал Винкельман принял меня 23 июня 1944 года.

— Но Эйхман позже вернулся...

— О да... Это было уже при Салаши Мне даже пришлось тогда пойти на какое-то совещание, всем остальным было некогда... Но я там только сидел и слушал, не понимая даже, о чем идет речь.

— Попробуйте все же вспомнить.

— У меня голова тогда была занята совсем другим. Русские были под Шорокшаром, катастрофа стучалась к нам в дверь, и я опасался, что после разгрома Германии мне, офицеру, которого насильно заставили служить в СС, будет очень трудно объяснить свое положение...

— Вас зачислили в СС против вашего желания?

— Я, собственно говоря, и не был в СС. Я давно в полиции, старый офицер Орднунгсполицай. Меня и к генералу Винкельману направили как специалиста. Но тогда всех офицеров из Орднунгсполицай одели в эсэсовские мундиры. Соответственно чину, занимаемому мною в полиции, я стал штурмбаннфюрером, то есть майором. Я и до этого был майором, да и теперь майор. Вы сами видите, что эсэсовский мундир не дал мне никаких привилегий...

— Вы говорили о совещании...

— Да, конечно, совещание... Я даже помню, что оно было в отеле «Бельвю», где-то в Буде. Я не спорю, у Эйхмана были и другие задания, но это совещание носило чисто военный характер: для рытья окопов нам нужны были рабочие батальоны. Но я к этому не имел никакого отношения. Я лишь представлял на нем...

— Лишь представляли?..

— Вот именно,— торопливо объясняет Крумхольц.— Моя роль в Венгрии была чисто репрезентативной. Винкельман в качестве главнокомандующего полицейскими и эсэсовскими войсками представлял Германию, это было его главной миссией, а я как начальник штаба часто должен был заменять его в выполнении репрезентативных функций.

— Это и было вашим главным заданием?

— Да. Мы осуществляли связь между различными германскими соединениями и организациями, находившимися в Венгрии А потом, когда Венгрия уже стала прифронтовой зоной, нам, как старым полицейским, приходилось следить за порядком. Вы знаете, что выход Румынии из игры оказался для нас полной неожиданностью. Фюрер тогда очень рассердился и приказал воспрепятствовать тому, чтобы и в Венгрии могло случиться что-нибудь подобное. Вы, венгры, должны это понимать.

— Нилашистский путч дорого обошелся венгерскому народу. Сотни тысяч человеческих жертв, столица в развалинах...

— Ну, Пешт пострадал не так уж сильно...

— Мы годами работали, чтобы восстановить его.

— Я хотел только сказать, что Пешт меньше пострадал, чем Буда. Я до последней минуты находился в Буде и попал в плен, когда мы пытались прорваться. Буда, конечно, сильно пострадала. Но вы сами должны понять: мы получили от фюре-

ра приказ сражаться до последнего. Мне очень жаль Буду, я ведь тоже жил там, на горе Геллерт, рядом со штабом генерала Винкельмана. Мне очень нравилось у вас в Венгрии, я даже выписал туда жену и сына. Сколько лет тебе было тогда? — обращается он к сыну.

— Два года,— отвечает молодой Крумхольц.— Я не помню Будапешта.

— Когда-нибудь ты туда поедешь. Чудесный город, милые люди,— продолжает восхищаться старший Крумхольц.— Я даже научился немножко говорить по-венгерски.

И он тут же высыпает перед нами весь свой запас венгерских слов:

— Добри ден... Как живе?.. Пацилуй... Венгерка — красивы женщин...

— Господин Крумхольц, перед сыном?..

Штурмбаннфюрер СС добродушно смеется. Как не понять, что этот добрый человек не шел дальше выполнения своих прямых обязанностей, да и выполнял-то их неохотно...

— Вы разве не об этом хотели со мной поговорить? Желаете еще что-нибудь узнать?

— Да. Например, как вы познакомились с Салаши?

— Этот тип мне лично никогда не был симпатичен,— отвечает Крумхольц, сразу становясь серьезным.— Но приказ есть приказ. Господин Визенмайер желал, чтобы мы опирались на Салаши. Да и теперь, оглядываясь назад, я вижу, что другой возможности не было. Нам нужно было подставное лицо... Я уже сказал, что был строгий приказ фюрера, чтобы в Венгрии не повторился румынский казус. У нас были бы тогда большие неприятности... Поверьте мне,— он наклоняется над столом, и улыбка его становится совсем умильной,— в глубине сердца я и тогда жалел венгров. Но что я мог поделать? Приказ...

— Разве вы не видели, что война проиграна, что уже все напрасно?

— Не в том суть... Мы хотели выиграть время. А в этом нилашисты нам как-никак помогли. Мы думали, что Германия после войны никогда не встанет на ноги.

— Но, как видно, вы ошибались...— возразили мы, показывая на Курфюрстендамм, по которой, отражаясь в зеркальных стеклах витрин, проносились элегантные машины.

— О, теперь все выглядит иначе,— на лету понимает наш намек Крумхольц.— Американцы — чудесные парни. Если бы я тогда знал, как они великодушны, на душе у меня было бы гораздо спокойнее. Они совсем не похожи на русских. Они понимают душу нашего народа...

— Мы тоже думаем, что вы должны быть за многое благодарны американцам, господин Крумхольц...

— Конечно. Видите, уже и развалин почти нет. А ведь когда я увидел Германию сразу же после войны... Возьмите, например, Дрезден. Мне его было особенно жалко, я тамошний уроженец, там я и учился, и начал работать...

Да мы знаем: теперешний майор западноберлинской полиции уже в 1933 году прославился в Дрездене жестокостью, с которой он обращался с первыми пленниками только что пришедших к власти гитлеровцев.

— Но ведь Дрезден сравняли с землей как раз американские бомбардировщики, да еще тогда, когда он уже не имел никакого военного значения...

Крумхольц не сразу находит, что ответить.

— Собственно, и американцев не всегда легко понять... Но теперь мы уже не в такой степени зависим от них. Мы им многим обязаны, но теперь и сами стоим на ногах...

Разговор снова возвращается к осаде Будапешта.

— Тогда я, собственно говоря, уже не находился под командованием Винкельмана,— рассказывает Крумхольц.— Мне поручили командовать полком.

— СС?

— Я уже говорил вам, что я был офицером полиции в эсэсовском мундире. Я всего лишь выполнял приказ. В Венгрии я до самой осады чувствовал себя как в мирное время. На улице Андраши существует еще кафе «Опера»? А остров Маргит все так же красив?

— Еще красивее...

— А мосты?

— Мы их заново построили.

Беседа подходила к концу. Мы задаем последний, привычный вопрос:

— Что вам больше всего запомнилось в Будапеште?

— Я не хочу, чтобы вы неправильно поняли меня, я сам знаю, что это было ужасно, но... С террасы моего дома на улице Берц я видел, как взлетел на воздух мост Маргит... Я знаю, что при этом многие погибли, но картина все же была поразительная, как во сне!.. (Он так и сказал — Traumbild). Огромный мост разломался, как спичка, и трамваи разлетелись во все стороны, точно детские игрушки... Незабываемое зрелище!..

— Незабываемое? Нам тоже это трудно забыть...

Крумхольц, очевидно, понял, что его воспоминания производят на нас совсем не то впечатление, на какое он рассчитывал.

— Поверьте,— продолжал он оправдываться,— я ни в чем не виноват. Я не делал ничего такого, за что меня можно привлечь к ответственности. Даже франкфуртская прокуратура закрыла мое дело. Мы — демократическая страна, и у нас никого не осуждают без свидетелей и доказательств...

Он еще говорит о свидетелях, о доказательствах!.. Нам очень трудно скрывать свои чувства, но выражать их здесь не время и не место. Мы расплачиваемся и уходим,

Крумхольц с сыном остаются. На прощанье он говорит нам:

— Передайте привет будапештцам! Если мне представится возможность, я с удовольствием приеду к вам опять!

Мы забыли спросить у него, как он представляет себе эту возможность. Но его привет жителям Будапешта мы передадим, чтобы они могли приготовить господину штурмбаннфюреру достойную встречу.

Сердитый Визенмайер

Разговор с Крумхольцем был прологом к нашей поездке по Западной Германии с целью посмотреть, как живут и что делают бывшие фашистские наместники Венгрии. И мы увидели их, весь командный состав СС, гестапо, службы безопасности, спокойно проживающий в Западной Германии. От Крумхольца мы прямиком отправились к Визенмайеру, бригадефюреру СС, носившему во время оккупации гитлеровскими войсками Венгрии пышный титул «полномочного представителя Германской империи». В апреле 1949 года Международный военный суд в Нюрнберге во время так называемого «процесса Вильгельмштрассе» приговорил его к 20 годам тюремного заключения. В приговоре было сказано: «Визенмайер, полновластный правитель Венгрии, был политическим руководителем официальной программы геноцида».

Где же отбывает срок своего наказания бывший фашистский гаулейтер Венгрии, доктор Эдмунд Визенмайер? Чтобы узнать это, достаточно полистать телефонную книгу Дармштадта: д-р Визенмайер Эдмунд, генеральный представитель, Розенхёхвег, 25. Розенхёхвег находится неподалеку от известного во всей Германии музея, в том районе города, где расположены внушительные особняки, и свое название заимствовала от роз, ароматом которых напоены все окрестности.

Мы прибыли туда в жаркий июльский день. № 25 обозначал роскошную виллу с широкой террасой. Огромные стеклянные двери, ведущие с террасы прямо в кабинет хозяина, были открыты. Достаточно перешагнуть через порог, чтобы оказаться в просторной прекрасно обставленной комнате. Мы сделали этот шаг и увидели за большим письменным столом, на котором в симметричном порядке были разложены бумаги и карандаши, бывшего гаулейтера Венгрии, доктора Эдмунда Визенмайера в белой спортивной рубашке и серых, безукоризненно отглаженных фланелевых брюках. В руке у него был красный карандаш, которым он что-то отмечал на лежащей перед ним бумаге. Бригадефюрер СС поднял на нас взгляд и холодно спросил:

— Как вы смели войти без доклада?

На лбу у него наливаются жилы, подбородок выдвигается вперед, рот приоткрывается, обнажая в нижнем ряду зубов два длинных клыка.

— У вас нет секретаря, мы не могли доложить о себе.

— Все равно, вы не имели права врываться ко мне в дом,— шипит он.— Вы должны были позвонить.

— Мы не нашли звонка. Разрешите представиться: мы — венгерские журналисты, приехали из Будапешта и просим у вас интервью. Вы-то уж, конечно, знаете, кто были приспешники Эйхмана в Венгрии.

Визенмайер выходит из-за стола. Вот он теперь какой, этот главный палач! Мы уже знали его по снимкам, по кадрам кинопленки. Он немного потолстел, живот у него заметно округлился, щеки лоснятся, словом, он выглядит прекрасно. Держится этот человек решительно и самоуверенно, и голос его так же резок и тверд, как в те времена, когда он помыкал многомиллионным народом.

— Я не намерен делать вам никаких заявлений на эту тему. Я не знаю, в какой газете вы работаете и какую цель преследуете своими статьями.

— Вот наши визитные карточки. Мы — журналисты из Будапешта и хотим узнать правду...

Визенмайер внимательно рассматривает наши визитные карточки.

— Здесь не сказано, для какой газеты вы просите у меня интервью,— замечает он официальным тоном.

— Мы работаем в газете «Непсабадшаг» в Будапеште...

— Воображаю, что вы хотите написать... Ничего хорошего я от вас не жду. Вам говоришь одно, вы пишете совсем другое...

— Как — пишем другое? Факты общеизвестны, господин Визенмайер. Нам всего лишь хотелось бы знать, как вы смотрите.

— Все может быть, но я не буду делать вам никаких заявлений. Вы должны понять: с меня хватит. Мое дело рассматривалось судом, и журналисты тут ни при чем...

— Нам известно, что ваше дело разбиралось на Нюрнбергском процессе.

Мы коснулись больного места. Визенмайер не может остаться равнодушным к этому упоминанию.

— И очень опрометчиво. Если кто-нибудь и должен заниматься подобными делами, так это историки. Во время Нюрнбергского процесса еще не могло быть необходимой исторической давности. Для того чтобы судить о таких делах, нужно подождать двадцать-двадцать пять лет...

— С тех пор как вы, господин Визенмайер, были послом Германии в Будапеште, прошло семнадцать лет. Это уже историческая давность, не так ли?

— Приходите через десять лет, и я сделаю вам тогда заявление...

— Десять лет назад вы сказали бы нам то же самое, господин Визенмайер. Вы — политический деятель, занимали выдающееся положение в министерстве иностранных дел при Риббентропе. Конечно, вы и теперь внимательно следите за политическими событиями...

— Конечно. От этой привычки так же трудно отвыкнуть, как от курения...— пробует шутить господин гаулейтер.

— Все мы прекрасно знаем, что здесь речь идет не только об истории, что причина вашего молчания кроется вовсе не в отсутствии исторической перспективы. Пока существует эта причина, роль некоторых людей во время второй мировой войны остается политическим вопросом.

Визенмайер пытается изменить направление разговора:

— Я придерживаюсь по этому вопросу гораздо более оптимистических взглядов и уверен, что через десять лет мы сможем говорить об этих вещах гораздо спокойнее, чем сейчас. А потом, я повторяю, что интервью никому не даю, с журналистами не разговариваю. Вы все равно пишете лишь то, что хочет ваш редактор...

Кому другому, как не ему, защищать свободу печати!

— По имеющимся у нас сведениям, господин Визенмайер, в 1944 году в Будапеште тоже происходило лишь то, что разрешал представитель фюрера... А ведь тогда речь шла не только о газетных статьях.

— Я уже сказал вам, что не желаю разговаривать об этом с журналистами! — повышает голос покрасневший от ярости Визенмайер.— Теперь, после тридцатилетней службы, я — бедный человек, работаю представителем парфюмерной фирмы Пеннель унд Бульгомме, и работать мне приходится много...

Бедный человек! Если сравнить его со многими другими, такими же, как он, преступниками, он действительно обижен судьбой. Мы собираемся уходить, и Визенмайер протягивает нам руку... Невозможно... Мы делаем вид, что из рук у нас валятся фотоаппарат, портфель, хватаем их на лету, уходим. Вся улица благоухает розами.

Почему Визенмайер на свободе?

Значит, бывший гаулейтер считает себя обойденным? А ведь ему бы радоваться, что он еще жив!

Весной 1945 года Визенмайер попал в плен к американцам. В протоколе допроса отмечалось, что бригадефюрером СС и вместе с тем гаулейтером Венгрии Визенмайер был назначен лишь в марте 1944 года. Но предприимчивый фашист не ограничивался политической и военной деятельностью; он состоял еще членом дирекций и ревизионных комиссий всевозможных акционерных обществ, как, например, Шенкер и К°, берлинский «Штандарт», венский «Лендербанк», братиславский «Хандельс унд Кредит-банк», пражский «Бёхмише Эскомптебанк», краковский «Хандельсбанк». Одного этого списка достаточно, чтобы понять: Визенмайер извлекал для себя непосредственную пользу из завоеваний Гитлера. Доходы его быстро возрастали: в 1938 году он «зарабатывал» 8000 германских марок, а через пять лет, по его собственному заявлению, до 25 000...

13 октября 1945 года министерство иностранных дел Венгрии направило в Союзную контрольную комиссию в Будапеште первую ноту с требованием передать Венгрии Визенмайера и еще 36 военных преступников. Первым дал ответ на эту ноту генерал-майор Эджкамб, представлявший в Контрольной комиссии Англию. Генерал-майор сообщил, что его правительство «считает неправильной передачу военных преступников их бывшим союзникам (!) даже в том случае, если отношения между ними изменились» (под «изменившимися отношениями» надо понимать тот факт, что Венгрия из последнего сателита гитлеровской Германии стала демократическим миролюбивым государством!). Представитель США генерал Кей облек отказ в более вежливую форму, а именно: попросил, чтобы венгры сообщили, где находятся указанные в венгерской ноте военные преступники, и передали Контрольной комиссии документальные доказательства, на основании которых будет разобран вопрос о выдаче военных преступников Венгрии.

Зато в качестве свидетеля Визенмайер был отправлен в Венгрию безо всяких возражений, представители США сами привезли его туда в ноябре 1945 года. 10 мая 1946 года министерство иностранных дел Венгрии снова направило в союзную Контрольную комиссию просьбу о выдаче венгерским властям Визенмайера, причем заявление было составлено по предложенной представителем США формуле. На другой же день вся мировая печать и американские радиостанции в Западной Германии известили весь мир, что Визенмайер и Винкельман предстанут перед венгерским судом, согласно установленному принципу, что каждый военный преступник должен быть судим за свои преступления в той стране, где он эти преступления совершал. Когда Визенмайеру сообщили об этом, он написал письмо американской военной миссии в Будапеште. Венгерские власти разрешили переслать это письмо, но оставили у себя копию. По словам Визенмайера, он получил от американцев заверение, что «его пребывание в Будапеште будет кратковременным» и что он направляется туда «исключительно для свидетельских показаний на суде». Далее Визенмайер сообщал, что ему были даны указания, как он должен себя держать на суде. Последнее заявление Визенмайера можно понимать только в том смысле, что американцы заранее научили гитлеровского ставленника в Венгрии, как ему держать себя перед венгерским народным судом. Интерес американцев к судьбе Визенмайера виден из показаний, данных им венгерским судебным органам и зафиксированных в протоколах допросов. Визенмайер неоднократно заявлял:

— Американцы никогда не допустят, чтобы меня судил венгерский суд. Хотя американцы и сражались вместе с Советским Союзом против Германии, они точно так же не выносят коммунизм, как не выносил его Гитлер. Моя личная судьба связана с международным политическим положением. Я уверен, что меня снова отвезут в Германию. Там меня, может быть, и осудят, но увидите, я еще буду занимать высокие должности...

Американская военная миссия в Будапеште не ответила на письмо Визенмайера, но приняла меры, адресовав венгерскому министерству юстиции следующее письмо: «Будьте любезны передать нам на короткий срок господина Визенмайера для направления его в качестве свидетеля в Зальцбург. Выезд его должен состояться в четверг, 27 июня. Точного срока возвращения в Венгрию в данный момент сообщить мы не можем, но, как только это станет возможным, мы вас известим. С полным уважением Вальтер Г. Ришел, подполковник авиации».

Венгерские власти, придерживаясь международных обычаев, удовлетворили просьбу американской военной миссии. Разве могли они предположить, что «передача на короткий срок» — только предлог для того, чтобы вырвать Визенмайера из рук венгерского правосудия. В тюремном журнале на улице Марко под номером 4098 за 1946 год имеется запись о том, что наместник Гитлера в Венгрии 9 июля 1946 года был передан американским представителям, и расписка американского капитана Татара в получении заключенного. Американцы не выполнили взятого на себя обязательства и, несмотря на повторные просьбы венгерских министерств иностранных дел и юстиции, не выдали Визенмайера Венгрии.

А сам Визенмайер добился того, что судили его не в Венгрии, а в Нюрнберге, как одного из обвиняемых на так называемом «процессе Вильгельмштрассе». Упомянем об одной интересной подробности. Вынесение приговора над Визенмайером ожидалось не ранее 20 февраля 1949 года, и суд дал ему отпуск из тюрьмы. 14 февраля 1949 года в западногерманской печати появились сообщения, что в судебных кругах спорят о том, воспользуется ли Визенмайер предоставленным ему отпуском для бегства, и многие ставят пять против одного, что он это сделает. Те, кто так думал, проиграли пари: через пять дней Визенмайер вернулся из отпуска в нюрнбергскую тюрьму. Он был слишком уверен в своих друзьях, чтобы рисковать.

Когда в апреле 1949 года был опубликован приговор суда, который, признавая Визенмайера виновным в военных преступлениях и в преступлениях против человечества, присудил его к двадцатилетнему тюремному заключению, многие считали, что Визенмайер сделал ошибку, не совершив побега. Но Визенмайер отнесся к суровому приговору очень спокойно. Разве не сказал он в Будапеште, что его личная судьба связана с мировой политикой? Не прошло и двух лет, как главный американский комиссар Макклой снизил для Визенмайера срок заключения с 20 до 10 лет. Это было в феврале 1951 года, а 16 декабря того же года Визенмайер был уже выпущен на свободу генералом Хэнди, тогдашним главнокомандующим американскими войсками в Западной Европе. Вместе с Визенмайером были освобождены еще 43 военных преступника, осужденные нюрнбергским судом. Шла война в Корее, и у палачей корейского народа действительно не было никаких моральных оснований держать в тюрьме фашистских палачей...

Частный разговор

Когда мы собирались отправиться из Франкфурта в Бремен, где проживает бывший штандартенфюрер СС Курт Бехер, грабитель Венгрии, в газете «Франкфуртер рундшау» нам попалась следующая заметка:

«Десятая гражданская судебная коллегия Франкфурта под председательством Сиерне в пятницу вторично разбирала иск франкфуртского еврея-торговца к бывшему штандартенфюреру СС Курту Бехеру. Крупный коммерсант Бехер, проживающий в настоящее время в Бремене, якобы создал себе капитал незаконным путем в 1944 году в связи с отправлением будапештских евреев в концентрационные лагеря. Истец утверждает, что именно в то время он познакомился через посредника с Бехером, которому и передал 18 тысяч долларов в качестве вознаграждения за то, что Бехер обещал освободить брата истца с семьей из гетто, где те находились в ожидании отправки в лагерь смерти, и дать им возможность бежать в Швейцарию. Бехер не сдержал обещания. Брата истца и всю его семью отправили в Освенцим, где они и были умерщвлены газом. Истец требует компенсации за уплаченные 18 тысяч долларов в размере двух тысяч марок. Юридический представитель бывшего командира СС адвокат Гамбургер потребовал точно указать место и время передачи денег. Утверждают, что это ни в коем случае не могло произойти в Будапеште на улице Семмельвейс. Бехер признает, что подобные факты имели место и что он был связан с еврейскими организациями. После окончания войны американцы в Нюрнберге более восьми месяцев вели следствие по делу Бехера и рассматривали все, что касалось обвинений, возведенных на него как на военного преступника. Адвокат Гамбургер подчеркивает, что Курт Бехер спас много тысяч евреев от высылки в концентрационные лагеря. На процессе Эйхмана Бехер даже выступает свидетелем обвинения.

Главная прокуратура Израиля произвела особое расследование и установила, что Бехер действительно помог многим евреям.

Бехер категорически отрицает, что получил 18 тысяч долларов и что вообще когда-либо получал деньги. Возможно, истец передал эту сумму не ему, а кому-нибудь другому. Представитель истца адвокат Хейзер назвал свидетеля, который весной 1944 года помог истцу достать 18 тысяч долларов и сопровождал его до дверей кабинета Бехера в Будапеште. Суд отложил разбор дела до 24 февраля, когда, очевидно, будет вынесено окончательное решение».

Чтобы понять значение подобных газетных сообщений, надо жить в Западной Германии. Иностранцам же, приехавшим издалека, остается только удивляться: Бехер — спаситель сотен тысяч евреев... Бехер — свидетель обвинения... Бехер не получал денег... Главная прокуратура Израиля установила... У нас даже дети знают, кем был Бехер, знают, что именно он организовал ограбление страны, отправил сотни тысяч людей в газовые камеры, а спас горстку еврейских капиталистов и за это получил миллионное вознаграждение... В нашем распоряжении имеются документы, фотографии, протоколы... А здесь идет гражданский суд, истец требует возвращения двух тысяч марок из семидесяти двух тысяч *, и суд откладывает разбирательство до будущего года! Это просто уму непостижимо! Но мы не хотим упустить случая и звоним Хейзеру:

— Мы — венгерские журналисты, приехали из Будапешта и прочитали в газете, что вы являетесь представителем истца в процессе против Бехера. Нам хотелось бы узнать кое-что об этом процессе. Можете вы назвать нам имя истца?

— По телефону я, к сожалению, не могу давать информацию, но если вы придете ко мне в бюро и предъявите ваши удостоверения, то я весь к вашим услугам. Я могу вам рассказать многое из того, о чем не пишут в газетах...

Адвокат Хейзер встречает нас очень дружелюбно и сразу производит прекрасное впечатление. Мы уверены, что он взялся за это дело не только для того, чтобы получить гонорар.

— Разрешите ваши документы?..

Мы показываем ему наши паспорта, где указана и наша профессия. Хейзер очень внимательно рассматривает их, потом возвращает:

— Так что вам угодно?

— Мы уже сказали вам по телефону, что нам хотелось бы узнать поподробнее об этом процессе...

Адвокат принужденно улыбается: очевидно, он уже раскаялся в своем обещании.

— Я очень сожалею, господа, но вы — иностранные журналисты. А ведь существует государственная тайна... Я не знаю, как отнесется к вашей просьбе коллегия адвокатов, но без разрешения коллегии я не имею права рассказывать вам обстоятельства дела.

Ему, очевидно, стыдно, и он не знает, как избавиться от нас:

— Я должен спросить, как в таких случаях поступают, но для этого нужно время, а у вас его, конечно, нет...

— По телефону вы говорили с нами иначе...

— Это было так неожиданно,— защищается он.— Да и вообще... Почему вы так интересуетесь этим процессом?

— Мы — венгры, а случай, разбираемый судом, произошел в Венгрии, в Будапеште. И Курт Бехер, бывший штандартенфюрер СС в Венгрии, ограбил не одного вашего истца. У нас всем известно, что именно Курт Бехер передал Гиммлеру самый большой венгерский концерн тяжелой промышленности — заводы Вейса Манфреда. Ни для кого не тайна, что Бехер разграбил Венгрию. Он — виновник страданий десятимиллионного народа во время инфляции, когда сам он присвоил себе сказочные богатства...

— Вы, значит, изучаете деятельность немецких фашистов в Венгрии? — задумчиво спрашивает Хейзер.

Видно, он верит нам, но боится. Если он и занимается этим делом не только из-за гонорара, то все же не хочет слишком рисковать. Он знает, что это не обычный гражданский иск, но не желает поднимать шум.

— Я думаю — находит он вдруг предлог,— что этот процесс не может вас слишком интересовать, ведь здесь речь действительно идет всего лишь о восемнадцати тысячах долларов...

— Но если мы правильно поняли, то речь идет и о жизни целой семьи. Ведь эти люди умерли потому, что Бехер захотел положить себе в карман 18 тысяч!

— Это, к сожалению, очень трудно доказать. Адвокат попадает здесь в незавидное положение. Откуда взять свидетелей? Бехер, несомненно, совершал у вас преступления. Но какие именно? Когда и каким образом?.. Где доказательства, где свидетели? Наш закон очень строг: только имея в руках достаточно доказательств, мы можем возбуждать судебное преследование.

— Мы с радостью поможем вам. В Венгрии у нас имеется сколько угодно доказательств!

Нам становится жаль беднягу. Он неплохой человек, но вовсе не желает ворошить муравейник и обращать на себя неблагосклонное внимание сильных мира сего.

— Я надеюсь, что этот разговор останется между нами,— взывает он к нашим чувствам.— Против Бехера нет никаких обвинений, его никогда не судили... Что же могу сделать я, адвокат истца в гражданском процессе? Я не раскрою никакой тайны, если дам вам имя и адрес моего клиента, которые уже фигурировали в газетах. Пусть он сам вам расскажет обо всём, если захочет. Его зовут Александр Клейн, и живет он здесь, во Франкфурте, на Мюнхенерштрассе, 19. А я вам ничего не скажу. я маленький адвокат, а Бехер — человек власть

* 18 тысяч долларов равняются семидесяти двум тысячам западногерманских марок.

имущий, миллионер, вы сами увидите, каким влиянием он пользуется в Бремене.

— Мы как раз собираемся туда.

— Хотите просить интервью у Бехера? — смеется Хейзер, которого забавляет эта мысль.— Он вряд ли вас примет. С тех пор как его имя фигурировало на процессе Эйхмана, он не очень-то жалует прессу...

— Попробуем... Мы приготовили для него несколько интересных вопросов!

— Ну что ж, желаю удачи, и не сердитесь на меня за то, что я не смог принять вас лучше...

— Мы отлично понимаем ваше положение. Желаем и вам успеха...

Бременский миллионер

Мы ехали в Бремен с самыми тяжелыми предчувствиями, опасаясь, что нам не удастся пробиться к такому большому человеку, каким, по-видимому, стал теперь Бехер в Бремене, и что мы натолкнемся на закрытую дверь. Когда же мы увидели, что бременские газеты, все как одна, занимаются делом Бехера, наши тяжелые предчувствия почти перешли в уверенность. А газеты писали разное...

Некоторые из них ограничивались сухим сообщением, что Бехер занимал ответственное положение в СС, был в Венгрии и, по-видимому, работал вместе с Эйхманом. Другие писали, что против Бехера возбуждено судебное дело, что процесс идет, или шел, или скоро начнется, но что Бехера было бы преждевременно называть нацистом. Почему-то газеты называли Бехера не штандартенфюрером, а оберштурмбаннфюрером — очевидно, он сам понизил себя в чине. По всем признакам, общественное мнение было не очень довольно сведениями о деле Бехера. Социал-демократическая «Бюргер цейтунг» в номере от 13 мая поместила письмо одного из своих читателей, задающего сенату вопрос: «Что предпринимается вами по делу Бехера, для того чтобы этот высокопоставленный эсэсовец понес наконец заслуженное наказание, а не чувствовал себя здесь как рыба в воде?» Через несколько недель бременский сенат ответил на это письмо, сообщив, что у него нет никаких причин и никакого права вмешиваться в процесс. Господин Бехер — полноправный гражданин города и таковым останется до тех пор, пока суд не вынесет другого решения. Дело, конечно, было вовсе не в этом. Вот если бы Бехера вдруг обвинили в том, что он стал коммунистом или сочувствует ГДР, так сразу нашелся бы параграф, сославшись на который его упрятали бы в тюрьму.

В Бремене мы узнали, что Бехер связан с банком Оппенгейма в Кёльне и что он работает с Оппенгеймом еще с тех пор, когда разгуливал в эсэсовском мундире. Каждому человеку, интересовавшемуся развитием капитализма в Германии, встречалось имя Оппенгейма. Банк Оппенгейма существует с 1789 года, и если Германия проиграла первую мировую войну, то банк Оппенгейма ее выиграл. Антиеврейские законы Гитлера не распространились на семью Оппенгеймов: банк получил «арийского» директора, но всеми делами по-прежнему ведал один из Оппенгеймов. Кончилась вторая мировая война, и на банке опять появилась фамилия Оппенгейм, но дружба с подставным лицом военных времен Робертом Пфердменгесом оказалась настолько крепкой, что пережила гитлеризм и военное поражение. Роберт Пфердменгес так ловко повернул дело, что банк Оппенгейма из гитлеровского банка стал банком Аденауэра и может поэтому рассчитывать на покровительство и поддержку боннского правительства.

Бехер совершенно естественным образом использует свои старые связи. Ведь именно он спас (не безвозмездно) семью Оппенгеймов, как уже не раз спасал за солидные вознаграждения богатых евреев, предоставляя беднякам сгорать в газовых камерах. Нажитые, вернее, награбленные капиталы Бехер для сохранности помешал в швейцарские банки (в Швейцарию он ездил, выполняя личные поручения Гиммлера). Сохраненные в Швейцарии миллионы очень пригодились Бехеру. В Бремене, на Слевогтштрассе, 56, в трехэтажном собственном доме Бехера помещается его контора. Три таблички на дверях извещают посетителей:

Курт А. Бехер
Импорт — Оптовая торговля — Экспорт

Альберт Иоганн Мейер
Импорт — Оптовая торговля — Экспорт

Кёльнское общество
внешней торговли
Бременское отделение

Владельцем всех этих трех фирм является Курт Бехер, бывший штандартенфюрер в Венгрии, а теперь один из богатейших коммерсантов Западной Германии, ворочающий миллионами.

Нас встречает красивая молодая женщина, личный секретарь Бехера, фрейлейн Тейбиг. Не терпящим возражений тоном она говорит нам:

— Господин Бехер находится в деловой поездке и до пятницы даже я не могу установить с ним связи. Оставьте ваши визитные карточки, а в пятницу позвоните. Номер телефона 3-06-11.

У нас нет оснований подозревать фрейлейн Тейбиг во лжи, но проверить никогда не мешает. Официантка в соседнем кафе в надежде на хорошие чаевые охотно соглашается позвонить вместо нас на квартиру к Бехеру. Девушка на местном диалекте щебечет в телефонную трубку:

— Алло! 49-75-50? Попросите к телефону Курта... Понимаю... Он вернется поздно вечером, а завтра утром опять уезжает... Нет, не говорите ему ничего: утром я еще позвоню...

Девушка радуется вместе с нами, что разговор прошел так благополучно. Она уже чувствует себя нашей союзницей, вытаскивает газету «Бремен нахрихтен» от 15 июля 1961 года, то есть позавчерашнюю, и показывает нам сообщение в рубрике «Семейная хроника». Это — интересное для нас известие: за три дня до нашего приезда в Бремен дочь Бехера Катарина вышла замуж за Христиана Густава Шпехтеля, крупного дельца на поприще торговой навигации. Значит, женитьба на деловой основе... Штандартенфюрер СС во фраке и цилиндре умеет делать дела так же хорошо, как он их делал в эсэсовском мундире.

Мы решили ждать Бехера на улице перед его домом, но это оказалось не так просто. К дому ежеминутно подъезжали шикарные машины, за движением которых наблюдал полицейский, очень скоро заметивший нас. В наши планы совсем не входило давать объяснения в полиции, и мы сочли за лучшее уйти. А так как в Бремене делать нам до пятницы было нечего, то мы и отправились в Гамбург, куда звали нас другие дела.

Бехер вспоминает о «трудных временах»

В пятницу в 9 часов утра мы позвонили по номеру 3-06-11. Нам повезло: фрейлейн Тейбиг, очевидно, еще не пришла, и трубку поднял сам Бехер.

— Алло! Что? Из Будапешта? Просите интервью? У меня нет времени! Позвоните через неделю и поговорите с моим секретарем.

Этого, конечно, и следовало ожидать... Но для Бехера у нас про запас имелась такая удочка, на которую он не мог не клюнуть. Со спокойным сожалением мы отвечаем ему:

— Очень жаль. Мы хотели сообщить вам о подлиннике договора с фирмой «Вейс Манфред»...

— О, это, конечно, очень интересно,— говорит Бехер уже совсем другим тоном.— Что вам об этом известно?

Рыбка клюет, еще немножко — и крючок будет у нее во рту.

— К сожалению, гораздо меньше, чем вам. Если нам не удастся побеседовать с вами, придется довольствоваться просмотром документов... А ведь дело Вейса Манфреда очень сложное...

— Понимаю,— задумчиво говорит Бехер, очевидно лишь для того, чтобы выиграть время: он прекрасно знает, что документы, о которых идет речь, представляют собой обвинительный акт, грозящий ему большими неприятностями. При личной встрече ему, быть может, удастся уговорить нас, обвести вокруг пальца, убедить в своей невиновности, словом, отвести от себя угрозу, которую несет с собой опубликование этих документов.

— Понимаю, — повторяет он. — Дело сложное... Тогда позвоните не через неделю, а сегодня вечером, в восемь часов, попросите к телефону жену... Завтра вечером я приеду к вам в Гамбург, жена сообщит вам, где и когда мы с вами там встретимся.

Вот это да! Бехер удостаивает нас личной встречи!

И на другой день в 15 часов 30 минут мы уже сидим в гамбургском филиале фирмы Бехера на Дейчштрассе, 38 и беседуем с Бехером, который пришел на свидание не один, а привел с собой мужчину лет пятидесяти, представившегося нам как юрисконсульт Бехера.

Бехер выглядит настоящим миллионером из романа: безукоризненно одетый седой господин с манерами большого барина. Разговор с нами ведет Милке, Бехер покуда молчит. Мы начинаем с того, что нас особенно интересует: как попало имущество Вейса Манфреда в руки СС?

— Господин Бехер желал помочь господину Хорину и другим бедным людям, которых преследовали,— начинает Милке и тут же в свою очередь задает вопрос:

— Скажите, что содержит найденный в Венгрии документ?

Милке теребит адамово яблоко. Вид у него растерянный, может быть, Бехер и ему не сказал, что именно написано в этих договорах? А вдруг Бехер, как дурак, подписал какую-нибудь бумагу, из которой всплывет вся правда? Бехер молчит, уставившись в угол. Их замешательство радует нас.

— Почему вы спрашиваете об этом у нас, господин Милке? Господину Бехеру, конечно, известно, что он подписывал. Если вас это так интересует, он безусловно даст вам исчерпывающие объяснения. Нам же интересно выяснить некоторые подробности для того, чтобы дать правильное освещение этим бумагам.

Милке чувствует, что пока лучше отступить.

— К сожалению, мы не захватили с собой наши материалы... Мы теперь не из Бремена... И нам не хотелось бы освещать вопрос иначе, чем мы это делали до сих пор...

Так вот в чем дело! Бехера в течение шести дней допрашивали в связи с процессом Эйхмана, он должен был ответить на 61 вопрос и теперь не хочет впасть в противоречия. К концу допроса он выглядел «героем гуманности»: он всем помогал, всех спасал, он был добрым дядей для всех несчастных, этот высокопоставленный эсэсовец... Как же он может без записок повторить слово в слово все то хорошее, доброе и лживое, что им уже было сказано, ведь так и проговориться недолго.

— Очень жаль, что мы не можем поговорить о подробностях,— вздыхаем мы.— Ну что ж, придется нам удовлетвориться найденными документами...

Бехер смотрит на Милке, тот кивает:

— Если вы располагаете временем, мы можем послать за нашими материалами. Хорошо?

Мы соглашаемся. Первым из кабинета выходит Милке, за ним Бехер, чтобы отдать

приказ своему шоферу привезти бумаги из Бремена. Мы ждем. Бехер возвращается один. Вздыхает. Сейчас начнутся жалобы, нам это уже известно.

— Да, трудные были времена,— вздыхает бывший штандартенфюрер...

— Самое главное, что мы все же остались живы, не правда ли, господин Бехер?

Бехер понимающе улыбается, но он, очевидно, не понял двусмысленности этого ответа.

— Скажите, господа,— спрашивает он внезапно,— что говорят в Венгрии о процессе Эйхмана?

— Газеты пишут о нем, но не делают из этого сенсации,— уклоняемся мы от прямого ответа. Бехера, конечно, интересует, упоминается ли его имя в связи с процессом Эйхмана.

— А почему не делают сенсации? — вмешивается Милке, вернувшийся в кабинет и заверивший нас, что бумаги в скорости будут доставлены — он уже позвонил в Бремен.

— У нас уже в 1945 и 1946 гг. судили наших эйхманов, салаши и прочих... Господин Бехер знает об этом, ведь он был тогда в Венгрии...

— Да,— неохотно отвечает Бехер.— Не то восемь, не то десять недель я был вынужден квартировать на улице Андраши, 60. Салаши сидел недалеко от меня. В Венгрию его привезли американцы.

— Если мне не изменяет память,— вмешивается Милке,— Салаши был тогда приговорен к смертной казни. И его повесили. Значит, если бы господин Бехер был виновен, то и его бы повесили?

— Это зависело целиком от того, в качестве кого американцы передали нам господина Бехера: как свидетеля или как обвиняемого... Тех, кого американцы привозили в Венгрию для свидетельских показаний, они же и увозили обратно, и таких лиц мы не могли предавать суду. Господин Бехер был в Будапеште как свидетель, не так ли?

Господин Бехер удобнее устраивается в кресле, задумчиво вертит в руках очки и с наивным выражением лица говорит:

— Я и сам не знаю...

— Если это важно для вас, то в Будапеште мы можем точно выяснить и написать вам...

Но Милке не желает слишком углублять-ся в эти судебные дела:

— Мы не хотим затруднять вас. Это не так уж существенчо... Господин Бехер живет теперь в Бремене и находится здесь в полной безопасности.

— Да, с 1948 года я живу в Бремене,— с глубоким вздохом говорит Бехер.— И мне хотелось бы навсегда позабыть о тех тяжелых временах...

И Бехер, и Милке знают так же хорошо, как и мы, что венгерские власти сделали все возможное, чтобы добиться выдачи им Бехера и суда над ним. Они не раз обращались по этому вопросу к американской военной миссии.

— Где вы находились, господин Бехер, после того как американцы увезли вас из Будапешта?

— Здесь, в Германии. Я был нужен американцам, они держали меня в концлагере, допрашивали и... как это говорится... (губы его складываются в улыбку)... денацифицировали. Потом меня допрашивали еще и в Нюрнберге... С 1948 года я живу в Бремене.

— Мы успели убедиться, что в Бремене вы — лицо известное...

— И я очень об этом сожалею. Журналисты так и ходят за мной по пятам. Но знаете, за последние десять лет это — первое интервью.

— Кого только у нас не было,— вмешивается опять Милке.— И англичане, и французы, и канадцы. Даже австралийские журналисты и те были.

— Я не преувеличу,— смеется Бехер,— если скажу, что за последний год я отказал в интервью по крайней мере ста пятидесяти журналистам. Разве у меня есть время? Я и сейчас должен был бы уже быть на пути в Голландию... Но венгерская печать — дело другое... Я многим обязан венграм.

Вот сейчас он скажет, что всегда любил венгров... Мы опять угадали.

— Скажите, как выглядит теперь Будапешт? Что вы сделали с гостиницами? Я очень любил бывать на острове... Там есть гостиница... Как она называется?

— Гранд'Отель.

— Ну, конечно... И потом Геллерт...

— Отель Геллерт был полностью разрушен... Понадобилось пятнадцать лет, чтобы отстроить его заново...

— Но его все же отстроили, это главное. Если я еще когда-нибудь поеду в Будапешт, то остановлюсь в Геллерте или в Ритце...

— Ритц тоже был полностью разрушен.

— Но я уверен, что вы его тоже отстроите. Венгры всегда были трудолюбивым народом...

Очевидно, наши лица все же выдали отвращение, потому что Милке опять поспешил спасти положение:

— Господин Бехер был тогда моложе, с тех пор прошло семнадцать лет... Может быть, поэтому у него сохранились такие радужные воспоминания о Будапеште... Несмотря на тяжелые времена...

Высокая белокурая секретарша стучит в дверь и сообщает:

— Привезли бумаги из Бремена.

Человек неожиданностей

Милке очень долго копается в бумагах, переглядывается с Бехером, показывает ему какие-то записки. Наконец юрисконсульт дает знак, что можно начинать.

— В марте 1944 года меня назначили в Будапешт. Я был тогда простым солдатом...— начинает Бехер свой рассказ.

— Какой у вас был чин?

— У меня был офицерский чин, и все-таки я был простым солдатом.

— Но ведь ваш чин соответствовал званию полковника!..

— Верно... Но я говорю не о звании, а о службе. По существу я был простым солдатом-фронтовиком. У меня имеются доказательства. что я сражался на передовой, не то что некоторые... Я сохранил все свои фронтовые награды, Железный крест!

Мы не знали таких подробностей биографии Бехера. А ведь он, кажется, хвастается, что сражался за своего фюрера!

— На меня смотрели, как на простого солдата, и давали мне соответствующие задания,— продолжает Бехер. — Однажды мне было поручено купить лошадей для вермахта и СС. Всего за несколько дней я достал 20 тысяч лошадей.

Мы делаем вид, будто не знаем, что Бехер попросту реквизировал лошадей из венгерских племенных табунов.

— Но эта работа не удовлетворяла меня,— с увлечением рассказывает Бехер,— я искал возможности помогать людям. Так я познакомился с господином Хорином.

— С главой фирмы «Вейс Манфред»?

— Да. Я не хочу хвастаться, но вся эта семья обязана мне жизнью. Я и завод не передал Гиммлеру — просто мы взяли его под опеку на 25 лет, и я занял место директора, что было очень успокоительно для Хорина, который мне всецело доверял.

— Но как же Хорин мог распоряжаться своим имуществом, если тогда он уже сидел за решеткой в эсэсовской тюрьме?

— Я освободил его, а потом помог ему уехать в Португалию...

— У нас имеются сведения, что Хорина сначала отправили в Маутхаузен, куда вы за ним поехали, чтобы привезти его обратно в Будапешт, где он и жил как пленный в вашей квартире на улице Андраши, 115...

— Подождите,— протестующе поднимает руку Бехер.— Как хорошо, что вы попали ко мне, а то вы могли бы неправильно осветить эту историю. Я действительно получил квартиру на улице Андраши, 115 и туда же привез из Маутхаузена спасенного мною Хорина. Но он был моим гостем, и я многим рисковал, когда прятал его у себя.

Какая наглость! Бехер ограбил Хорина, отдал самое большое промышленное предприятие Венгрии Гиммлеру, положил огромный куш себе в карман, отправил в лагеря смерти сотни тысяч людей взамен кучки богачей, которых он выручил, а теперь хвастается, что спас Хорина, якобы рискуя головой, хотя на самом деле ничем не рисковал, так как имел на то специальное разрешение Гиммлера!

— Но ведь у вашего дома стояли на страже эсэсовцы! — возражаем мы.— Значит, Хорин все-таки был у вас под арестом.

— Стража? Что вы?! Она там стояла вовсе не поэтому. Хорин мог уйти, когда хотел, но у меня он чувствовал себя спокойнее.

— Признаться, нам это трудно понять. Но пойдем дальше...

Бехер собирается продолжать, но Милке прерывает его:

— Будет лучше, если мы вам изложим все это в письменном виде, чтобы избежать ошибок...

Господину Милке, очевидно, не нравятся наши вопросы. Не дожидаясь нашего согласия, Милке зовет стенографистку и начинает ей диктовать трогательную историю о добром дяде Бехере, жертвовавшем жизнью для спасения очень богатых евреев. Стенографистка записывает, затем идет перепечатать свои записи на машинке.

— А как вы познакомились с Ференцем Хорином, господин Бехер? — спрашиваем мы.

— О, я совсем забыл об этом! — восклицает Бехер.— Я познакомился с ним совершенно случайно, хотите верьте, хотите нет...

— Господину Хорину просто повезло,— присовокупляет Милке.

Нам надоедает слащавый разговор о счастье семьи Вейса Манфреда, встретившей на своем пути благодетеля Бехера, и мы задаем следующий вопрос:

— Нам известно, что вам поручались и некоторые другие дела, например вывоз из Венгрии всех материальных ценностей.

— Мне это действительно было поручено, но у меня почти не было времени заниматься этим.

— И все же из Венгрии увезли заводское оборудование, паровозы, даже пожарные машины... После окончания войны нам пришлось все создавать заново.

— Как мне было жаль бедных венгров! — напыщенно восклицает Бехер.— Но война — ужасная вещь! Мне тоже пришлось начать все сызнова!

Мы не находим слов. Вот здесь перед нами сидит человек, ограбивший Венгрию и положивший себе в карман несметные богатства, сидит и жалеет самого себя, плачет над своей горькой судьбой. Мы берем письменное заявление, в котором Бехер хочет нам доказать, что *случайно* поселился в особняке Хорина, *случайно* познакомился с самим Хорином, *случайно* стал директором комбината «Вейс Манфред» и, очевидно, тоже *случайно* сделался одним из командиров СС...

(Окончание следует)

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ХУДОЖНИКИ В БОРЬБЕ ЗА МИР

Е. Херсонская

Габриеле Мукки. «Война I»

Борьба прогрессивных художников Италии за обновление и развитие национальной культуры неразрывно связана с борьбой за мир и демократию. Эту борьбу мастера итальянского изобразительного искусства начали еще в годы войны.

В 1941 году самый значительный художник современной Италии Ренато Гуттузо выразил свой протест против вторжения фашистских полчищ в Советский Союз картиной «Распятие», за которую папа назвал Гуттузо «художником-дьяволом» и предал анафеме со всех церковных кафедр.

Писатель и художник Карло Леви в 1942 году написал картину, которую имел смелость назвать «Концентрационный лагерь».

Марио Мафаи — один из крупнейших художников Италии, антифашист и последовательный реалист — в 40-х годах создает целый цикл «Фантазий», в которых перед зрителем предстают то сцены массового убийства женщин, то беснующиеся голые люди в генеральских шапках, подобные марионеткам, еще не одетым для спектакля.

Самое рождение нового итальянского искусства непосредственно связано со страстным протестом против темных сил фашизма, развязавших войну.

В годы Сопротивления появляется первенец неореализма: серия гневных, пламенных акварелей Гуттузо «С нами бог!», посвященная трагедии оккупированного Рима — расстрелу гитлеровцами 320 заложников в Фосо Ардеатино. Эти акварели были удостоены Золотой медали мира.

В те же годы художник Габриеле Мукки в живописных произведениях выражает свои гражданские чувства, страстно протестуя против происходящего. Раньше Мукки писал нежных смуглых девушек с цветами в волосах или сумеречные задумчивые пейзажи. Но в годы войны темами художника становятся подвиги героев Сопротивления и трагедия невинно гибнущих людей: «Портрет французской партизанки» (1943), «Расстрелянный» (1944), «Убитый партизан» (1944).

К 1943 году относится и первая, но много раз впоследствии повторенная Мукки аллегория войны. Это «Война I»: тонущий в синечерном беспросветном мраке мир и затерянная в нем одинокая и беззащитная, одетая в траур женщина, за которую цепляется ребенок.

Годом позже Мукки создает первую, тоже многократно повторенную потом «Бомбардировку Горлы». В этой картине, написанной не без влияния знаменитой «Герники» Пикассо, художник показывает чудовищную картину бомбардировки маленького городка Горлы, где бомба попала в здание школы и убила детей. Чтобы передать образ изуродованного войной мира, художник прибегает к деформации фигур и преувеличенной экспрессии цвета.

К возмездию и вечной памяти взывают тела расстрелянных, сложенные, как поленья, у ограды, на картине Алиджи Сассу «Мученики площади Лоретто» (1944), перекликающиеся со стихотворением Сальваторе Квазимодо «15-ти с площади Лоретто», где поэт возглашает: «Смерть не смерть, когда она — бессмертье».

Джакомо Манцу, ныне один из крупнейших скульпторов мира, начинает свое беспощадное разоблачение бедствий, которые несет людям война, с рисунков 1943—1945 годов. Эта же тема зажгла сердца многих итальянских художников.

Боец Сопротивления Пиццинато написал картину «Земля, а не война».

Молодой, но уже проявивший себя как идейный и бесстрашный противник фашиз-

Доменико Пурификато. «Дети Тормаранчо»

Тоно Дзанканаро. Часть триптиха «Дела и дни католической церкви»

ма Эрнесто Треккани создал в 1943 году картину «Расстрел».

Альдо Боргондзони, как и Гуттузо, написал «Распятие» и другие картины, отображающие человеческие страдания.

Коррадо Кальи сделал в лагере Бухенвальд серию рисунков с натуры, выразительных, гневных и особенно обличительных в силу их документальной достоверности...

В трудной, сложной обстановке послевоенной Италии, несмотря на репрессии реакционного правительства, экономическое наступление на передовое искусство, тяжелые условия жизни, травлю со стороны буржуазной печати, прогрессивные художники продолжают свою борьбу за свободу, за мир, за обновление искусства.

Первым коллективным выступлением прогрессивных художников Италии явилась выставка «Искусство против варварства и войны», открывшаяся в январе 1945 года. В каталоге ее говорилось: «Эта выставка посвящена солдатам: и советским, и американским, и английским, и французским, павшим во второй мировой войне во имя того, чтобы все могли жить свободно и по-братски, всем итальянцам — жертвам нацистского варварства, павшим в боях против иностранного ига в освободительной борьбе, всем тем в Италии и во всем мире, кто борется и жертвует собой, чтобы заслужить свободу, независимость и мир».

И содержание выставки, для которой были характерны такие произведения, как скульптура Леончилло «Римская мать, убитая немцами», действительно отразило страстное стремление итальянского народа отстоять завоеванный в муках и жертвах мир.

Первые произведения неореализма, одного из самых значительных явлений современной итальянской культуры, появились на выставке «Мир» в 1950 году.

На этой выставке экспонировались картины, скульптуры, гравюры, рисунки, присланные для участия в национальном конкурсе на тему «Мир», организованном прогрессивными журналами «Вие нуове» и «Ринашита». В выставке участвовало 240 художников, экспонировавших 378 произведений.

Первую премию за живопись получил Доменико Пурификато, весьма оригинально разрешающий тему призыва к миру. Значительную часть своего творчества Пурификато посвящает детям. Он иллюстрирует для них книги, пишет рассказы. И тему мира художник тоже воспринимает как тему борьбы за счастье детей — ведь война прежде всего угрожает их будущему. Пурификато

Армандо Пиццинато. «Мир Вьетнаму»

рисует детей беднейшего римского предместья Тормаранчо после второй мировой войны. Показывая группу босых и оборванных мальчишек, играющих на куче мусора у сарая, художник как бы говорит: вот до чего доведены эти дети! Прибегая к приему сравнения, Пурификато помещает в тесной группе детей двух бездомных грязных собак: у несчастных ребят поистине собачья жизнь. Сочетание серо-белых, розоватых и черных тонов создает колорит, соответствующий грустному характеру этой сцены.

Из графических произведений был награжден первой премией офорт-триптих Тоно Дзанканаро «Дела и дни католической церкви», драматизм которого достигается сильными и смелыми переходами светотени.

Первой премии за скульптуру удостоилась деревянная статуя Марино Мадзакурати, изображающая мать с ребенком. В соответствии с замыслом художника скульптура носит аллегорический характер—это олицетворение Мира. Но аллегоричность сочетается здесь с современностью образа. Мать, простая женщина в большом темном покрывале, нежно склонившаяся к ребенку, напоминает обычные для неореалистических фильмов скорбные фигуры женщин, выделяющихся черным силуэтом на фоне глухих стен, белых домов и оград, залитых ослепительным южным солнцем. Монументальность и торжественность возвышает этот живой образ до аллегории жизни и мира.

На этой же выставке экспонировалась большая картина Армандо Пиццинато «Мир Вьетнаму», прославляющая подвиг героини борьбы за мир Раймонды Дьен, преградившей путь поезду с солдатами и оружием.

Борьба за мир не только входит в круг основных тем передовых художников Италии, но и ложится в основу их творческого кредо и их устремлений, которые прекрасно выразил Эрнесто Треккани в статье «В защиту реализма», где он писал:

Габриеле Мукки. «Портрет сборщицы подписей под Воззванием мира»

Уго Аттарди. «Инвалид»

Габриеле Мукки. «Тревога»

«Мы — демократические художники, которые идут по пути реалистического движения. Мы стремимся научиться смотреть на действительность с точки зрения тех — а их большинство,— кто хочет жизни, а не смерти, мира, а не войны... Поэтому мы активно участвуем в борьбе нашего времени как люди и как художники».

Всех художников этого направления объединяют подлинный гуманизм, гражданский пафос, сознание высокого общественного назначения искусства. Но это единство, разумеется, не исключает богатства и многообразия мотивов, форм и художественных средств отражения действительности «с точки зрения тех, кто хочет жизни, а не смерти, мира, а не войны». Прогрессивные художники Италии каждый по-своему в соответствии с особенностями своего дарования, жанра и художественной манеры развивают тему борьбы за мир в том или ином ее аспекте, и именно потому тема эта приобретает такое широкое наполнение.

Многие итальянские мастера настойчиво возвращаются в своих произведениях к трагическим картинам недавнего прошлого, которые ныне воспринимаются как суровое предостережение. Таков «Инвалид» Уго Аттарди, где крупным планом, в смелом ракурсе изображена фигура безногого калеки. За эту работу талантливый молодой художник получил в 1955 году первую премию на Варшавской международной выставке молодежи и студентов в защиту мира. Такова и «Тревога» Габриеле Мукки, весьма близкая к его циклу «Горла». Голос стонущей сирены рождает ужас. Этот ужас выражают огромные глаза молодой матери. Обезумевшая, растрепанная, босая, она бежит, прижимая к себе полуодетого ребенка. И этот стремительный, отчаянный бег подчеркивается взлетом ее передника и темного платья. Такова и темпера Ренцо Грацини из цикла «В честь Сопротивления», на которой изображен расстрел партизан.

Не менее значительное место в послевоенном изобразительном искусстве Италии занимают произведения, в которых увековечены героические подвиги итальянских патриотов, сражавшихся за освобождение родины от фашистского ига, за торжество демократии и мира,— «Партизаны на Лаго Маджоре», «Пьющий партизан», «Защитникам Пражского моста в 1945 г.» Мукки, «Четыре дня освободительной борьбы в Неаполе» Гуттузо, «Милан пяти дней» Треккани, «Освобождение Венеции» Пиццинато и многие другие. Одним из самых замечательных

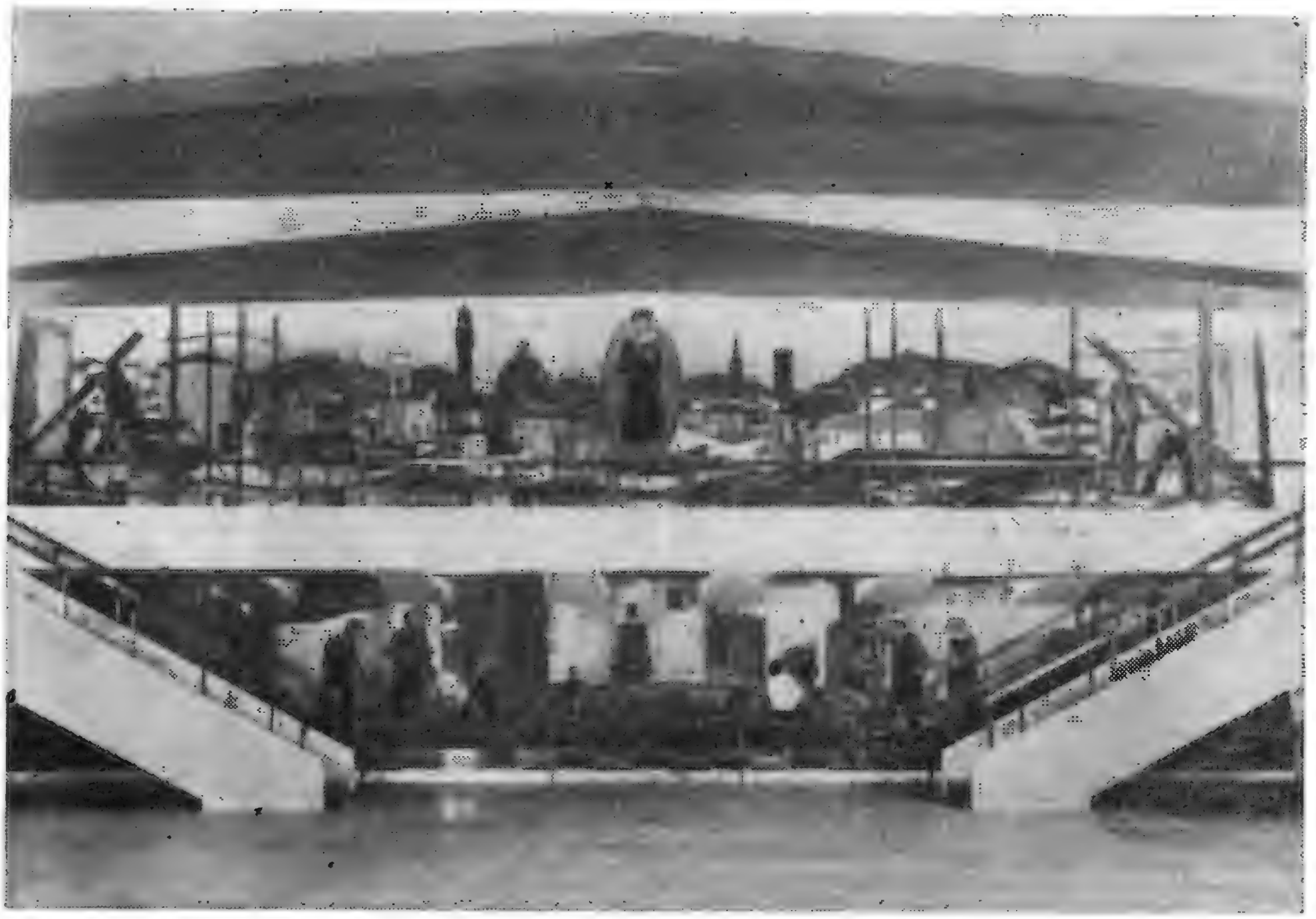
произведений такого рода в скульптуре является выполненный Мадзакурати памятник пармским партизанам, который был справедливо назван в итальянской печати «первым грандиозным монументом итальянскому Сопротивлению». Две фигуры — павшего и вооруженного — воинов объединены утесом, изображающим скалистый берег близ Пилотты — места расстрела пармских партизан. Под уступом лежит расстрелянный, а наверху стоит вооруженный. Расстрелянный изображен в последний момент жестоких страданий. Его сильное тело еще борется со смертью. Естественность движения, выразительность позы, искусство в передаче и сопоставлении фактур придают фигуре необычайную художественную убедительность и впечатляющую силу. Венчающая памятник мощная фигура вооруженного партизана сообщает ему оптимистическую настроенность. Высокая патетика этого монумента соответствует высеченному на камне автографу поэта Джордано Кавестро, самого юного героя пармского Сопротивления:

Свобода своими великими шагами
Пройдет по нашим телам.

Ренато Гуттузо. Неаполитанский мальчик (фрагмент картины «Четыре дня освободительной борьбы в Неаполе»)

Одним из излюбленных мотивов итальянских художников становится строительство, восстановление разрушенных в годы войны городов. Торжество созидания, которое несет с собой мир, над разрушением и варварством, не отделимым от войны,— такова главная идея картин, написанных на такие сюжеты: «Старый и новый Берлин» Мукки, «Пейзаж Милана» Треккани и др. По своему содержанию к этим произведениям станковой живописи примыкает и выполненная Грацини огромная настенная роспись нового здания флорентийской торговой биржи. Силуэты собора, величественных зданий, тосканских холмов создают грандиозную панораму города. В центре фрески — аллегория Флоренции, а по углам и в нижней части — восстановительные работы. Но, пожалуй, самым выдающимся произведением итальянской монументальной живописи последних лет является цикл фресок, написанных Армандо Пиццинато для пармского муниципалитета. Наибольшая и наиболее значительная из них изображает восстановление города Пармы. Строится мост, и с его высоты открывается широкая перспектива города: белые кубы домов, красно-коричневые крыши на фоне голубого неба. Эпическую и оптимистическую тональность фрески создает размах этой панорамы, которая составляет фон для разворачивающейся на переднем плане картины трудового дня.

Марино Мадзакурати. Фрагмент памятника пармским партизанам в Парме



Ренцо Граццини. Фреска в здании торговой биржи во Флоренции.

Все в этой фреске, включая и композицию, подчинено задаче передать темп строительства и пафос созидательного труда.

Широкое отражение в итальянском изобразительном искусстве получило и само движение сторонников мира, в котором итальянские мастера принимают активное участие, говоря словами Треккани, «и как люди, и как художники». Яркий пример тому — Пурификато, который во время Венского конгресса народов в защиту мира в 1952 году, подобно Пикассо, создал эмблему мира — плакат, изображающий юную девушку с голубем в руках. Репродукция с плаката в виде «открыток мира» была распространена в Италии в дни Конгресса. На обороте открытки стояло обращение, заканчивающееся словами: «Сделай, женщина, все, чтобы мир восторжествовал!» Тысячи «открыток мира» с подписями итальянских женщин направлялись в адрес Конгресса.

В 1955 году, к десятой годовщине окончания войны и Дню женщины-матери, Пурификато написал огромное монументальное полотно «Сбор подписей под Воззванием мира». На картине изображен рынок, где вокруг покрытого голубой скатертью стола, который служит основным узлом композиции, теснится толпа женщин, подписывающих Воззвание. Яркие краски и разнообразие тонов — пышные плоды, зеленые, голубые, розовые платья — создают впечатление изобилия, жизненной полноты, мирной радости, которые женщины хотят защитить от посягательств поджигателей войны.

В цикле фресок в Народном доме имени Антонио Грамши в Виньоле (Модена) художник Альдо Боргондзони живописует историю героической борьбы трудящихся его родной Эмилии против войны и фашизма.

Так, на фреске, изображающей манифестацию в защиту мира, представлено бесконечное шествие демонстрантов. Разнообразие типов и образов женщин, рабочих, крестьян, грозно поднятые вверх руки, вертикали знамен, светлый на темном фоне стяг с надписью «Расе» («Мир») передает силу и размах демонстрации. В левой части фрески Пальмиро Тольятти беседует с группой рабочих.

Почетное место среди прогрессивных художников, вдохновляющихся идеями мира и демократии, занимает плеяда замечательных итальянских карикатуристов: Канова, Майорана, Вердини, Скарпелли и других. Даже те немногие примеры,

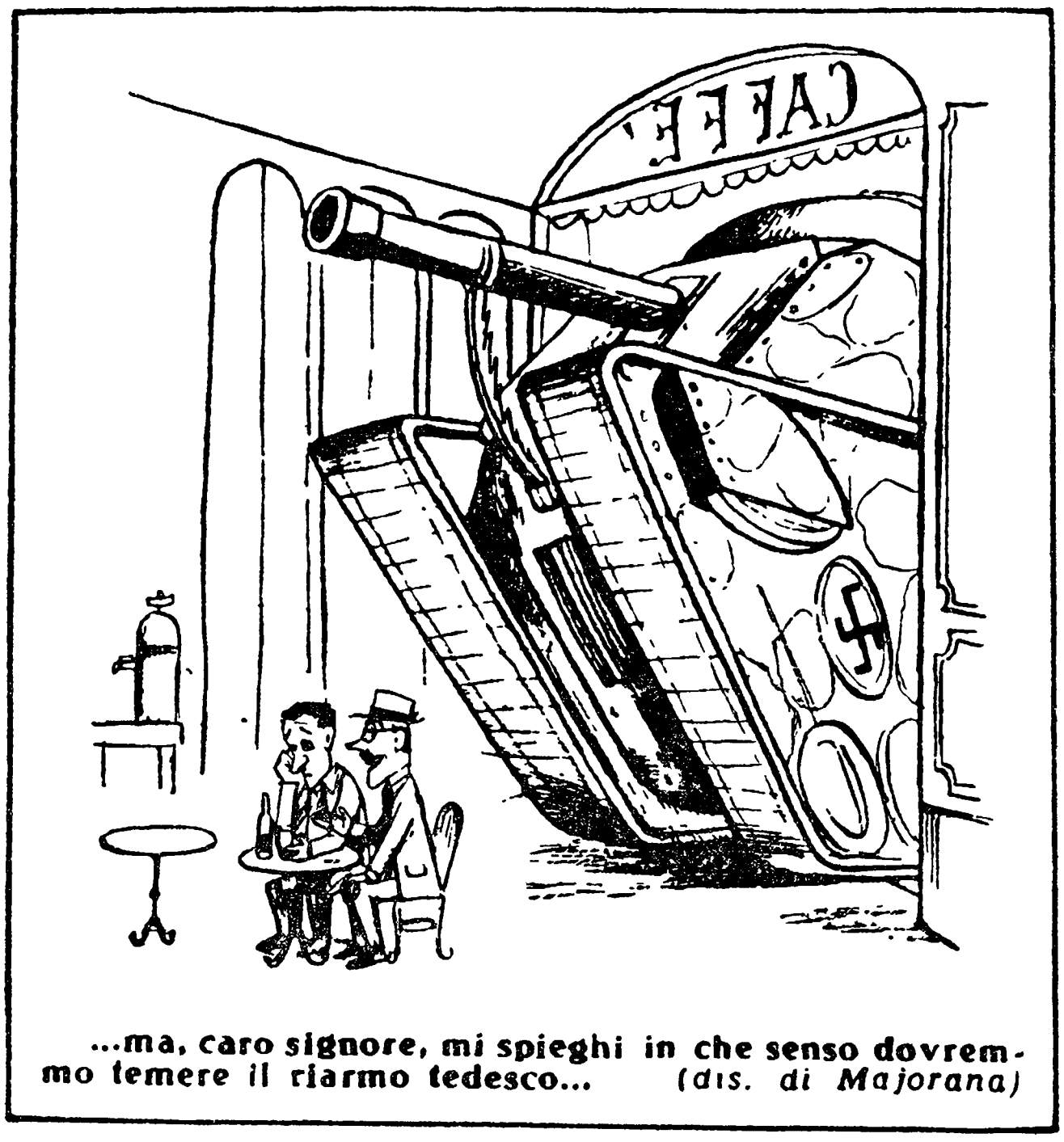
Армандо Пиццинато. Фреска в здании пармского муниципалитета

Альдо Боргондзони. Фреска в Народном доме им Антонио Грамши в Виньоле (Модена)

Габриеле Мукки. «Война III»

Рисунок **Вердини.**

Рисунок **Майорана.**



которыми по необходимости здесь приходится ограничиться, дают представление о политической актуальности, выразительности и остроумии их работ.

В связи с проходившей в Италии в 1955 году кампанией по сбору подписей под Обращением Всемирного Совета Мира, вызвавшей волну манифестаций, митингов. собраний, меткую карикатуру делает художник Канова, мастер динамического, сильного рисунка. Огромное перо, как бы сплавленное из всех перьев, которыми миллионы итальянцев ставили свою подпись под Воззванием мира, перо, олицетворяющее волю народа, пронзает чудовище — водородную бомбу.

А вот карикатура Вердини. На переднем плане рабочий выкапывает неразорвавшуюся бомбу. «Совершенно необходимо устранить опасность, которую представляет это наследие войны»,— говорят два синьора, издали наблюдающие за работой. А в это время за их спиной ведутся другие работы — монтируются атомные ракетные установки.

Об опасности немецкого реваншизма и близорукости тех, кто пренебрегает этой опасностью, напоминает карикатура Майорана. За столиком кафе мирно беседуют два господина. «Но, дорогой синьор, мне непонятно, почему мы должны бояться немецкого перевооружения»,— говорит один из них. А сзади на собеседников надвигается огромный танк с фашистской свастикой на броне.

Даже на последней XXX биеннале 1960 года, устроители которой оказывали явное предпочтение так называемой абстрактной живописи, среди бездушных, формалистических опусов выделялись полотна прогрессивных художников Италии, выступающих в защиту мира. Так, неореалист Джузеппе Дзигаина в двух гротесковых картинах «Генерал в атаке» и «Мертвый генерал» выразил свой страстный протест против апологетики войны. Андженоре Фаббри, колеблющийся между различными направлениями, посвятил бронзовую скульптуру теме ужасов атомной смерти. Молодой, но в последние годы завоевавший большую популярность скульптор Аугусто Перец экспонировал 10 произведений, посвященных Сопротивлению.

«Живопись не может быть причастной к разрушению человеческого рода, к уничтожению земной коры, к раку рек, к белокровию земного шара»,— писал Ренато Гуттузо в своем дневнике в 1960 году. Прогрессивные художники Италии доказывают это всем своим творчеством.

НА ВСЕХ

В Багдаде вышел на арабском языке сборник статей Максима Горького о литературе.

Как информирует журнал «Аль-Адиб», книга издана на средства профсоюза учителей Ирака.

□

По сообщению венгерского еженедельника «Элет эш иродалом», издательством «Ференц Мора» выпущена в свет «Антология советской поэзии». Рецензент еженедельника отмечает: «Советская поэзия настолько глубока и обширна, что в первый том антологии пришлось включить только поэтов старшего поколения»

Том открывается произведениями Максима Горького «Песня о Буревестнике» и «Девушка и смерть». В книгу включены произведения Александра Блока, Валерия Брюсова, Сергея Есенина, Эдуарда Багрицкого, Демьяна Бедного, Ильи Сельвинского и Степана Щипачева. Большое место отведено поэзии Владимира Маяковского.

«Задача, которую преследовали составители антологии,— познакомить широкие круги венгерских читателей с лучшими представителями советской поэзии,— несомненно, выполнена»,— подчеркивается в статье, опубликованной еженедельником «Элет эш иродалом».

□

Издательство «Нейес лебен» (ГДР) выпустило новое издание романа Николая Островского «Как закалялась сталь» в переводе на немецкий язык Эрнста Дорнхофа с иллюстрациями художника Курта Циммермана.

Книга вышла к 15-летию издательства, которое выпускало роман двадцать раз общим тиражом 395 тысяч экземпляров. В сообщении, напечатанном газетой «Нейес Дейчланд», отмечается, что «это — самый крупный успех какой либо книги в Германской Демократической Республике».

□

В издательстве «Чехословацкий писатель» вышел сборник «Десять русских повестей и рассказов XX века».

В сборник, в частности, вошли произведения М. Горького, А. Серафимовича, А. Толстого, М. Шолохова, К. Федина, К. Паустовского. Смысловым стержнем сборника, по мнению чешской критики, является «Судьба человека» М. Шолохова: «Человек сам взял судьбу в свои руки, пронес ее через самые тяжелые испытания и понесет дальше».

Для романа «Молодая гвардия» Александра Фадеева, изданного в Румынии обложку сделал художник Жюль Перахим.

«Десять повестей сборника,— пишет рецензент журнала «Хост до дому»,— дают нам образ советского человека, показывают его руки, сердце и мысли, которые им владеют».

□

Роман Константина Симонова «Живые и мертвые» выпущен издательством министерства национальной обороны Польши.

Адам Климович отмечает в журнале «Нове ксенжки», что «Живые и мертвые» написаны более сдержанно, чем «Дни и ночи». Краски присущие писателю, остались, а светотени углубились. Война запечатлелась

в памяти писателя не как рыцарский эпизод, а прежде всего как время великого испытания, которому подверглись все люди поодиночке и общество в целом. Первую часть книги Симонова, в которой описываются временные неудачи советских войск в начале войны, рецензент сравнивает с военной прозой Путрамента и Жукровского. Это проза, сознательно следующая образцам литературы XIX века, прежде всего Толстому: большая панорамная картина, которая радует глаз то выразительностью деталей и портретов отдельных людей в бою, то широтой массовых батальных сцен — когда мы можем наблюдать действия отдельных солдат, небольших воинских подразделений, полков, дивизий и армий. Симонов умеет представить фронтовые сцены и людей на фронте совершенно лишенными жесткости и жестокости и в то же время очень правдивыми... Это действительно книга для всех».

□

«Исповедью сильного сердца, которое переплавило в себе эпоху и светится ее красным светом», называет чешская критика автобиографическую повесть Ольги Берггольц «Дневные звезды».

Вышедшая в издательстве «Чехословацкий писатель» в переводе А. Новаковой книга О. Берггольц сразу же завоевала симпатии и любовь чешского читателя. Характерной чертой повести критика считает ее поэтичность: ведь недаром автор произведения говорит, что «поэзия — это сила более мощная, чем атомная бомба». «По своей поэтичности и философскому смыслу повесть, безусловно, принадлежит к лучшим книгам советской послевоенной прозы, а для О. Берггольц является шагом на пути к новым творческим успехам»,— пишет чешский литературовед Р. Паролек в еженедельнике «Литерарни новины».

□

Парижское издательство Галлимар выпустило на французском языке роман Мухтара Ауэзова «Юность Абая». Книга, как сообщает газета «Юманите», вышла в серии «Советская литература».

□

Роман Леонида Соболева «Капитальный ремонт» выпущен издательством «Эдитер франсе реюни».

□

Вьетнамская печать сообщает о выходе в свет переведенных на вьетнамский язык «Бури» И. Эренбурга и «Поэмы о море» Александра Довженко.

□

В связи с двадцатипятилетием со дня начала борьбы за свободу Испанской республики итальянское издательство «Шварц», по сообщению газеты «Унита», выпустило «Испанский дневник» Михаила Кольцова.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АЛБАНИЯ

СЛОВАРЬ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Газета «Зери и популлит» сообщает, что группа научных сотрудников Тиранского университета закончила подготовку к печати словаря современного албанского литературного языка.

Этот словарь явится первым большим трудом подобного рода. В конце XIX века патриот-просветитель Кристофориди создал словарь в 12 тысяч слов. В 1954 году был выпущеи толковый словарь на 20 тысяч слов. Теперь же подготовлен фундаментальный труд на 60 тысяч слов. Работа над ним началась в 1958 году. Сотрудники университета участвовали в 19 экспедициях по стране для изучения новой лексики, укоренившейся в народе. Основная работа шла по изучению словарного богатства новой литературы.

Первый том четырехтомного словаря выйдет в 1962 году.

АЛЖИР

БУДУТ КНИГИ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ!

Известный алжирский писатель Малек Хаддад был приглашен посетить Сирию и прочесть в Дамаске, Халебе и Латакии лекции об алжирской литературе и проблеме литературного языка в Алжире, где писатели, как известно, в большинстве своем пишут по-французски.

По сообщению журнала «Аль-Адиб», Малек Хаддад заявил: «Когда мы добьемся независимости, то будем учить арабскому языку сыновей Алжира. Я постоянно испытывал и продолжаю испытывать сейчас тоску по читателям, которые читали бы меня на моем родном языке».

АНГЛИЯ

«ИДТИ В НОГУ С ШИРОКИМИ МАССАМИ»

Английский журнал «Студио» опубликовал статью писателя Колина Уилсона о роли искусства в развитии современной цивилизации.

Колин Уилсон высказывает сожаление по поводу неправильной позиции, занимаемой кое-кем на Западе в вопросе отношения к советскому искусству. «Из-за того что советское изобразительное искусство реалистично,— пишет Уилсон,— оттого, что советская музыка понятна широким массам, мы часто думаем, что они не отличаются высокими качествами. Но это вовсе не так. Видимо, руководители Советского Союза считают, что искусство действительно может играть большую роль в современном обществе. Я не думаю, что они заблуждаются. Во всяком случае, нет никаких доказательств, что творчеству какого-нибудь советского музыканта был нанесеи ущерб. Этого не произошло ни с Прокофьевым, ни с Шостаковичем. Я полагаю, что позиция Советского Союза может оказаться значительно более благоприятной для гениальных людей, чем наша запутанность в психоаналитических и абстрактных дебрях. Лично я не люблю абстрактное искусство и не раз об этом говорил».

Уилсон подчеркнул, что искусство должно питаться жизненными соками в ши-

Кройдонский театр Пемброук, как уже нами сообщалось (см. «Иностранную литературу» № 8, 1961 г.), поставил спектакль по роману Максима Горького «Мать». На снимке: Артисты Рут Даннинг и Дэвид Макколам в одной из сцен спектакля.

(Журнал «Тиэтр уорлд»)

роких народных массах. Далее он пишет: «Может случиться, что если западная цивилизация выживет и когда-нибудь начнется «золотой век», нашим художникам придется мобилизовать все свон усилия, чтобы идти в ногу с широкими массами».

ЗА ЧТО КРИТИКУЮТ ФРЭНКА ХАРДИ

Австралийского писателя Фрэнка Харди советский читатель хорошо знает по его роману «Власть без славы». За этот роман, в котором писатель нарисовал яркую разоблачительную картину коррупции и власти денег в Австралии, Харди подвергся в свое время тюремному заключению.

Ныне в Англии издана его книга «Трудный путь», раскрывающая подоплеку судебного процесса, начатого против писателя прототипами персонажей его романа «Власть без славы».

Английский еженедельник «Таймс литерари саппл-мент» не скрывает недовольства тем, что Харди своими книгами «скомпрометировал» лейбористскую партию Австралии, показав глубину коррупции в ее рядах. Рецензент даже выражает сожаление по поводу того, что писатель «не проявил больше терпения» и не создал произведения, посвященного лейбористской партии, по примеру апологетической книги Гордона Чайлдса «Как лейбористы управляют».

Далее автор статьи в еженедельнике заявляет, что по существу Харди не должен был так компрометировать Рэна — крупного босса лейбористской партии, тесно связанного с преступным миром, прототипа Джона Уэста, так как к моменту выхода «Власти без славы» Рэну было за восемьдесят лет, и он уже якобы «не имел влияния». А поскольку процесс против писателя, описанный в романе «Трудный путь», начал не Рэн, а его жена, да и то лишь в связи с тем, что в романе говорится о ее неверности мужу, «следовало бы пощадить репутацию старой дамы», ханжески упрекает писателя рецензент.

Больше всего автор статьи обеспокоен тем, что новая книга Харди будет воспринята английскими читателями как правильное отражение политической панорамы в Австралии и что они сделают неизбежные выводы о роли некоторых лидеров лейбористской партии и в самой Англии. Очевидно, поэтому лондонское издание «Трудного пути» и сопровождается многословными предупреждениями «Таймс литерари саппл-мент».

Известная английская актриса Пэтрик Кэмпбелл была первой исполнительницей роли Элизы Дулиттл в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Ее творческой деятельности посвящена недавно вышедшая монография Алана Дэнта. Из этой книги воспроизводим здесь карикатуру Макса Бирбома. Художник показал г-жу Кэмпбелл такой, какой она представлялась Бернарду Шоу, а выдающегося писателя — таким, каким он казался актрисе

(Еженедельник «Санди таймс»)

БОЛГАРИЯ

ВЕЛА БЛАГОЕВА И И. С. ТУРГЕНЕВ

Еженедельник «Литературен фронт» отмечает сороковую годовщину со дня смерти писательницы Велы Благоевой, первой болгарской женщины-марксистки, зачинательницы женского коммунистического движения в Болгарии.

Вела Благоева оставила после себя большое количество произведений. Последние годы жизни она сотрудничала в журнале «Червен смях» и за четыре дня до смерти опубликовала там свое последнее стихотворение.

В 80-х годах Благоева училась в Петербурге на историко - филологическом отделении Бестужевских курсов, где ее сокурсницей была А. И. Ульянова — сестра В. И. Ленина. Большую роль в формировании литературных интересов Благоевой сыграли ее встречи с И. С. Тургеневым.

«...Для нас, болгар, он оставил еще одно завещание, которое я хочу передать вам, дорогие соотечественники! — писала Благоева в своих воспоминаниях.— Да, Иван Сергеевич оставил нам особое завещание, потому что принимал живейшее участие в судьбе болгар. Что его действительно интересовало наше возрождение, я убедилась, когда имела случай побеседовать с писателем зимой 1879 года. Он с особенным любопытством расспрашивал меня о нашей литературе и нашем языке, о нашем старом поэте Славейкове и о многих других известных ему молодых болгарских интеллигентах; между прочим, Иван Сергеевич мне сообщил, что Инсаров не вымышленная личность: герой романа «Накануне» — один из знакомых ему по Москве болгар, он нарисован таким, каким был, нисколько не идеализирован, не приукрашен. Иван Сергеевич расспрашивал меня, много ли таких патриотов у нас...»

Вела Благоева перевела на болгарский язык роман «Отцы и дети». И. С. Тургенев, как сообщает «Литературен фронт», писал ей тогда: «Я надеюсь, что труд Ваш будет оценен Вашими соотечественниками

и послужит одним из звеньев той связи, которая должна установиться между Болгарией и нами».

«ВЕТКИ СОСНЫ НЕ ГНУТСЯ»

Пловдивский народный театр поставил пьесу К. Странджева «Ветки сосны не гнутся». Как сообщает журнал «Пламк», пьеса вызвала живой интерес и горячее обсуждение «не только потому, что театр проявил смелость, выпустив на подмостки драму совсем неизвестного автора, и не потому, что автор — непосредственный участник строительства, о котором пишет. Главное, что толкает на размышления, — это откровенность первого произведения Кости Странджева».

«Герои Странджева, — пишет журнал, — не плод воображения. Они приходят на стройку со всеми своими недостатками, с эгоизмом, с мечтами, каждый со своей молчаливой человеческой трагедией. Здесь и бывший монах, и бывший частник, и бывший студент, и бывший моряк... и, несмотря на это, они не «бывшие люди», а настоящие, истинные строители, кроме прошлого имеющие и будущее».

ВЬЕТНАМ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ АНТОЛОГИИ

Издательство «Ван Хок» выпустило в свет две антологии — «Избранные прозаические произведения вьетнамских писателей с 1945 по 1960 год» (том I) и «Избранные стихи вьетнамских поэтов» за тот же период.

Произведения, включенные в сборники, созданы как писателями старшего поколения, так и теми, кто вошел в литературу в годы народной власти.

По оценке вьетнамской печати, обе антологии ярко отражают борьбу народа за свою свободу, его стремление к воссоединению со своими братьями из Южного Вьетнама, а также мирное строительство, развернувшееся в Демократической Республике Вьетнам, желание вьетнамцев жить в мире и дружбе со всеми народами.

ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ

В городе Тай Нгуен, административном центре автономного национального округа Вьетбак, состоялся первый съезд местных писателей и художников.

В целях дальнейшего развития литературы и искусства национальных меньшинств, проживающих в этом районе, на съезде было решено создать в округе местные отделения Союза писателей и Ассоциации художников Вьетнама.

Вновь созданные организации совместно с местным издательством ставят своей первоочередной задачей собирание и изучение устного народного творчества национальных меньшинств Вьетнама.

ГАНА

АНТИВОЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Труппа драматического общества университетского колледжа Ганы поставила известную советскому читателю комедию французского драматурга Жана Жироду «Троянской войны не будет», переведенную на английский язык Кристофером Фраем под названием «Враг у ворот».

Спектакль нашел отклик в сердцах африканцев, оказавшись созвучным неуклонному стремлению народов Ганы и других стран Африки жить в мире и дружбе со своими соседями. Ганская газета «Дейли грэфик» высоко оценивает игру артистов труппы, сумевших ярко передать антивоенную направленность комедии.

Сцена из спектакля «Ветки сосны не гнутся».
(Журнал «Театр»)

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

«ОДОБРЯЕМ И ПОДДЕРЖИВАЕМ...»

Мероприятия правительства ГДР по укреплению безопасности границ с Западным Берлином встретили единодушную поддержку деятелей культуры республики. На страницах газет и

журналов, в коллективных письмах, на массовых митингах деятели культуры, в частности режиссеры Курт Метциг и Эрих Энгель, дирижер Франц Конвичный, скульптор Фриц Кремер, композитор Ганс Эйслер, многие известные писатели высказали свое одобрение своевременному решению правительства ГДР.

«Одобряем и поддерживаем мероприятия правительства, преследующие цель дать нашему народу мирный договор»,— заявляют в своем письме киноартисты Гюнтер Симон, Гарри Хиндемит, Ганс-Петер Минетти и другие.

«Несколько месяцев, — сказал Людвиг Ренн,— слышим мы, как из Западной Германии доносятся требования об изменении границ, то есть о новом порабощении польских земель, так называемой Судетской области и прежде всего ГДР... Новые мероприятия нашего правительства захлопнули дверь перед самым носом реваншистов!»

Молодой писатель Дитер Ноль предостерегает: «Кто позволяет убаюкать себя гибельной иллюзией, будто можно оставаться в стороне от событий и жить в покое, тот оказывает умышленную помощь тем, кто вооружается для нового военного похода. Недостаточно быть лишь в общем «против», недостаточно время от времени «не хотеть войны». Время требует действенного участия».

Выступая перед берлинцами — бойцами боевых дружин, писатель Отто Готше заявил, что реакционеров и милитаристов встретит прочная стена народного сопротивления.

«Кто желает мира, тот должен желать и мирного договора! — пишет Эрвин Штриттматтер в газете «Дер морген».— Кто борется за мир, тот должен бороться и за мирный договор!»

Драматург Гедда Циннер заявила: «Взломщики и иные уголовники ни в чем не видят такой угрозы своему существованию, как в действенных предохранительных замках. Поэтому я от всего сердца приветствую меры предосторожности, принятые нашим суверенным государством».

Кинорежиссер Конрад Вольф отметил: «Тем, кто недоуменно спрашивает, место ли художнику в боевой дружине, следует сказать, что здесь нет противоречия. Мы должны быть одновременно и художниками, и бойцами...»

Писатель Бодо Узе, возвратившийся из поездки на Кубу, заявил: «О сохранении мира для мира идет речь повсюду — не только на Кубе, но и на улицах Берлина... Мероприятия, испортившие игру сторонникам «холодной войны» и тем самым ослабившие опасность войны, будут, конечно, поняты во всех частях земного шара...»

Писатель Ганс Мархвица был среди первых, кто на страницах газеты «Нейес Дейчланд» высказался в поддержку решения Советского правительства о возобновлении испытаний атомного оружия. Указав на значение мер предосторожности, принятых правительством ГДР к огромному недовольству спекулянтов и диверсантов, писатель продолжает: «Естественно, они негодуют и после недвусмысленного заявления правительства Советского Союза о возобновлении ядерных испытаний. А эти мероприятия объявляют взбешенному врагу: если вы рискнете пойти войной, то вы уж никуда не спрячетесь, не найдете на земле места, где бы не достало наше оружие!.. Кто нарушит мир, будет уничтожен!»

«Очистить Берлин!» — гласит надпись на плакате, отмеченном премией министерства культуры ГДР.
(Газета «Берлинер цейтунг»)

НОВАЯ КНИГА ЛЮДВИГА РЕННА

«Высокое художественное мастерство, скупое и вместе с тем выразительное изображение среды, четкие рисунки образов героев, яркие сцены Ноябрьской революции — вот что характерно для новой книги Людвига Ренна «На обломках кайзеровского рейха», — пишет газета «Нейес Дейчланд».

В беседе с корреспондентом газеты о своем новом произведении Людвиг Ренн сказал: «Ноябрьская революция достаточно освещена в нашей марксистской науке, но нашей молодежи нужно и художественное изображение этой исторической пробы сил немецкого пролетариата. Устранить данный пробел и было целью моей многолетней работы над книгой...»

Автор рассказывает молодым немцам, как сорок три года назад их отцы сражались против кайзера, против монополистического империализма, против предательства социал-демократии и контрреволюции.

«Новое произведение Людвига Ренна должно стать настольной книгой не только для юношества, но и для многих взрослых читателей, потому что в ней глубоко и объективно показано значение Ноябрьской революции 1918 года для немецкого народа»,— пишет газета «Нейес Дейчланд».

«ЗА КОНЦОМ МИРА»

Имя Вернера Штейнберга стало известно читателям в ГДР лишь пять лет назад,

когда он покинул Западную Германию и поселился в государстве, строящем социализм. В творчестве писателя западногерманская тема, естественно, заняла видное место. Ей посвящено и новое произведение Штейнберга — роман «За концом мира», выпущенный издательством «Ферлаг дер национ» (ГДР).

Автор раскрывает картину страны хваленого «экономического чуда», тщательно скрытую за ярким неоновым фасадом. Действие происходит в старом замке, превращенном на общественные пожертвования в лечебницу для туберкулезных больных.

И хотя автор, по словам рецензента газеты «Берлинер цейтунг», не выходит за рамки столь ограниченного места действия, книга богато насыщена конфликтами и читается с неослабевающим интересом. Замок становится форумом протеста пациентов и врачей.

Газета «Берлинер цейтунг» подчеркивает актуальность нового произведения Штейнберга. В нем убедительно показана мрачная атмосфера в ФРГ. «Этот новый роман,— пишет газета,— одно из самых сильных произведений Штейнберга».

Этот портрет Томаса Манна выполнил художник Ханфрид Шульц (гравюра на дереве).

(Журнал «Кунстерцицунг»)

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ПОСТЫДНОЕ РЕШЕНИЕ

Несколько строк, появившихся в западноберлинском бюллетене книготорговли и подписанных крупным франкфуртским издательством «С. Фишер-ферлаг», окончательно подорвали прежнюю репутацию, которой оно пользовалось среди многих читателей.

Не так давно издательство вознамерилось познакомить западногерманских читателей со значительным произведением современного писателя «другой части Германии» — известным романом Эрвина Штриттматтера «Чудодей». Но вдруг издатели отказались от своего намерения. «Перед лицом событий в Восточном Берлине мы пришли к решению не выпускать роман Эрвина Штриттматтера, первого секретаря Союза писателей советской зоны». В заявлении указана дата 13 августа 1961 года — тот день, когда правительство ГДР приняло решительные меры к пресечению провокаций из Западного Берлина.

Старое германское издательство, гордящееся своими традициями и тем, что его автором был Томас Манн, предало гуманизм. «Оно решило замолчать одно из самых действенных произведений послевоенной немецкой литературы по той лишь причине, что его автор, как социалист, с гордостью заявляет о верности своему государству»,— отмечает газета «Дер морген».

Постыдное решение издательства свидетельствует о том, что западногерманские издатели Томаса Манна позабыли предостережение великого немецкого писателя, говорившего об антикоммунизме как о главной глупости нашей эпохи.

ПОЧЕМУ БЕЖАЛ ПИСАТЕЛЬ КРАУЗЕ

Из города Гельзенкирхена (ФРГ), как сообщает печать, был вынужден эмигрировать во Францию молодой католический писатель Йозеф П. Краузе. Причиной его бегства послужили обыски, конфискация почты и другие репрессии, которым подвергался Краузе со стороны западногерманских полицейских и судебных властей. Особое внимание этих органов Краузе привлек потому, что в течение нескольких лет вел борьбу против принятых на службу в боннский судейский аппарат бывших чиновников гитлеровского «рейха». Краузе внес 80 (восемьдесят!) предложений о наказании бывших нацистских судей.

Применяя различные махинации в истинно нацистском стиле, боннские судьи использовали эти документы для привлечения к судебной ответственности многих честных демократов и простых людей, попытавшихся выступить с протестом против провокаций бывших гитлеровцев. Сам Йозеф П. Краузе избежал ареста, лишь своевременно покинув ФРГ.

В своих двух публичных заявлениях Йозеф П. Краузе сказал, что и дальше будет бороться против несправедливости и бесчеловечности, за свободу и за мир — до тех пор, пока не исчезнет кровавое наследие гитлеровского прошлого и его тень в боннском государстве.

ИНДИЯ

НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ

Молодой индийский драматург Азиф Курримбхой опубликовал в Бомбее две пьесы — «Мекка туристов» и «Часы». По словам критика

индийского еженедельника «Блиц», произведения Курримбхоя «заслуживают внимания уже потому, что знакомят со столь редким явлением, как современная индийская пьеса на современную тему».

В пьесе «Мекка туристов» молодой автор смело разоблачает предприимчивых «дельцов от культуры», которые пытались использовать в спекулятивных целях культурные сокровища индийского народа, превращая город Агру, где находится знаменитая «жемчужина Индии» — Тадж Махал, в место скандальных развлечений для иностранных туристов.

«Мы надеемся увидеть эту острую и смелую пьесу на индийской сцене»,— пишет рецензент.

КТО ЧИТАЕТ

Журнал «Хинду ревью» опубликовал статью о читателях в Индии, когда-то стране почти сплошной неграмотности. Приведенные журналом данные специальной комиссии по изучению интереса к чтению свидетельствуют о больших сдвигах в стране и тяге народных масс к книге, к знаниям.

40 процентов семейств, живущих в деревне, читает книги, в городах — 61 процент семейств. Наибольшее количество читателей среди тех, для кого родными являются языки бенгали и малайалам. Число грамотных в деревнях и городах одинаково — 71 процент населения.

Из всех жанров читатели оказывают предпочтение роману. Характерно, что количество любителей религиозного чтения уменьшается, особенно среди городского населения.

Известный индийский режиссер Х. Ахмад Аббас вместе с поэтом Сардаром Джафри поставил фильм «Двенадцать тысяч девушек» по рассказу последнего Главные роли исполняют молодая актриса Мала Синха и актер Бхарат Бхушан, знакомый советскому зрителю по фильму «Байджу Бавра» На снимке Артистку Мала Синха украшают на премьере фильма традиционной гирляндой цветов.

(Журнал «Филмфэр»)

ИОРДАНИЯ

«В ТЕМНЫХ РАКОВИНАХ»

Ливанский журнал «Аль-Адиб» опубликовал письмо иорданского литератора Рады Саддука, в котором он рассказывает о тяжелом положении литературы и писателей своей страны.

В пятидесятых годах в Иордании, пишет Р. Саддук, появилась плеяда талантливых молодых поэтов и прозаиков, создавших правдивые, патриотические произведения, отмеченные энергией и оптимизмом, поисками новых поэтических форм.

К числу видных литераторов Иордании Саддук относит, в частности, Хазифа Тукана, Мухаммеда аль-Амири, Фаиза Абд аль-Маджида, Федву Тукан, Иса ан-Наури, Кемаля Насера, Халифа Насра, Халиля Зактана.

Однако эти писатели, по выражению Саддука, живут, как «улитки в темных раковинах», почти в полной изоляции от своих коллег в других арабских странах.

В Иордании не существует ни одной писательской организации, не выходит ни одного литературного журнала.

Правителям этой страны, рекламируемой на Западе, как «бастион свободы на Арабском Востоке», нет дела до литературы и культуры своей родины.

ИРАК

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБ АР-РУСАФИ

Литературное наследие Мааруфа ар-Русафи (1875—1945), крупнейшего арабского поэта современности, усиленно изучается на родине поэта — в Ираке.

«Гуманизм поэзии ар-Русафи» — одна из последних работ о творчестве поэта. Она написана видным иракским литературоведом Абд аль-Ваххабом ас-Саллумом.

В рецензии на книгу, помещенной в журнале «Аль-Адиб», говорится, что автор сумел глубоко раскрыть гуманизм в творчестве поэта.

ИСПАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР «КОНТЕМПОРАНЕО»

Один из последних номеров прогрессивного итальянского журнала «Контемпора-

нео» посвящен 25 годовщине начала войны за свободу Испанской республики. В номере журнала, насчитывающем более 300 страниц, дается широкая панорама литературно-общественной жизни той Испании, которая борется против франкистской диктатуры.

О современной испанской художественной прозе рассказывает статья Розы Росси, театре — статья Ф. Ольмоса Гарсиа, кино — А. Роблеса, изобразительном искусстве — Х. Х. Хименеса, о засилье цензуры — статья Хосе Бергамина.

Помимо статей и обзоров, в номере опубликована большая подборка стихов современных испанских поэтов, в частности стихи живущего в Аргентине Рафаэля Альберти, а также два отрывка из неизвестных произведений Армандо Лопеса Салинаса.

О героической борьбе испанского народа против фашистских мятежников и агрессоров вспоминают в своих статьях Пальмиро Тольятти, Луиджи Лонго и Сантьяго Каррильо. В журнале опубликованы также отрывки из «Испанского дневника» Михаила Кольцова и воспоминания бывших бойцов интернациональных бригад, ныне руководящих работников Итальянской коммунистической партии Джулиано Пайетта и Витторио Видали.

Молодой прогрессивный режиссер Элио Петри, ранее выступавший в качестве сценариста и журналиста (его репортаж лег в основу сценария известной кинокартины «Рим в 11 часов»), поставил фильм «Убийца», затрагивающий острые социальные вопросы, показывающий механизм буржуазного правосудия. Главную роль в этом фильме, идущем с большим успехом в Италии, исполняет артист Марчелло Мастройянни (в центре снимка).

(Газета «Унита»)

ИТАЛИЯ

НОВЫЙ СКАНДАЛ В РЕДАКЦИИ «ФИЕРА ЛЕТТЕРАРИА»

Группа видных деятелей итальянской культуры обратилась в Национальный синдикат и Европейское сообщество писателей, а также в редакции газет с письмом, в котором разоблачаются безобразные нравы за ширмами литературной жизни Италии. Среди подписавших этот горячий протест — Гвидо Пьовене, Джанкарло Вигорелли, Джузеппе Унгаретти, Гоффредо Беллончи и много других известных писателей и критиков. Они выступили в связи со скандальной историей, вновь приковавшей всеобщее внимание к еженедельнику «Фиера летерариа».

Всего лишь несколько месяцев назад пять постоянных сотрудников этого еженедельника были вынуждены покинуть редакцию, поскольку «новые установки журнала несовместимы с их моральным и политическим достоинством». Речь шла о скандальном факте, известном читателям «Иностранной литературы»,— публикации на страницах «Фиеры» статьи румынского фашиста Винтилы Хориа.

Что же произошло сейчас? Много лет «Фиера летерариа» редактировал Винченцо Кардарелли, известный поэт старшего поколения. Заместителем его был плодовитый католический драматург Диего Фаббри. После смерти Кардарелли Диего Фаббри прочно уселся в опустевшее редакторское кресло. Вскоре обозначилась «новая эра»: журнал начал явно отходить от прежних, хотя и умеренных, но все же демократических и антифашистских позиций. Это проявилось во многом, скандал с публикацией статьи Хориа просто переполнил чашу терпения группы сотрудников, и они решили покинуть журнал. После их ухода реакционная струя стала еще более очевидной.

И вот теперь на первой странице еженедельника напечатана статья некоего Гаэтано Арканджели, который не придумал ничего лучшего, как облить грязью память Кардарелли. Злобно обрушился он на покойного, отрицая его талант, эрудицию, литературный вкус. С непостижимым цинизмом Арканджели раскрывает свои карты: оказывается, в свое время Кардарелли иронически отозвался о какой-то писанине Арканджели. Теперь Арканджели решил свести счеты с покойным.

Однако дело не в Арканджели. В конце концов, это — третьесортная фигура, мелкотравчатый литератор, не играющий никакой роли в культурной жизни страны. Авторы протеста совершенно справедливо пишут: «Мы не обратили бы внимания ни на статью, ни на ее автора, ни на орган, где она помеще-

на, если бы «Фиера летература» не возглавлялась много лет тем самым Кардарелли, которого теперешний редактор Диего Фаббри позволяет так вульгарно оскорблять».

С негодованием пишут авторы протеста о позорных нравах, при которых возможны оскорбления и диффамация, требуя покончить с такими явлениями «во имя достоинства литературного коллектива и каждого отдельного писателя».

«МИСТИФИКАЦИЯ»

Недавно два итальянских литератора — Карло Делла Корте и Алчиде Паолине — выпустили в свет любопытную книгу, озаглавленную «Мистификация». Это своеобразное исследование об итальянских графоманах.

В распоряжении авторов находился богатейший фактический материал: рукописи, которые бесконечным потоком идут в издательства и в жюри всевозможных литературных премий. Общая картина тяжелая: мелкие чувства и интересы, полное отсутствие писательской культуры. В книге Делла Корте и Паолине приведены подробные и обильные цитаты; в подавляющем большинстве случаев это безвкусные, мелодраматические стихи и еще худшая проза, свидетельствующие о невероятном убожестве вкусов авторов. Именно так охарактеризовал известный прогрессивный публицист Джанкарло Ферретти всю эту псевдолитературу.

Есть еще один момент, пишет газета «Унита». Как известно, в Италии существует целая индустрия премий, вокруг присуждения которых разыгрывается форменный ажиотаж. Множество дельцов кормится в аппарате жюри, «работает» с потоком заведомо непригодных рукописей, раздувая графоманию. Само появление подобного исследования говорит о размерах бедствия...

КИТАЙ

ТЕМА И ЖИЗНЬ

Свободен ли автор в выборе тем, должен ли он участвовать в политической борьбе? Что означает большая тема, и правильно ли сводить ее к текущим событиям, к хронике жизни? Эти вопросы были подняты на страницах журнала «Вэньи бао». В ходе дискуссии со статьями выступили виднейшие драматурги Китая Тянь Хань, Ся Янь, Лао Шэ.

Определять партийным руководством основные пути развития литературы, по мнению Ся Яня, значит направлять внимание писателей на большие вопросы современности, не оставлять в тени ни одну из сторон жизни, вдохновлять писателей на создание произведений, нужных народу, при этом не принуждая писать о вещах незнакомых либо о том, что им не под силу, не по душе. «Нельзя заставить сладкоежек из Сучжоу,— говорит он,— полюбить наперченную кухню жителей Сычуани».

Избранная тема должна отвечать жизненному опыту писателя. «Пьеса «Ударная молодежная бригада»,— признается Лао Шэ,— мне не удалась. Тема важная, но в этой области я не силен, всего несколько раз был на производстве». Писатель должен выбирать темы, близкие его манере письма, выстраданные им. «Мне не написать пьесу, изображающую острые коллизии, потому что по природе я человек не драчливый,— шутливо заявляет он,— мне больше по душе писать о вещах смешных, занимательных. Я люблю смех, а он несовместим с трагедией».

Неправильно утверждение, что «в большой теме — половина успеха произведения», секрет успеха в мировоззрении, мастерстве, таланте писателя, пишет старейший драматург Тянь Хань. Он выступает против пренебрежительного отношения к историческим пьесам, якобы стоящим в стороне от больших тем.

Исторические пьесы всегда пользовались большой популярностью в Китае, по ним простой народ узнавал историю своей родины. «В истории много поучительного,— говорит Тянь Хань,— она учит понимать настоящее, строить будущее». К сожалению, молодежь плохо знает историю, и задачу драматургов Тянь Хань видит в создании волнующих образов исторических героев, в использовании богатейшего материала, который дает четырехтысячелетняя история китайского народа.

Участники дискуссии начали серьезный разговор о необходимости расширения тематики, о многообразии жанров, стилей, форм в литературе.

КУБА

КОНГРЕСС ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

В работах первого конгресса писателей и деятелей искусств Кубы, проведенного в Гаване, приняло участие свыше 600 делегатов — выдающихся деятелей кубинской культуры и иностранных гостей. В числе последних находились немецкие писатели Людвиг Ренн и Эрих Арендт, чешский писатель Ян Дрда, английский писатель Седрик Белфрейдж, мексиканский писатель Хосе Ревуэльтас, мексиканские художники Хавьер Герреро и Хосе Чавес Морадо, гаитянский поэт Рене Депестр.

На открытии конгресса присутствовали президент республики Освальдо Дортикос Торрадо, министр просвещения Армандо Харт, министр иностранных дел Рауль Роа.

Вступительная речь избранного председательствующим на конгрессе поэта Николаса Гильена была посвящена памяти великого поэта Испании Федерико Гарсиа Лорки, рас-

стрелянного фашистами 25 лет назад, а также памяти двух других испанских поэтов — жертв фашизма Антонио Мачадо и Мигеля Эрнандеса.

Президент республики Дортикос приветствовал делегатов и гостей конгресса от имени кубинского правительства. Он рассказал о важнейших мероприятиях правительства в области культуры и искусства. Указав, что кубинские писатели и художники еще не создали произведений, вполне достойных кубинской революции, Дортикос призвал деятелей культуры всемерно крепить связь с народом.

Выступивший с докладом Николас Гильен подробно осветил историю формирования национальной кубинской культуры, показал, какие неисчерпаемые перспективы открыла революция перед деятелями культуры, отметив задачи, которые стоят сегодня перед писателями, художниками, артистами Кубы. Особое внимание докладчик обратил на вопросы культурного наследия. Он подчеркнул, что новая, революционная культура не возникает на пустом месте, а рождается как результат развития и усвоения всего лучшего, что было создано на Кубе в предшествующий период. Гильен отметил вклад, который внесли в кубинскую культуру негры и мулаты, отметив, что взаимопроникновение двух культур — креольской и негритянской — остается и сегодня необходимым условием для выражения подлинно кубинского духа. Он призвал творческих работников практически участвовать в жизни народа, совершенствовать свое мастерство, неутомимо искать художественные средства, достойные революционного содержания. «Мы, кубинские писатели и художники,— сказал Гильен в заключение,— должны выиграть одно из самых трудных, но и самых прекрасных сражений, создав социалистическую и гуманистическую культуру, которая предоставит простому человеку все то, в чем отказывал ему колониальный строй...»

В оживленных прениях, развернувшихся по докладу Гильена, приняли участие романист Алехо Карпентьер, литературовед Хосе Антонио Портуондо, поэт Роберт Фернандес Ретамар, поэтесса Рафаэла Чакон Нарди и многие другие.

Конгресс постановил создать Союз писателей и деятелей искусств Кубы. Председателем Союза избран Николас Гильен, вице-председателями— Алехо Карпентьер, Хосе Антонио Портуондо, Алисия Алонсо, Рене Портокарреро, Архелиер Леон, Хосе Лесама Лима, Гильермо Кабрера Инфанте, Рикардо Порро.

«Мы, писатели и деятели искусств Кубы,— говорится в декларации, принятой конгрессом,— утверждаем, что наш долг и наше право выражены в лозунге: «Бороться своими произведениями за лучший мир». ...Писатели и деятели искусств, независимо от своей эстетической платформы, должны участвовать в великой борьбе кубинского народа и, действуя своим специфическим оружием, защищать и укреплять революцию».

Конгресс принял кроме того специальную резолюцию, призывающую к расширению культурного обмена и сотрудничества между Кубой и странами Латинской Америки и всего мира. В резолюции говорится также о том, что в январе будущего года в Гаване будет созван конгресс писателей и деятелей искусств Латинской Америки. Открытие конгресса приурочивается к годовщине со дня рождения великого поэта и революционера Хосе Марти.

На заключительном заседании конгресса выступил премьер-министр республики Фидель Кастро. Конгресс, прошедший в духе братства и демократизма, заявил Кастро, явился важнейшим событием кубинской культуры.

ПОСЛАНИЕ БЕНХАМИНА КАРРИОНА

Известный эквадорский писатель и общественный деятель Бенхамин Каррион, как сообщает газета «Революсьон», направил послание конгрессу писателей и деятелей искусств Кубы.

«Тучей лжи, страха и бесчестия,— говорится в послании,— пытаются затмить чистый освободительный свет кубинской революции. А вы указываете путь творчеству — единственно возможному творчеству для интеллигента нашей Америки, говорящей по-испански, по-португальски и по-французски. ...Нам надоело быть колонией в экономическом и культурном отношениях. Мы не хотим, чтобы наши народы, состоящие из индейцев, метисов и негров, продолжали оставаться крепостными, чтобы они собирали кофе, который пьют другие, и бананы, которые иностранные богачи скупают по ничтожной цене. ...Наши народы требуют от нас — писателей художников и поэтов,— чтобы мы создали нечто большее, чем эгоистические поэмы о любви и красоте, нечто большее, чем вычурная живопись, наскучившая своими поисками форм и красок, нечто большее, чем усыпляющая, безжизненная музыка, нечто большее, чем копии философских систем, оправдывающих эксплуатацию человека...»

МАРОККО

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ АФРИКАНСКИХ НАРОДОВ

В городе Танжере состоялась конференция Комитета по вопросам культуры народов Африки, в которой приняли участие представители Временного правительства Алжира, Марокко, Гвинеи, Мали и Объединенной Арабской Республики.

Намечены шаги к дальнейшему культурному сближению между странами, представители которых участвовали в работе конференции.

Решено создать специальный институт для изучения и развития культуры африканских народов.

Участники конференции высказались за необходимость регулярно проводить подобные встречи представителей африканских стран.

Следующую конференцию намечено провести в Гане в августе будущего года.

ОАР

НАД ЧЕМ РАБОТАЕТ ТАХА ХУСЕЙН

Крупнейшему египетскому писателю д-ру Таха Хусейну в этом году исполнилось 75 лет, но он не перестает трудиться на ниве литературы.

По сообщению журнала «Аль-Адиб», Таха Хусейн сейчас работает над третьей частью автобиографической повести «Дни» (первые две части этой повести вышли не так давно в русском переводе).

«АНТАР И ДЖУЛЬЕТТА»

Газета «Аль-Гумхурия» поместила рецензию М. Мандура на сборник новелл и очерков одного из ветеранов египетской литературы Яхьи Хаккы «Антар и Джульетта». Критик дает высокую оценку книге Хаккы.

«Если новелла, как некоторые говорят, представляет собой рассказ, имеющий начало, середину и конец, то Яхья Хаккы, слава аллаху, не подчиняется этому мнению — и хорошо делает. Яхья Хаккы не прибегает в своих произведениях к пылкому воображению, которое изобретает одно эффектное событие за другим».

Я. Хаккы в своих новеллах и очерках мастерски рисует образы простых людей Египта—ремесленников, мелких служащих, детворы. Мандур называет талант Я. Хаккы «редчайшим из редких», а его самого — «живописцем, рисующим с помощью пера».

ПОЛЬША

ПОВЕСТЬ О ЛЮБВИ И СМЕРТИ

Издательство «Искры» выпустило недавно новую повесть Ярослава Ивашкевича «Влюбленные из Мароны». «Есть в этой книге любовь, вспыхивающая неожиданно, охватывающая человека без остатка, изменяющая его жизнь, покоряющая и сильная,— пишет рецензент газеты «Трибуна люду»,—и одновременно чистая и как-то по-особенному спокойная, уравновешенная, горящая ровным, ясным пламенем. Есть в этой книге смерть — преждевременная, жестокая».

Повесть Ивашкевича рассказывает о любви двух молодых людей: Янека, больного туберкулезом юноши, и Оли. Янек ищет в этой любви спасения от смерти. Любовь и смерть, пишет «Трибуна люду», это для Ивашкевича два главных полюса человеческой жизни, извечная тема писателя, к которой он обращается во многих произведениях.

Новая повесть Ярослава Ивашкевича, стилизованная под сказку, однако во многом связанная с реальностью, адресована молодым польским читателям.

ИНТЕРВЬЮ СО СТАНИСЛАВОМ ЛЕМОМ

Еженедельник «Политика» опубликовал интервью своего корреспондента с известным польским писателем, автором научно-фантастических рассказов и повестей Станиславом Лемом. Писатель обрисовал положение научно-фантастической литературы в настоящее время и ее перспективы.

К сожалению, сказал Станислав Лем, многие считают научно-фантастический жанр в литературе слегка подкрашенной разновидностью криминального романа. Другие целиком относят научную фантастику к детской и юношеской литературе. А ведь трудно говорить серьезно о литературе этого жанра, не зная последних достижений науки и не представляя ясно возможных путей ее развития.

Станислав Лем отметил, что создавать такие произведения с развитием науки и техники становится все сложнее. «Гагарин в известном смысле сузил границы

На сцене Познанской оперы в честь тысячелетия польского государства поставлен новый балет польского композитора Адама Свежинского «Янтарная девушка». В основу либретто балетного спектакля положена легенда из жизни славянских племен на побережье Балтийского моря, рассказывающая об их борьбе с морскими разбойниками. На снимке: Сцена из балета «Янтарная девушка».

(Газета «Трибуна люду»)

космоса, — говорит писатель.— Я почувствовал это на собственной шкуре. Мне хотелось написать несколько небольших вещей о Луне, но я отказался от этого намерения. Сегодня, когда в любую минуту мы можем получить научные сообщения, скажем, о растительности в лунных кратерах, браться за такие темы было бы наивным безумием».

Писатель хорошо знаком с научно-фантастической литературой, выходящей в Советском Союзе и Соединенных Штатах Америки. Научно-фантастическая литература, говорит он, имея в виду произведения американских авторов, отражает зачастую конфликты того общества, в котором она возникла. Каково будущее космоса с точки зрения американских авторов? Станислав Лем рассказывает о том, как видит его Джеймс Блиш: межзвездные корпорации, межгалактические монополии, крах космической валюты и в результате — кризис и отчаяние во Вселенной. «Это вовсе не повесть о будущем,— говорит писатель,— а раздутая до гигантских размеров современная американская действительность».

РУМЫНИЯ

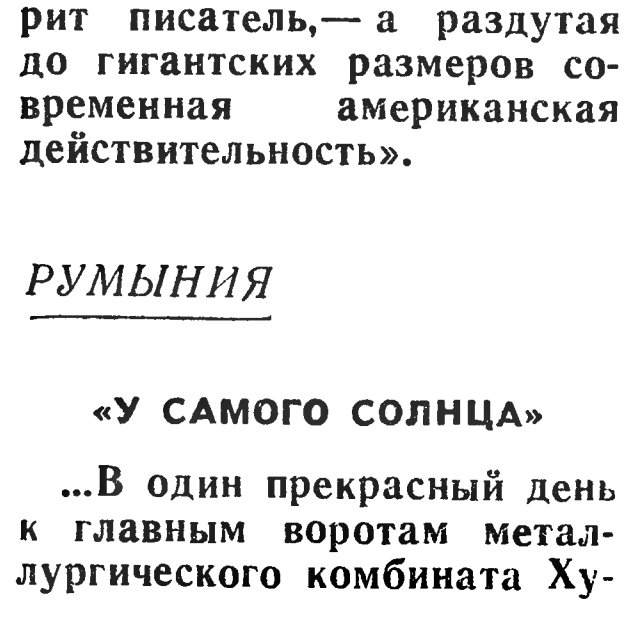
«У САМОГО СОЛНЦА»

...В один прекрасный день к главным воротам металлургического комбината Хунедоара пришел парень. Он молод и силен, в руках у него солдатский сундучок, на голове — шапочка горца. На комбинате ему предлагают для начала работу землекопа — ведь у парня нет никакой квалификации. Но он упрямо отказывается: он хочет варить сталь, хочет работать только в бригаде знаменитого сталевара Солка.

Так начинается история Петре Орша, его путь к обретению новых человеческих и профессиональных качеств.

«Рассказывая об эволюции героя, фильм «У самого солнца» ставит своей задачей создать кинематографический портрет молодого человека нашего времени»,— пишет журнал «Флакэра».

Молодому режиссеру Савелу Штиопуле (он же вместе с Паулом Ангелом является автором сценария) удалось, как замечает журнал, запечатлеть в этом фильме пейзаж гигантского промышленного центра — социалистической Хунедоары. Савел Штиопул, сам документалист, решил придать первому своему художественному фильму достоверность документального. Почти три месяца он и его съемочная группа прожили в Хунедоаре, снимая на цветную пленку жизнь крупнейшего металлургического центра. Страницы кинорепортажа, по словам журнала «Флакэра», передают суровую поэзию труда сталевара. Кстати, почти половина участников этого фильма, снятого киностудией «Бухарест»,— рабочие Хунедоары.



Кадр из фильма «У самого солнца»
(Журнал «Флакэра»)

США

ПОСВЯЩАЕТСЯ ХЕМИНГУЭЮ

Специальный номер критико-библиографического журнала «Сэтердей ревью» посвящен памяти Эрнеста Хемингуэя. Авторы многочисленных статей поднимают, по существу, одну тему: в чем значение Хемингуэя для американской литературы? В чем его мировое значение?

Редкое фото Эрнеста Хемингуэя.
(Газета «Паэзе сера»)

Под общим заголовком «Мир оценивает значение Хемингуэя» помещены статьи о том, как книги писателя воспринимаются в Испании, Италии, СССР, Японии, Англии, Индии.

В журнале дан обзор критики произведений писателя.

Один из авторов опубликованных статей, У. Карлос Бейкер, сообщает об оставшихся рукописях Хемингуэя. Это, во-первых, «Опасное лето», главы из которой были опубликованы в журнале «Лайф» (напечатаны в «Иностранной литературе» № 2, 1961 г.). Во-вторых, книга мемуарного характера о Париже двадцатых годов, находящаяся уже у

издателя. В-третьих, рукопись (хранившаяся в сейфе Национального банка в Гаване) под условным названием «Земля, море, воздух». Об этой книге Хемингуэй говорил Бейкеру еще десять лет тому назад. Он читал отрывки своей жене и считал, что если у нее при слушании появлялась гусиная кожа, значит, книга удалась. Рабочее название четвертой рукописи — «Становление моря». Из нее в свое время был взят «Старик и море». Эта рукопись хранится в сейфе банка штата Айдахо.

Жена писателя пробыла пять недель на Кубе, разобрала весь архив, уничтожила в соответствии с указаниями писателя ряд писем и документов, перевезла рукописи в США. В ответ на вопросы репортеров о предполагаемых изданиях, она заявила, что будет точно выполнять волю покойного.

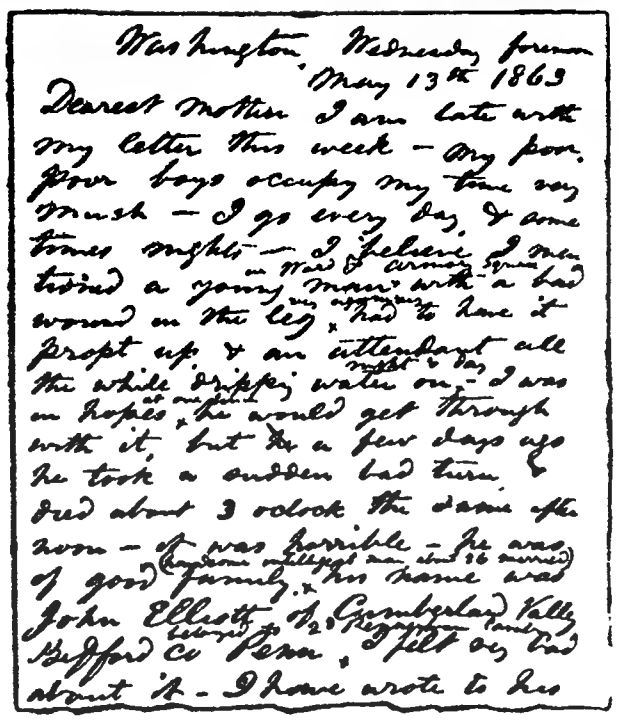
ПИСЬМА УОЛТА УИТМЕНА

В США задумано монументальное четырнадцатитомное издание полного собрания сочинений и писем Уолта Уитмена. Первые два тома писем уже вышли в свет, они охватывают тридцать три года жизни поэта (1842—1875).

«Нью-Йорк таймс бук ревью» пишет, что чтение этих писем доставляет огромное наслаждение, так как «они все очень просты и человечны». Поэт любил в письмах описывать все, что видел, свои встречи, свои взаимоотношения с людьми, беседы и разговоры с ними.

Большое место занимают письма, написанные во время гражданской войны. Многие из писем этого периода уже публиковались отдельно в сборнике, озаглавленном «Уолт Уитмен о гражданской войне», составленном поэтом Лоуэнфелсом (см. «Иностранную литературу» № 5, 1961 г.).

Отмечается, что почти не сохранилось писем за 1850—1855 годы, когда у Уитмена



Уолт Уитмен в 1850 году. Факсимиле письма У. Уитмена к матери от 13 мая 1863 года.

(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

постепенно созревал замысел «Листьев травы». Это был тот период, пишет рецензент еженедельника, когда человек, казавшийся современникам всего-навсего обыкновенным журналистом, готовился выступить как один из величайших поэтов XIX века.

ТУНИС

ПОЭЗИЯ БОРЬБЫ

Трагедия Бизерты всколыхнула весь тунисский народ, который как один человек поднялся на защиту своей родной земли.

В первых рядах этой борьбы идут поэты Туниса, зовущие народ своими пламенными стихами на подвиги во имя родины.

Газета «Аль-Амаль» («Действие») — орган правящей тунисской партии «Нео-дестур» — изо дня в день публикует эти стихи. Вот что пишет, например, поэт Мухаммед аш-Шаабуни в стихотворении «Гимн мучеников», опубликованном газетой:

Мы двинулись на борьбу.
На севере и на юге,
В горах и пустынях.
Нам смерть не страшна ..

ЖУРНАЛ МОЛОДЫХ

В Тунисе начал выходить новый журнал «Ат-Таждид» («Обновление»). Журнал издается группой молодых интеллигентов, которые объявили своей задачей «борьбу за более справедливое общество и лучшую жизнь... борьбу за развитие культуры в Тунисе и во всем Магрибе, такой культуры, которая смогла бы быть выразительницей наших жизненных проблем, а также проблем, стоящих перед человеком вообще». Культурное возрождение страны журнал тесно связывает с экономическим и социальным возрождением.

ФРАНЦИЯ

ПЬЕР ГАМАРРА О СВОЕМ НОВОМ РОМАНЕ

Место действия нового романа Пьера Гамарра «Жена Симона» — район Тулузы, родные места писателя.

«Я говорю о моем крае, о том, что меня интересует, то есть о крестьянах, о крестьянской среде,— сообщил Пьер Гамарра на страницах еженедельника «Леттр франсез», — мне было интересно воссоздать годы Освобождения, одновременно такие близкие и далекие. Действие романа развивается в 1946—1947

годах, вплоть до того момента, когда коммунисты были удалены из правительства... Мы — поколение этих лет, которые несли с собой и надежды и трудности...

Я хотел показать отражение больших событий в маленькой деревне... Эта деревушка — чернозем и виноградники. Там протекает Гаронна, и она играет свою роль в романе. Драматические события частной жизни смешиваются с историческими».

Роман «Жена Симона» — продолжение другого романа Гамарра «Школьный учитель».

«Я считаю, что киноактриса несет огромную ответственность перед обществом,— заявила французская киноактриса Паскаль Пети.— Когда мне предлагают роль,— сказала она,— я задумываюсь не только над тем, подходит ли она мне, но и над впечатлением, которое она производит на зрителя. У меня есть определенные политические убеждения, и я хочу, чтобы мои фильмы служили общественной цели». Приведя эти высказывания двадцатидвухлетней Паскаль Пети, лондонская газета «Ивнинг стандард» отмечает, что после своего дебюта в 1957 году киноактриса снималась в весьма немногих фильмах, и это явилось следствием ее политических, по словам газеты — прогрессивных взгля дов.

(Журнал «Филмз энд филминг»)

«ЧУДНОЙ» ФРАНСУА МОРИАКА

Вышла в свет новая повесть Франсуа Мориака «Чудной». В своем творчестве Мориак не раз возвращался к теме детства, искалеченного уродливым воспитанием. На этот раз он избирает сюжетом своей повести историю двенадцатилетнего мальчика, сына богатого коммерсанта. Во всем потакая прихотям сына, отец сделал из него «маленького Нерона». Мальчика спасает скромная гувернантка, обладающая большой волей и пониманием детской психологии. После долгой и трудной борьбы с ребенком-тираном ей удалось завоевать его доверие.

В этой повести, как отмечает французская критика, Мориак с присущим ему мастерством разоблачает мещанство провинциальной среды мелких буржуа.

«ЧЕРНЫЕ РОМАНЫ НА ТРЕХЦВЕТНОМ ФОНЕ»

Так называется статья, опубликованная в парижском еженедельнике «Франс-обсерватёр», автор которой Габриэль Роллен поднимает вопрос о массовом распространении развлекательных романов о шпионаже. Их выпускает миллионными тиражами несколько издательств, самое крупное из которых «Черная река». «Черная река» буквально затопила книжный рынок Франции.

Какую же мораль, какое мировоззрение прививают читателю романы о шпионаже? Для них характерны эротизм, драки, пытки. Габриэль Роллен цитирует взятые из этих романов описания пыток, одно извращеннее другого. Применение пыток становится одним из признаков доблести героя. Герои шпионажа все на одно лицо — жестоки, лживы, готовы на любые подлости для достижения цели, и, конечно, они — неотразимые покорители женских сердец. Роллен подчеркивает, что «мораль» этих романов фактически отрицает ту самую систему, ради защиты которой якобы совершаются все эти «подвиги». Ведь цель шпионажа, как уверяют читателя авторы романов,— защита мира и демократии, парламентаризма и международного права. Но эти высокие принципы находятся в кричащем противоречии с цинизмом и расизмом, которыми напичканы романы шпионской серии.

«Черные» романы,— пишет Габриэль Роллен,— трижды вредны. Во-первых, они воспитывают шовинизм и расовые предрассудки, во-вторых, приучают читателя к чрезвычайно упрощенному восприятию книг, так как все они построены на самых примитивных приемах, пользуются скудным, штампованным языком и неизбежно ведут к оглуплению читателя. И, наконец, прививают ему нелепую веру в то, что все политические события определяются тайной деятельностью неких таинственных агентов, защищающих «свободный мир».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ОКТЯБРЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧЕШСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

На протяжении этого года в Чехословакии вышло несколько книг, посвященных участию чехов и словаков в Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года в России. Среди этих книг — сборник воспоминаний непосредственных участников революции «Живые не молчат», новелла молодого чешского прозаика Рудольфа Черного «Дайте им свинец, братья!». Недавно издательство «Наше войско» выпустило роман «Чешская рапсодия» писателя Йозефа Секеры.

Заслуга Секеры состоит в том, пишет журнал «Пламен», что он обратился к героическому революцион-

ному прошлому, к важным боевым традициям чешского и словацкого рабочего класса. Роман-хроника Секеры охватывает время от осени 1917 года до весны 1920 года, рассказывая о судьбе нескольких чехов и словаков — молодых рабочих, крестьян, студентов и учителей, которые после Октябрьской революции вступили в России в Красную гвардию. Затем они влились в состав международного полка, входившего в 16 стрелковую дивизию, которой командовал герой гражданской войны В. И. Киквидзе. Они сражались против Краснова, Мамонтова, Деникина, в украинских степях, севернее и западнее Царицына. В эпилоге автор рассказывает о судьбе некоторых своих героев, вернувшихся на родину и доживших до освобождения Чехословакии Советской Армией.

Журнал «Пламен» признает роман Секеры удачным и интересным.

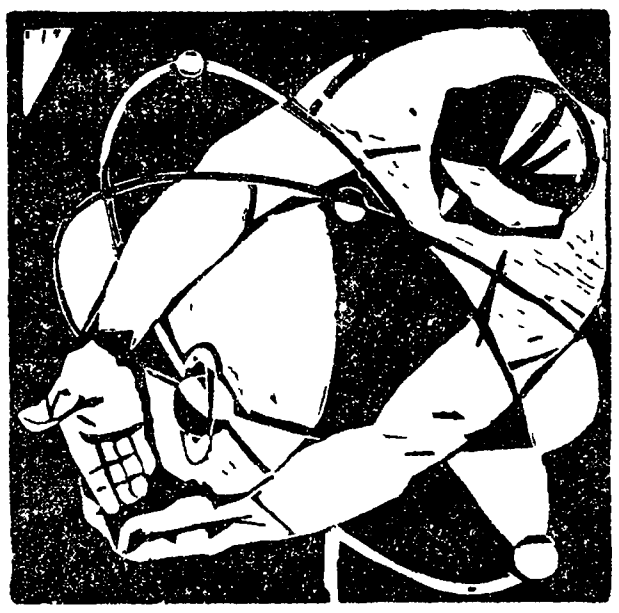
«ИСКУССТВО В КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Под таким названием вышла в Государственном издательстве политической литературы Чехословакии книга М. Дрозды и Р. Паролека, посвященная «основным вопросам общественной роли искусства, культурной политики и эстетики».

В первой части книги, озаглавленной «Культурная революция и политика КПЧ в области искусства», проанализированы ленинские принципы, из которых исходит Коммунистическая партия Чехословакии в своей повседневной политике в области культуры. При этом авторы опираются на опыт развития советского искусства и литературы, опыт КПСС.

Вторая часть книги «Искусство как форма общественного сознания» представляет собой популярное изложение введения в литературоведение.

Сюда включены главы о борьбе с ревизионистскими



«Будущее принадлежит нам» — линогравюра работы художника Яна Яношки.

(Еженедельник «Литерарни новины»)

тенденциями в литературной критике, а также раздел о социалистическом реализме, основанный на материалах дискуссии о реализме, проходившей в Советском Союзе в 1957 году.

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

«ЭТО ВОЗМОЖНО ЛИШЬ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ!»

У входа в кинотеатр «Колизей» в Кейптауне — обычная рекламная афиша, перекочевавшая сюда вместе с очередным американским фильмом. На ней изображены американские кинозвезды Дин Мартин и Фрэнк Синатра, гуляющие в обществе еще одного человека, фигура которого тщательно замазана. Кто — третий?

Ответ на этот вопрос дает иоганнесбургская газета «Нью эйдж»: третий на афише — негритянский актер Сэмми Дэвис-младший.

Не в пример своим американским учителям по расизму, которые не прочь выставлять напоказ мнимое равенство «черных» с «белыми», правители Южно-Африканской республики побоялись показать населению страны даже афишу, на которой негр изображен рядом с белыми, считая, что она... может нанести удар их политике!

Как справедливо замечает газета, «это возможно лишь в Южной Африке!»

«ОБВАЛ»

Около восьми лет назад на шахте Риф произошел обвал, в результате которого одиннадцать негров шахтеров остались заживо погребенными глубоко под землей. Это был вполне обычный и еще далеко не самый ужасный случай на шахтах Южно-Африканской Республики, но именно его режиссер Деннис Скалли решил положить в основу своего фильма «Обвал».

Фильм рассказывает о мужестве и страданиях отрезанных от внешнего мира шахтеров, роли которых исполняют африканцы; и среди них местная газета «Уорлд» особенно выделяет впервые снимающегося в кино Джейка Тулли, в недалеком прошлом одного из сильнейших боксеров Южно-Африканской Республики.

По мнению газеты, роль шахтера дала Джейку Тулли благодатный материал для раскрытия его актерских способностей. Особенно удалась бывшему боксеру сцена, в которой его герой, израненный, истекающий кровью, вспоминает свое прошлое.

ЯПОНИЯ

ПАМЯТИ АОНО СУЭКИТИ

Газета «Акахата» опубликовала статью члена ЦК КПЯ, заведующего отделом культуры ЦК, крупного японского литературоведа Корэхито Курахара, посвященную памяти недавно умершего председателя Ассоциации японских писателей Аоно Суэкиги. Автор статьи пишет:

«Аоно Суэкити был руководителем пролетарского литературного движения, он принимал деятельное участие в коммунистическом движении в период создания Коммунистической партии Японии. Своими многочисленными статьями, на-

чиная со статьи «Литературное движение и рабочий класс» (1923), он обогатил идеями марксизма движение за создание прогрессивной литературы и культуры в Японии.

После войны Аоно отдает все силы восстановлению японского ПЕН-клуба и Ассоциации японских писателей. В качестве вице-председателя японского ПЕН-клуба и председателя Ассоциации японских писателей он активно содействовал развитию литературы в нашей стране, выступая в защиту прав литераторов, свободы слова и печати. Одновременно, создав «Общество бесед о японской культуре», «Общество критики «договора безопасности», он возглавил демократическую интеллигенцию в ее борьбе против «договора безопасности» и всей реакционной политики либерально-демократического правительства».

ЧТО СКРЫВАЛОСЬ ЗА ИЗВИНЕНИЯМИ...

В одном из недавних номеров журнала «Тюокорон» можно было прочесть следующее сообщение: «Несмотря на то что рассказ Ситиро Фукадзава «Сон», появившийся в двенадцатом номере «Тюокорон» за 1960 год, не подходил для опубликования, он, по моему недосмотру, все же был напечатан и причинил серьезное беспокойство императорской семье и всем читателям, за что приношу свои глубокие извинения. Приношу также свои глубокие извинения и по случаю того, что возникший в результате этого «инцидент убийства и ранения» взволновал общественность. Главный редактор «Тюокорон» Ходзи Симанака».

С аналогичным извинением, но уже по поводу романа Кэндзабуро Оэ «Семнадцатилетние» выступил главный редактор «Бунгаку кай» Енэки Кобаяси. Особенно трогательно прозвучали его слова в адрес Ямагути — убийцы лидера Социалистической партии Японии Асанумы — и реакционных организаций, направлявших руку убийцы: «Мало того, что в указанном произведении существуют ошибочные положения, оно доставило беспокойство господину Ямагути, явившемуся прототипом одного из героев романа, а также «Авангарду борьбы с коммунизмом», «Всеяпонской антикоммунистической юношеской лиге» и связанным с ними организациями».

Что же напугало этих редакторов и вызвало лавину извинений? Рассказ Фукадзава привел в бурное негодование министерство двора, усмотревшего в нем «оскорбление его императорского величества». Ободрившись официальной поддержкой, подняли головы террористские организации, член одной из которых совершил покушение на главного редактора «Тюокорон» Симанака (сам он остался невредим, но пострадали члены его семьи).

Все эти события были использованы реакционными элементами для... антикоммунистической пропаганды Депутат парламента от правящей либерально-демократической партии на заседании юридического комитета палаты представителей сделал явно провокационный запрос, смысл которого сводился к тому, что в редакции «Тюокорон» якобы действует коммунистическая группа, руководимая Корэхито Курахара, которая, дескать, «помогала Фукадзава писать рассказ».

Официальные представители властей успокоили депутата, заявив, что его предположения не подтвердились. Разоблачая подоплеку возни, поднятой японской реакцией по поводу рассказа «Сон», Курахара в газете «Акахата» пишет, что «подобные демагогические наскоки на компартию не являются новыми. Каждый, кто хоть немного знаком с сущностью деятельности компартии и с положением в массовых организациях, понимает истинную цену этой стряпни. Мы не знаем точно, где и как подготавливаются «сообщения», служащие основой для подобных статей и заявлений. Но, судя по тому, что все они почти полностью совпадают, можно предположить, что источник — один... Реакционные силы использовали содержание рассказа в качестве предлога для насильственных террористических актов против автора и редактора. Все это направлено на то, чтобы запугать общественное мнение и таким путем подавить свободу слова. Инцидент является одним из планируемых заговоров реакционных сил, стремящихся к тому, чтобы ликвидировать демократию и расчистить путь открытому милитаризму и фашизму».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Вероника Порумбаку — Veronica Porumbacu (род. в 1921 г.) — румынская поэтесса, лауреат Государственной премии. Автор сборников стихов «Эти годы» ("Anii aceştia", 1950), «Свидетельство» ("Mărturii", 1951), «Илие Пинтилие» ("Ilie Pintilie", 1953), «Мои друзья» ("Prietenii mei", 1953), драматической поэмы «Дева вод» ("Fata apelor", 1954) и других произведений. Стихи Порумбаку неоднократно публиковались в нашем журнале.

Печатаемое стихотворение «Новой эры возвестив начало...» ("Exista!") взято из «Газета литерарэ» № 33, 1961 г.

Герберт Нахбар — Herbert Nachbar (род. в 1930 г.) — немецкий писатель (ГДР), автор романа «Светлый венец вокруг луны» ("Der Mond hat einen Hof", 1956).

Публикуемый роман «Свадьба на Ленненкене» ("Die Hochzeit von Länneken") вышел в 1960 г.

Элли Иоанниду-Белоянис — греческая поэтесса, участница Сопротивления, жена казненного греческого патриота Никоса Белояниса. Элли Иоанниду уже 10 лет находится в тюрьме. Ее стихи, написанные в тюрьме, печатались в советской периодической печати.

Публикуемое стихотворение получено журналом в рукописи.

Питер Темпест — Peter Tempest — молодой английский поэт и переводчик, автор сборника «Первые стихи» ("First poems", 1957). Питер Темпест участвовал в VI Всемирном фестивале молодежи в Москве. Публикуемое стихотворение прислано в редакцию автором.

Тома Джордже Майореску — Toma George Maiorescu (род. в 1928 г.) — румынский поэт. Автор сборников стихов «Возвращение на родину» ("Intoárcere în patrie", 1954), «Путешествие во времени» ("Călătórie primvreme", 1955), «Современные ритмы» ("Ritmuri contemporane", 1960).

Публикуемое стихотворение прислано в рукописи.

Йозеф Рединг — Josef Reding (род. в 1929 г.) — немецкий писатель (ФРГ), лауреат премии за литературу для юношества. Автор рассказов, романов и книг для молодого читателя. Перу Рединга принадлежат: роман «Страна мира» ("Friedland. Chronik der großen Heimkehr", 1956), сборник рассказов «Не называйте меня черномазым» ("Nennt mich nicht Nigger", 1957), книга для юношества «Маленький барабанщик Рикардо» ("Trommlerbub Ricardo", 1954) и другие произведения.

Публикуемые рассказы взяты из сборника «Один в Вавилоне» ("Allein in Babylon", 1960).

Пьер Энжес — Pierre Hentjes — известный французский публицист, много лет сотрудничал в «Юманите». Сейчас Пьер Энжес помогает Арагону в его работе над «Историей СССР». Публикуемая статья прислана в рукописи.

Айрин Полл — Irene Poll — американская журналистка. Публикуемая статья прислана в рукописи.

Иштван Пинтер, Ласло Сабо — Pinter Istvaň, Szabó László — журналисты, корреспонденты газеты «Непсабадшаг». В 1959 г. вышла их первая книга «Тайными тропами» ("Titkos útakon"), а в 1960 г. — вторая «Лейтенант легиона» ("Lègiò hadnagya").

Публикуемый репортаж взят из газеты «Непсабадшаг».

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, В. И. Верховский (отв. секретарь), **Б. Г. Гафуров, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов** (зам. главного редактора), **Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.

Телефон: В 3-51-47.

Художеств. редактор *М. М. Милославский* Технический редактор *В. Л. Шачнев*

А 03467. Сдано в производство 11/IX 1961 г. Подписано к печати 25/X — 4/XI 1961 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.; печ. л. 24,66 +1 вкл. Зак. 1605.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

в 1962 году
журнал «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
предполагает
напечатать следующие произведения:

Жак Стефен Алексис «Деревья-музыканты» (Роман)
Жоржи Амаду «Старые рыбаки» (Роман)
Людвик Ашкенази «Ночной гость» (Пьеса)
Франц Кафка «Отчет для Академии» (Рассказ)
Эрскин Колдуэлл «Женщина по природе» (Роман)
Тодор Монов «Смерти нет» (Роман)
Дитер Нолль «Приключения Вернера Хольта» (Роман)
Джеймс Олдридж (Новый роман)
Джон Стейнбек «Зима невзгод» (Роман)
Янош Фюлеп «Ботонд» (Повесть)
Леонардо Шьяшья «Тень совы» (Повесть)
Филипп Эрриа «Золотая решетка» (Роман)

Кроме того, редакция намерена напечатать новые произведения

Луи Арагона, Генриха Бёля, Монго Бети, Грэхема Грина, Фридриха Дюрренматта, Ярослава Ивашкевича, Халлдора Лакснесса, Альберта Мальца, Альберто Моравиа, Яна Отченашека, Ивайло Петрова, Зденека Плугаржа, Титуса Поповича, Марина Преда, Ежи Путрамента, Виктора Рида, Жан-Поля Сартра, Людмила Стоянова, Андре Стиля, Митчела Уилсона, Фрэнка Харди, Ояна Шаня и других зарубежных писателей.

В 1962 году на страницах журнала будут регулярно публиковаться статьи, посвященные важнейшим проблемам развития зарубежных литератур и творчеству выдающихся современных писателей Запада и Востока. Систематически будут рецензироваться новинки зарубежной литературы.

Читатели смогут познакомиться с высказываниями зарубежных и советских писателей, деятелей культуры, науки и искусства по актуальным вопросам международной жизни, со статьями и обзорами о значительных явлениях театра, кино и изобразительного искусства.

В разделе «Из месяца в месяц» журнал широко информирует читателей о событиях культурной жизни за рубежом.

Журнал выходит с иллюстрациями.

Подписная цена на 1962 год:

на год — 9 руб. 60 коп.
на 6 мес.— 4 руб. 80 коп.
на 3 мес.— 2 руб. 40 коп.

Подписка принимается всеми отделениями «Союзпечати», конторами и отделениями связи, почтальонами и общественными уполномоченными по подписке.

Цена 80 коп.